9 1968

Иностранная литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

РАМОН АМАЙА АМАДОР — Операция «Горилла» 35

ПОВЕСТИ

АЛЬБЕР КАМЮ — Посторонний. Гость (рассказ) 117

РАССКАЗЫ

БРАНИМИР ШЧЕПАНОВИЧ — Перед истиной. Смерть господина Голужи. Оборона. Иллюзия 6

АЗИЗ НЕСИН — Цыплят по осени считают. Секрет благочестия. Как свергнуть правительство 173

СТИХИ

ФАИЗ АХМАД ФАИЗ — Стихи о любви и свободе 3

СУАН ЗИЕУ — Любовь разлученных . . . 31

ИЗ ИНДИЙСКОЙ ПОЭЗИИ — Шанкара Куруп (Вступительная статья С. Ачута Менона) 111

КАТЕБ ЯСИН — Живая память (Фрагмент) 188

9

СЕНТЯБРЬ

1968

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
Москва

КРИТИКА

Б. РЮРИКОВ — Человек — одиночество и свобода (Страницы из литературного дневника) 189

И. ТЕРТЕРЯН — Национальное, но не традиционное 198

Н. ПАВЛОВА — «Действительность широка, многообразна, противоречива...» (Заметки о поэзии Бертольта Брехта) 207

ПУБЛИЦИСТИКА

И. С. КОН — Национальный характер — миф или реальность? 215

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Заметки на полях зарубежных газет и журналов

С. ЛИТВИНОВА — Духовное товарищество . 230

М. САЛГАНИК — Война языков? 233

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

И. ВОЕЙКОВА — Молодые художники Болгарии 237

ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Л. ДЕМИН — Заметки о современной культурной жизни Индонезии 246

ОТКЛИКИ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Вл. МАЧАВАРИАНИ — О самом насущном (Из путевого блокнота) 253

НАШИ ГОСТИ

В. ГРИВНИН — Всегда в пути (Макото Ода в «Иностранной литературе») 258

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

Чингиз Гусейнов — Фикрет — уста революции. Н. Прожогин — След сеялки в зеленеющем поле. Геннадий Ярославцев — Силу в борьбе обретший. Георгий Ашкинадзе — Голоса Африки 260

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

С. Бостскова — На подступах к «Швейку». Н. Никулин — Новый роман То Хоая. А. Опульский — Советско-болгарские литературные связи 267

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ 272

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 273

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА 287

На обложке. «Пейзаж» (Болгарская художница ВАНЯ ДЕЧЕВА)

ФАИЗ АХМАД ФАИЗ

СТИХИ О ЛЮБВИ И СВОБОДЕ

Перевод с урду Б. СЛУЦКОГО

Русская революция

От горизонта до горизонта
ночь металась подстреленной птицей,
но вдруг сверкнула заря,
и рванина мрака
свалилась с глаз,
и вспыхнуло сердце.
Все семь небес,
одно за другим,
распахнули ворота,
и седьмое небо
засияло, как зеркало.
Ворота всех тюрем от Запада до Востока
распахнулись с громом.
Закладывается фундамент нового строя.
Кровь, пролитая сердцем века,
кровь всех мучеников за правду
отомщена сегодня.
Сегодня
рабские кандалы
перелиты в бубенцы для уходящих караванов.
Обрывки цепей,
как мечи на солнце,
сверкают
на руках, вскинутых к небу.

Молитва

Пойдем и мы, возденем руки к богу,
мы, в храмы позабывшие дорогу,
Всем идолам не верящие боле,
всем, кроме идола любовной боли.
Молюсь, чтоб жизни беды и грехи
перелились немедленно в стихи.
Пусть те, кого сгибает тяжесть страсти,
найдут успокоение и счастье.

Пусть те, кто утром свет не видит утра,
увидят по ночам светильник мудрый.
Те, кто с дороги сбился и блуждает,
пусть направленье верное узнает.
Тем, в чьем краю без лжи и зла ни шагу,
я вымолю неверье, и отвагу,
И силу, чтоб сумели дать отпор,
когда над ними занесен топор.

Чье сердце жжет любовной тайны пламя,
пусть выскажутся лучшими словами,
А правды огонь, что жжет нас день-деньской,
пусть вырвется,
чтоб я обрел покой.

Может быть

Может быть, время придет,
вы увидите своими глазами
кровь замученных слов
на каждом чистом листе.
Может быть, время придет,
песня взовьется, как знамя,
та, что сегодня треплется
на ледяном ветру.
Может быть, время придет,
вы поймете, как билось сердце,
то, что сегодня камнем,
лежит на шоссе перед вами.

Сердечный приступ

Боль так сильна была в ту ночь,
как будто кровь
была готова ринуться мгновенно
и разорвать артерии и вены.
Мне виделось,
в твоем саду
от лунной красоты в большой печали,
омытые печальной кровью,
тихонько листья палые шуршат.
Я развязал измученное тело,
веревки шрамов ноющих сорвал,
и все, что в нем желало и хотело,
я отпустил: желаний караван.
Но догорающий светильник памяти
вдруг вспыхнул. Из небытия
им выхваченная
красота твоя
так ранила сознание мое,
с такой отчетливостью проявилось,
что я готов был хоть в небытие!
Готов!
Но сердце не остановилось.

■ ■ ■

Посмотри отсюда на город:
Круг замкнулся.
Древние бастионы как тюремные стены.
Прохожие, как в лабиринте:
Ни входа, ни выхода, ни указательной стрелки —
Поспешно шагают в ожидании окрика:
«Стой!»
Поднятые руки замирают в страхе:
А вдруг, как прежде,
Кандалы забряцают.

Посмотри,
Посмотри отсюда на город:
В самом деле, круг замкнулся.
Достойных людей не видно.
Разумных взглядов не встретишь.
У каждого парня — петля висельника на шее.
У каждой девушки — рабское клеймо на плече.

■ ■ ■

Стеною тьма,
и тень любимого лица
передо мною встанет,
и снова в сердце кровь зашелестела.
И осторожные движенья
глаза мне сызнова туманят,
и власть желанья разрывает тело.

Газель

Как сияет луна, отражая
лица твоего краски!
Воздух благоухает, меняя
лица твоего краски.
Красота в тени глаз твоих блещет смущенно.
Алость губ зажигая,
волнуются го́лоса краски.
Трепещу — может быть, эта ночь станет ночью
блаженства?
Может, влага хмельная
у рассвета заимствует краски?
Быстрый бег моей крови отзовется звучанием
чанга.
Опьяненное сердце зальет все вокруг
своей краской.
Ну, хоть слово скажи, чтобы вдруг
вся беседа светилася краской
и бесцветность потуг
чудо расцветило бы краской.

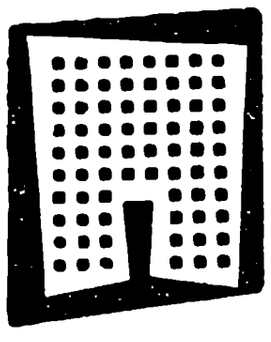
БРАНИМИР ШЧЕПАНОВИЧ

Рассказы

ПЕРЕД ИСТИНОЙ

Доктору Душану Косовичу

I. Возвращение



очти ничего он здесь не узнавал.

Красноватые, гладкобокие скалы, острые зубцы на их вершинах не казались ему теперь фигурами притаившихся бойцов. А когда-то, взглянув на них, охваченный неясным, гнетущим страхом, он невольно замедлял шаг.

«Повсюду тут могли быть засады, — подумал он. — Поэтому и мерещилась тогда за каждым камнем смерть».

У него было такое ощущение, будто он выбрал неверную дорогу, хотя хорошо знал, что другого пути в этом крае нет.

— Все изменилось, — сказал он.

Жена, сидевшая рядом с ним в машине, ничего не ответила.

— Я столько раз тут ходил и ездил, что знал каждый камень.

Он поискал взглядом деревцо над дорогой, но не увидел ни его, ни других. Шоссе, казалось, тянулось по дну широкого русла пересохшей реки с высокими, стесанными водой берегами.

«Прежде по обочинам кое-где росли деревья, — думал он. — Зачем их вырубили? Они никому не мешали. А срубленные, они не могли принести пользу, потому что втащить их туда, на головокружительную высоту, к домам, стоящим вдалеке, вряд ли было возможно...

Я не был здесь больше пятнадцати лет, — думал он. — И многое за это время изменилось. А может, я не узнаю эти места еще и потому, что часто думал о них; если постоянно вспоминаешь о чем-нибудь, оно меняет свой облик в твоем сознании».

Образ Анджелы вновь возник перед ним. Он попытался представить себе ее иной, изменившейся, постаревшей, но не смог. Анджела вставала перед его глазами такой, как прежде, хоть он и сознавал, что это невозможно, что он, приехав в город, изумится происшедшим в ней переменам.

— Не люблю я эту страну, — сказала жена.

— Она очень красива.

— Тебе здесь было очень хорошо?

Антонио молча усмехнулся.

— Ты мог тут погибнуть.

— Тогда все здесь было лучше. Возможно, потому, что каждая минута могла оказаться последней.

— Но войны уже нет.

— Знаю. Все изменилось.

— А чему здесь меняться? Повсюду одни камни...

Левую руку он держал на баранке, правой время от времени приглаживал поседевшие на висках волосы.

«Да, время все изменило, не оставило никакого следа, — думал он.— *Никогда ничего не остается...*»

Дорога, то суживаясь, то расширяясь, но всюду однообразная, одноцветная, вилась серпантином все выше и выше. Непрестанно и громко звенели кузнечики. И Антонио, выключая на минуту-другую мотор, прислушивался к их песне, а потом вновь увеличивал скорость.

Вдруг жена схватила его за руку, и он затормозил. Прямо перед ними, на середине пути, стоял старик с корзиной в руке — стоял неподвижно, молча и удивленно смотрел на них, будто не он их, а они его остановили.

— Что с ним? — спросила жена.

— Продает виноград, разве не видишь?

Старик шевельнулся, склонил голову, пошарил в корзине рукой и молча протянул Антонио огромную гроздь винограда. Антонио внимательно посмотрел на него, взял виноград, но когда полез в карман за деньгами, старик повернулся к ним спиной и, раскачиваясь, словно стебелек камыша, медленно побрел вниз по дороге.

— Что, они тут бесплатно дают виноград? — спросила жена.

Старик обернулся и, улыбаясь, помахал им рукой. Антонио тоже улыбнулся.

— Ты не слушаешь меня? — спросила жена.

— Такие уж здесь люди, — ответил Антонио. — Обязательно помашут рукой прохожему.

Жара становилась невыносимой. Отсюда хорошо был виден залив. Белые барашки медленно ползли по синей глади вод, залив походил на кусок неба, вырезанный и вклеенный в рамку причудливо извилистых берегов. Серые домики на противоположной его стороне терялись среди каменистых холмов.

— Правда, что мужчинам всегда хочется побывать в тех местах, где они воевали? — спросила жена.

— Не знаю.

— Но ведь тебе захотелось?

— Это ты предложила куда-нибудь поехать.

Антонио вел машину осторожно, сбавляя ход на крутых поворотах, где, казалось, дорога обрывается в пропасть.

До полудня было еще далеко... Антонио думал о встретившемся им старике, о его глазах, он хотел попробовать виноград, который все еще держал в руке, но что-то мешало ему.

«Глупости! — сказал он себе. — Даже если у старика был сын, то, быть может, и сейчас он жив. А если его убили, ведь не обязательно это сделал именно я...»

Однако чувство неловкости не покидало его.

— Это ты предложил поехать сюда. Я только согласилась, — сказала жена.

— Я думал, что тебе здесь понравится.

— Не нравятся мне эти горы.

— И мне, — кивнул он, и мысли его вернулись к Анджеле.

А жена продолжала:

— Едем, едем, а кажется — не двигаемся с места.

Она смотрела на желтоватую ленту дороги, которая устремлялась им навстречу и исчезала под колесами автомобиля.

— Всегда так,— сказал он.— На любом пути. Только поверишь, что ушел далеко, как вдруг начинаешь понимать, что было бы лучше не двигаться с места.

— Я не понимаю, — сказала жена.

— Ну. вот этот старик... Он так никуда и не пришел...

Теперь залив виднелся глубоко внизу и стал похожим на узкую реку в изрытых, крутых берегах. Антонио даже показалось, что отсюда можно закинуть камень на другой берег.

— И тебя здесь могли убить, — сказала жена.

— Да.

— По лицу вижу, что ты мог тут погибнуть...

— Я здесь был только несчастен, — сказал он и в который уже раз представил себе Анджелу, вызвав ее в памяти такой, какой она стояла у дверей, провожая его взглядом, когда он с солдатами покидал город... Снег тогда падал и падал на них, и казалось, никогда не перестанет...

Антонио обрадовался при мысли, что возвращается и через час-два снова увидит ее. Он резко увеличил скорость: хотелось приехать как можно скорее.

— Я очень любила тебя, — вздохнула жена.

«А я всегда любил только Анджелу», — подумал он и спросил себя: а что, если он не найдет ее или не узнает?..

— О чем ты думаешь? — спросила жена.— Сомневаешься?

Антонио промолчал. Машина поднялась на последний виток серпантина. Отсюда было видно все море. Оно казалось огромным, бескрайним, голубым зеркалом, обращенным к жарко сияющему небу.

Вдруг Антонио так резко затормозил, что автомобиль прижался к шоссе, приподняв крылатый хвост, и косо встал на самой середине пути.

— Тебе нехорошо? — вскрикнула жена.

Антонио не ответил. Он распахнул дверцу, вышел из машины, сделал несколько шагов, озираясь, будто искал что-то, и остановился на обочине.

Да, это то самое место, где много лет назад он остановился, когда со своими солдатами покидал город.

И тогда было утро, шел снег, и поземка сразу заметала дорогу, по которой они спускались...

Антонио стоял тогда, опустив голову, и ему казалось, что ничего не останется от всего, что было.

Колонна промерзших солдат тоже остановилась в ожидании.

— Почему мы стоим?

— Почему не бежим?

— А куда? Разве перепрыгнешь море?..

Мулы фыркали и били копытами по заснеженному камню.

Многие солдаты, скинув с плеч винтовки, закуривали. Никто толком не знал, когда и куда пойдут, что будет дальше. Назад—нельзя, вперед—не решались.

Солдаты поглядывали на своего командира. А он не двигался с места и только шептал: «Анджела...»

Антонио чувствовал, что ни на что не может решиться, ни на что не способен.

Карло стоял рядом и беззвучно плакал.

Антонио повернулся к нему. В слишком широкой шинели с меховым воротником Карло напоминал испуганного ребенка.

«Я и не знал, дружище, что ты так любишь меня», — подумал Антонио.

— Не нужно плакать, Карло, — сказал он. — Я вернусь сюда обязательно. Как только все кончится.

Карло отупело посмотрел на него, сначала не поняв даже, о чем он говорит. Потом глаза его потемнели от ненависти.

— Ты что... Думаешь, я из-за тебя? — сказал он негромко.— Какое же ты ничтожество, Антонио!..

— Что с тобой, Карло? Ты с ума сошел?

А Карло крикнул:

— Хватит!.. Хватит с меня! Не хочу больше молчать!..

— Прекрати, — приказал Антонио.

— Теперь ты — ничто! — сказал Карло. — Как я. Как все они! — он показал рукой на топтавшихся на месте солдат. — Все мы — разбитая банда на чужой земле!..

— Это все, что ты хотел мне сказать?

— Я люблю Анджелу, как ты... Нет! Больше, чем ты,— хрипло говорил Карло.— Я любил ее так, как ты никогда не сможешь!..

Антонио протянул руки, будто пытаясь заслониться ими от чего-то, чего и сам хорошо не понимал.

Карло продолжал:

— Я всегда подслушивал под дверью. Я слышал, как вы смеялись... Я подглядывал каждый раз, когда она к тебе приходила... Как же мне было больно и стыдно!.. Я умирал от стыда...

Карло снова заплакал.

— Мы одинаково страдаем, — сказал Антонио.

— Лжешь! Наши чувства никогда не были одинаковы. Ты ее взял, как брал все, что тебе хотелось взять!..

— Я люблю Анджелу, — сказал Антонио.

— Ты всегда любил только самого себя!

— Перестань! Пора в путь.

— Идите вы все к дьяволу! Я никуда не пойду отсюда!

— Пойдешь! Вместе с нами. Туда...

— Не пойду. Нет мне пути туда.

— Прекрати...

— Зачем? Пусть все слышат! Пусть все видят!..

— Ты не вернешься в город.

— А тебе-то что? Для тебя Анджела была обычная шлюха. Да, шлюха!..

Антонио затрясло. Рука его невольно потянулась к кобуре...

Колонна шевельнулась, потревоженная выстрелами, но никто не подошел. Никто ничего не сказал.

А снег все падал и падал. Большие, похожие на белых бабочек пушистые хлопья медленно кружились, словно выбирая место, куда опуститься. Снежинки падали на Карло, ложились на его открытые мертвые глаза..

...Жена тронула Антонио за руку. Он очнулся и вдруг ощутил раскаленное солнце над головой. Никого, кроме них, на дороге не было. Громко звенели кузнечики.

— Что с тобой? — спросила жена.

Антонио вытер липкий пот со лба. Горячий, трепещущий воздух туманил глаза. Он молча подошел к машине, сел, взялся за руль. Впереди высились горы; теснясь, громоздясь одна на другую, они застилали весь горизонт, и трудно было определить расстояние до них. Антонио включил мотор.

— Здесь мы застрелили одного нашего парня, когда отступали... Пытался дезертировать.

— А почему он не хотел уйти с вами?

— Там, наверху, в городе, у него была девушка...

— Значит, он ее любил, а вы его...
Антонио был бледен.
— Замолчи, — сказал он. — Ты ничего не понимаешь...

II. Встреча

«Ну вот, я и вернулся», — подумал Антонио.

С места, где он стоял, виднелись белые купола монастырских строений, колокольня, равная по высоте новым многоэтажным зданиям с плоскими, будто ножом срезанными крышами.

На улице не было ни души.

Сначала он подумал, что это случайность, но потом вспомнил, что сегодня воскресенье и что все живое прячется от солнца либо в домах, либо в тени редких деревьев.

Они двинулись вдоль новостроек, закрывавших собой поле — единственный зеленый, покрытый травою кусочек земли в этом каменистом крае, где месяцами напрасно ожидали дождя...

Медленно обойдя большую кучу цемента, лежавшую на улице возле окруженного лесами дома, Антонио заметил кривую, ржавую трубу, из которой журча бежала струйка воды. Ею, вероятно, пользовались строители и плохо закрыли кран. Он подошел, омочил руки, но почувствовал, что тепловатая вода не принесла облегчения.

— Тебе жарко? — спросил он жену.

— Еще как!

Утирая платком лицо, она недоуменно озиралась вокруг, явно не понимая, к чему эта бессмысленная прогулка под палящим солнцем. Женщина изнывала от усталости.

Антонио шел быстро. Иногда он приостанавливался, и жене казалось, что Антонио узнает какое-то место, но он тут же шел дальше, и она по выражению его лица понимала, что он ошибся.

— Давай сначала осмотрим город, — вдруг сказал Антонио, будто они и так не делали этого.

— Не понимаю, что ты здесь полюбил... Тут все так обыденно!..

Он усмехнулся, ничего не ответил и повернул налево.

Небольшая улица переходила в маленькую, неприглядную площадь, где строительные работы, судя по обвалившимся канавам, лежащим в беспорядке старым доскам и грудам камней, были давно заброшены.

«Словно наспех расчищенные развалины в дни войны», — подумал Антонио.

Он ускорил шаг и теперь почти тащил за собой жену, едва передвигавшую ноги. Они миновали магазин с большими витринами, повернули за угол, и их взорам внезапно открылся старый город. Антонио остановился, не веря глазам.

Серые стены приземистых, продолговатых домов показались ему еще более старыми, опущенные желтые жалюзи делали окна слепыми. В безлюдности, в спокойной прямолинейности длинных рядов темных крыш, напомнивших ему ряды военных палаток, он вдруг ощутил присутствие далекого прошлого.

Все тут с виду осталось таким, как много лет назад, когда он со своими солдатами впервые вступил в этот город. Никто их тогда не встречал: одни — из страха, другие — из ненависти. А сейчас, казалось, город своим спокойствием и пустотой улиц подчеркивает свое безразличие к тому, что он вернулся сюда.

Проходя мимо закрытых окон, он несколько раз невольно оборачивался, словно ожидая выстрела в спину. Он не мог полностью избавиться

от страха, хотя разумом и понимал, как это глупо — то, что было, давно прошло. Его охватили воспоминания, в памяти всплывало все до мельчайших подробностей.

В центре площади они увидели маленький прямоугольный бассейн, возле которого росли два тополя с побуревшими от зноя листьями. Несколько парней стояли под ними. Парни были в белых майках, некоторые — в шортах, почти у каждого в углу рта дымилась сигарета.

Антонио направился к бассейну, держа жену за руку. Казалось, что он боится подойти к этим парням один. Но он обрадовался этой встрече.

Парни прервали разговор и, ухмыляясь, разглядывали подходивших. Антонио заметил, что они курили и сплевывали в его сторону. Он подумал, что делают они это неспроста, но решил показать им, что их поведение ему безразлично. Он остановился неподалеку и встал, повернувшись к ним боком. Мокрая от пота рубашка прилипала к телу.

«Нет, так нельзя»,— подумал он. И, взглянув искоса на парней, увидел, что они невозмутимо стоят на самом солнцепеке. Парни продолжали сплевывать, и глаза их дерзко блестели.

«Узнали меня, наверно,— подумал Антонио.— В те годы меня здесь хорошо знали!»

Он вспомнил, как они — тогда совсем еще дети, — завидев его издали, бросали игры и прятались за угол, в ворота домов. Вспомнил, что ему всегда хотелось подойти к ним и улыбнуться, но это никогда не удавалось: они успевали скрыться...

Сейчас его вдруг порадовало, что тогда они боялись его.

Парни в белых майках о чем-то пошептались и громко захохотали.

Антонио повернулся к ним спиной.

«Выросли, — подумал он. — Взрослыми стали». И тут же понял, что этим трусливо пытается объяснить их дерзость, хотя хорошо знал, что дело совсем в другом.

Он скинул сначала один мокасин, потом другой. Нагретая солнцем мостовая обожгла голые ступни. Он присел на невысокий бортик бассейна и опустил ноги в воду.

— Эй! Что делаешь, синьор? — крикнул кто-то из парней.

Он не ответил. И хотя теплая вода не приносила облегчения, продолжал болтать в ней ногами.

«Что ж ты меня тогда не окликал?» — подумал Антонио.

И вспомнил, как однажды здесь, на этой самой площади, забитой бочками, грузовиками, он стоял на балконе казармы («где она?.. они ее снесли?..») и слушал, как оглашали приказ, которым жители оповещались, что «будет расстрелян каждый, кто...» и так далее, и так далее... А люди стояли молча, опустив головы, и никто ни о чем не спрашивал.

Он украдкой обернулся и взглянул на парней. Они больше не обращали на него внимания. Они разглядывали его жену — так, как смотрят на женщину взрослые мужчины.

«Не очень-то вы храбры,— подумал он.— Только смотрите. А я Анджелу водил под руку по всему городу, и весь город молчал! Вот я снова здесь и, если захочу, вновь пройдусь с ней, как когда-то. Чтоб вы все видели!»

Однако вслух не произнес ничего.

До его сознания как-то сразу дошло, что он стоит на раскаленной, почти пустой площади, что кругом горы, что он пришел сюда незваный, усталый и опустошенный и ничто не может оправдать его нынешнее присутствие здесь.

Он видел свою жену, непрестанно отиравшую пот с лица и нетерпеливо ожидавшую минуты, когда они наконец пойдут дальше; он видел парней в белых майках, продолжавших дерзко разглядывать его жену.

И вдруг спросил себя: «А быть может, у Анджелы есть муж, есть дети, которых она любит?

Или, быть может, она не живет больше здесь?

Или она забыла тебя, как сам ты забыл многих других женщин, Антонио?..

А ведь мы ходили по этим самым улицам рядом, Анджела, — думал он. — Что это? Разве возможно, чтобы ничего, ничего не осталось от прошлого?...»

А ведь все вокруг прежнее. Вот и этот маленький мостик наверху, над городом. Серый, рассчитанный на века, он выгнулся над расселиной между двумя скалами и не вел никуда: реки тут нет, и переходить его не было смысла — он вел туда же, куда и все козьи тропы...

«Мы с Анджелой часто сидели на этом мосту, — вспоминал он. — Ночью никто не видел нас там. Лишь Карло говорил, что боится за нас, и иногда нас сопровождал.

(Теперь-то я знаю, почему он ходил за нами...)»

— Ты мне столько рассказывал об этом городке, что я, вероятно, сама могу узнать здесь все, — сказала, подойдя ближе, его жена. — Вот там, под теми вязами, ты отдыхал, когда тебе хотелось побыть одному. Да?

«Под этими вязами я всегда сидел вдвоем с Анджелой... Пили мы доброе здешнее пиво за столом из грубо отесанных досок, сидя на низких табуретах», — подумал он. А сказал:

— Раньше здесь была маленькая кафана...

— Да, ты мне рассказывал.

Он улыбнулся, и они двинулись дальше, переходя наискосок узкую улочку, вымощенную мелкими, гладкими, желтыми камнями, напоминавшими кукурузные зерна.

Ему показалось, что он снова провожает Анджелу домой.

— Сейчас я отведу тебя в отель, — сказал он.

— А сам?

— Поброжу по городу, поищу старых приятелей.

— Приятелей? Разве у тебя здесь были приятели?

— Что ж, по-твоему, мы тут только и делали, что убивали?

— Но ты о друзьях мне не говорил...

«Еще два-три перекрестка, и мы выйдем на улицу, где жила Анджела, — подумал он. — Четвертый дом слева, желтоватый такой; деревянный забор; двор, и в нем несколько деревьев... Персики... Боже, живет она там или нет?.. Мать у нее все время болела... Старухи, наверно, уже нет. А Марко, ее маленький братишка, вырос и, быть может, уехал куда-нибудь...»

Ему захотелось найти ее здесь одну, и чтобы она была незамужем и хоть немножко несчастна из-за разлуки с ним. И тогда можно было бы подумать, будто она все время ждала его...

Он не сразу назовет себя, ведь он очень изменился за эти годы. Скажет, что его послал сюда его друг Антонио.

Ну нет, она конечно же сразу узнает его. Как она его встретит? Что скажет?..

Он думал так, хотя и знал, что это невероятно, что все это бессмыслица: слишком долгой была разлука...

Не доходя до улицы, где жила когда-то Анджела, он резко свернул вправо, как бы спасаясь от лучей солнца.

А увидев красивый двухэтажный дом с хорошо знакомыми окнами, полузакрытыми ветвями огромного столетнего дуба, Антонио ускорил шаги, словно спешил пожать руку старому другу.

Это была гостиница. В тени дуба за столиками сидели праздничпо одетые, чисто выбритые люди и играли в карты.

Антонио обратился к ним на их языке:

— Добар дан!

Они внимательно осмотрели его, потом, после недолгой паузы, самый старший из них ответил за всех:

— Добра ти среча.

Он знал, что это пожелание удачи было своеобразным приглашением сесть рядом, выпить вина. Люди показались ему близкими и простыми.

«А я-то думал о них бог знает что», — усмехнулся он.

Антонио решил, что прежде, чем присоединится к ним, снимет комнату и отправит жену туда отдыхать.

«Не поведу же я ее знакомиться с Анджелой!..»

III. Расправа

Он не сводил с них глаз.

Эти люди были спокойны; ни на секунду не изменилось выражение их лиц, не сдвинулись они с места.

Человек со шрамом на лбу продолжал медленно тасовать карты, на губах его застыла отсутствующая улыбка; он словно забыл только что произнесенные слова.

Антонио все еще колебался. Он не мог поверить, что услышанное им было действительно сказано, — быть может, все это ему просто почудилось. Он пытался оправиться от растерянности.

«Они убили Анджелу...»

— Неужели ее убили? — спросил он.

Люди положили карты на стол. Теперь все смотрели на него. Очевидно, их насторожил его глухой, прерывающийся голос.

Один из них ответил:

— Да.

— Анджелу?! — спросил Антонио.

Он стоял как вкопанный, неловко нагнувшись над столом.

«Это правда — они убили ее!» — подумал он. А сказал:

— Вы с ума сошли!.. Анджелу?!

Он чувствовал, что силы оставляют его, что он не выдержит больше. Это — конец, он знал это, потому что не мог даже заплакать, не то что говорить. И все-таки прошептал:

— Убили Анджелу?.. Маленькую...

И вновь им овладело сомнение. Все это неправда, они сказали это просто так. Если ее убили, почему же они так спокойны, так равнодушны? Это все — дурной сон. Но кузнечики звенели так явственно и громко, что он понимал — нет, это не сон.

— Она ведь только любила,— сказал он.

— Да. Но — кого, синьор? — спросил старик с тонкими, длинными усами.

— Одного моего друга. Разве любовь — преступление?

— Такая? Да. Преступление, — сказал старик.

— Преступление! — словно эхо, повторили все, кто сидел вокруг, и все они были по-прежнему спокойны.

— Твой приятель был оккупант.

— Он был убийца!

— Неправда! — сказал Антонио. — Для нее он не был убийцей. Она его просто любила.

— А если и так, — сказал старик, — если и так, то она все равно была здесь чужая. Она не была дочерью этой земли.

— Нет, она была ваша, — сказал Антонио.—Она любила эту землю и всех вас.

— Откуда вы это знаете, синьор? — спросил человек со шрамом на лбу, и его голос звучал уже не так спокойно, как раньше.

Антонио заметил в глазах этого человека подозрение, но у него и не было больше желания скрывать что-либо. Сейчас все становилось ненужным, неважным.

— Я хорошо это знаю. Если б не она, многие из вас не играли бы сегодня здесь в карты.

— А-а, — их голоса слились в один. — Значит, это ты, команданто?!

— Это ты, Антонио, дорогой?!

«Даже имя мое помнят до сих пор! — подумал Антонио. — Проклятые!»

— А-а, ты все-таки вернулся?.. Ты все-таки пришел...

— А разве вы меня ждали? — спросил Антонио. — Я пришел сюда из-за Анджелы. Я хотел это сделать давно. Раньше. Кто знает, сколько раз я собирался приехать... Чтобы увезти ее или чтобы остаться здесь... Чтобы быть с ней. Я любил ее, и ничто не остановило бы меня... Где бы я ни был, я помнил о ней и считал этот город своим.

— Был он твоим. Когда-то!.. — сказал старик.

— Никогда он не был твоим! — сказал человек со шрамом на лбу.

Антонио ощутил, что его переполняет ненависть к ним — такая, какой он не испытывал никогда.

— Я любил ее, — сказал он. — Если б не было Анджелы, я убивал бы вас без пощады за все, что вы творили тогда. А вы творили многое!..

— Мы много натворили?

«Псы!» — подумал Антонио. А сказал:

— Вы забыли. Но я помню.

— Это мы-то забыли?!

«Псы! — вновь подумал Антонио. — Сукины дети!» А сказал:

— Я никогда не приказывал мстить. Если мы кого-нибудь забирали, вы приходили, просили меня, и я отпускал его. И все это ради Анджелы!

— Мы никогда ни о чем тебя не просили, — сказали они.

— Нет, просили, — сказал Антонио. — Только вы забыли про это, потому что я вас прощал!

И подумал: «Как же мне тяжко!..»

— Ты нас прощал?! Ты?.. Нас?..

— Да, я — вас.

И подумал: «Что я наделал!..»

— А разве мы звали тебя сюда?

— Чтобы ты решал: жить нам или нет?..

— Судить нас?

— Прощать нас?

Антонио возразил:

— Тогда была война. Мы были неприятелями.

— А сейчас ты зачем сюда пришел?

— Может, ты тут что-нибудь забыл?

— Или захотел посмотреть на могилы наших людей?

— Или захотелось нашего пива? Оно у нас хорошее...

— А может, захотел пересчитать нас — сколько осталось?..

— Или мы что-нибудь тебе должны?

Антонио посмотрел на их руки, они двигались как-то странно: не слишком медленно, не чересчур быстро — размеренно и резко... Глаза у людей сверкали, и ему вдруг показалось, что у них глаза одинаковые — одна и та же ненависть, угроза горели в них, и он ничего этой угрозе и ненависти не мог противопоставить. Внезапно все утихло.

— Я не убивал вас, — сказал он негромко, лицо его покрылось потом. — Я любил Анджелу. И не жалею об этом. Вы были для меня ее братьями, ее отцами...

Он подумал: «Псы неблагодарные!» А сказал:

— Вы все-таки убили ее. Не пожалели. Люди без сердца...

«Что ж ты не скажешь им всего, что ты о них думаешь?» — спрашивал он себя. «Сукины вы дети!» — хотел он им крикнуть. Но не сказал ничего.

Они поднялись со своих мест, и он увидел в их глазах странный блеск, они смотрели на него, как на мертвеца.

«Что они собираются делать?» — забеспокоился он и встал.

Он не знал — страх заставил его подняться или что-то другое. Он прошел между столиками, возле которых стояли они, и никто не остановил его.

Едва он вышел из прохладной тени старого дуба, солнце огнем хлестнуло его по глазам, но он этого не почувствовал. Он пошел по площади. Она была пуста. Он поднял глаза. Впереди чернели крыши. Кузнечики звенели все громче и громче.

«Они тоже идут»,— подумал он. Он знал — они идут следом.

Возле бассейна не было больше парней в белых майках. Тонкая струйка воды было единственным, что двигалось впереди.

«Они идут за мной. Не отстают ни на шаг»,— думал он, но не хотел оборачиваться.

И все-таки обернулся, именно тогда, когда меньше всего хотел этого, и увидел большую толпу позади; она следовала за ним бесшумно, всего в нескольких метрах от него.

Поднялся чуть ли не весь город.

Он старался не прибавлять шага, будто это хоть как-то могло повлиять на исход молчаливого, медленного преследования под жгучими лучами солнца. Он хотел внушить им, что равнодушен к тому, что они задумали.

Но их молчание рождало в нем страх.

Он думал о том, что, когда все они были моложе, они боязливо обходили на этих же улицах тротуар, по которому он проходил.

«Хорошо, что ее нет в живых»,— подумал он, потому что сейчас бежал он, да — бежал, хотя знал, что убежать не может: и некуда, и поздно... Он дрожал и еле волочил ноги.

И вспомнилось ему, как он однажды сказал Анджеле, что будут они неразлучны и в жизни, и в смерти.

Он остановился, будто некуда ему было спешить. Казалось, он обдумывает, как их встретить.

Толпа окружила его. Были тут и женщины, и дети. Он всех хорошо видел. Он почувствовал себя маленьким и ничтожным внутри живой стены человеческих тел на тесном кружочке земли, откуда не было выхода.

А солнце продолжало палить, хотя полдень уже миновал.

«Что я им скажу? — говорил он себе.— О, если бы я мог плюнуть каждому из них в лицо! Всем, сколько их тут есть! И плюнь, если посмеешь,— они рядом, совсем близко...»

Он не спускал с них глаз, удивленных и усталых.

А они усмехались, и многие из мужчин держали узловатые трубки в зубах. Они не двигались. Не говорили.

Антонио понимал, что это опаснее, чем если бы они кричали на него; во сто раз страшнее, чем если бы они плевали ему в лицо, как хотел это сделать он сам, но не смог; он знал, что это ужаснее, чем если бы они ругались и угрожали ему.

И он решил назло им улыбнуться. Он собрал все силы и растянул губы в усмешке. Но напрасно. Они словно не замечали этого.

Он улыбался, будто радовался, что их видит, а сам думал о тех временах, когда мог накричать на них, пригрозить, запугать одним словом. И еще подумал: вот хорошо было бы, если б сейчас вернулся вдруг его голос, тот, тогдашний, и вообще все то, что делало его могучим и страшным!..

Но тут же понял, что это невозможно, что все, что имел тогда он, было теперь у них, и он так же не мог ничего с ними сделать, как они не могли ничего поделать с ним тогда.

Он всмотрелся в толпу и увидел, что здесь было много сильных, взрослых мужчин. Они стояли позади. Среди них он неожиданно увидал старика, который дал ему на пути гроздь винограда. Антонио был уверен, что это именно он,— такие старики не бывают на кого-то похожи, они походят только на самих себя.

Антонио захотелось его при всех поблагодарить за виноград. Так он смог бы доказать им, что не трусит, что они не выбили его из седла.

Но он опять не произнес ни слова. Только подумал: «Я не бегу. Что ж вы не начинаете?!»

Он заметил, что люди, окружившие его, утирают ладонями лица. И что их мокрые от пота рубахи прилипают к плечам. Он коснулся пальцами лба и почувствовал, что лоб сухой. «Эх вы, бедняги!» — хотел он сказать. И вновь усмехнулся, но теперь уже по-другому. Медленно вынул из кармана сигарету и закурил. Сейчас ему даже не хотелось смотреть на них.

Вдруг толпа бесшумно расступилась.

Антонио показалось, что он победил и что они сейчас разойдутся.

Он чуть было не сказал: «Что? Не посмели?»

Но тут же увидел, что какой-то парень направляется к нему. Парень был красивый, смуглый; брови его были плотно сдвинуты.

— Марко,— зашептали в толпе.— Пришел Марко... Пришел...

Антонио смерил парня взглядом, как любого другого, кто вышел бы из толпы. Парень остановился — он крепко стиснул зубы, плечи его ссутулились; он словно приготовился к прыжку.

И тут только до сознания Антонио дошло его имя, облетевшее толпу, и он взглянул парню в глаза.

Они были точно такими же, как у Анджелы, и в лице его было что-то от ее лица.

Антонио шевельнулся, будто хотел переместить тяжесть тела с одной ноги на другую, но на самом деле просто едва держался на ногах.

«Все это неправда»,— подумал он.

И сразу сказал себе: «Это — правда!»

Он узнал в парне мальчишку, которого любил тогда, когда тот играл вблизи Анджелы.

И вспомнил то зимнее утро, когда падал снег, а Марко, которому было лет пять, плакал и хотел уйти вместе с ним.

А теперь он вновь видел его, уже большого, похожего на тех парней в белых майках. Только он не был так спокоен, как они, и лицо у него было темнее, но не от загара.

Они стояли друг против друга. Лицом к лицу.

— Добар дан, Марко!

— Бон джорно, Антонио.

Но оба подумали: «Плохой день». «Черный день».

Люди в толпе шептались. Антонио больше по поведению толпы, чем по виду Марко, ощутил грозящую ему опасность. Но, к удивлению, не струсил, хотя и был уверен, что сейчас совершится то, чего не случилось несколько минут назад.

У брата Анджелы сузились глаза.

Антонио ничего в них не увидел: ни ненависти, ни боли, и стоял с та-

ким видом, будто его не волнует то, что происходит, хотя отлично понимал, что все это — не игра. У него лишь непроизвольно приоткрылся рот.

Он вдруг ощутил острый кончик стального лезвия под самым горлом. Это вернуло его к реальности. Он увидел сперва пальцы Марко, крепко сжимающие рукоятку большого ножа, затем всю руку, а потом и всего Марко, который вот уже несколько секунд стоял недвижимо, вплотную приблизившись к нему. Антонио облизнул губы; у него заныл живот и ноги стали холодеть, словно навсегда отделяясь от тела. Ему показалось, что в лице Марко исчезло сходство с Анджелой, но потом он вспомнил, что и у нее бывало такое же выражение лица, когда она, рассердившись на что-нибудь, разъяренная, упорно молчала...

И он вновь усмехнулся, и страх пропал. Он не хотел отводить горло от ножа, острый конец которого медленно вжимался в его кожу. Он продолжал стоять как вкопанный.

Опять перед ним был маленький мальчик, которого он когда-то полюбил, и ему стало казаться, что все, что тут происходит,— какая-то новая игра, придуманная Марко. Он даже сказал про себя: «А давненько мы с тобой не играли!..»

Ни тот, ни другой сейчас не видели стоявших кругом них женщин и детей, не замечали мужчин, которые, забыв закурить сигареты, молча ждали.

Они забыли обо всем, что их окружало, и в толпе никто ничего не говорил, никто не вмешивался.

Они были одни.

Антонио хотел сказать: «Как же ты вырос, стал настоящим мужчиной!..»

Марко хотел сказать: «Хорошо, что ты здесь. Я едва дождался тебя...»

Антонио хотел сказать: «Помнишь, как хорошо нам было с Анджелой, как мы любили друг друга. Ты был совсем маленький...»

А Марко хотел сказать: «...чтобы убить тебя за все то зло, которое ты здесь оставил, за позор...»

А Антонио хотел сказать: «Но нет уже нашей Анджелы...»

А Марко: «...за смерть моей сестры, которой я стыжусь».

А Антонио: «... они убили ее, проклятые!..»

А Марко: «... убить тебя за все мои страдания...»

А Антонио: «Если бы я мог обнять тебя, как когда-то, вместо нее...»

А Марко: «... потому что все эти годы они смотрят на меня только как на ее брата...»

А Антонио: «...которая была самая красивая, самая хорошая из всех женщин, которых я встречал...»

А Марко: «...и показывают на меня пальцем...»

А Антонио: «Уверен, ты счастлив, что имел такую сестру...»

А Марко:«...будто я прокаженный, будто я не человек...»

А Антонио: «...как и я счастлив, что знал ее, что она была для меня и жизнь, и все, что имел, все, что мог иметь...»

А Марко: «И все это потому, что ты однажды побывал здесь...»

А Антонио: «...потому что и родина стала мне чужой без нее, и дни без нее были пусты...»

А Марко: «И вот ты снова пришел сюда, чтобы напомнить обо всем, что было, чтобы я не забыл то, что хотел забыть...»

А Антонио: «И вот я пришел, чтобы снова увидеть ее, чтобы увидеть всех вас и эту землю, которую я полюбил вместе с Анджелой...»

А Марко: «И ты найдешь здесь смерть, потому что нет тебе спасения теперь!..»

А Антонио хотел сказать: «...а нашел здесь смерть, потому что ее нет в живых...»

Но не сказали они ни слова и лишь молча смотрели друг другу в глаза.

Нож под горлом Антонио шевельнулся. Рука, державшая его, дрогнула.

Солнце, медленно клонясь к западу, нещадно пекло...

«А день все еще не кончился»,— подумал Антонио.

И он увидел вдруг, что толпа отступила, люди отошли на один-два шага назад, как бы не веря тому, что случилось.

— Проклятые! — прошептал он.

В глазах у него все плыло. Солнце слепило их. Он зажмурился и, открыв глаза, увидел, что площадь пустеет, толпа исчезает так же медленно и бесшумно, как шла за ним сюда.

«А Анджелу убили...»

И увидел Марко в нескольких шагах от себя, сгорбившегося, охватившего руками голову, и руки его походили на две большие белые кости.

Антонио подумал: «А я жив... И день еще не кончился...»

Ему захотелось крикнуть, заорать на всю опустевшую площадь:

«Не было вас!»

Но он, лишившись последних сил, опустился на камни, и казалось, никогда больше не сможет встать.

Он успел лишь спросить:

— Разве не кончился еще этот день?..

IV. Истина

Он был один, и над ним светилось звездное небо. Он уже давно стоял так, неподвижно, один на горе. Кузнечики звенели тише, чем прежде: они или утомились, или не с кем им было соревноваться. Их однообразный хор доносился издалека, из темной дали, и он никак не мог осознать, ощутить свое присутствие в этой пустой ночи.

— Это конец,— сказал он.

Мягкие и дружные голоса кузнечиков — единственное, что связывало его с миром, который все еще был тут, они казались ему заблудившимся эхом только что минувшего дня, в котором все события разыгрались так быстро и непредвиденно.

Он смотрел вниз на сонные, без единого огонька, улицы города. Этот маленький городок в горах не существует больше для него, так же как любое другое место на земле, о котором он не слыхал и которое не видел.

Скала, к которой он прислонился, отдавала ему тепло, впитанное ею днем.

«Да, но этот город... Как мне забыть его?..» — думал он.

Память вернула его в другую летнюю ночь, когда он, заглядевшись на звезды, плывшие по небу с той же скоростью, что и его гондола, только в противоположном направлении, был счастлив, потому что думал тогда об этих горах и об Анджеле. И он почувствовал себя обманутым собственными мыслями в ту венецианскую ночь! Гора, на которой стоял он сейчас, не была той горой, о которой мечтал он тогда.

И Анджелы тоже не было.

Анджела мертва... Была ли она мертвой уже тогда, в ту ночь, когда он, думая о ней, был так счастлив? Он вспомнил, что это было в 1951 году.

— Да,— сказал он,— она уже была мертвой тогда. И даже раньше.

Ее не было в живых уже в 1949 году, летом, когда он лежал на пляже в Анции и объяснял женщине, лежавшей рядом с ним, что тело так долго может выдержать в горячем песке потому, что рядом — море. Он болтал с ней, а думал тогда только об Анджеле...

«Как же ты обманывался, Антонио! — подумал он.— Ты ошибался всегда и во всем...»

И он вспомнил, как однажды в какой-то таверне, в Анции, всю ночь бил посуду и оскорблял незнакомых людей за соседними столиками, не понимая, что делает все это только потому, что кипело в нем желание что-то делать, а что — все равно. Тогда, возвращаясь домой, усталый и еще более одинокий, чем раньше, он думал об этом городке, думал о своей молодости, проведенной здесь, как о чем-то достойном вечного воспоминания, потому что это было время, когда ему было, в конце концов, хорошо, когда многое было...

«Убивал ты сколько мог, сколько смел и старался не быть убитым... Да, было все это!» — думал он.

Мать писала тебе тогда: «Дорогой Антонио, сынок, береги себя, я слыхала, что люди там бунтуют и что там большие снега...»

А ты отвечал ей, что все в порядке, что она не должна волноваться, что люди здесь усмирены и что зимы здесь не так уж холодны.

Лгал ей и старался остаться здесь подольше, жил здесь по какому-то странному праву...

Временами совсем не хотелось возвращаться на родину. Ему было хорошо с Анджелой, и он ни разу тогда не подумал о том, что может произойти, о том, что, в конце концов, вот и произошло.

Он не думал об этом в то снежное утро, когда с солдатами уходил отсюда, он ничего не предвидел и сегодня утром, когда вернулся сюда спустя столько лет...

Никогда он не думал об этом, никогда в своей жизни.

— Проклятые! — сказал он.— Убили ее.

И посмотрел на свои руки, протянувшиеся к городу. Они дрожали и походили на длинные тени.

«О, если б я их убивал!.. Одного за другим!.. Всех, подряд, чтобы никого не осталось!..»

— И этого я не сумел сделать,— сказал он.

Но тут в его сознании воскрес Карло, красивый и заплаканный, похожий на ребенка.

«А тебя я убил, дружище... Оставил на той дороге над морем и позволил снегу занести тебя. Ушел и не обернулся. И все за то, что ты назвал Анджелу шлюхой...»

«Разве за это я убил его?» — спрашивал себя Антонио сейчас и понимал, что совсем не за это. Убивая Карло, он хотел убить — и убил — свое колебание, свое желание дезертировать и вернуться к Анджеле.

(Теперь он знал это твердо. Он шептал: «Вот, целый город думал об Анджеле то же, а я ведь им ничего не сделал, ничего не могу сделать и не хочу...»)

— Как все это гнусно,— сказал он громко.— А все потому, что я не знал, что делать с собой. Так было и позже, когда я анонимно посылал деньги матери Карло. Как это было подло — словно хотел заплатить ей за сына...

Ночь стояла тихая, где-то вдали — совсем темная.

— Будет ли конец этой ночи? — снова вслух спросил он себя.

И подумал о другой бесконечно тянувшейся ночи, когда он ехал к своей жене в Рим. Сосед по купе спросил его, куда он едет, а он ответил, что не имеет понятия, и что ему это безразлично... Ответил так потому, что знал: гремевший и лязгавший поезд не привезет его к Анджеле. Он сказал тогда себе, что есть лишь один путь для него — путь к Анджеле. Именно тогда и решил он окончательно, что поедет сюда.

Антонио вздрогнул, подумав: «А ведь никакого пути к ней уже не было, кроме смерти... Почему я не забыл ее раньше? Почему не могу забыть сейчас и ее, и все, что здесь было?..»

— А я — жив,— сказал он, глядя вниз, на город, столько лет не забывавший даже его имя, и подумал о людях, хотевших его убить, но не убивших, подумал о Марко, который тоже хотел убить его.— Они помиловали меня,— прошептал он.

Крыши внизу блестели в лунном свете. Он выпрямился и подумал: «Как прекрасна эта ночь. И — тиха, словно жизнь остановилась...»

И собственная жизнь показалась ему чужой, будто кто-то другой давно рассказал ему ее, а он лишь запомнил из этого рассказа отдельные детали, бессвязные подробности, которым не находил теперь оправдания.

«Все было ошибкой, Антонио. Ты верил, что делаешь то, что нужно, и не знал, что все заранее обречено на провал... Ты смеялся над Анджелой, когда она беспокоилась о будущем, и говорил ей: «Все будет так, как мы захотим! Мы вместе, а это самое главное. Мы все будем решать сами!..»

Говорил так, убежденный, что для страха нет причин, что ее волнения — обыкновенная женская сентиментальность...

«Ты был сумасшедшим, человек. Они сделали с ней то, что сочли нужным, и ни о чем ее не спросили. Они и с тобой сделали то, что хотели, и ни о чем тебя не спросили. Никогда ты сам ничего не решал. Всегда шел по пути, который для тебя выбирали другие... Поэтому-то и нет ничего хорошего в том, чем ты был».

Больше того, даже любовь его и Анджелы не казалась ему теперь прекрасной.

«Убили ее — униженную, а меня, униженного, оставили жить. Вот каков наш конец...» — подвел он итог.

И ничего не в состоянии был вспомнить из своей жизни, что могло бы сейчас казаться действительно прекрасным и о чем он мог бы подумать без боли в эту ночь, стоя один под мерцающим звездным небом...

Невыносимо было это сознание своего ничтожества и полного одиночества, и он не знал, что ему делать с собой. Он огляделся вокруг. Да, он один здесь, на маленьком, узком мосту, выгнувшемся, словно туго натянутый лук, меж двух скал, на мосту, который не ведет никуда.

И тут он вдруг услышал свое имя.

Жена звала его, и голос у нее был усталый и испуганный — вероятно, она давно уже его искала.

— Антонио!.. Ан-то-ни-о-о!..

То было его имя, и лишь оно одно звучало сейчас над этим успокоившимся миром.

И он подумал: вот имеет человек пса и держит его на цепи, не выпуская цепь из рук; и каждый человек — пес для какого-то другого человека, потому что не может разорвать цепь, на которой тот его держит.

—Антонио!..

«Зовет меня,— подумал он.— Значит, я существую».

И оглядел себя, ощупал пальцами голову, грудь, будто не веря, что это его тело.

Потом прислушался и снова услыхал свое имя.

«Да, я все еще жив... Я все еще здесь...» — подумал он.

Медленно, не размышляя, поднял он руки, зажал ладонями уши, и локти его нелепо растопырились в разные стороны.

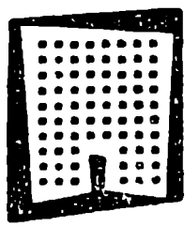
Теперь он ничего не слышал.

...Жена его заметила издали какую-то высокую тень на мосту, но в темноте не смогла сразу определить, что это.

— Господи,— прошептала она,— как похож этот надгробный крест на моего Антонио...

Перевод с сербскохорватского ГЕОРГИЯ КОФМАНА

СМЕРТЬ ГОСПОДИНА ГОЛУЖИ



рошло несколько душных и полных неизвестности дней, а городок ничего не узнал о господине Голуже. У него водятся деньги, наверно, он игрок, утверждали те, что победнее. Умудренные старцы в ответ вздыхали: будь он игроком, мы бы его мигом оставили без штанов. Они были уверены в одном — он не шпион, а то бы не разговаривал сам с собой и не избегал компании. Предположили было, что человек приехал отдохнуть, но казалось невероятным, чтобы такой господин решил предпочесть их глухой городок, имея на выбор столько курортов.

В чем мы провинились, спрашивали они себя, неужели так никогда и не узнаем?

Кто-то шепнул: я заметил на его лице печать несчастья. И самые любопытные поспешили на мост, где каждый день в полдень он стоял, опершись о каменный парапет, и долго, словно бы о чем-то размышляя, смотрел на фиолетовую реку, стремящуюся на север. Однако там его не оказалось, и люди подумали, что он уехал и навсегда останется нераскрытым все, связанное с его внезапным приездом. Так нам и надо, раз мы колеблемся, произнес один из них — тот, что всегда колебался.

Но господин Голужа неожиданно появился и вошел в кафану. Не обращая ни на кого внимания, прошел между столиками и сел в угол, повернувшись лицом к стене. Это уж слишком, подумали те, самые смелые, он нас вовсе не замечает. Наступило время что-либо предпринять: гадать дальше не было смысла.

— Простите, а почему вы непрерывно смотрите на реку? — произнес человек чуть побольше собственной тени.

— Я не умею плавать,— ответил тот.— А смотреть, по крайней мере, легко, не правда ли?

— Что вы делаете в нашем городке? Наверняка у вас важное дело?

Печать несчастья снова появилась на лице у господина Голужи. Он смотрел на свои некрасивые руки, лежавшие на столе. За окном лил дождь.

— Может быть, вы спасаетесь от кого-нибудь?

Он пошевелил руками, словно собираясь приподняться, но лишь закурил сигарету.

— Вы намерены остаться здесь? — спросил кто-то.

Господин Голужа и сам не мог бы ответить, почему в этом пыльном месте он провел несколько дней своего короткого отпуска. Вышло это и в самом деле совершенно случайно. При пересадке с одного поезда на другой из-за какой-то непонятной задержки ему пришлось провести более двух часов на посыпанной шлаком, душной и голой железнодорожной станции. Тогда ему пришло в голову, что неплохо было бы во время неожиданной паузы осмотреть незнакомый городок. И пока он бесцельно бродил по узким, украшенным старыми деревьями улицам, у него внезапно и безо всякой причины прошло желание ехать к морю, которое, вообще говоря, он никогда и не видел, и, не задумываясь над тем, есть ли в этом смысл, он внес свой скромный багаж в комнату гостиницы, два больших окна которой смотрели на реку. В конце концов, безразлично, размышлял он, вернувшись, я буду рассказывать, будто был на море, и все мне поверят. На другой день он уже не мог себе даже представить, что где-то в другом месте ему было бы лучше: он читал газеты, спал и часто выходил на мост, почти не вспоминая о своем однообразном, незначительном чиновничьем существовании и всех мелочных заботах, что

ожидали его в большом городе. «Неужто я останусь здесь»,—подумал он и улыбнулся. Ему захотелось позабавиться.

— Я выбрал ваш городок.

— Почему вы его выбрали? — у людей перехватило дыхание.

— Чтобы здесь покончить с собой,— снова улыбнулся он, сам не зная, почему сказал именно это, хотя мог ответить что угодно.

Люди сдвинули стулья в его угол. На их лицах появилась озабоченность, и ему это понравилось. «По крайней мере, позабавлюсь»,— сказал он себе.

— Господи, братец, что это с вами? Зачем вам кончать с собой?

— Смерть — великое дело,— ответил он.

— Не случилось ли у вас чего?

— Если из-за женщин, то не стоит. Женщины — ничтожество.

— Мужчины всегда кончали с собой из-за женщин или неудачной игры,— заметил кто-то из пожилых.

— Жизнь — игра,— педантично произнес господин Голужа.

Люди умолкли, не зная, что сказать. Кто-то из тех, кто поумнее, произнес:

— Не надо ему докучать. Человек знает, чего он хочет.

— Я всегда знал,— сказал он.

С этого момента жизнь господина Голужи пошла совсем по иному пути. Примирившись с его решением, горожане стали приглашать его на обеды, ссужали деньгами, которые он принимал, чтобы их не обидеть, а власти обратились к населению с призывом облегчить ему последние дни в их гостеприимном крае. Женщины восприняли это весьма серьезно и в предполуденные часы, пока мужья находились в канцеляриях, тайком посещали его, дабы доставить ему некоторое удовольствие. А пока женщины шептались между собой о том, что он самый странный из всех мужчин, кто-то пустил слух, будто господин Голужа — герой минувшей войны. Он сам махнул в ответ рукой. Неужели это столь важно, сказал он. Все мы должны кем-то быть. Он желал лишь, чтобы все так негаданно свалившееся ему на голову продолжалось дольше. Бывали минуты, когда это казалось ему невероятным, невозможным. Но скоро он привык к сознанию, что представляет собой важную и уважаемую в городке персону. О возвращении он больше и не помышлял и даже стал забывать о своей прежней незначительной и пустой жизни, поскольку не был больше в состоянии представить себя в битком набитой канцелярии и полупустой мансарде, где он провел столько лет, тщетно ожидая какого-нибудь важного и чудесного события. «Я останусь здесь,— думал он.— Здесь со мной это произошло».

Лицо его озарил некий до тех пор невиданный свет. Горожане уверовали, что он святой и что само небо призвало его вознестись ввысь. Почти вслух шептались, будто у него на лице уже заметен отсвет близкой кончины. Благо ему, сказал кто-то. Многие завидовали: одни — из-за смерти, большинство — из-за женщин, со все возрастающим пылом осаждавших его.

Он оставался спокоен и полон достоинства, словно бы предвидел все происходящее и оно по праву принадлежало ему. Он был внимателен ко всем, ибо многие стремились исповедаться и довериться ему, получить у него совет или утешение. Некий местный житель с наивным выражением на лице признался господину Голуже, что в своей жизни ему много доводилось убивать — и людей, и животных. Грех ли это? — вопросил он. Нет, ответил господин Голужа, смерть есть нечто, что наступает рано или поздно. Вы их освобождали, и особенно это относится к людям. А делали вы это — верно ведь? — из любви и убежденности в том, что таким образом поможете им.

— Как посмотреть,— сказал человек с наивным выражением на лице.

— Посмотрим так, как я сказал,— ответствовал господин Голужа и закурил сигарету. После обильного обеда, с которым он только что покончил, затягивался он с наслаждением. Потом он попытался уснуть, так как наступило время послеобеденного сна, но несмотря на то, что считал сон весьма полезным для здоровья, сейчас долго сидел в раздумье.

Тогда в его комнату вошли некоторые видные граждане. Среди них господин Голужа узнал людей различных профессий и разного возраста. «Что теперь будет? — подумал он.— Вероятно, они испугались за меня. Пусть немного попросят — если попросят как следует, я откажусь от своего намерения». Он улыбался. Все вдруг казалось ему прекрасным: и этот туманный городок студеным февральским днем, и эти люди, о которых он ничего не знал, но которые беспокоились о нем.

— Добрый день,— сказали они.

— Почему добрый день? — спросил господин Голужа.— У вас, видно, каждый день добрый.

— Вам тоже грех жаловаться!

— Мое со мной остается. Я — нечто совсем иное.

— Простите, господин Голужа, но мы пришли именно по этому поводу.

— Мне ни до чего нет дела,— сказал он.

— Но это очень важно.

— Неужели существуют важные вещи? Вы ведь знаете, какое решение я принял в свое время.

— Не обессудьте,— сказал старейший среди них,— все мы чувствуем себя обманутыми.

— Кто вас обманул?

— Вы обещали нам покончить с собой, верно?

— Ну и что?

— Слушайте, милый человек,— произнес один из пришедших, сомневавшийся с самого начала,— вы нас водите за нос. Месяцы прошли с того дня. Мы все разузнали о вас — у нас было время, потому что вы, кажется, не спешили. Мы, например, узнали, что вы не были на войне. Вы все выдумали.

— А какое вам до этого дело? — смешался господин Голужа.

— Еще какое! — хором возразили все.— С того самого дня мы не переставали заниматься вами. Мы не занимались ничем другим. Мы забросили все свои дела. А вы тем временем толстели, отсыпались и распутничали. И вам даже не приходило в голову выполнить свои обязательства перед нами.

Господин Голужа изумился. «Что за манеры,— подумал он.— Знают ли они, с кем разговаривают».

— Наверно, мне самому надлежит думать о своей жизни.

— Простите,— возразили ему.— Ваша жизнь принадлежит нам, ибо вы нас унизили. Знаете ли вы, что наши жены только о вас и говорят. Каждый день они тычут нам в глаза, что вы единственный настоящий мужчина во всем городке.

— Женщины всегда поймут, кто настоящий мужчина,— гордо сказал господин Голужа.

— У вас нет чести,— возразил один из обманутых мужей.— Вы — трус. Мы расскажем своим женам, кто вы такой, и весь город станет вас презирать.

— Это невозможно,— сказал господин Голужа.— Город меня обожает.

— Тем скорее он вас растопчет,— возразил кто-то.

— Погодите,— встревоженно воскликнул господин Голужа,— я не забыл о своем слове. Я только хотел выждать. Для подобных дел необходимо выбрать нужный момент.

— Мы слишком долго ждем,— разом возразили они.— Вы над нами издеваетесь. Даром вам это не пройдет.

— Отлично,— сказал он.— Если вам так не терпится, мне все равно. Завтра я доставлю вам удовольствие. Вы знаете, что я не умею плавать. Завтра я прыгну с моста.

— Только не шутите! И смотрите не передумайте.

Он повернулся к ним спиной. «Я вас здорово обманул,— сказал он себе.— Вы и не подозреваете, что я придумал. Я придумал нечто блестящее».

Они разбудили его на рассвете.

— Раненько вы,— крикнул он в окно,— я хотел еще немножко подремать.

— Пожалуйста,— отвечали они,— ради бога. Мы подождем сколько будет нужно.

Однако он вышел сразу же, улыбаясь, словно собрался на свадьбу. Вне всякого сомнения, он прекрасно позабавится. И даже назло им стал что-то насвистывать. Городишко, целиком собравшийся на мосту и вдоль берега, зашептался, что господин Голужа весело прощается с жизнью, которой совсем не дорожит. Он шел сквозь раздавшуюся толпу не спеша, высоко подняв голову, ни на кого не глядя, высокий, чуть побледневший. Женщины нашли его еще прекраснее, чем когда-либо. Он заметил, что у многих были с собой скамеечки и пледы. Дети жевали хлеб. «Я даже не позавтракал,— вспомнил он.— Пустяки, еще есть время». Люди, что были поближе, растерянно переглядывались — он сказал, еще есть время, повторяли они. Он почувствовал себя счастливым, глядя на колышущуюся толпу. «Сколько их, и все ради меня,— думал он.— Все смотрят на меня. Всю жизнь я желал этого».

— Спасибо, что собрались,— громко произнес он и взмахнул рукой, чтоб его видели самые дальние. Об опасности он не думал, уверенный в том, что хорошо все рассчитал и что вскоре станет еще более любимым и уважаемым.

Какие-то ребятишки пытались пробраться вперед, они все еще не знали, что происходит. Родители, желая избавить их от мучительного зрелища, пощечинами преградили им путь. Дети зарыдали.

— Не плачьте, люди! — воскликнул господин Голужа.— Я объясню вам, почему я решился на этот шаг.

Голос из толпы попросил его поторопиться, так как люди давно уже стоят на морозе. Глас одиночки был подавлен теми, кому не было холодно.

— Чтоб полностью понять меня,— продолжал он с просветленным лицом,— вам придется взглянуть на самих себя и свою убогую жизнь.

— Нас ты оставь в покое,— послышался тот же голос.

— Вы, конечно, этого не поймете. Поскольку речь идет об убожестве. Вот, допустим, у меня нет никого, кто бы сейчас горевал обо мне и попытался меня удержать.

Несколько мгновений он смотрел на толпу, уверенный, что его слова все изменят. Может быть, одна из женщин упадет в обморок или зарыдает. Этого было бы довольно, чтоб отказаться от своего намерения, не потеряв авторитета.

Но никто не тронулся с места.

Все молча глядели на него, и в глазах их он не нашел жалости или чего-то иного, что внушало бы надежду. «Что это,— подумал он.— Они сошли с ума». Вдруг он осознал, что больше не сможет, даже если бы

стал умолять их, выйти из круга, который они создали своими телами. Его охватила паника. Тогда из последних сил, почти в отчаянии, он попытался прибегнуть к единственному средству, при помощи которого надеялся их тронуть. Он взобрался на каменный парапет моста и, целиком превратившись в слова, продолжал свою речь.

— Вы — единственные друзья, которых я нашел в своей горемычной жизни. Когда я думаю о том, что должен буду уйти навсегда...

Они по-прежнему молчали, и ему показалось, будто они сделаны из камня и его слова не доходят до них. Река текла на север, но словно бы медленнее и хитрее, как бы собираясь остановиться в любую минуту, поджидая его. «Вы меня провели»,— подумал он. О чести он больше не заботился. Надо было спасать жизнь.

— Разумеется, возникает вопрос, нужно ли уходить. Может быть, вы, впрочем, как и всегда, правы. Я, как ваш друг, готов вас пощадить...

Господин Голужа потерял равновесие и отчаянным движением попытался восстановить его — ему удалось выпрямиться, но в ту самую минуту, когда он собирался сказать слово, на которое возлагал все свои надежды, левая нога его поскользнулась и он стал падать. Летя головой вниз, он в последнее мгновенье, прежде чем вода сомкнулась над ним, подумал: «Проклятые резиновые подметки».

Все безмолвствовали. Дети перестали жевать хлеб. Какая-то старушка перекрестилась. Женщины презрительно смотрели на своих мужей. Мужья повесили головы, сознавая, что теперь уж господин Голужа останется в их городке легендарной личностью. Они завидовали ему, ибо увидели, сколь убога их жизнь.

И тут кто-то крикнул:

— А что, если он умеет плавать?

Люди сгрудились у парапета. Те, что были на берегу, побежали вниз по течению. Тело бывшего господина Голужи на мгновенье появилось на поверхности воды и затем исчезло навсегда.

Те, кто сомневался в нем, устыдились.

Тот, кто кричал перед этим, выкрикнул снова:

— Господин Голужа сдержал свое слово в соответствии с нашими ожиданиями! Вы видели, как он ушел на север.

— На небо,— заметил какой-то старик.— Слава ему!

Перевод с сербскохорватского Л. ИВАНОВА

ОБОРОНА

Сейчас он их вновь слышал. Было уже поздно, наступала ночь. Время он определял точно, никогда не ошибался.

«Скоро зажгут свет»,— подумал он.

Он сидел, обернувшись к полуоткрытому окну; ему не было холодно, хотя время от времени, вместе с порывами ветра, пахнущего горелым углем, залетали в купе снежинки и прилипали к его лицу, к рукам, которые лежали неподвижно на коленях.

«Что они делают?» — думал он.

Он не видел их, но ясно ощущал, что парень нервничает. Он знал, что девушка все еще молча сопротивляется.

«А меня будто тут и нет»,— подумал Младен, и ему захотелось еще раз проверить, почему они молчат, захотелось убедить себя, что все это ему только показалось, но в то же мгновенье он услыхал приглушенный шепот и шорох: они обнимались, теперь он в этом не сомневался.

Он сердился на девушку: с ней он уже был знаком, они ехали в этом купе вдвоем еще до того, как этот парень вошел на одной из станций и спросил, свободно ли здесь место. «Да, да!» — ответила она обрадованно. А Младен только подумал: «Ну и хорошо — будет веселей»,— и хотел было продолжить начатый разговор, но она уже болтала с новым знакомым.

Они разговаривали о море, об отпуске, о многих местах, где, оказалось, были в одно и то же время, но ничего не знали друг о друге. Они говорили, смеялись и совсем забыли про него.

Младен слушал, улыбался, понимая, что эти двое за несколько минут сблизились так, как он не смог бы кто знает за сколько времени. И сразу вспомнилась ему его Невена, его молодость, и он чувствовал себя счастливым до тех пор, пока не услыхал, что голоса их зазвучали прерывисто, неуверенно, тише. Он подумал было, они взволнованы чем-то, что увидели в окно, но поезд шел быстро и то, что могло бы их удивить, осталось далеко позади, а они умолкли совсем. Младен представил себе, что они сидят теперь, держась за руки, а может быть, даже целуются.

«И это при мне?» — мелькнула у него мысль. Надо было что-то сказать или сделать, но что, он не знал. «Только потому, что я слепой?» Он почувствовал себя обманутым, несправедливо покинутым; его мучило, что эти двое ведут себя так, будто его тут нет вовсе: парень встал, и Младен услышал, что он закрыл окно, а потом задернул занавески на стеклянных дверях купе.

— Снег еще идет? — спросил Младен.

— Идет,— ответила девушка, и ему показалось, что голос у нее изменился.

«Но ведь я живой человек! — хотел он им сказать.— Что вы, сошли с ума?..» Но сказал:

— Холодно все-таки...

Они не ответили.

Он закурил сигарету и снова положил руки на колени. Он знал, что девушка теперь уже не противится парню. Он вспомнил, как давно, еще когда был мальчишкой, бродя по полю, днем, наткнулся на какую-то пару в спелой пшенице и как потом всегда хотел, когда вырастет, со своей девушкой лежать на примятой пшенице и целоваться при солнце, но это так и осталось несбывшейся мечтой. И он вновь вспомнил свою Невену, о которой так больше ничего и не узнал.

— Где мы сейчас? — спросил он тихо, будто не решаясь их обеспокоить.

— В горах.

— Уже в горах?! — удивился он, но ему никто не ответил.

Он чуть не крикнул им, что знает, чем они занимаются. «Да, но они только посмеются надо мной»,— подумал он и сказал:

— Здесь, в этих горах, я потерял свои глаза...

— Здесь? — спросил кто-то из них.

— Это случилось летом.

— Летом? — спросила девушка, и голос ее донесся до его слуха откуда-то снизу.

— Все были уже мертвы, и в лесу никого из наших не было, кроме меня. И деваться мне было некуда.

— Некуда?..

— Повсюду были немцы,— вздрогнул, вспоминая, Младен.— Их было множество, и они стреляли, стреляли, подползая к укрытью, где лежал я один.

— Ах, один,— сказала девушка.

— Я ниоткуда не мог ждать помощи. Когда я пришел с приказом об отступлении, все мои товарищи были убиты. Все было кончено. Ох, нет... Это было невыносимо...

— Ох, нет, нет,— услышал он голос девушки.— Нет, не это...

— Я видел их — они подползали все ближе и ближе. И они видели меня, но шли, будто и не замечали, так были спокойны... «Вижу вас!» — сказал я тогда...

— Вижу вас,— произнес он и подумал: «Боже, что происходит — будто меня здесь и нет»... Он слышал их прерывистое дыхание...— Они были совсем близко от меня. «А ну, подходите!» — крикнул я и стрелял, стрелял, не переставая кричать, будто эти слова были единственной моей защитой...

— ...защитой...— словно эхо, повторила девушка.

— А вокруг меня все словно колыхалось; веточки, срезанные пулями, падали на меня...

— Ах, веточки,— сказала девушка.

— Я был молод тогда — всего семнадцати лет, и Невена ждала меня в городе; она все время хотела пойти со мной в горы, и я в горах думал о ней, зная, что больше ее не увижу. И я стрелял, и стрелял, повторяя: «Единственная ты моя!..»

— Единственная моя,— прошептал парень.

— И хотелось мне, чтобы в те минуты она была рядом со мной, чтобы перед смертью я мог держать в руке ее руку. Я был уверен тогда, что погибну, и думал: «Умираю таким молодым...»

— Ах, умираю,— вздохнула девушка.

— И почувствовал я, что все, что происходит со мной,— прекрасно, что умру я в бою против них. «А разве это не прекрасно, Младен?» — сказал я себе.

— Ах, это прекрасно,— снова вздохнула девушка.

— Прекрасно,— сказал парень.

— И сказал я: «Если бы я остался в живых, я отомстил бы за своих мертвых друзей, за тех, кто лежит здесь, в лесу!»

— В лесу,— сказала девушка.

— В лесу,— повторил парень.

— И тогда вдруг ударило меня что-то по глазам, вспыхнуло красное пламя, засверкали искры, потом стало темно, и я упал, подумав: «Гибну»...

— Гибну,— прошептала девушка.

— Я старался ухватиться за землю, обнять ее, держать... И сказал: «Земля, я держу тебя и не отпущу».

— Не отпущу тебя,— сказала девушка.

— Держу тебя,— сказал парень.

— И тогда наступила тьма. Навек. Больше я ничего не видел.

На мгновенье показалось ему, что он прозрел, что видит зеленоватую скамью напротив и молодых, красивых парня и девушку, что сидят обнявшись. Он больше уже ничего не пытался противопоставить тому, что происходило, не мог.

Он почувствовал себя плохо.

— А что было дальше? — спросили они, и их голоса прозвучали как-то по-иному, будто принадлежали не им.

— Ничего,— прошептал Младен.— Это — все.

Наступила тишина.

Паровоз засвистел, приближаясь к какой-то станции, Младен встал, медленно нащупал оконную ручку и до конца опустил раму.

Падал снег, и его уносил ветер, пахнущий горелым углем.

За окном уже была ночь, он это знал.

«А меня будто и не было...» — подумал он.

ИЛЛЮЗИЯ

Не было в ней ничего: ни страха, ни надежды. Она узнавала вещи в неосвещенной комнате и не жалела о них. Ни о чем не жалела, даже о старике. Она смотрела на его сгорбленные, вздрагивающие плечи, походившие на уродливую тень, и вспоминала о том, что прошло. А прошло — все.

— Что с тобой? — спросила она, повернувшись к нему.— Почему ты плачешь?

Старик не плакал. Он не мог плакать. Но этого ей не сказал. Это казалось ему неудобным. «И действительно,— подумал он,— ни к чему».

— Тебе нужно выпить лекарство,— сказал он.

— Выпью,— усмехнулась старушка,— но не сейчас.

— Давно уже пробило восемь,— сказал старик.

Большие стенные часы, беззаботно тикая, хоронили время. Старушка прислушалась к ним, и на минуту ее охватило предчувствие, что она не дождется утра.

— Никогда больше мне не будет хорошо. Никогда и не было лучше.

— Ты это — серьезно?

— С самого начала мне было ясно...

Старик поежился. Ему стало жаль, что он причинял ей немало обид. «Может, нужно ей кое в чем признаться? Это было бы благородно,— подумал он и тут же испугался:— Она стала бы презирать меня, каким бы жалким я выглядел». Он вспомнил, что постоянно хвастал перед ней своими победами над женщинами, а она всегда верила.

— Да-да...— сказал он сокрушенно, решив все-таки не разрушать того представления о себе, которое сам годами создавал и которое для нее много значило.— Был я скотиной по отношению к тебе...

— Я говорила тебе это как-то...

— И была права,— сказал старик так, будто казнил себя.— Знала ты обо всех гадостях, которые я творил. А было их немало.

— Оставь это.

— Понимаешь, когда я думаю о тех фотографиях, которые я хранил дома...

— Да,— задумчиво сказала старушка,— все они были красивые женщины. Что-что, а толк в них ты знал... Одну звали Анна. Ее ты, кажется, очень любил.

— Я был свиньей,— искренне каялся старик, и глаза у него при свете лампы, которую он зажег, заблестели.— Особенно из-за этой Анны. Было это осенью. Плакала ты в ту осень больше, чем когда-либо. Ждала меня до поздней ночи и улыбалась, когда я наконец приходил. Но в глазах твоих я читал иное.

— А может, ты не знал, каково мне,— сказала она с надеждой.

— Тебе было тяжело.

— Теперь это не важно.

— Все важно,— протянул старик, придумывая, чем бы ее утешить. Ему хотелось сказать ей что-нибудь хорошее.— Никто не умел так готовить, как ты,— сказал он затем.— Я никогда тебе в этом не признавался, но хочу, чтобы ты знала это.

Старушка закрыла глаза. Она молчала.

— Ты ничего не имела в жизни, а могла бы иметь, если бы я был другим.

— Не нужно так говорить,— испуганно возразила она.— Были и у меня хорошие дни.

— Буду я гореть в вечном огне... Хоть бы земля меня поглотила!..

— Иногда мы ходили в цирк. Или — в кино. И цветы ты мне порой приносил.

— Заслуживаю я суровой кары,— продолжал старик.

Она смотрела на картины, висевшие на стенах. Она любила их. Это были лесные пейзажи и какие-то птицы.

— Не плачь,— сказала она, хотя он и не плакал.— Все, что ты делал, не так уж и страшно. Это делает каждый мужчина.

— Нет, не каждый,— возразил старик.— Ты это только так говоришь. Глаза я готов себе выколоть. И сделаю это. Или брошусь в реку.

— Перестань, прошу тебя,— старушка, напрягая последние силы, приподнялась в постели.— Ты был добр ко мне, ты был страшно добрым, а все остальное — пустяки. Я уже сказала тебе: так поступает каждый. Даже я однажды поступила так же, но никогда тебе об этом не говорила. Не могла набраться смелости сказать.

Старик, сгорбившись, молчал. Возможно, ему стало легче.

— А сейчас, видишь, я должна тебе открыться. Не хочу, чтобы ты во всем винил себя.

— Ну что ты можешь мне рассказать?

— Да вот,— упрямо лгала старушка, убежденная, что этим сможет его успокоить,— было у меня с одним человеком... Уже давно. Понравился он мне. Ну, ты сам знаешь, как это случается.

— Ты не сделала этого,— замахал он руками, словно отталкивая от себя что-то, и голос у него дрожал.

Старушка все еще не понимала его. Она хотела только утешить мужа, простить ему все.

— А почему ты так думаешь? — прошептала она, чувствуя еще неясное удовольствие.— Ты загулял в тот вечер с какой-то из своих женщин, а я оставалась дома одна. Было лето — такое, как сейчас. И окна были так же открыты.

— А дальше?

— Помню все, будто это случилось вчера или даже сегодня. Я смотрела в окно на трамваи, на незнакомых людей в них, и мне казалось, что я умру, если сейчас ничего не произойдет. И вдруг кто-то позвонил три раза...

— Кто это был? — спросил старик.

— Он,— сказала старушка.— Тот человек. Он разносил почту, но не был похож на почтальона, на нем не было даже форменной фуражки. Он был красив и молод. Моложе меня. Он протянул мне письмо и как-то странно посмотрел на меня. И мне это не было неприятно. Напротив... «Хотите немного освежиться? — спросила я его.— У меня есть холодное пиво». А ты знаешь, никакого пива у нас в доме не было, мы никогда не любили его.

— Не выдумывай! — сказал старик.

— Он вошел, не сказав ни слова. Вот в эту самую комнату... И сразу же обнял меня, и я в его объятиях забыла о тебе.

— Врешь! — сказал старик.— Все это ты выдумала. И почтальона, и письмо. Никогда нам никто не писал. Никакому почтальону не было нужды приходить к нам.

Он стоял, нагнувшись над ее кроватью. Она видела его слезы и белые волосы. Ей показалось, что он сделался маленьким, что он дрожит. Она не узнавала его. Он вдруг стал совсем чужим.

— Если это тебя задело,— сказала она едва слышно,— почему же ты хоть изредка не думал обо мне. Меня точно так же все волновало.

Она отвернулась от него.

«Боже, какая я была глупая! — подумала она.— Никогда его ни в чем не упрекнула, а если бы знала, если бы случайно узнала то, что для

меня теперь ясно...» И тут ей захотелось оставить после себя хоть какой-нибудь след, не уйти просто так.

— И все же он вошел сюда в ту ночь,— повторила она спокойно, с давно не испытанным теплым чувством. Она и сама теперь верила в существование придуманной ею ночи.

— Врешь! — простонал старик.— Если бы он и вошел, то не взглянул бы на тебя!

— Ошибаешься,— сказала она и машинально поправила пальцами волосы.— Я была красива тем летом.

— Ты никогда не была красивой.

— Для тебя,— сказала старушка.— А другим я умела нравиться. Все говорили, что я очень красива. Один даже писал мне стихи.

— Господи, спятила! — сказал старик. Он хотел убедить себя в этом, прежде чем окончательно поверить.

— Было их много. Больше, чем у тебя фотографий.

— Но ведь я же те фотографии порвал,— заплакал старик.— Разве ты не помнишь?..

Она молчала, не обращая на него внимания.

— О чем ты думаешь? Ты слышишь, что я говорю?

— Я думаю о них,— сказала она, взволнованная тем, что таилось в ней кто знает с каких пор и о чем она прежде не подозревала.— И буду думать о них до конца, потому что они были для меня всем, что я имела.

— Ты все это сочиняешь! Хочешь меня напугать.

— А зачем мне тебя пугать?

Голос ее звучал спокойно, будто она говорила ему о чем-то совсем незначительном.

— Каждый из нас делал то, что ему нравилось.

— Скажи, что все это неправда! — просил ее старик.— Умоляю тебя, скажи, что ты пошутила!..

Он схватился за голову. У него не было больше ни слов, ни надежды.

Как дым развеялось выдуманное им прошлое — и вместо него образовалась в памяти пустота, долгая, как жизнь.

— Оба мы грешили,— с вымученной улыбкой сказала старушка. Она была теперь счастлива. То ли потому, что избавилась от своего страдания, то ли по какой-нибудь другой причине.— Оба мы были грешными,— прошептала она, и голос ее дрожал, будто она заново рождалась.

Перевод с сербскохорватского ГЕОРГИЯ КОФМАНА

СУАН ЗИЕУ

ЛЮБОВЬ РАЗЛУЧЕННЫХ

Перевод с вьетнамского Мих. МАТУСОВСКОГО

Берег и море

Если б посмел тебя сравнивать с чем-то,
я б сравнил тебя с берегом, дорогая,
с берегом, что сверкает на солнце,
где-то самого края небес достигая,

с этим берегом спокойным и чистым,
на песке сохраняющим след отлива,
с этим берегом, вдоль которого сосны
вот уж сколько столетий бредут молчаливо.

Я б сравнил тебя с берегом золотистым,
то прямым, то пугающим своей крутизною.
Если ты согласишься с этим сравненьем,
разреши мне быть хотя бы волною.

То окатывая прибрежные скалы,
то песчаных откосов едва касаясь,
разреши мне, как волны целуют берег,
целовать, целовать тебя, задыхаясь.

Тихим быть, если ты притихла,
задумчивым, если ты заскучала,
яростным быть, как волна штормовая,
срывающая корабли с причала,—

чтоб, вдребезги разбиваясь о скалы
и при этом не думая о потерях,
говорить и петь об одном и том же —
о любви к тебе, мой далекий берег.

Палочки из черного дерева

Черную, как твои смоляные волосы,
как глаза твои, глядящие на мир изумленно,
крепкую ветку черного дерева
срезала ты в лесах Ланг-шона.

Ты склонялась над ней терпеливо и бережно,
будто надежды свои ей доверила.
Так ты выстругала две тонкие палочки,
палочки из черного дерева.

И теперь, когда я в руки беру эти палочки,
мне понятней становится боль и грусть твоя.
Разделенный с тобой любым расстоянием,
ощущаю повсюду твое присутствие.

Разлученный с тобой бессчетными милями
на земле горящей и опустошенной,
я всегда и везде берегу эти палочки
черные, как ночи Ланг-шона.

Сколько лет разлуки впереди бы ни выпало.
сколько бед еще нам судьба ни отмерила —
мы с тобой неразлучны, моя любимая,
как две палочки из черного дерева.

Молдавские яблоки

Я был в колхозе Кирова в Молдавии,
в краю вина и солнечного света,
там на прощанье мне была подарена
корзина яблок, снятых прямо с веток.

Я мысленно представил гор сияние,
всю землю, что лежала, голубея.
Как, одолев такое расстояние,
смогу подарок довезти к тебе я?

Как долог мне казался путь теперешний,
твой милый дом — как был сейчас далек он.
Я этот груз в Москву доставил бережно
и уложил в гостинице меж окон.

Шел ночью снег над площадями сонными,
завесой белой скрадывая дали.
И яблоки за стеклами оконными
как будто в холодильнике лежали.

Когда же снова в путь собрался полночью
и лишь часы остались до отъезда,
среди вещей, весь номер мой заполнивших,
для яблок не сумел найти я места.

Чтоб выйти из такого положения,
я с багажом в гостинице возился —
и все-таки в неравном том сражении
два яблока сберечь я ухитрился.

Лесные чащи и моря просторные,
порывистые ветры и метели,
сверкающие льдом вершины горные
они со мной легко перелетели.

Смотри, они почти прозрачны, кажется,
в них даже сохранился дух медовый.
Лежат в твоих ладонях сладкой тяжестью
два яблока из солнечной Молдовы.

Вернулся в Ам-тхыонг

Вернулся в Ам-тхыонг, чтоб там тебя найти.
Соломой крытый дом казался очень старым.
Густая тень садов лежала на пути.
Река и склоны гор покрыты были паром.

Вернулся в Ам-тхыонг и, миновав обрыв,
я этот спящий дом увидел с поворота.
А ты проснулась вдруг, глаза полуоткрыв,
как будто бы во сне тебя окликнул кто-то.

Ты даже в темноте меня узнать смогла,
дыханье затая и глядя в ночь с испугом.
Но звуками шагов не оглашалась мгла —
стучали лишь сердца, беседуя друг с другом.

Приезд свой в Ам-тхыонг я помню до сих пор,
когда и тьма лесов, и голых скал унылость,
и камни, и трава, и гребни дальних гор —
все на какой-то миг вдруг вспышкой озарилось...

Ты приехала на пятнадцать дней...

После долгих скитаний, горести и разлуки
мы с тобой научились время беречь верней.
С благодарностью принимаю, беру осторожно
в руки,
как драгоценный подарок, эти пятнадцать дней.

Я отчетливо различаю шагов твоих легких поступь:
вот ты вышла на улицу Хюэ *, вот сейчас ты идешь
по ней.
Быть рядом, всегда быть рядом — в сущности это
просто,
быть вместе, не расставаясь, хотя бы пятнадцать
дней.

---

* Одна из центральных улиц Ханоя.

Все стало теперь доступным нашим сердцам
и взглядам.
Лунный вечер над городом прозрачен и тих.
Низкое небо — рядом, горы — почти что рядом...
Если нам очень захочется, мы обопремся о них.

То мы слушаем музыку, сидя в молчанье глубоком,
то, долго не засыпая, следим за движеньем теней,
то сами собой наши руки встречаются ненароком —
и так в продолженье пятнадцати самых счастливых
дней,

Лишь об одном мы условились не упоминать
в разговорах,
эту договоренность, как честное слово храня,—
о том, что, должно быть, скоро, невероятно скоро
в зеленом мареве леса ты скроешься от меня.

Но я научился с годами расчетливым быть
и мудрым,
и все, что при встречах с тобою мы говорим в тиши,
каждое наше свиданье, каждый вечер и каждое
утро
я откладываю, как в копилку, на самое дно души.

Мы знавали годы разлуки, вот поэтому и сегодня
все, что было нами испытано, что испытать
суждено,
я храню, как горсточку риса бережливо хранит
голодный,
на ладонях своих пересчитывающий каждое зерно.

О, это лицо, непохожее на все остальные лица,
о, эти глаза любимые, знакомые столько лет.
Если даже настанет время с ними проститься,
сердце мое в отчаянье рванется за ними вслед.

Еще далеко до рассвета — что ж думать об этом
часе,
если даже в разлуке наша любовь сильней,
если у нас с тобою еще остаются в запасе
пятнадцать почти бесконечных, пятнадцать
коротких дней.

РАМОН АМАЙА АМАДОР

Операция «Юрида»

РОМАН

Перевод с испанского
ЮРИЯ ДАШКЕВИЧА

Первая часть

1

Расположившись за длинным и широким столом, высшие офицеры внимательно слушали лекцию полковника армии США Патрика Манки, занимавшего председательское кресло.

Всегда непоседливый полковник Лидио Педралиса, начальник генерального штаба, и на этот раз сидел неспокойно: шариковой ручкой он выводил голубые круги на листке лежавшего перед ним блокнота — круг за кругом. На губах Педралисы застыла улыбка, и, хотя казалось, что он не упускает ни одного слова своего иностранного коллеги, мысли его были далеко: голубыми-голубыми кругами кружат они, увлекая за собой, вселяя уверенность, что задуманное уже скоро осуществится...

Напротив Педралисы сидит и потягивает сигару, по обыкновению насупившись, полковник Оскар Балафуга. Близким друзьям, к тому же однокашникам по учебе в военно-воздушной академии, им вместе довелось и позднее совершенствовать свои знания на специальных курсах при колледже межамериканской обороны в Соединенных Штатах. Балафуга, кстати, ровесник Педралисы — по сорок три года стукнуло тому и другому, но как они не похожи друг на друга! Среди местных

офицеров Педралиса выделяется белой кожей, у него маслянистые, навыкате, глаза, а правильные и мужественные черты подчеркиваются каштановыми, как и шевелюра, и тщательно подстриженными усиками; Балафуга же смугл, на ничем не примечательном, пожалуй, грубоватом лице толстые губы и приплюснутый нос с большими ноздрями, из которых торчат жесткие волоски; ежиком топорщатся черные волосы, а низкий лоб и густые сросшиеся брови будто пытаются укрыть недоверчивые, цепко следящие за всем глаза.

Уже давняя дружба связывает Педралису и Балафугу. В свое время именно Педралиса приложил немало усилий, чтобы Балафуге достался пост главнокомандующего вооруженными силами, и это удалось, несмотря на упорную оппозицию старых военачальников — за глаза их звали просто «старикашками», хотя среди них были заслуженные полковники и генералы, много лет ходившие в этих чинах.

После того как Балафуга занял ключевую позицию, молодые офицеры, чувствуя опору, поспешили «отправить под шпицрутены» старых генералов, уволив в запас бóльшую их часть, и в кадрах остались только те, кто беспрекословно принял лидерство «молодых», а «молодые», в свою очередь, признавали лишь лидерство военной миссии янки, прикомандированной к национальным вооруженным силам.

Дружба, давно сблизившая Балафугу и Педралису, ныне отнюдь не исключала подспудного, глухого, пока еще неясно ощущавшегося соперничества. Внешне оба относились друг к другу, как и прежде, их даже объединяло одно и то же стремление: во что бы то ни стало завоевать симпатии и, разумеется, поддержку представителей военной миссии США. Однако каждый, понятно, отстаивал личные интересы. И Балафуге и Педралисе было известно: янки подготовили грандиозный план. Как только национальными вооруженными силами этот план будет осуществлен, власть перейдет к военному правительству, а уж оно восстановит порядок и дисциплину в стране, выдвинет ее в один ряд с другими странами континента, где правят военные.

Об этом-то плане — его окрестили «Операция «Горилла» — Педралиса и размышлял, вырисовывая шариковой ручкой голубые круги на бумаге. Он не сомневался: на этот раз выиграет партию и обгонит своего дружка — конечно, никто, кроме Педралисы, не пользуется особым доверием иностранных советников.

По правую руку от Педралисы восседает генерал Патросинио Сенсерро — человек уже в летах, не особенно-то отесанный и не особенно-то преуспевший в военной теории, но завоевавший авторитет личным мужеством. Будучи генералом, он удержался на посту командующего сухопутными силами — и все благодаря тому, что вовремя и безоговорочно подчинился воле Балафуги и его окружения.

По соседству с начальником генерального штаба занимает место элегантный, статный и подтянутый полковник Эммануэль Плумилья, командующий военно-воздушными силами, верный соратник и единомышленник Лидио — поговаривали, что своим продвижением он обязан Педралисе. В темно-синем мундире, застегнутом на золотые пуговицы, красуется еще довольно моложавый коммодор Примо де Вила, командующий военно-морским флотом,— на столь высокий пост он, к удивлению многих, взлетел из капитанов фрегата вскоре после того, как путь был расчищен от старого аристократического офицерства, хотя этого моряка не причисляли к явным приверженцам Балафуги или Педралисы, да и он сам втайне предпочитал лагерь полковника Понсиано Терсеро, министра обороны. Министр сидит рядом с Балафугой. Он считается одним из самых решительных противников «штатского» правительства и, видимо, поэтому сохранил министерский портфель в кабинете радикалов. Зная о претензиях своих коллег, Балафуги и Пед-

ралисы, полковник Терсеро решил не покидать поля битвы: он намеревается выдвинуть собственную кандидатуру в качестве главы государства после установления нового режима — и он тоже рассчитывает, что американские советники окажут ему содействие. Скрытный и по природе флегматичный, он старается сохранять вид спокойный и благодушный.

Подле Балафуги ерзает в кресле полковник Пастор Вердолага; малорослый, но удивительно подвижной и быстрый на решения, он слывет хорошим танкистом и надежной подмогой главнокомандующего вооруженными силами. За ним прочно утвердилась слава человека, который во имя карьеры не пощадит и собственную мать; все знают, что он готов в лепешку расшибиться ради того, чтобы сохранить наилучшие отношения с высшим начальством, каким бы это начальство ни было, пресмыкающийся перед старшими по чину, беспощадно жестокий с подчиненными.

Остальные высшие офицеры — все они принадлежали к поколению Балафуги,— похоже, с большим вниманием следили за выступлением американского полковника. Ястребиным взглядом обводит Педралиса офицеров, как бы определяя позиции и возможности каждого, оценивая вклад, который каждый из них смог бы внести в осуществление его, Педралисы, проектов; он словно пытается представить себе, кто и что может сделать в нужный момент, вместе с тем прикидывая, кого следует поднять, а кого убрать с дороги. Оценив, он приходит к выводу, что все складывается неплохо: большинство офицеров — на его стороне.

— И в заключение,— продолжает полковник Манки, подчеркнуто четко выговаривая каждое слово по-испански, что, однако, не придает выразительности его монотонной речи,— мне остается сказать следующее: в свете геополитики не следует преуменьшать значения позиций ваших государств и, следовательно, ваших политических перспектив. Правительство моей страны не сможет быть спокойно, пока Латинская Америка, вся, без исключения, не станет его верной союзницей, а для того чтобы иметь твердые, незыблемые гарантии, необходимо достичь такого положения: во всех странах должны управлять военные демократы, лишь они смогут предупредить и нейтрализовать акции антисоциальных, подрывных и прокоммунистических групп. Мы — и это я могу заявить, выступая перед столь преданными нам военными, как вы,— не можем опираться на какой-либо иной режим, пусть даже он называется «репрезентативной демократией». Поэтому наши усилия и усилия всех наших добрых друзей и коллег направлены к тому, чтобы наивозможно быстрее создать атмосферу межамериканского доверия...— Американец смолк и, обернувшись к полковнику Балафуге, с улыбкой добавил: — Итак, дорогие друзья, я заканчиваю. У кого есть вопросы?

Офицеры оживились, задвигались в своих креслах, заулыбались, вытягивая затекшие ноги, закуривая сигареты, и с облегчением вздохали: наконец-то окончилась более чем двухчасовая лекция, которую пришлось слушать сосредоточенно и молча. Почти все они прошли специальные курсы при колледже межамериканской обороны, бывали на переподготовке в Панаме или на других военных базах США. Они уже вытвердили основные принципы стратегии Пентагона о том, что касается Латинской Америки, и назубок знают, какая роль предназначена национальным армиям латиноамериканских республик.

И, однако, по-видимому, на этот раз не все было ясно или что-то новое прозвучало в выступлении полковника Манки: коммодор Примо де Вила, подняв полную руку, попросил слова — так мягко, так

почтительно попросил, сдобрив свою просьбу угодливой улыбкой. Полковник Манки разрешил ему высказаться.

Все взгляды — насмешливые, одобрительные, иронические, протестующие, презрительные, дружественные, враждебные, безразличные, сонные, язвительные — обратились к коммодору. Офицеры уже не давали себе труда сдерживаться, и на их лицах отразилось все то, что скрывалось во время лекции гринго. Всем им хотелось уйти как можно скорее, но неожиданный запрос коммодора срывал планы.

— Объясните, пожалуйста, полковник,— обратился к нему Примо де Вила.— Согласно вашему утверждению, после того как России пришлось убрать свои баллистические ракеты с Кубы и оставить Фиделю только обычное оружие, латиноамериканские страны восстановили военный баланс, более того, достигли превосходства. Таким образом, кубинская революция — это острие красного копья, направленное против континента,— осуждена на полную изоляцию и поражение... Почему же в таком случае необходимо аннулировать «репрезентативную демократию» — триумфальное завоевание нашего панамериканизма — и устанавливать военные режимы? Ведь это неминуемо осложнит положение, создаст новые внутренние проблемы, играющие на руку нашему противнику — коммунизму! Я хотел бы, полковник, чтобы вы пояснили подробнее...

Голубые бесстрастные глаза полковника Манки превратились в два стилета, которые, казалось, вот-вот пронзят коммодора, но тонкие бесцветные губы гринго растянула улыбка, которая должна была означать нечто дружественное, милосердное, отеческое. Вынув из кармана пакетик жевательной резинки и отправив в рот две розовые пастилки, американец начал пережевывать резинку — резинку и слова:

— Ваш вопрос, коммодор де Вила, весьма интересен. Касаясь основных проблем нашей тактики, я действительно упустил этот аспект. По правде говоря, мои друзья, «репрезентативная демократия» уже не отвечает условиям развития Латинской Америки. Необходимо заменить ее чем-то качественно новым — не только по форме, но и по сути своей. Надобно отбросить старые категории, отказаться от бесплодного идеализма. Необходимо перейти к типу правления де-факто, к формированию сильных военных правительств, которые смогли бы произвести в нужный момент желательные трансформации в стране. Без каких-либо задержек, минуя бюрократические процессы. Это главное. Кроме того, мой друг коммодор, следует иметь в виду, что в условиях современного мира лишь военные правительства способны защитить интересы частного предприятия на благо всей панамериканской системы.

— Абсолютно верно! Совершенно согласен с вами! — вмешался полковник Педралиса.— Только мы, военные, свободные от каких-либо условностей, способны принять твердое решение. И никаких сомнений! Наша профессия — самая благородная и гуманная: мы, как хирурги, отсекаем без всяких колебаний корень зла!

— Превосходно! Великолепнейше, полковник Педралиса! Конечно, нельзя забывать азбучную истину, что человек и общество развиваются под естественным знаком насилия и только при научно-технически организованном насилии — а мы призваны осуществлять его и силой оружия — можно установить демократический порядок и достигнуть прогресса, жизненно важного для цивилизованной нации. Но все же почему мы поддерживаем операцию «Горилла» в вашей стране «репрезентативной демократии»?..— Американский полковник прервал свою речь и окинул присутствующих взглядом.

Лицо полковника Балафуги стало суровым и жестким — чересчур дерзким показался полковнику вопрос коммодора. Нелепо, в самом деле, ставить перед советниками-гринго подобные вопросы после того, как

столько времени потрачено на подготовку путча. У Балафуги мелькают разные догадки: быть может, Примо де Вила связался с политиканами-радикалами? Может, он вступил в контакт с доктором Перико Лабиавьехой? Как бы то ни было, надо дать указание агентам «Г-2» установить строжайшее наблюдение за коммодором.

— Не останавливаясь на анализе той опасности, которую несет в себе коммунистическая Куба,— заговорил полковник Манки,— мы должны рассматривать все проблемы в свете общей политики, проводимой моим правительством на американском континенте, а также учитывая международное положение. Наша историческая миссия заключается в том, чтобы спасти христианский капиталистический мир от когтей атеистического коммунизма. Однако для достижения этого, мой дорогой коммодор, нет иного пути, как насилие, война. Мы не остановимся перед тем, чтобы уничтожить Россию и Китай, но нам безусловно необходимо оградить наши тылы... Репрезентативно-демократическое управление в Латинской Америке не может гарантировать наш тыл, а потому мое правительство выдвигает новую задачу — укрепить военную демократию. Только военная демократия может обеспечить «внутренний фронт». Освободив руки, мы приступим к осуществлению предначертаний провидения...

Медленно пережевывая резинку, американец уставился на коммодора, который утвердительно кивал головой.

— Вы удовлетворены, уважаемый коммодор де Вила?

— Вполне! Большое спасибо! Я упустил из виду мировые стратегические цели Пентагона и подошел к проблеме со слишком узким критерием. Большое спасибо, полковник.

— А сейчас я хотел бы обратить ваше внимание на следующее,— снова заговорил полковник Манки, даже не взглянув на часы.— Операция «Горилла» является только частью, правда, очень важной частью, общего плана. Надеюсь, вы это понимаете. Закрепившись на основных позициях, новая власть сможет перейти ко второму этапу. Наша главная цель: военное единство всех латиноамериканских стран, создание межамериканской армии, которая стала бы гарантией политической стабильности на всем полушарии. Практически эта большая и многонациональная армия будет выполнять функции пожарника — ей предстоит погасить любой пожар, который кастро-коммунисты попытаются разжечь на Андах либо по ту или другую сторону их.

— Вы хотите сказать...— раздался голос генерала Сенсерро, поглядывавшего на гринго поверх очков.— Вы хотите сказать, что в этих странах потребуется упразднить концепции суверенитета, независимости и прочей конституционной галиматьи, сохраняемой в силу установившихся традиций?

— Упразднить?.. Не то слово, мой генерал,— возразил полковник Манки.— Лучше скажем так: модифицировать и расширить понятие суверенности. Мы, вооруженные силы США, гарантируем подлинную независимость всех и каждой из наших стран. Вполне естественно, что новые правительства разработают новые конституции — в тон новым временам.

— А если межамериканской армии окажется недостаточно, чтобы погасить пожары?..— спросил Вердолага.

Гринго, откинувшись в кресле, расхохотался, запрыгала золотая медаль на его груди. Остальные подобострастно захихикали.

— Этого никогда не произойдет, друзья мои! — заявил полковник Манки.— Основным ядром межамериканской армии станут вооруженные силы Соединенных Штатов.

— Лучшие в мире! — восторженно подхватил Балафуга.— Мы,

полковник Манки, высоко оцениваем стратегию и тактику Пентагона. И все мы, безусловно, поддерживаем идею операции «Горилла».

— Все? — насмешливо бросил Педралиса.— А мне кажется, что некоторые до сих пор еще раздумывают...

Реплика начальника генерального штаба вызвала бурную реакцию. Перебивая друг друга, забыв о воспитанности, офицеры спешили заверить полковника Манки в своей готовности участвовать в операции «Горилла». Немедленно! Сейчас же! Сию минуту! Каждый опасался, что его заподозрят в нелояльности, в том, что он не согласен с этим планом. Американец, не переставая жевать резинку, встал — остальные последовали его примеру. Разгорелся общий разговор о положении в стране. Ни у кого больше не вызывала сомнений неотложная необходимость убрать нынешнее правительство, и как можно быстрее, дабы спасти от катастрофы нацию, а тем самым — всю межамериканскую систему, весь свободный мир.

Как-то подсознательно офицеры разбиваются на группки — кто с Педралисой, кто с Балафугой, кто с кем-нибудь другим, но каждая группка стремится — тоже, быть может, подсознательно — как можно ближе подойти к полковнику Патрику Манки, начальнику военной миссии Соединенных Штатов.

2

Конференц-зал находился в здании главного командования вооруженных сил, где был расположен и генеральный штаб, возглавляемый полковником Педралисой. Одну из стен конференц-зала украшали два государственных флага, герб и большой портрет национального героя в военном мундире. На других стенах висели эмблемы трех родов войск: сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил. Здесь под председательством полковника Оскара Балафуги собиралось высшее офицерство для обсуждения текущих дел. В соседних кабинетах работали многочисленные служащие — все они, за исключением женщин, носили военную форму.

Сейчас, когда уже окончилась лекция полковника Манки, через широкие окна в конференц-зал вливались потоки вечернего света, доносился уличный шум.

Полковникам Балафуге, Педралисе и Терсеро удалось, оттеснив остальных, отвести в угол американца — они засыпали его вопросами, стараясь говорить вполголоса, чтобы другие офицеры не услышали. Полковнику Манки, двухметрового роста американцу, худущему, а от этого казавшемуся еще выше, пришлось наклоняться, чтобы расслышать слова своих собеседников и так же негромко им отвечать.

— Не беспокойтесь, господа, не беспокойтесь,— сказал полковник Манки, быстрым жестом одернув свой мундир офицера авиации и не прекращая пережевывать жвачку.— Все идет прекрасно, все отлично, великолепнейше. В нашем распоряжении — необходимое оружие, реактивные самолеты, танки, даже новые десантные суда. Все подготовлено для предстоящей борьбы, как в столице, так и в провинции. Наш атташе, майор Коэн, привез из Вашингтона утвержденный свыше план операции. Сегодня мы, собственно, уже здесь, в ходе нашей беседы, его проанализировали и вы, насколько я понимаю, также его одобрили. Все будет о'кей, коллеги!

— О'кей, полковник Манки, о'кей! — подхватил Терсеро.— Мы со всем согласны!

— Превосходный оперативный план! — несколько сдержанно отозвался Балафуга, явно не желая раскрывать собственные карты в при-

сутствии других лиц.— Единственно, что меня беспокоит, так это вопрос — на кого, в конце концов, падет ответственность за высшее руководство, кому мы поручим управление государством...

— Ну зачем тебе ломать голову над этим?! — усмехнулся Педралиса, и в его голосе прозвучало желание приуменьшить значение этого вопроса: лично он не сомневался, что выбор падет на него, Лидио Педралису,— так дали понять и полковник Саймон, член военной миссии США, и сам посол, мистер Нелсон Барроуз.— Во всяком случае, не это самое важное, я думаю. Куда важнее привлечь на свою сторону командующих зонами и офицерство гарнизонов, в противном случае радикалы попытаются кое-кого увести за собой, подтолкнуть их на выступление против операции «Горилла»! Именно это я имел в виду, когда говорил, что кое-кто, быть может, раздумывает...

— Радикалы не в состоянии повести за собой армию,— категорически заявил министр обороны, поспешив оградить самого себя как члена кабинета радикалов.— Конечно, не исключены какие-то отдельные случаи в провинции. Так или иначе, я разделяю мнение Лидио, что главное — это единство офицерского корпуса.

Взгляды и жесты Понсиано Терсеро красноречивее слов. Сегодня его покинула флегматичность — он стал настоящим комком нервов. Маленькие, глубоко посаженные глаза так и бегают. В душе своей он питает надежду, что именно его назначат главой государства: кто, кроме него, имеющего опыт государственного деятеля, министра, сведущ в политике, искушен в закулисных политических махинациях? Разве могут с ним сравниться его коллеги? Кроме того, полковник Эйп Хелмет, также член североамериканской военной миссии, в приватной беседе с ним недвусмысленно намекнул, что в их кругах на пост главы государства прочат его. Это же более четко утверждал и Рэк Донни — представитель Центрального разведывательного управления, а разве не известно, что слово ЦРУ весит много? Радостно бьется сердце полковника Понсиано Терсеро, однако надо уметь хранить свои мысли. В случае чего можно, конечно, поделиться с самыми близкими друзьями, скажем, с такими, как Примо де Вила, и они, пожалуй, кое в чем помогут.

— Я могу подтвердить...— прошептал полковник Манки.—...Вы, а не «старикашки» будете командовать... Мы доверяем только молодым офицерам, тем, кто проходил подготовку в наших учебных заведениях и кто понимает дух современности.

— Мы надеемся на успех, с вашей помощью...

— Я уверен в том, что все пойдет великолепнейше, и в самом недалеком будущем. Вас ждет слава, но не только слава — благополучие и экономический расцвет, что всегда сопутствует тем, кто умеет делать историю. Об этом вам уже говорили посол, и президент Нью-йоркского банка, и главный управляющий Банановой компании, да и землевладельцы,— словом, все, кто непосредственно заинтересован в переменах, которые благоприятствовали бы развитию частной инициативы. Неужели мы в чем-то поскупились?

— Нет, нет, нет!..— хором воскликнули три полковника, а Балафуга еще добавил: — Нет во всем мире и никогда не будет более щедрых рук, чем руки североамериканцев, мой полковник!

— И факты свидетельствуют об этом! — присовокупил Педралиса.

— Вы — наши отцы!..— торопливо проговорил Терсеро и склонил голову так низко, что казалось, вот-вот он поцелует руку американскому полковнику.

— Ну, вы скоро убедитесь, насколько велика наша щедрость... Как только будет осуществлена операция «Горилла»... Мы хотим, чтобы наши друзья в Латинской Америке заняли первоклассные позиции в воен-

но-политическом плане и в экономическом и чтобы были нашими компаньонами во всем.

— В этом можете не сомневаться, мой дорогой полковник!

— Отлично! Великолепнейше! А сейчас... извините меня, я должен идти. До встречи вечером в казино?

— Конечно! Мы там будем все!

— В таком случае, коллеги, до вечера!

Обменявшись рукопожатиями, три полковника отдали честь американцу, а тот, помахав правой рукой, бросил: «До скорого, друзья!» остальным офицерам. Офицеры проводили американца до подъезда, где, снова щелкнув каблуками, отдали ему честь. Патрика Манки уже поджидал новый «кадиллак» с шофером в форме; машина бесшумно тронулась с места — лишь взметнулся и вытянулся в струнку звездно-полосатый флажок у радиатора автомобиля.

Офицеры распрощались, расселись по машинам и уехали, а Балафуга возвратился в свой кабинет, расположенный на одном этаже с конференц-залом.

Кабинет главнокомандующего был обставлен в стиле модерн. Балафуга опустился в удобное вращающееся кресло за металлическим письменным столом и с улыбкой стал слушать своего личного секретаря сеньориту Эдину, которая принесла ему документы на подпись. Пока полковник молча, на сей раз не вникая в содержание бумаг, подписывал документы, сеньорита Эдина, красивая и со вкусом, по последней моде одетая шатенка, с наслаждением затягивалась ароматной сигаретой. Она присела на край стола, закинув ногу на ногу, с весьма вызывающим видом.

Но начальник даже не поднял на нее глаз. Ни зовуще полураскрытые полные губы, ни тщательно накрашенные ресницы, ни сияющие лаком ногти, ни откровенное — более откровенное, чем взгляд,— декольте не привлекали внимания полковника, который был поглощен собственными мыслями. Осуществится операция «Горилла» — и он станет президентом республики!..

А не так давно, несколько месяцев назад, он и помечтать не мог о чем-либо подобном. Ему казалось, что американцы будут опираться на более заслуженных офицеров, положим, на кого-то из генералов, нет, даже в голову такое не приходило... А сейчас плод вот-вот упадет с дерева. Американцы именно ему предложили возглавить путч, и естественно, что ему надлежит возглавить и государство, да, да, так и говорили и полковник Хелмет, и военный атташе, и посол Барроуз.

Эдина переменила позу... Надеясь привлечь внимание начальника, она нервно вытягивает ноги, которые высоко открывает мини-юбка. У нее разгорается желание, чтобы этот грубый и безобразный человек крепко, до боли сжал ее в своих объятиях, кусал бы ей губы, был бы с ней беспощаден... Она закрывает глаза, и в памяти возникают картины: она с Балафугой в военном казино, в том отдельном салончике, который еще так странно называется — «Бойня»; они в этом кабинете... на этом самом ковре... Оскар Балафуга наедине с ней уже не человек, это бык!.. Лидио Педралиса, конечно, очарователен, но то совсем другое... Лидио — нежный, внимательный, утонченный, он способен свести женщину с ума. А вот Балафуга иной: воплощение силы, ураган, зверь— так любить, так обращаться с женщиной, очевидно, могли только в пещерном веке. А это тоже захватывает — чувствуешь себя листком, травинкой, лепестком, увлекаемым бурным потоком... О... его забыть нельзя... Правда, если дело касается денег, он далеко не так великодушен, как Лидио, но... она готова ему простить не только это...

И в те же минуты Оскар Балафуга вспоминает, как однажды в колледже межамериканской обороны к ним, слушателям специальных

курсов, обратился начальник этого учебного центра, генерал с оком всевидящего:

«Вы, офицеры, прибывшие из разных стран, получившие отличную подготовку у себя на родине в национальных военных школах, а здесь еще более повышающие свой уровень, в соответствии с требованием времени, являетесь привилегированной элитой, на которой зиждется будущее ваших стран, будущее всего континента. Вам предстоит подготовить себя к выполнению роли военных и политических лидеров ваших государств, разумеется, в тесном сотрудничестве с вооруженными силами и правительством моей страны».

Сколь пророческие слова! В других странах Латинской Америки многие офицеры из числа тех, кто вместе с ним получили специальную подготовку в колледже, либо уже возглавляют правительства своих стран, либо тем или иным образом определяют курс государственного корабля. В самом деле, если окинуть взором Латинскую Америку, легко убедиться, что произошли разительные перемены в тех странах, где к власти пришли военные правительства, а во главе их или в составе их находятся офицеры, прошедшие подготовку в Соединенных Штатах. Оскар прикидывает время, когда и его имя взойдет на горизонте континента, словно по волшебству... Если бы не гринго, разве можно было бы помыслить об этом!..

...Нет! Нельзя даже сравнить этих двух, так не похожих друг на друга, что вторглись в ее жизнь, ее — их секретаря, и оставивших глубокий след, который и время не может стереть, сравнить их нельзя... но Эдина ловит себя на мысли, что то и дело их сравнивает.

Лидио — мастер комплиментов, в высшей степени галантен, маг слова, просто удивительно, как он умеет обольщать. Это он научил Эдину «поцелуям шампанского». Действуя благоговейно, словно падре во время мессы, он обливал ее, нагую, шампанским и целовал — слизывая, как собака, языком капли вина с тела. Даже сразу не вообразишь! Сколько наслаждения, какая изысканность! Эдина закрыла глаза — и вот перед ней Лидио Педралиса; коленопреклоненный, собирает, целуя, капли шампанского с ее груди... с живота... с бедер...

А Оскар Балафуга... совсем иной! Ни тени интеллигентности, ни тени изысканности. Полярно противоположная натура... Но как его не полюбишь! Это разлив выходящей из берегов безудержной страсти. Звериный инстинкт. В его руках чувствуешь себя будто в гигантских клещах... Без лишних слов он швыряет на постель, на диван, на пол — и не целует, а кусает молча. Грубые пальцы яростно срывают белье. Своими повадками он похож одновременно и на быка, и на тигра, и на каймана. Порой представляется, что свалился откуда-то клубок гадюк, змеи опутали всю — с ног до головы — и жалят... И после мгновений счастья — полумертва и нет никаких желаний, кроме одного — как бы поспать. Пусть сто часов поспать! Лишь бы поспать — и во сне вновь увидеть пережитое, перечувствованное...

— Эдина!

Девушка встрепенулась, будто от внезапного прикосновения Оскара к ее груди, инстинктивно жмурит глаза. В ожидании...

— Эдина, сегодня вечером я не смогу быть с тобой. У меня деловое свидание с мистерами из военной миссии. Увидимся как-нибудь в другой раз. Сегодня ты мне больше не нужна.

— А мне, наоборот, ты мне всегда нужен!

Во взгляде Эдины — нескрываемое желание, призыв, страсть. Губы ее вздрагивают...

Она поднимается и подходит к нему скользящим тигриным шагом.

— Ах, мой дорогой, мой ужасный диктатор!

Она обнимает его за шею, ожидая ответной вспышки, но полковник

безмолвен. Холоден, как труп утопленника. Нет, это не бык — просто вол!.. Балафуга жестом отстраняет ее. Настаивать бесполезно, придется смириться. Двери рая сегодня закрыты!

3

После бесчисленных бокалов виски, поглощенных в баре военного казино, у полковника Лидио Педралисы голова пошла кругом. Кое-как он добрел до туалета, а вот застегнуться не может. Сам с собой говорит — и сам себя не слышит. Быть может, слова только проносятся в опьяненном мозгу, а губы беззвучно шевелятся. Что такое? Почему фарфоровый унитаз то приближается, то удаляется — не унитаз, а качели; будто невидимая рука услужливо подбрасывает унитаз вверх, к его лицу, и тут же издевательски отводит куда-то в сторону. Хорошо бы, вырвало. Беда в том, что никогда его не рвет, сколько бы ни выпил. Опершись рукой о стену, полковник уставился в пол, сквозь туманную дымку едва различает мокрые шестиугольные изразцы, в которых отражается лампа, что горит под потолком, отражается и исчезает... Изразцы тоже то приближаются, то удаляются... И отражение лампы приближается и удаляется...

— Чепуха! — с трудом произносит он, наконец-то осознав, что единственное движущееся здесь — это его собственное тело.

Он поднимает ногу, хочет шагнуть, чтобы убедиться, действительно ли он пьян. И сразу же ставит ногу на пол — как бы не упасть. Не упал. Улыбаясь, он направляется к двери. И на пороге — нос к носу — сталкивается с другим офицером, который тоже, видать, перегрузился: ворвался как сумасшедший, с перекошенным лицом, что-то бормочет...

— Тормози, тормози, не то ухнешь! — брюзжит Педралиса, обеими руками хватаясь о стену и пытаясь сохранить равновесие. Вглядевшись в лицо вошедшего, он берет его под руку и, с трудом ворочая языком, говорит на ухо: — Послушай, Плумилья, будет лучше, если Оскар отправится домой и проспится. Он уже готов, а ты знаешь, что, пожалуй, нет смысла торчать перед глазами друзей-гринго.

— А тебе что? — несколько задиристым тоном спрашивает его командующий военно-воздушными силами, тщетно пытаясь рассмотреть собеседника остекленевшими глазами.— Тебе-то что? Пусть вливает виски в себя, сколько хочет. Разве полковники-гринго не умеют пить, да и не вляпываются так же в...

— Но ведь ты понимаешь, что теперь на нас лежат серьезные обязательства, и не стоит устраивать здесь спектакли...

— Да брось ты ерунду пороть, Педралиса! — протестует Плумилья, высвобождаясь из рук коллеги, а войдя в туалет, философски произносит: — На попойке нужно пить, а не думать — думать нужно на службе... и то думать о... попойке...— обернувшись, он лукаво спрашивает:— И что это тебе дался Оскар?

— Да ты, видать, тоже нализался, наземный летчик!

— Нет, друг, я только подумал, что, если гринго придет в голову разыскивать тебя, ты погиб, ведь ты же выпил куда больше, чем Оскар.

— Ну я-то умею владеть собой, а вот Оскар напивается до... до...

— А-а, все вы — копыта одного осла! — пренебрежительно махнув рукой, он отвернулся и оправился прямо на пол, очевидно, приняв блестящие изразцы за фарфоровый унитаз.

Полковник Педралиса по узкому коридорчику плетется в зал для высших чинов. Пинком распахивает дверь, и в коридор врывается шум

и гул голосов, стремящихся перекричать друг друга, гул, заглушающий даже звуки джаза, заигравшего твист в соседнем танцевальном зале.

Удушающе ароматным дымом сигарет пропитано все вокруг. И хотя уже наступила полночь, здесь еще ощущается жара. Окружив круглый стол из полированного красного дерева, несколько военных гасят свое возбуждение в бокалах виски со льдом, виски с содовой, в коктейлях, но страсти тут же вновь разгораются в азартнейших схватках в покер либо в оживленнейшей и столь же беспсрядочной болтовне. Кое-кто уже снял парадный мундир и набросил его вместе с фуражкой на металлическую вешалку. Белые рубашки пестрят пятнами от пота. Люди изнемогают от жары, впрочем, не столько от жары, сколько от винных паров, хотя прикрепленный к потолку электровентилятор вращается и вращается непрерывно, размахивая широкими пластмассовыми лопастями. На больших окнах раздвинуты шторы, и можно любоваться панорамой ночного города. С картины на стене экзотические глаза какой-то восточной танцовщицы смотрят на мужчин с мистической чувственностью.

Помимо местных офицеров здесь находятся трое американцев: долговязый полковник Патрик Манки, тот самый, что днем выступал с лекцией, полковник Бейбун Саймон и майор Тайти Коэн; два первых — члены военной миссии, третий — атташе посольства США.

Спору нет, полковник Балафуга уже изрядно нагрузился, но все же не настолько, как считает Педралиса. Он распахнул рубашку на жирной, покрытой темными обезьяньими волосами груди. Рядом с Оскаром развалился полковник Бейбун, с блаженной улыбкой потягивающий «одно» виски,— он никогда не пьет виски с содовой, утверждая, что содовая портит вкус напитка и вредна для желудка. Офицеры-гринго пьяны не менее, чем их латиноамериканские коллеги, однако, похоже, лучше умеют держать себя в руках, быть может, потому, что привыкли ежедневно поглощать большие дозы спиртного.

— Скажите,— вдруг спросил Балафуга, будто внезапно очнувшись,— а где наши женщины? Они только что болтали с нами. Может, они уже в «Бойне»?

— Э-э, полковник, не от покера ли голова у вас уже в космосе! — рассмеявшись, откликнулся полковник Бейбун и хлопнул коллегу по плечу.— Разве вы не помните, что они ушли с генералом Лотто, майором Реконто и капитаном Монтойа? Им, очевидно, осточертело смотреть на нашу игру! Должно быть, танцуют!

— Ну, да, конечно, оттанцовывают твист с генералом Лотто! — съязвил полковник Понсиано Терсеро, который хорошо знает, как, впрочем, знают и все присутствующие, что старый, приземистый и неуклюжий генерал Лотто никогда не танцевал и ни за что не станет танцевать, даже если будут стрелять ему под ноги.

— Лотто танцует! Любопытно было бы взглянуть на этот пейзаж!..— заметил полковник Манки, бросая карту наудачу.— Каждому — свое. Дамам — танцы, а джентльменам — покер и виски. В этом мире все организовано, и организовано отлично, все четко продумано — вот как, например, этот ход. Взгляните, друзья, рекомендую: полная коллекция тузов!

И в самом деле, полковнику Манки везло в покер, он забрал все ставки. Игроки и зрители, наблюдавшие за игрой, бросились поздравлять полковника. Шум, крики, крепкие словечки. Бейбун, стараясь доставить удовольствие креольским офицерам, немедля воздвиг небоскреб из великолепнейших ругательств — к огромному восторгу всех. Бейбун Саймон уже немолод, но точно его возраст определить трудно. Уроженец Запада Соединенных Штатов, он плотен и физически силен, как его земляки-ковбои. Волосат, под стать Балафуге, только в отличие от

того он — блондин, скорее рыжеват. На окружающих он производит впечатление человека сердечного, а быть может, просто умеет, когда надо, прикинуться этаким «рубахой-парнем», великолепным собутыльником. Как и другие члены американской военной миссии, он живет уже несколько лет в этой стране и хорошо знает всех здешних офицеров. Это он и его коллеги способствовали продвижению Балафуги и Педралисы — можно сказать, что многие другие «молодые» выпестованы им и его соратниками. Вот почему в казино сейчас такая дружеская обстановка — здесь собрались учителя и их бывшие ученики. Саймон, Манки и Хелмет — ветераны второй мировой войны, они воевали в зоне Тихого океана, позднее участвовали в корейской войне.

Нынешняя попойка не выделялась среди других попоек: те же собутыльники и та же программа. Правда, сегодня здесь недоставало еще одного члена американской военной миссии — полковника Эйпа Хелмета. Полковники, входившие в руководство вооруженных сил, собирались обычно здесь, в отдельном зале. Они играли в покер и пили виски, тогда как в других залах офицеры чином ниже танцевали и развлекались в компании дам и сеньорит — своих жен, родственниц.

Высшие чины с женами в казино не приходили. Зачем? Здесь они наслаждались компанией дам из высшего света. Между залом для высшего командования и туалетом находился укромный маленький салон, от которого у каждого полковника были ключи. Сама обстановка в этом салоне способствовала романтическому настроению: мягкий свет цветных ламп, на стенах — «nues» * в соблазнительных позах, широкое гостеприимное ложе. Среди офицеров этот салон был известен под весьма своеобразным названием «Бойня» — здесь можно было отоспаться после попойки или уединиться с прекрасной представительницей высшего общества. О, сколько сеньор безупречного поведения прошло через этот салон!..

Двери офицерского казино были закрыты для политических деятелей — штатских, входивших в правительство, в том числе и для министров. Даже сам президент республики, доктор Перико Лабиавьеха, крайне редко появлялся здесь — и то лишь в качестве почетного гостя в День солдата либо в День Отечества. Хотя по конституции армия подчинялась исполнительной и законодательной власти, хотя президент числился верховным главнокомандующим, «молодые» полковники, уже начинавшие ощущать свою силу, не слишком считались с ним. Под влиянием американской военной миссии «молодые» вели себя как каста избранных, которой вскоре предстоит занять место у штурвала корабля нации. Большинство офицеров находилось в оппозиции к правительству радикалов — иначе, собственно, и быть не могло: все высшие военные были выходцами из семейств консерваторов, латифундистской ультрареакционной олигархии.

Раньше, всего несколько лет назад, привилегированную касту составляли те, кого нынче зовут «старикашками»,— разница заключается только в том, что те не получали инструкций от американской миссии, да и самой миссии тогда не было в стране. Кадровые офицеры, как правило, принадлежали к обеспеченным кругам, однако их формирование проходило в течение долгих лет армейской службы. Разумеется, как вчера, так и сегодня вооруженные силы выполняли одну и ту же репрессивную роль в стране.

Было уже далеко за полночь, когда в казино появилось еще четыре человека — более или менее трезвых,— которых собравшиеся бурно приветствовали. Трое из них — гринго.

Мистер Пол Трэп — президент Нью-йоркского банка, небольшого роста, полный, с красноватой апоплексической свинячьей шеей и круг-

* Обнаженные *(франц.)*.

лым, розовым, блестящим, будто покрытым кольдкремом, лицом. Войдя в помещение, мистер Трэп сбросил белый тиковый пиджак, выпустив круглое брюшко, которое делало его еще более приземистым.

Другой гринго, еще довольно стройный и сухощавый, был мистер Отто Оверсир, один из управляющих Банановой компании. Надменный взгляд и повелительные жесты заставляли подумать, что Оверсир старый кадровый военный. Его кирпично-красное лицо походило на маску, навсегда запечатлевшую выражение величайшего недовольства.

Третий был моложе всех. Высокий, крепко сбитый, спортивного телосложения. Издалека он казался даже симпатичным человеком, однако вблизи в его физиономии обнаруживалось что-то такое, что не могло, конечно, не вызвать невольного отвращения,— быть может, презрительная складка губ, быть может, мрачный взгляд исподлобья... Смахивал он на бывшего боксера и на... почему бы нет? — удалившегося от «мокрых» дел гангстера. Его знали под именем Рэка Донни, он являлся специальным советником местной Службы общественной безопасности (СОБ) и официальным представителем Центрального разведывательного управления США, приглашенным в страну правительством радикалов по настоянию посла Нелсона Барроуза.

И, наконец, последним в этой четверке был местный деятель. Малорослый и тщедушный, он был похож на какого-то состарившегося недоноска и, стараясь привлекать к себе внимание, он всегда носил туфли на высоких каблуках. Огромные очки закрывали большую часть худого, болезненного личика, на котором автоматически появлялась мертвенная улыбка, как только к человеку обращались иностранцы. Адвокат Анисето Пакúн — именно так звали этого достойного деятеля — вел дела иностранных предприятий, находившихся на территории страны, и одновременно вел колонку в столичной вечерней газете «Ла ноче», поэтому титуловал себя «журналистом по призванию», а также занимался коммерческой — да и политической — пропагандой финансовых кругов. К слову сказать, он уже давно слыл виднейшим идеологом антикоммунизма. Вообще, будучи одним из лидеров консервативной партии, Анисето Пакин — бесспорно выдающаяся личность. Этот коротышка обладал пронзительно звонким, металлическим голосом. И можно понять его слабость — дискуссии; нет большего удовольствия для дона Анисето Пакина, как завязать с кем-нибудь полемику — о, в таком случае он может блеснуть своей эрудицией и... заглушить всех своим голосом. Другой «пунктик» Пакина — страсть к банкнотам (зато у него нет пристрастия, скажем, к напиткам — и врачи запрещают ему пить, да и сам он очень быстро пьянеет).

Пакин очень богат, он тесно связан с местными финансистами, а кроме того, он — акционер нескольких североамериканских фирм. И его отец крупный латифундист. Нужно ли говорить, что он — одно из самых заинтересованных лиц в скорейшем осуществлении и успехе операции «Горилла»... Какие радужные перспективы открывались перед доном Анисето!

— Сыграем партию, мистер Пол? — предложил банкиру майор Коэн, тасуя карты.

— Играть в карты? Играть, когда мы на грани банкротства по вине этого правительства, не способного установить в стране порядок и обеспечить условия для развития частной инициативы!..

— Ну что ж,— произнес майор Коэн, шутливо улыбаясь,— будем считать, что теперь мы знаем мнение президента Нью-йоркского банка. А представитель Банановой компании, конечно, думает иначе.

Для бананов рынок всегда гарантирован. Не так ли, мистер Оверсир?

— О каком рынке может идти речь! Бананы, дорогой майор, гниют на плантациях,— возмущенно отпарировал мистер Отто.— Пеоны требуют жалованья не меньшего, чем у управляющих, а иначе не хотят рубить банановые гроздья.

— Подумайте только,— вмешался адвокат Пакин,— и при этом нынешнее правительство разглагольствует, что оно делает все для укрепления финансового положения и притока иностранных капиталов!

— Ну, что касается их собственных капиталов и капиталов их камарильи, об этом-то они заботятся! Недаром доктор Лабиавьеха и его приспешники стали жаловаться на здоровье...

— Хлопковые плантации, кофе, табак, скотоводство, промышленные предприятия — все это миллионы! — с жаром подхватил Пакин.

— Учтите, что они даже не получают помощи от Союза ради прогресса...— заметил мистер Трэп, подзывая официанта, чтобы заказать коньяк.

— Да, да! — воскликнул Пакин.— Миллионы, миллионы! И они мечтают награбить еще больше, эти воры из партии радикалов. Мы обязаны незамедлительно пресечь их действия — им ни одного сентаво!

— Обратите внимание,— подчеркнул Рэк Донни, еще более скривив в гримасе губы,— что еще при Кеннеди Вашингтон выразил готовность поддержать их значительными кредитами.

— Черта с два! — протянул адвокат-недоносок, воздевая руки.— Надежд у них было много, но вместе с Кеннеди исчезли и надежды! А что касается кредитов от Союза ради прогресса, то в свое время мы их получим, друзья мои! — И, подойдя к Балафуге, он нежно похлопал его по спине и сладким голосом произнес: — Для наших ястребов не будет никакой задержки с американской помощью!

— Почему вы так считаете, адвокат?

— Стоит ли об этом спрашивать, мой полковник? Тот, кто знает, знает...

Оскар делал вид, что внимательно следит за игрой, однако на самом деле он старательно прислушивался к тому, что говорил адвокат, и воспринял его последнюю реплику как прямой намек. Значит, и Пакину известно, что это он, Балафуга, станет главой государства, но плут-адвокат предпочитает пока молчать. Самодовольно улыбнувшись, Балафуга приглашает коротышку выпить, однако тот вежливо отказывается и отходит к полковнику Сантьяго.

Педралиса, беседовавший с офицерами, внезапно повертывается к президенту банка и спрашивает его в упор:

— Как делишки, мистер Трэп? Достигли ли господа капиталисты соглашения по поводу...— Он многозначительно трет указательным пальцем большой — всюду популярный знак.

— Все в порядке, дорогой полковник Педралиса. У нас не бывает разногласий, когда речь заходит о сотрудничестве во имя спасения дружественного государства. Все будет о'кей! — И, понизив голос, добавляет: — Соответствующий депозит уже сделан в моем банке. Он в распоряжении героев!

— Великолепно! — Педралиса сразу же понял, что финансовое обеспечение операции «Горилла» гарантировано.

Полковник Терсеро потеснился, чтобы дать место рядом с собой мистеру Донни. Они давние друзья, Рэк Донни и министр Понсиано Терсеро, их связывают не только узы личной дружбы, но и общие финансовые дела. Впрочем, не только финансовые. Донни пользуется большим авторитетом в Центральном разведывательном управлении, и полковник Терсеро, естественно, надеется, что это — серьезный шанс в борьбе за власть.

Господ офицеров больше всего тревожил вопрос финансирования путча, а точнее — интересовали те прибыли, которые впоследствии каждый смог бы получить от этой операции. Бесспорно, они будут участвовать в путче, но не безвозмездно. В ход уже были пущены аргументы, что участие в операции — дело весьма и весьма рискованное, и, разумеется, хотелось бы заранее получить какие-то гарантии, ведь в случае непредвиденного поражения придется — чего доброго — покинуть страну и где-то искать убежища. Они считали себя патриотами и ради блага отчизны готовы нанести удар по правительству радикалов, однако их патриотизм, соответствующий веку бизнеса, определялся экономическими благами. Операция «Горилла», по мнению ее будущих исполнителей,— не только военно-политическая акция, но и предприятие, требующее капиталовложений, обещающее дивиденды по акциям.

— Дорогие друзья,— Пакин не может оставаться в стороне даже от мышиной возни пьяных картежников,— все идет пока отлично. Единственное, чего нам раньше не хватало, это соглашения в области психологической подготовки национального и международного общественного мнения, в области пропаганды. Но теперь мы определили единую линию на совещании с пресс-атташе, мистером Гарольдом. Вы вскоре увидите, как пресса расчистит путь для оружия!

— Эх, знаете ли,— замечает полковник Терсеро не без иронии,— если мы будем уповать только на прессу, доктор Лабиавьеха может спать спокойно...

Адвокат Пакин как ужаленный вскакивает с места, нервно тычет пальцем в министра — тот улыбается, ему давно хотелось поддеть адвокатишку — и брызжет слюной, захлебываясь от негодования. Пакин, когда он лезет в драку, просто великолепен. Он раздувается как индюк. Откуда только у этого коротышки берется столько пыла, кажется, что он вот-вот лопнет как мыльный пузырь! Донельзя живописен в такие минуты Пакин, кто может с ним сравниться!

— Вы не правы, мой дорогой полковник Понсиансито! — провозглашает коротышка адвокат.— Сегодня ничего нельзя сделать без содействия, нет — без помощи прессы и радио! Это эффективнейшее средство контакта с массами!

— С массами? — прерывает Лидио, укоризненно взглянув на адвоката.— О, что-то запахло красной пропагандой...

— Простите меня, что я использовал этот термин не очень-то христианского происхождения! Я знаю, что его любят коммунисты, но мне кажется, что теперь этот термин — самое точное определение. Без пропаганды в прессе мы не сможем создать необходимый психологический климат для патриотического выступления полковников. Необходимо достичь того, чтобы это выступление было правильно понято.

— С прессой или без прессы...— отрезал полконик Терсеро,— это все равно. Главная сила — в личном мужестве и оружии! Без этого ничего не сделаешь, будь у нас хоть тысяча газет, лающих днем и ночью!

— Боже мой, боже мой, что я слышу! — восклицает адвокат, патетически воздевая руки и обращая взгляд к потолку.— Невозможно, невероятно! И это изрекает мой дорогой полковник, министр обороны!

— Берегитесь, дружище Анисето! Вы же видите, что полковник Терсеро имеет зуб против журналистов. Мне рассказывали, что на днях он пинками выгнал из своего кабинета репортеров из «Пренса либре». Будьте осторожны в своих самых благородно-бескорыстнейших акциях, дорогой друг, и... поберегите свой благородный зад!

— Нет, нет, полковник ошибочно понимает роль прессы! Это лишь ошибочная концепция! — продолжает вкрадчиво Пакин.— Но он отнюдь не враг журналистов, по меньшей мере тех, кто выступает с позиций антикоммунизма. Могу вас заверить. Я — его давний друг и знаю, что

меня он ценит так же, как и я его. Из того факта, что он является министром в кабинете радикалов, никоим образом не следует, что мы в разных лагерях. Разве не так, мой полковник?

Остальные офицеры не обращают внимания на разгоревшуюся дискуссию — они поглощены не менее жарким обсуждением скандального происшествия с одной прелестной дамой. Только американцы внимательно следят за противниками — то ли их заинтересовала сама дискуссия, то ли забавляет взъерошенный, распетушившийся адвокат.

Сидя между Бейбуном и Трэпом, полковник Балафуга чувствует себя уже почти президентом республики. Виски ударило ему в голову. Он весь в напряжении; карты судорожно зажаты в кулаке — играет рассеянно, увлеченный чем-то своим, то и дело проигрывает, но даже проигрыши для него безразличны. Вращаются лопасти вентилятора — и будто в ритм его мыслям: «Я — человек этих гринго! Я — человек этих гринго! Я — человек этих гринго!..» Внезапно он рассмеялся, но смех его потонул в общем шуме.

В нижнем салоне, в полумраке, под звуки джаза танцуют пары. Те, что не танцуют, уселись вокруг маленьких столиков, зубоскалят и смеются, наблюдая за танцующими,— приняв небрежный вид, они потягивают виски и коктейли, которые разносит официант в смокинге. Здесь тоже большинство — офицеры; очень немного штатских.

За одним столиком с генералом Эпаминондасом Лотто сидят офицеры Монтойа и Реконто и четыре довольно приятные и веселые собеседницы. Они пьют. Старый вояка развлекает общество пикантными анекдотами. Лотто — бледный, полный и лысый, всегда тщательно выбритый, заботливо ухаживающий за своими длинными кайзеровскими усами. Уже давным-давно его окружает слава военного, особенно отличавшегося в схватках с дамами. И как следствие его победоносных наступлений — чуть ли не десятки незаконнорожденных детей, не считая тех одиннадцати, что родила ему законная супруга, ныне покойная. А теперь генерал Лотто, этот потухший вулкан, выступает не более как архивариус приятных воспоминаний и занятный повествователь историй особого жанра, которые вгоняют в краску даже девиц из популярного среди офицерства публичного дома на Ла Линеа.

Лишь на рассвете посетители покидают гостеприимный клуб. Выходят парами: жены и мужья, женихи и невесты, любовники и любовницы. Трогательно прощаются друг с другом. Автомобили срываются с места на полном ходу — сказываются калории и градусы. Несколько позже из своего зала вылезают полковники. Они с трудом спускаются по лестнице, стараясь удержать равновесие. Американцы что-то напевают или просто бурчат. А в «Бойне» лежат поперек исторического ложа три «трупа», оглашающие салон мощным храпом. Один из них — полковник Лидио Педралиса.

4

Предрассветный холодок чуть-чуть отрезвляет гуляк, которые в открытой автомашине Рэка Донни направляются в аристократический квартал — в гости к Оскару Балафуге. За машиной американца армейские шоферы ведут машины своих начальников.

Столица не столь уж велика, и потому трудно скрыть ее ночную жизнь. Всю ночь напролет открыты бары, ночные клубы и бордели. В районе Ла Линеа, или «Английского квартала», буквально на каждом шагу натыкаешься на публичный дом; здесь уличные скандалы не прекращаются до рассвета, когда, словно призраки из древних

легенд, вместе с тенями исчезают подозрительные личности, прячась от наступающего дня в катакомбах города.

И в этот ранний час — собственно, так же, как и в любое другое время суток,— в подъездах общественных зданий, в торговых рядах, под мостами (город перерезан надвое, словно ударом топора, широким и глубоким потоком бурливой реки, в водах которой, кстати, немало неудачников окончило свои дни), в незапертых подъездах жилых домов, будто бродячие собаки, спят какие-то люди, растянувшись на листах картона или старых газетах. Эти представители столичного «общества» живут милостыней, а то и грабежом, шулерством или жульничеством, карманным воровством.

Полковника Балафугу всегда раздражал вид человеческих отбросов на улице: он говорил, что это — позор города и у туристов, приезжающих из-за границы, при виде их может создаться превратное впечатление о стране.

— Следовало бы устроить облаву на этих бродяг, сбросить их в реку,— поморщившись, заметил Балафуга, указывая на какие-то темные фигуры, распростершиеся на тротуаре.

— Резонно,— одобрил сидевший рядом с ним министр обороны.— Это грязное пятно на облике нашей столицы.

— А что вы с ними сделаете,— вмешался Вердолага, который прикорнул было на заднем сиденье рядом с Плумильей.— Ведь с каждым днем их становится все больше и больше, словно сама земля рождает эту нечисть.

Не выпуская изо рта сигареты, Донни кивает головой и ловко выворачивает руль, чтобы избежать столкновения с молочной автоцистерной, стремительно вылетевшей на перекресток.

В особняке — личной резиденции полковника Балафуги — еще горит свет в прихожей, а перед домом прохаживается часовой, озябший от ночного холода солдат с автоматом. Вилла с прилегающим к ней садом огорожена железной решеткой, неподалеку от дома — гараж. Виллу с усадьбой полковник приобрел не так давно, когда возглавил вооруженные силы; прежде он жил в доме жены.

Рэк Донни сердечно распрощался со всеми и уехал. Все еще пошатываясь, офицеры в сопровождении Балафуги входят в дом. После бессонной ночи и возлияний в горле пересохло — всех одолевает жажда и зевота. И первым делом они спешат к домашнему бару. Девушка, почти подросток, с индейским типом лица и иссиня-черными волосами, заплетенными в длинные косички, приносит им сандвичи с ветчиной.

— Росита,— обращается к ней хриплым голосом полковник,— лучше приготовь нам кое-чего посущественнее. Все хотят есть. А сеньора еще не вернулась?

— Нет, дон Оскар,— отвечает остроглазая девушка с длинными косичками.— Сеньора донья Асусена сказала, что она поехала в «Сьелито линдо», там благотворительный базар помощи бедным детям. Она уехала вместе с сеньором министром лисенсиатом Паломино.

Балафуга никак не реагирует на ее слова. Его ничуть не удивило отсутствие жены: хотя они и жили под одной крышей, но частенько не видались целыми днями. Девушка ушла в кухню, а офицеры, бросив фуражки на стол, уселись в кресла. В руках у каждого бокал. Одолевает дремота. Хочется освежиться, а все новые и новые дозы виски с содовой только еще больше туманят голову.

Резиденция полковника Балафуги не особенно велика, но обставлена со вкусом. Комфорт. На стенах — фамильные фотографии, на одной из них, самой большой, можно узнать Оскара с какими-то иностранцами в военной форме, снимок сделан в Соединенных Штатах; на другом — Балафуга в день свадьбы. На всех снимках хозяин виллы

красуется в форме военно-воздушных сил, две или три фотографии изображают его рядом с самолетом или в самолете. В коллекции старинного оружия, развешанного на ковре, есть и пистолеты и винтовки новейших образцов. В углу — радиоприемник последней модели, который полковник Терсеро включил, отыскивая музыку, как только вошел в зал; в другом углу — телевизор с большим экраном. Повсюду вазы с тропическими растениями. Книжный шкаф аккуратно заставлен книгами в прекрасных переплетах — по-видимому, здесь никто никогда их не раскрывал. На книжном шкафу стоят маленькая модель боевого самолета и игрушечный танк.

— А лисенсиат Паломино что-то зачастил к вам,— обращается Плумилья к Балафуге.— Не флиртует ли с тобой?

— Проще простого. Ухаживает за моей женой, чтобы войти ко мне в доверие.

— Не разнюхал ли чего? — спрашивает Понсиано.

— Да нет. Не думаю. Он просто надеется, что я поддержу его кандидатуру на пост президента республики. Он готов на все и делает все, чтобы привлечь на свою сторону военных.

— Из всех кандидатов, имена которых уже известны,— замечает министр,— я думаю, у него больше шансов на победу...

— Если дождется выборов! — насмешливо вставляет Вердолага.

— Естественно,— продолжает Балафуга.— Паломино хитер. Он использует все — хвостом тянется за послом Барроузом, пытается завоевать его симпатию и поддержку, одновременно с нами кокетничает. А с другой стороны, обольщает избирателей, обхаживает рабочих. Направо и налево раздает абсурдные обещания.

— Не уверен, что шансов у него много,— говорит Терсеро,— пусть даже он и наберет много сторонников, надо... надо еще дождаться выборов. Как знать, вполне возможно, что его... возможности так и не осуществятся никогда.

— Почему? — заинтригованно спрашивает Плумилья, стараясь выглядеть бодро и даже пытаясь выправить измятую складку на брюках.

— Он не в чести у президента Лабиавьехи. А среди лидеров радикализма столько интриг! Теперь официальным кандидатом как будто собираются выставить инженера Хоакина Медидора. Сам Лабиавьеха за эту кандидатуру.

— Ты не знаешь Паломино, он сумеет обскакать Медидора, даже не располагая поддержкой лидера партии. Такие вот Паломино петляют, словно зайцы. Вот и сейчас, видишь, он отправился на благотворительный базар вместе с Асусеной. Тоже еще благодетель, ангел-хранитель бедных детишек! Чистой воды демагогия!

Наконец Росита вышла из кухни и сказала, что все могут пройти в столовую, где подан завтрак, правда, холодный, потому как очень рано и кухарка еще не пришла. Гости ринулись в столовую, прихватив с собой бутылки и бокалы. Они набросились на еду с таким аппетитом, точно их морили голодом неделю. Первые минуты прошли в молчании — слышен был только стук серебряных вилок о фарфоровые тарелки, сдавленное чавканье да тихое, доносившееся из радиоприемника бормотание диктора, который говорил что-то по-английски. Заморили червячка — и беседа возобновилась. Острые проблемы национальной политики были у всех на языке.

— Я думаю,— заговорил полковник Балафуга,— что из всех политиканов, входящих в нынешний кабинет радикалов, самый умный, конечно, Перико Лабиавьеха. Хитрая лиса! Он мне как-то показал блестящий план, рассчитанный на ближайший период своего правитель-

ства. Видимо, хотел дать мне понять, что не сомневается в победе своей партии на выборах.

— Если выборы состоятся,— заметил Плумилья,— его партия действительно может выиграть, и с огромным перевесом. За радикалами — большинство избирателей. Если бы выборы были чистыми, консерваторам никогда не удалось бы победить радикалов.

— Выборы... Выборов-то не будет! — оборвал его Вердолага с таким видом, будто раскрывает тайну, остававшуюся неведомой для всех.— Дождутся они выборов... в раю, у святого Гавриила!

— Он мне даже обещал,— продолжал Оскар, не обращая внимания на Вердолагу,— удвоить жалованье офицерам, увеличить вдвое бюджет по расходам на вооруженные силы, дать мне другое министерство — общественных работ — и, кроме того, обещал впредь прислушиваться к моему мнению...

— Ха! Мне он тоже предлагал остаться в министерстве обороны — как будто бы это они распределяют министерские портфели.

— Ну, в общем, жди пинка в зад! — мрачно произнес Вердолага.

— Не думаю, чтобы до этого дошло. Но провести себя он не даст. Бесспорно. Он на меня сейчас нажимает, предлагая основать на паритетных началах общество или компанию, а затем — бумажную фабрику, советовал вместе с ним заняться хлопководством.

— Что ж, хлопковые плантации у него обширны,— говорит Понсиано,— и компаньоном его в этом деле, если я не ошибаюсь, является инженер Медидор.

— О,— восклицает Вердолага,— аппетиты этих деятелей известны! Акулы! Вот только приманка больно скудная!

— Меня они тоже пытались умаслить,— откликается Балафуга,— Лабиавьеха рассчитывает на крупные кредиты Союза ради прогресса. Во всяком случае, он сулил мне златые горы...

— И ты считаешь, что он выполнит свои обещания? — спрашивает с явным сомнением Эммануэль Плумилья.

— Конечно, мы же ему нужны. Он хочет не только привлечь на свою сторону армию, но и сыграть на наших экономических интересах. Разумеется, я принял его предложение, и он считает, что я теперь у него в кармане и что на предстоящих выборах мы будем плясать под его дудку, занимая нейтральную позицию. Этот олух даже не подозревает, что его уже обошли, что нашлись более решительные люди, которые не разменываются на мелочишку и готовы идти на все...

— Понятно. Глупо соглашаться на фунт мяса, когда можно заполучить целого быка! — провозглашает Плумилья, загоревшись этой идеей и, быть может, вспоминая асьенду отца с большими стадами.

— Разумеется, разумеется! — соглашается Балафуга, бросая на стол салфетку, которой он вытирал рот.— Мы были бы круглыми дураками! После осуществления операции «Горилла» мы действительно будем богаты, это уж как дважды два... и не надо связываться ни с кем...

— За исключением гринго,— ввертывает Понсиано.

— Да, но гринго — совсем другая песня! Заинтересованы они лишь в том, чтобы мы им оставили свободными руки, не мешали им обделывать свои делишки, чтобы мы пристукнули бы коммунистов и чтобы мы поддерживали гринго в случае войны. А в государственные дела или в бюджетные расходы они не вмешиваются. Миллионеры! Что им стоит предоставить нам кредиты либо помощь наличными? В долларах!

Полковник Балафуга говорит с жаром — кажется, что даже зловеще-темные очки горят алчным огоньком, хотя это всего-навсего отблески света в стеклах. Каждый мысленно подсчитывает, что принесет ему операция «Горилла»,— аппетит, как известно, приходит во время еды, и страсти разгораются, опьяняет одна мысль — деньги.

Раньше такого не наблюдалось. Да и сам Оскар был далеко не столь решительно настроен и прежде не ощущал подобной жажды долларов. Он, правда, преуспевал, для этого ему даже не требовалось делать особых усилий: регулярно каждый месяц на его счет поступали определенные суммы. Ему принадлежали четыре первоклассных дома терпимости, кроме того, он был держателем акций около дюжины борделей низшей категории на Ла Линеа. Ему же шли дивиденды от игорных притонов: тех, что действовали под вывеской шикарных «night-clubs»*, и тех, что действовали вообще без всяких вывесок в предместьях. Немало он получал и от контрабанды спиртных напитков, нейлона и драгоценностей, ввозимых его друзьями, крупными коммерсантами-импортерами. Все это давало ему прибыль, как уже говорилось, без каких-либо усилий и вообще без какого-либо труда, поскольку всеми делами занимался лисенсиат Онорато Мадригаль, его ближайший друг и вернейший советник. Да, Балафуга преуспевал — и эта вилла, в которой он сейчас принимал гостей, не стоила ему ни одного сентаво: строили солдаты, а строительные материалы были получены из армейских складов. Балафуга имел два автомобиля последней марки: один был предоставлен жене, другой — его личный, но своим он никогда не пользовался, в распоряжении главнокомандующего вооруженными силами в любую минуту находилась не одна специальная машина с пуленепроницаемыми стеклами.

Что и говорить, высшие чины жили припеваючи, ни в чем себя не стесняя, но и этого им ныне оказалось мало — и в предвкушении денег и власти они засуетились, заволновались, забегали. Жажду денег и власти умело разжигали военные советники-янки. Американцы толкали их на путь массового бандитизма: это по воле гринго армия готовилась выступить в роли гангстера под флагом операции «Горилла».

— Все хорошо,— произнес Вердолага,— все хорошо, но только никак не могу понять, почему друзья-гринго до сих пор не сказали четко, кого они прочат на пост президента.

— Как не сказали! — запротестовал Балафуга, вскочив с места.— Конечно же, меня, меня, Оскара Балафугу! Все давно уже решено! — Полковник окидывает гостей взглядом, в котором читается твердая решимость не уступить никому президентского кресла.

— И все-таки, Оскар,— вмешивается Плумилья, также вставая с места и искоса взглянув на себя в зеркало,— Вердолага прав. Конечно, мы верим — они тебе в самом деле говорили, что ты будешь главой государства, но, по-моему, такой же пост они обещали и Педралисе.

— Ерунда, дружище! Сказки, выдумки самого Лидио! Уж я-то его знаю, этого брехуна, да еще с невероятной амбицией!

Понсиано, втайне тоже мечтавший о президентском кресле, промолчал, предпочитая не раскрывать своих замыслов,— по его мнению, выгоднее подождать, пока не наступит тот день, когда Балафуге и Педралисе придется пробудиться, избавившись от своих абсурдных химер. Ха, Понсиано достаточно хитер и благоразумен! Теперь же лучше послушать: пусть кудахчут. А кроме того, его интересует совсем другой вопрос, для этого он здесь и остался.

— Послушай, Оскар,— обращается к Балафуге Плумилья, осушив свой бокал,— ты знаешь, что я не любитель закулисных сплетен. Однако я должен сообщить тебе кое-что. Когда я был в посольстве, я слышал, что полковник Бейбун и майор Коэн говорили: «Наше правительство уже сделало свой выбор — главой нового, военного режима желательно видеть вас, полковник Педралиса». Именно так было сказано, я слышал это собственными ушами. Обрати внимание — других мнений от них мы пока не слышали.

---

* Ночных клубов *(англ.)*.

Серьезный и категоричный тон Плумильи заставляет Балафугу замолчать и задуматься. Все-таки странно, в личных беседах с ним американцы говорили совсем иначе. Не ведет ли его коллега и друг Педралиса какую-то темную работу с гринго, чтобы обойти его, Балафугу? Нет, ни за что он не уступит, ни за что не уступит своих позиций без боя — еще посмотрим, кто кого! Не видать этому наглецу Педралисе президентского кресла! Он окидывает взглядом своих гостей и неожиданно спрашивает:

— Прекрасно, а вы? С кем вы?

Вопрос этот явно застал всех врасплох. Офицеры молчат. Вердолага уж было собирался как-то выкрутиться из положения, но тут слово берет министр обороны. Он говорит неторопливо, делая паузы после каждого слова:

— Я считаю, что наше дело — беспрекословное подчинение главе верховной власти, кого бы ни избрали наши североамериканские друзья. А ты что думаешь по этому поводу, Оскар?

Балафуга молчит, затем неуверенно кивает. Не хотелось бы ему отвечать на этот вопрос. Вмешивается Плумилья:

— Послушай, Оскар, оставим все это, в конце концов дело второстепенное. Мы поддержим того, кого назначат гринго. Самое важное сейчас договориться о... как бы это назвать... о гонорарном авансе, что ли...— и он обменивается понимающим взглядом с полковником Терсеро.

— Отлично, Эммануэль, великолепнейше, как выражается полковник Манки! — говорит Терсеро.— Вопрос не только своевременный, но и насущный.

— В казино мне передавали, что деловые люди как будто договорились...— вставляет Вердолага.— А миллиончики, бесспорно, у них всегда под рукой.

Оскар Балафуга иронически улыбается. Он не хотел затрагивать эту тему, но коль скоро о ней заговорили, придется отвечать.

— Что правда, то правда. Пять миллионов долларов выделено для финансирования операции «Горилла», а это значит...— и его безобразное лицо просияло, он уже не скрывает своей радости,— это значит: пять миллионов — наши!

— Чудесно! Потрясающе! Ура компаниям янки!

От охватившего их возбуждения полковники не могут сидеть, вскакивают со своих мест. Оказывается, бутылка уже пуста. Они требуют у хозяина виски — надо же отметить событие. Оскар вызывает Роситу и приказывает принести другую бутылку. Девушка с черными длинными косичками и усталыми глазами молча повинуется. Полковники проходят в зал. Дремоту как рукой сняло, они готовы снова начать попойку. Росита приносит виски, содовую и чистые бокалы и спешит на кухню — поскорее вымыть посуду. И до кухни доносятся громкие голоса полковников. Она моет посуду — надо отрабатывать шесть долларов жалованья в месяц и во всем угождать хозяйке,— а глаза девушки слипаются, и вдруг выскальзывает из ее рук тарелка, падает на пол, осколки разлетаются по комнате. Вот беда! Опять вычтут из жалованья!..

— Очень хорошо, Оскар,— Плумилья восстанавливает нить разговора после того, как офицеры, потерявшие было голову от радостной вести, подняли особый тост за миллионы, обещанные монополиями,— скажи нам, пожалуйста, сколько же причитается каждому?

Балафуга, поднеся к глазам свой бокал, смотрел сквозь него на свет. Он не спешил отвечать, выигрывая время. Он считал, что дележ будет производить он, как главнокомандующий, и оставит себе, естественно, самый большой куш. Поэтому ему очень хотелось как-то обойти этот вопрос, однако, заметив, что все настороженно ждут, он сказал:

— Мне думается, что на каждого придется что-нибудь около двадцати пяти тысяч...

— О'кей! — опережает всех Вердолага, который сразу же нашел эту сумму вполне достаточной для комбинаций, задуманных уже давно.

— Что за бред! — запротестовал министр, пересев на другое кресло — поближе к Балафуге.— Чепуха какая-то! Да это же гроши, такие деньги мы сможем заиметь и без их помощи!..

— Двадцать пять тысяч — кот наплакал,— поддерживает его Плумилья,— и это из пяти миллионов!

— Ну и что же? — вызывающе бросает Балафуга.— А сколько у нас полковников! А сколько майоров и капитанов, не говоря уже о генералах?

— Да разве можно распределять поровну? Так нельзя!

— Нельзя и несправедливо! — с жаром подхватил Понсиано.

— Мы должны распределить эту сумму по категориям! Неужели Эммануэлю, который является командующим военно-воздушными силами, ты дашь столько же, сколько, положим, майору Реконко?

— Это недопустимо!

— Надо учесть и начальников военных зон, начальников гарнизонов в провинции...

Спор снова разгорается. Полковники выходят из себя. Обмениваются взаимными обвинениями. Росита в кухне слышит, как они кричат, но что именно — не разберешь, все сливается в какой-то неясный гул. Неужто до драки дело дойдет? Чего доброго, сцепятся — выпили-то здорово! В кухню доносятся отрывочные слова:

...честолюбцы... обжоры... все бы заграбастали... скупердяи... шантажисты... этот спекулянт... лопнешь... деньги гринго... моя шкура... пятьдесят тысяч... я бы тебе сказал, что на блюдце не... у меня больше прав... сволочи... жмот... обеспечить мою семью... сто тысяч долларов... хе, жалованье десятника... честь... настоящее воровство... мой чин... бесстыдство... операция «Горилла»... армейский корпус... налетчики... у этих радикалов... вдова и сироты... самолеты... будь сознательным... сто пятьдесят тысяч... а сможешь... вся надежда на тебя... вечная преданность... жизнь только одна... наличными... слово полковника... чеки... иностранец... швейцарский банк... зажал в кулаке... коллеги... до смертного часа... по секрету... та птичка лучше... сотни летают... стоит ли браться... достоинство военного... как братья...

Росита кончила мыть посуду и села в темной комнате — свет уже погасила, а то хозяйка будет ругаться,— и ждет ее возвращения.

Наконец скандал утих. Офицеры торжествующе посмеивались: договорено, что каждый получит «соответственно рангу».

— Все будет сделано, как договорились,— произносит Оскар, старательно разжигая сигару,— надо было как-то скрыть свою досаду из-за проигрыша в этой схватке.— Но и вы поддержите меня в нужный момент! И тогда лучшие места — за вами! Будем действовать дружно, как одна семья!

Он было намеревался поделиться кое-какими своими планами относительно состава нового правительства, однако воздержался, услышав резкий звук тормозов автомобиля, остановившегося перед подъездом. В прихожей раздался женский голос. Вслед за Асусеной Балафуга в зал вошел лисенсиат Эктор Паломино.

— О, милый мой! — жена звонко поцеловала Оскара, на ходу сняв испанскую мантилью и бросив ее в кресло.— Привет, мои друзья! Какой прелестный был сегодня праздник в «Сьелито линдо»! Вы много потеряли, не побывав там! Нечто чудесное! Нечто божественное!

— Приветствую вас, полковник Балафуга! — протягивает руку Паломино.

Министр иностранных дел — плотный, хорошо выглядящий мужчина лет сорока пяти — был во фраке, на шее белый шарф, который он забыл снять в прихожей; сверкают большие очки в черной черепаховой оправе, от бриллиантина блестят черные волосы с косым пробором.

— Присаживайтесь, сеньор министр,— любезно приглашает Оскар.— Будьте как дома. Не хотите ли выпить?

— С большим удовольствием, с большим удовольствием, мой друг. Утро сегодня прохладное. Ничего не стоит простудиться в такую погоду, тем более что предстоит еще столько работы! — Его голос, приятного мягкого тембра, уже обращен к Понсиано: — А как вы на это смотрите, дорогой коллега?

— С радостью присоединяюсь,— отвечает министр обороны.— Нет ничего лучше глотка виски, когда устаешь.

Супруге Оскара Балафуги не более тридцати. Асусена очень хороша собой — ее привлекательная фигурка подчеркивается элегантно сшитым костюмом, заботливо сделанной прической и косметикой, которую она использует с большим вкусом. Многие недоумевали, почему такая красивая женщина вышла замуж за такого неприятного, даже безобразного типа, как Оскар. Материнство вызвало у нее, как вызывает весна у деревьев, особый расцвет. Так же и по характеру живая, веселая, темпераментная Асусена совсем не похожа на мужа — сурового и грубого.

Асусена спросила у Роситы, когда легли дети, и, предупредив служанку, чтобы та не вздумала лечь спать — вдруг еще будет нужна,— ушла в детскую.

Лисенсиат Эктор Паломино — человек весьма деликатный, сдержанный, обладающий изысканными манерами; никто не умеет так непринужденно вести беседу, ловко вставить острое словцо или шутку — настоящий джентльмен. Молва утверждала, что и его кандидатура тоже будет выдвинута на выборах — и не потому ли и здесь, в резиденции Балафуги, он затрагивает в разговоре ту же проблему, которая волнует всех присутствующих: предвыборная борьба. Судя по высказываниям Паломино, он опасается, что в лоне партии радикалов инженер Хоакин Медидор будет его серьезным соперником.

— И это вовсе не потому, что он обладает большим авторитетом,— говорит Паломино,— небезызвестно, какими методами он пользуется! Он не скупится на обещания и на взятки местным комитетам радикальной партии, подкупает делегатов предстоящего национального конгресса партии, где будут выдвинуты кандидатуры на пост президента. По-моему убеждению, он действует весьма беспринципно.

— А если обстановка сложится не в вашу пользу...— спрашивает Плумилья,— вы не выдвинете свою кандидатуру независимо от решения вашей партии?

— Нет! Никогда! Я — дисциплинированный радикал и сознательный гражданин! Я буду поддерживать ту кандидатуру, которую выдвинет национальный конгресс! Я свято чту демократические принципы! И какие-либо амбиции чужды мне! Я человек принципов!

— Вот уж чего я не одобряю! — вмешивается Асусена, вошедшая в зал.— Вам следовало бы выдвинуть свою кандидатуру не глядя на то, поддержит или не поддержит ее ваша партия! У вас много сторонников, вы пользуетесь огромным престижем, народ отдаст вам свои голоса!

— Большое спасибо, донья Асусена...

— Вы должны стать президентом республики! Правда, Оскар? Вы согласны со мной, друзья? Дон Эктор с его культурой и с его способно-

стями просто создан для государственной деятельности, и, кроме того, он высоко ценит представителей армии!

На лице Эктора Паломино расцветает улыбка. Оскар, недоуменно посмотрев на жену, пытается изобразить некое подобие улыбки. Офицеры усмехаются и переглядываются, наблюдая эту сцену; им, обладающим живым и, прямо скажем, греховным воображением, после пламенной речи Асусены чудится, что над узким лбом главнокомандующего выросли острые, крепкие рожки, а в перечень любовниц министра иностранных дел они мысленно заносят еще одно имя — не то женское имя, не то название цветка *. Однако это — пока лишь домыслы, предположения, рожденные богатой фантазией.

Длительное время беседа развертывается — и весьма оживленно — вокруг проблемы кандидатур. Кто-то говорит, что правительство Паломино могло бы оказать особую поддержку вооруженным силам — верной защите нации. Правительство Паломино... правительство Балафуги... Правительство...

В саду раздались первые трели пичужек — город пробуждается. Наступает день, и его первые звуки отрезвляют собравшихся, все смотрят на часы, Паломино и офицеры поспешно прощаются с хозяевами.

Оставшись одни, супруги — бледные после бессонной ночи и безмерно выпитых напитков — молча отправляются в спальню, на ходу снимая с себя одежду. Обнаженная Асусена выглядит еще более обворожительной. Так считает и Оскар, но сейчас ему хочется только спать, только спать. Да и у него еще остался неприятный осадок от неожиданной, страстной речи Асусены в поддержку кандидатуры министра иностранных дел. И, уже лежа в постели, Оскар не может выдержать; его возмущение выливается в словах укора.

— Но, Оскар, дорогой мой...— Асусена, накинув прозрачное голубое кимоно, бросается на постель.— Ты же сам знаешь, что нет кандидата более достойного, чем Паломино! Или ты считаешь, что развалина Селестино Кама́ндула лучше? Эктор был бы идеальным президентом! Был бы первоклассным президентом!

— А я, я?..— уже кричит взбешенный Балафуга, стиснув кулаки; напуганная женщина никак не может понять причины этой вспышки; лицо Оскара похоже не то на карнавальную маску, не то на морду обезьяны-ревуна, явившейся из джунглей.— А я что, буду третьеклассным президентом или пятиклассным? А? Ты это хочешь сказать? К черту! И кто это говорит? Кто?.. Моя собственная жена!..

Асусена садится на край постели, с удивлением глядя на мужа. Глаза Оскара, налившиеся кровью, дико пылают, толстые губы подергиваются. На мгновение у Асусены мелькает мысль, что муж ревнует ее к Паломино. Эта мысль и возмущает женщину, и льстит ей. Но тут же, отбросив первоначально возникшую догадку, она ищет другие причины. Неужто Оскар собирался выдвинуть свою кандидатуру? Почему же он до сих пор молчал, не предупредил ее? Притворно-нежно, будто обращаясь к своей комнатной собачке, она говорит:

— Ну отчего ты такой, Оскар? Почему ты сердишься? Неужто ты ревнуешь меня к министру потому, что он проводил меня на благотворительный базар? Или, может, ты сам собирался выдвинуть свою кандидатуру на выборах?

— Вот именно, именно. Нравится тебе это или нет, а я буду президентом, и без всяких выборов! Понимаешь? А что касается твоих шашней с Паломино — плевать мне на все!

— Так, значит... так, значит, это правда... эти слухи... повсюду... о государственном перевороте?

— Да, правда! И я буду главой государства!

---

* Azucena по-испански — лилия.

Полковник понижает голос — вспышка уже прошла — и поудобнее устраивается на подушке. Хотя лицо у него еще хмурое, в глубине души он доволен, видя удивление жены.

— Вот так, Асусена. Но все это должно остаться в строжайшем секрете! Ни слова никому, даже твоему отцу!

Истерически вскрикнув, Асусена пантерой обрушивается на него. Щеки ее пылают, глаза сияют восторгом. Обвив руками голову мужа, она покрывает его лицо бесчисленными поцелуями. Внезапно Асусена откидывается назад, недоверчиво смотрит на Оскара и снова целует его, целует губы, щеки, глаза... Она знает, что ее муж безобразен, но в этот момент он кажется ей чуть ли не прекрасным ангелом. Оскар улыбается, гнев его совсем прошел. Рывком он привлекает жену к себе. Толстые губы не оставляют следа от ее яркой помады.

— Да, я буду президентом,— шепчет он,— у нас уже все готово... Американцы нас поддержат! А тебя, знаешь, о чем я попрошу... Постарайся быть по-прежнему мила с Паломино. Так собьем всех политиканов с толку!

— Дорогой, милый мой, любимый! Ты будешь самым главным в стране! Ты поднимешься на вершину власти и без всяких выборов! Ах, дорогой, а я, твоя Асусена, стану первой дамой нации, как Жаклин, как Леди Бэрд*. Супруга господина президента. Ее высокопревосходительство! Наши фотографии во всех газетах, в журналах! Ай-ай-ай, любовь моя, сколько славы, сколько почестей! И слава тебе! Какой ты славный, мой сокол, мой лев! Какой это будет сюрприз для наших дам, для всего нашего общества — и какая горькая пилюля завистницам! Я даже не мечтала...

Синие глаза Асусены наполняются влагой, она вся нервно вздрагивает. Она мечтает о будущем, которое так близко: слава, власть, богатство, роскошь, они будут жить на широкую ногу, не считаясь ни с кем и ни с чем.

Они сжали друг друга в крепком, в диком объятии. Оскара она наверняка ощутила таким, каким он бывал при интимных встречах с Эдиной — быком, тигром, кайманом... лишь отныне красующимся с президентской лентой на груди...

Росита, стоя на коленях, начищала до блеска плитки пола в столовой, так за всю ночь и не сомкнув глаз.

5

Будто морским приливом залила всю страну предвыборная агитация. Повсюду только и разговоров, что о кандидатурах на пост президента республики. Обе виднейшие буржуазные партии — радикальная и консервативная — провели свои конгрессы в столице, с промежутком всего лишь в месяц. Сколько пламенных речей выслушано, сколько агуардиенте** выпито на традиционных попойках. В стране «репрезентативной — представительной — демократии» в выборах могли легально участвовать только две партии, остальные организации не принимались в расчет. И конечно же, среди тех, кто оказался за пределами официальной предвыборной борьбы, была коммунистическая партия, подвергавшаяся беспощадному преследованию.

Главным событием предвыборной кампании явился национальный конгресс партии радикалов — крупнейшей в стране. Сотни делегатов прибыли из провинции. Сессии проходили в кинотеатре «Паломар»,

---

* Имена жен президентов США Кеннеди и Джонсона.

** Спиртной напиток из сока сахарного тростника.

самом большом кинотеатре столицы. Конгресс открылся речью доктора Перико Лабиавьехи, который был не только президентом республики, но и считался лидером партии радикалов. После трехдневных заседаний наконец пришли к соглашению об избрании кандидата от радикальной партии. Вопреки всеобщему ожиданию, лисенсиат Эктор Паломино потерпел поражение — кандидатом радикалов был провозглашен инженер Хоакин Медидор.

Спустя несколько недель состоялся конгресс консервативной партии под председательством доктора Селестино Камандулы. Конгрессу предшествовала трескучая, длительная пропаганда, и несмотря на это, конгресс выглядел куда бледнее, чем конгресс радикалов,— консерваторы уже явно не пользовались популярностью избирателей. Работы конгресса велись в помещении руководства партии, при закрытых дверях; казалось, что его организаторы старались скрыть от всех процесс агонии своей партии. На конгрессе единодушно была выдвинута кандидатура семидесятилетнего доктора Селестино Камандулы, крупного землевладельца, известного своими тесными связями с церковью и Банановой компанией. В списке он фигурировал как главный редактор газеты «Эль конституционалиста», органа консервативной партии, рупора крайне правых сил.

Итак, в избирательной борьбе будут участвовать два кандидата олигархии: инженер Хоакин Медидор и доктор Селестино Камандула. В политических кругах предсказывали бесспорную победу радикалов.

Повсюду, буквально во всех уголках этой тропической страны, проходили митинги, демонстрации, собрания. Повсюду пестрели флаги: зеленые — консерваторов и желтые — радикалов. Ораторы запасались целым арсеналом дифирамбов своим кандидатам и в то же время открывали сокрушительный огонь по противнику — в ход было пущено все: ложь, клевета, да порой и правда, когда вспоминали, в чем был грешен соперник, а оба соперника были, разумеется, далеко не безгрешны. Кандидаты, возведенные своими пропагандистами в категорию не то сверхчеловеков, не то полубогов, были щедры на пышные обещания в своих предвыборных программах, «во имя прогресса» даже поддерживали требования эксплуатируемых.

Из государственной казны отпускались крупные суммы на строительство различных национальных предприятий. Но каким-то чудом эти суммы расходовались на финансирование компании в пользу кандидата радикалов. Консерваторы яро разоблачали расхитителей государственной казны, забыв, естественно, о том, что то же самое они делали, когда были у власти,— ведь это же «репрезентативная демократия»!

Свобода, демократия, конституционность, гражданские права, свободные выборы — слова эти бесконечно повторялись в речах, в печати, по радио и телевидению, на улицах и площадях, в городах и деревнях, где вспыхивали ожесточенные дискуссии, а то и схватки. Инженер Медидор умело играл на интересах большинства, он разглагольствовал о демократической аграрной реформе и о городских реформах, о борьбе с неграмотностью и о культуре для всех, он обещал покончить с трудовыми конфликтами — все свои посулы он раздавал, разумеется, в рамках «репрезентативной демократии», в рамках программы Союза ради прогресса... И каждую речь он неизменно заключал уверениями в своем непоколебимом антикоммунизме.

Доктору Камандуле — кандидату консерваторов — в своих публичных выступлениях, скорее похожих на проповеди, приходилось иногда тоже касаться насущных проблем народа, однако основной пафос своих выступлений он направлял против своего соперника, которого он, ничтоже сумняшеся, называл «красным» и агентом Фиделя

Кастро. Как это ни парадоксально, предвыборные программы обоих кандидатов совпадали в трех основных пунктах: борьба против коммунистического правительства Кубы, поддержка частной инициативы и гарантии иностранным капиталам, а также защита свободного христианского мира от угрозы международного коммунизма.

Что же касается иностранной прессы, особенно североамериканской, то она на все лады превозносила избирательную борьбу, развернувшуюся в этой стране «репрезентативной демократии», и ставила ее в пример всему континенту как образец гражданского духа и политической культуры. В то время как в других странах Латинской Америки происходили военные перевороты, за ширмой которых скрывалось стремление к утверждению власти военной касты в нарушение конституционности, в то время как в других странах революционные экстремисты своей партизанской борьбой сеяли семена анархии, «воспевая дух Сьерры-Маэстра», здесь, в этой маленькой стране индейской Америки, торжествовали в своей незапятнанной чистоте принципы свободного мира. Именно здесь страны социалистического лагеря и «третьего мира» могли увидеть, что такое подлинная демократия и свобода. Так утверждали телеграфные информационные агентства гринго — ПИС, ПОС и ПЮС.

Сам президент Соединенных Штатов выступил с заявлениями для печати, утверждая, что в избирательном процессе этой страны намечен верный курс и что страна стала подлинной витриной «репрезентативной демократии» в Латинской Америке.

Представители вооруженных сил — поскольку считалось, что армия существует вне политики и призвана слепо, не размышляя, выполнять приказы и охранять конституцию,— не участвовали в избирательных спектаклях и не поддерживали ни того, ни другого кандидата. Консерваторы воспринимали это болезненно и даже выступили с обвинениями на страницах «Эль конституционалиста»:

«Вооруженные силы, призванные охранять неприкосновенность и святость конституции и законов, уклоняются от выполнения своего политического долга и заняли позицию нейтралитета в такой момент, когда радикально-коммунистическое правительство готовит бесстыдный и циничный избирательный фарс. Чтобы не допустить триумфа доктора Селестино Камандулы, кандидата консервативной партии, пользующегося огромнейшим авторитетом, опытного политического деятеля, католика и убежденного антикоммуниста, радикальная партия, которая пока еще остается у власти, прибегает ко всякого рода жульническим маневрам, стремясь выиграть в избирательной борьбе. Чего же ждут славные вооруженные силы, почему отказываются вмешаться и свергнуть это правительство — питомник кастро-коммунистов? Неужто уже нет больше патриотов в вооруженных силах? Неужто и они дали себя обмануть и согласились участвовать в измене?»

А радикалы на страницах газеты «Пренса либре» ежедневно курили фимиам пред алтарем людей, носящих военную форму. Одна из ее передовиц гласила:

«Патриотична, достойна и конституционна позиция вооруженных сил перед нынешним избирательным процессом. Военные выполняют свой долг, своей аполитичностью и нейтралитетом гарантируя свободу президентских выборов. Подобная позиция вызывает овацию всей нации, если не считать ничтожную стаю крыс, орудующих за клиросом. Эта жалкая группка провоцирует военных на то, чтобы они произвели государственный переворот, но подстрекатели забывают, что военные сегодня — это представители демократии, это культурные люди и патриоты, кои никогда не обнажат свою героическую шпагу, чтобы покрыть ее кровью, обезглавив свободу. Вооруженные силы — честь и

слава нашей «репрезентативной демократии» — надежно охраняют нас от опасности коммунизма!»

Истина заключалась в том, что высшему офицерству было не до предвыборной борьбы,— их абсолютно не интересовало то, что о них говорили в стране и за ее пределами. Политические страсти, бушевавшие в стране, по сути, помогали офицерам более свободно вести подготовку путча. Среди военных сформировалось три группы, объединявшихся вокруг трех претендентов на пост главы государства: Балафуги, Педралисы и Терсеро. И если борьба этих групп еще не приняла острого характера, то только потому, что офицерство понимало — определяющим будет не их желание, а слово гринго.

Оскар и Лидио вели друг против друга тайную борьбу, которая порой становилась явной. Министр обороны держался очень осторожно и старался никоим образом не участвовать в происходившей возне, надеясь, что в нужный момент его поддержат Рэк Донни и Эйп Хелмет. Министр был убежден, что нет смысла драться за шкуру тигра, пока тигр еще не подстрелен. Однако Балафуга и Педралиса считали, что у Понсиано нет никаких шансов на победу.

В ход была пущена секретная служба вооруженных сил, известная под шифром «Г-2» — разведывательное бюро, ведущее слежку за деятельностью партий и политических деятелей. Во главе секретной службы, поглощавшей немало денег из государственного бюджета, стоял капитан Модесто Орехона.

Орехона — умный, предприимчивый и ловкий офицер — слыл не очень чистым на руку. Он и лейтенант Бартоломе Пикана быстро выделились из десятка молодых кадетов, которые по инициативе полковника Манки были направлены в Соединенные Штаты для специальной подготовки в Федеральном бюро расследований. Пресса утверждала, что оба они стали крупными специалистами в области криминологии. Вернувшись в страну, Пикана возглавил тайную полицию — Службу общественной безопасности (СОБ), а Орехона — «Г-2». Согласно законам, СОБ и гражданская гвардия должны находиться в юрисдикции министерства внутренних дел, их возглавляет штатское лицо. Но сейчас только гражданская гвардия еще продолжает подчиняться министерству, СОБ фактически перешла под военный контроль с тех пор, как советником здесь стал гринго Донни.

С первого взгляда может показаться, что между полковниками Балафугой и Педралисой не существует никаких разногласий, их по-прежнему называют друзьями и коллегами, и они стараются поддержать такое мнение, особенно перед североамериканцами. Каждый знает о каверзах другого, но внешне их отношения остаются дружелюбными. Они вместе совершают инспекционные поездки по провинциям, чтобы подготовить к событиям — естественно, в условиях строжайшей секретности — нижестоящих офицеров, представляющих все виды оружия. Они совместно готовят военный переворот и по обоюдному соглашению распределяют между главными участниками переворота доллары, полученные от американских монополий. Вдвоем они посещают казармы и раздают подачки офицерам, которые будут участвовать в операции «Горилла», а тех, кто отказывается от участия в путче, убирают с дороги без лишних слов.

В подготовке к операции Педралиса — правая рука главнокомандующего, его доверенное лицо № 1, и в то же время они соперники, заклятые враги. Ненависть друг к другу бурлит, как подземная река.

В кабинете главнокомандующего вооруженными силами беседуют вполголоса капитан Модесто Орехона и Оскар Балафуга. Сеньорита Эдина читает у окна, поглощенная новыми приключениями «Суперме-

на». Руководитель «Г-2» еще довольно молод. Его болезненное, утомленное лицо крайне редко освещается улыбкой, и тогда поблескивают два золотых зуба.

Орехона докладывает шефу:

— Вчера вечером полковник Педралиса провел около трех часов у военного атташе посольства США, мистера Тайти Коэна.

— Где происходила встреча, капитан?

— В отеле «Гамильтон», апартамент 160, резервированный для атташе. Там были также полковник Эйп Хелмет и коммодор Примо де Вила.

— Узнали, о чем шел разговор?

— Немного, но вполне достаточно, мой полковник. Коммодор де Вила не доволен суммой, которая выделена ему на секретные расходы по операции «Горилла». Они долго спорили и в конце концов вручили коммодору дополнительный чек на пятьдесят тысяч долларов, по которому он сегодня же получил деньги в столичном отделении Нью-йоркского банка. У меня записан номер чека, если это вас интересует.

— Странно, мне они ничего не передавали,— задумчиво произнес Балафуга.— Видимо, и тут не обошлось без Лидио. Кстати, этому Примо мы уже платили.

— Совершенно верно, и те сто тысяч, что он получил, им положены на свое имя в одном испанском банке. У меня есть номер перевода и его текущего счета.

Балафуга беспокойно прошелся по комнате. Его встревожило сообщение о том, что пять миллионов долларов, оказывается, распределяются не только им,— очевидно, военный атташе США контролирует расходы, все, даже самые малые. Балафуга подходит к телефону и вызывает штаб военно-морских сил. Трубку снимает Примо де Вила. Сказав несколько незначительных фраз, Балафуга приглашает Примо поужинать вечером в свою резиденцию.

— Благодарю вас, мой дорогой капитан,— обращается полковник к Орехоне уже фамильярным тоном: — Ты оказал мне большую услугу. Продолжай следить за Лидио. Это очень важно для операции «Горилла».

— Слушаюсь, мой полковник.

— Спасибо. Ты не представляешь себе, сколько у меня работы. А тут еще упрямцы вроде майора Доминго Инклана создают нам дополнительные трудности. Не захотел, видишь ли, брать деньги. Пришлось его сместить. Что ж, передам полковнику Луису Анхелю Сантьяго.

Балафуга подробно рассказывает капитану об истории с майором. Его прервало лишь появление Онорато Мадригаля, помощника по личным делам главнокомандующего. Низкорослый и худенький, смахивающий на подростка, по типу лица — американец, хотя нос выдает в нем семита, Онорато Мадригаль удивительно подвижен, какое-то мышиное проворство сквозит даже во взгляде. Мадригаль на «ты» с Балафугой. Он мимоходом успевает пощекотать сеньориту секретаршу и шепнуть ей на ушко что-то пикантное. Слова у него перемежаются каким-то игривым, чуть издевательским хохотком.

Капитан Орехона покидает кабинет главнокомандующего, проклиная на чем свет Мадригаля: из-за этого болвана не удалось поговорить с полковником Балафугой о главном — о деньгах.

Спустившись на этаж, где расположен генеральный штаб, капитан входит в кабинет полковника Педралисы, который беседует с другими военными. Заметив капитана Орехону, Лидио идет ему навстречу и предлагает пройти в соседний, рабочий кабинет. Там они усаживаются за столиком у открытого окна. Вначале разговор не клеится, какие-то общие фразы и никого не интересующие темы... Наконец, Орехо-

на доверительно наклоняется к полковнику и говорит ему опять же вполголоса:

— А вы знаете... полковник Балафуга уже подписал приказ об увольнении начальника Южной военной зоны майора Доминго Инклана.

— А что случилось, капитан?

— Майор Инклан не захотел принять десять тысяч долларов, предложенных ему полковником за участие в операции «Горилла». На его место будет назначен полковник Луис Анхель Сантьяго.

— Карамба! Майор Инклан — мой друг! И в самом деле, десять тысяч долларов — нищенская подачка для начальника зоны. Ох, до чего же скуп этот Оскар! Можно подумать, что эти деньги из его собственного кармана! Придется мне поехать на Юг...

— Майор Инклан здесь. Он остановился в отеле «Сентраль», комната номер четырнадцать,— замечает Орехона безразличным тоном.

— Здорово! Да ты само провидение, Орехона! Ты заслуживаешь повышения!

Руководитель «Г-2» улыбается. Подходящий момент. Можно кое-что вытянуть из полковника Педралисы.

— Между прочим, полковник Балафуга узнал, что вы встречались с коммодором Примо де Вила в отеле «Гамильтон» и дополнительно вручили ему пятьдесят тысяч долларов. Он опасается, что вы что-то замышляете втайне от него. Сегодня вечером он ужинает с коммодором в своей резиденции. Вот то, что мне удалось выудить, мой полковник!

— Большое спасибо, капитан! Если нам удастся тщательно контролировать деятельность Оскара, мы не попадем в западню. Нужно только следить за каждым его шагом, прислушиваться к каждому слову. Это нужно для операции «Горилла».

— Слушаюсь, мой полковник.

— Ты чудесный парень,— Лидио похлопал его по плечу,— став президентом, я позабочусь о твоем повышении.

— Большое спасибо, мой полковник! Кстати, я хотел бы попросить вас...

Через несколько минут Модесто Орехона выходит из здания генерального штаба, насвистывая модную мелодию. В его кармане — чек Нью-йоркского банка. Наконец-то он получил то, за чем явился к Балафуге.

На следующий день главнокомандующий вооруженными силами в сопровождении Педралисы, ближайших сотрудников, а также членов американской военной миссии посетил казармы Сан-Хорхе, самые большие не только в столице, но и вообще в стране. Именно в тот день в предместьях города производились маневры подразделений «специального корпуса», который готовили для борьбы с партизанами на улицах и в горах. Корпусом командовал полковник Диэго Марадиага, дипломированный на североамериканской военной базе в Панаме. Офицеры наблюдали заключительный этап маневров и затем уехали в казармы.

В полдень солдаты возвратились в казармы — донельзя усталые, грязные, с темными от пыли лицами, едва видными из-под касок. Воспользовавшись окончанием маневров, военачальники решили произвести смотр частей, построившихся на широком плацу перед казармами, окруженными высокой каменной стеной с башнями и пулеметными гнездами. Подразделения «специального корпуса», располагающие богатым запасом оружия, считались лучшими ударными войсками армии.

Марадиага, командир корпуса, обращается к солдатам, и голос его усиливается многочисленными громкоговорителями. Он объявляет, что войска будет приветствовать сам главнокомандующий вооруженными

силами. Балафуга встает по стойке «смирно» перед микрофоном, откашливается и начинает свою речь:

— Господа офицеры, унтер-офицеры и солдаты!..

На широком плацу воцаряется молчание. От имени Верховного командования вооруженных сил Балафуга поздравляет «специальный корпус» с достижениями в трудном военном искусстве. Он приветствует генерала Сенсерро, командующего сухопутными войсками, полковника Марадиагу, командира «специального корпуса», а затем членов североамериканской военной миссии. Последних он называет «блистательными учителями» и «заботливыми отцами», пекущимися об обороне республики и межамериканском братстве по оружию.

Не мастак в ораторском искусстве, Балафуга оперирует только выкриками. Он восхваляет дух боевого товарищества, кричит о боеспособности и мобильности «специального корпуса», на который родина возлагает великие надежды.

— Я прошу вас быть всегда готовыми к любым неожиданностям и свято выполнить свой долг — долг шпаги народа, гарантии претворения в жизнь конституции и законов! Мы стоим вне политики! Наше единственное знамя — Родина!

Его охватывает какая-то непонятная нервная дрожь, с чувством страха он сжимает дрожащими пальцами микрофон, обливается потом, смотрит куда-то вдаль, над морем закамуфлированных стальных касок, во рту пересохло, а на губах пузырится противная пена. Он заговорил о тех дьявольских, мрачных силах, что бродят по миру и всюду подстерегают христианские души.

— Русский коммунизм,— вопит он истошным голосом,— сегодня представляет собой самую страшную угрозу человечеству! Его агенты, разбросанные по всему миру, окопались на свободных землях нашего континента, на ныне порабощенном острове — Кубе!..

Американские офицеры, встав за спиной Балафуги, одобрительно покачивая головами, внимательно следят за речью главнокомандующего. Так учителя на экзамене слушают ученика, который обычно не блещет ответами и может бухнуть что-нибудь невпопад. Полковник заметил, что за ним следят, и это приводит его в полное замешательство, он начинает путаться, сбиваться, говорит все более и более неуверенно. Главная опасность — изменники, которые продаются за золото Москвы и Гаваны. Нужно быть бдительными, быть готовыми в любой момент выступить с оружием в руках и подавить мятеж на «внутреннем фронте».

— И в нашей несчастной стране обнаружен заговор кастро-коммунистов, поэтому нам, быть может, придется открыть огонь против рабочих... Нет, я не это хотел сказать! Я хотел сказать: против красных! Мы должны быстро, не размышляя, подавить заговор, и, чтобы выполнить свой долг, солдатам надо держать палец на спусковом крючке, иначе нам всем грозит гибель, когда мы спим! Дисциплина и еще раз дисциплина! Подчинение, повиновение и еще раз повиновение! Таков приказ по всем вооруженным силам!

Полковник Балафуга, охрипший, с великим трудом заканчивает свою речь. По войскам проносится вялое «ура!» Командир распускает строй. Солдаты и младшие офицеры медленно расходятся: одни идут в столовую, другие ищут тени, где можно укрыться и передохнуть до обеда.

Офицеры восторженно расхваливают выступление главнокомандующего: они полностью разделяют мысль об опасности коммунизма — угрозе не только всей Латинской Америке, но и великой демократии Севера — Соединенным Штатам.

Полковник Марадиага просит высоких посетителей оказать честь офицерам «специального корпуса» — пообедать в офицерской столовой. Балафуга принимает приглашение, и гости направляются в столовую.

За обедом хозяева казарм Сан-Хорхе стараются окружить особым вниманием не командующего вооруженными силами и не кого-либо из местных полковников, а только советников военной миссии янки. Все тосты посвящаются им. Еще бы! «Специальный антипартизанский корпус» создан при их поддержке, более того, по их идее. Впрочем, при их участии созданы и все вооруженные силы, ими подобраны и воспитаны военачальники...

6

Грязные, потные, усталые солдаты входят в свою столовку, сегодня на редкость блистающую чистотой, они изнемогают от голода и жажды, с часа ночи продолжались учения: отрабатывали тактику ведения уличного боя с партизанами. Отыскав свое место, каждый подходит с миской в руке к кухне, где повара разливают похлебку, раздают бобы с рисом и маисовые лепешки — неизменное каждодневное меню.

Пережевывая пищу, солдаты беседуют, вспоминают речь полковника Балафуги, из которой наибольшее впечатление на них произвел... громкий голос полковника. Молодой сержант пытается растолковать своим солдатам политический смысл выступления командующего, но солдаты слушают настороженно, молча — никто не решается высказать собственное мнение: начальник всегда остается начальником, будь он сержант или генерал...

— Я вот лично не знаю,— говорит сержант,— что такое этот коммунизм, о котором столько говорят. Но если действительно кастро-коммунисты поднимут голову — мы будем сражаться, сражаться по-настоящему, с оружием в руках — это вам не маневры, не учения...

— Против кого сражаться, сержант Теодоро? — спрашивает солдат с прямыми черными волосами и широким медным, как у индейца, лицом.

— Да говорю вам — против кастро-коммунистов,— отвечает сержант, которому сейчас вспомнилось, как полковник обмолвился и сказал «против рабочих».

— А кто это такие, сержант? Они что же, радикалы или консерваторы?

— Как тебе объяснить... Видишь ли, солдат Гильен, консерваторы называют так радикалов, а радикалы отфутболивают им это обвинение обратно. А офицеры утверждают, что коммунисты — плохие люди, изменники, убивают направо и налево, грабят богатых...

И в самом деле призадумаешься! Все говорят о коммунистах, как об уголовных преступниках, но в сущности никто не знает, кто они такие, эти коммунисты. Так как же на улице распознать врага, недоумевают солдаты. Голову потеряешь. Солдаты — почти все — вышли из крестьянских или рабочих семей, многие добровольцы: солдатское содержание, хоть и рахитичное, спасает их от черных дней безработицы, от нужды или тяжкого труда на плантациях. Конечно, все воспитание в казарме направлено к тому, чтобы солдаты были бы хорошо натренированы, овладели бы искусством убивать, ни о чем не задумываясь. В «специальном корпусе» им прививают чувство ненависти к рабочим, чувство пренебрежения к штатским — солдаты должны уметь бороться против трудящихся, объявляющих забастовку. Им твердят, что кастро-коммунисты ищут любой возможности, чтобы создать в стране беспорядок.

Обоих собеседников, рядового Норберто Гильена и сержанта Теодоро Энсину, тревожат сомнения, оба в замешательстве... Норберто Гильен, правда, недавно в армии, не то что сержант Теодоро Энсина, но и тот в политике разбирается не лучше. Энсина родом из глухой провинциальной деревушки, до того как попал в армию, никогда не покидал родной деревни, хотя старший брат вот уже несколько лет живет в столице и работает на текстильной фабрике. Теперь по воскресеньям Энсина ездит к брату в предместье.

Их отец, оставшийся в деревушке, арендует небольшой участок земли, год за годом обрабатывает этот клочок, но так и не может выбиться из нужды. То чересчур много дождей, то засуха, а если и удается собрать неплохой урожай, его хватает только на то, чтобы выплатить часть долга за аренду, который все растет и растет,— словом, какая-то чертовщина.

После обеда сержант Энсина и солдат Гильен выходят во двор казармы. Выступление полковника Балафуги задело их за живое. Оба они уже какое-то время назад почувствовали неясную, безотчетную внутреннюю близость и тягу друг к другу, и это ощущение позволяет заговорить о личных делах.

— Как вы знаете, сержант,— говорит Гильен,— я с запада, из горного района. Старший из восьми братьев. Живем в ранчо, на участке крестного Николаса. У него-то большая асьенда! Мой отец, да и вся наша семья работали на него, почитай, даром — за аренду земли приходилось отдавать половину урожая, да еще работать на хозяина — вот так и гнем спину всю жизнь. А он еще раздумывает: выгодно или невыгодно сдавать нам в аренду свою землицу.

— Как же так, солдат Гильен? Разве он не твой крестный?

— Крестный-то он крестный, это верно, перед богом они кумовья с отцом. Но вот что у нас случилось. Вернулись как-то в горы крестьяне, что работали на банановых плантациях, вернулись потому, что их уволили. Они рассказали нам об аграрной реформе. Нашим это пришлось по вкусу. Представьте себе: напомнить о воде жаждущему! А крестный Николас обозлился и стал нас попрекать за то да за другое. А тут пришли радикалы, заговорили о реформе, чуть не весь народ за ними и потянулся. Крестный-то — консерватор. Ну он и полез в бутылку, отобрал у отца землю, обозвал нас коммунистами. В коммунистах оказался и мой отец. Вот мне и пришлось пойти, поискать, за что бы зацепиться... Так я сюда попал. Вот почему я спросил вас про коммунистов...

День очень жаркий. Из офицерской столовой доносится глухой гул голосов. Сержант и солдат медленно шагают по двору, сейчас им кажется, что они стали еще ближе, как-то лучше понимают друг друга, однако Теодоро не может ничего толком объяснить своему товарищу.

— В воскресенье схожу к брату Педро,— говорит сержант,— может, он мне что-нибудь разъяснит.

В последние дни Теодоро заметил, что офицеры стали вроде бы лучше относиться к рядовым. Не наказывают так жестоко, как раньше, даже говорить стали тише, без окриков и угроз. Многие солдаты постарались это использовать в своих интересах. В ближайшее воскресенье сержант, хотя его черед еще не настал, попросил увольнительную у лейтенанта, и тот его сразу отпустил. Теодоро без задержек отправился к брату.

Педро Энсина был уже в летах. У Лолы, его жены, от постоянных приступов малярии и постоянного недоедания лицо заострилось и потемнело, выдается орлиный нос. У них четверо детей. Старшему, крещенному в честь отца — Педро, пятнадцать лет, он работает учени-

ком на текстильной фабрике; младший еще не начал ходить, «ползунок». Педро Энсина редко улыбается — трудно живется, не до улыбок,— но, увидев брата, он расплывается. Педро приглашает Теодоро позавтракать с ними, а сержант ставит на стол захваченные с собой пиво, кока-колу и сладости детям.

За завтраком братья обмениваются новостями: Педро рассказывает о своих детях, о фабрике, принадлежащей «иностранному мистеру», о вестях из родной деревни. Хоть им и приходится здесь туго — одна эта хибарка пожирает чуть ли не половину жалованья,— Педро уже затянула городская жизнь, и возвращаться в деревню он не думает. Ну что ж, Теодоро его понимает.

После завтрака Лола моет посуду, старшие детишки отправляются играть на улицу, а братья идут в патио* покурить на скамеечке под апельсиновым деревом. Педро первым задает брату вопрос:

— Скажи, Теодоро, верно ли говорят, что военные затевают государственный переворот?

— Насколько я знаю, нет. Никто о перевороте не говорит. Ты же знаешь, брат, что в армии солдаты и унтер-офицеры не должны знать о том, что делается наверху. Нам только остается выполнять приказы, а наверху думают, что мы должны делать.

— Понимаю. Я спросил тебя потому, что у нас последнее время очень уж много носится слухов. А по ночам слышен шум танков и самолетов.

— Это маневры, учения. Скоро выборы, и войскам приказано быть наготове на всякий случай. Главнокомандующий полковник Балафуга нам сказал...

— Но ты обратил внимание...— продолжает Педро, веткой рисуя что-то на земле,— странная вещь... Самые реакционные газеты, например, «Ла ноче» и «Эль конституционалиста», выступают за военный переворот. Ты читал?

— Да разве у нас есть время газеты читать?.. Читаем, что под руку попадется, больше все комиксы... «Тарзан»... «Дик Трэси»... «Человек в маске»... «Супермен»... «Секретный агент «Х-9» и все прочее. Только за такими книжками и отдохнешь...

Педро смотрит на брата с сожалением. Его темное лицо становится еще сумрачнее, но он не делится с братом своими огорчениями.

— В газетах пишут,— рассказывает Педро,— что в правительство проникли коммунисты, что некоторые официальные лица вступили в тайные сношения с Фиделем Кастро, что найдено много чехословацкого и русского оружия, доставленного с Кубы, и это оружие предназначалось для гражданской гвардии, для рабочих-коммунистов и радикалов, у которых задание — ликвидировать антикоммунистов.

Теодоро кое-что слышал от офицеров в казармах, и полковник Балафуга тоже говорил о готовящемся заговоре кастро-коммунистов. Но Теодоро считал, что это совсем другое и никакого отношения к государственному перевороту не имеет. Вот как раз сейчас удобный момент, чтобы спросить обо всем у брата.

— Ты не знаешь, кто такие эти кастро-коммунисты и где они находятся?

Рабочий пристально вглядывается в брата — любопытно, почему тот вдруг заинтересовался коммунистами... Но у Теодоро такое простодушное лицо, что Педро тут же отбрасывает всякие подозрения.

— Коммунисты — такие же люди, как ты и я,— отвечает он,— разница лишь в том, что они много читают, хорошо разбираются в политике, борются за то, чтобы трудящиеся победили. Это честные люди, они посвятили свою жизнь социальной революции.

---

* Внутренний дворик.

— А ты их встречал?

— Встречал. Послушай. До того как прийти на фабрику, я работал на одном строительстве. Там я вступил в профсоюз, хозяева стали говорить, что мы коммунисты, и я испугался. Я прежде симпатизировал антикоммунистам, ведь больше-то я никого не знал. А на фабрике, когда нас, членов профсоюза, стали звать коммунистами, я задумался...

— А где ты их встретил? В какой-нибудь таверне?

— Ну что ты! Я по тавернам никогда не шлялся. Однажды мы объявили забастовку, вот тогда я и узнал коммунистов... И их врагов — тоже! Очень я удивился, братишка,— вместо бандитов с бомбами и ножами я увидел простых и хороших людей, рабочих, таких же, как я сам, и мне стало стыдно за свои прежние мысли...

Педро рассказывает брату о профсоюзной борьбе, о дружбе с революционерами. Он говорит не спеша, иногда и вовсе замолкает, но ненадолго — тут же снова загорается, однако голоса не повышает, только глаза блестят ярче. Теодоро перебивает брата, расспрашивает о том о сем.

Кажется, Теодоро начинает кое-что понимать, но вряд ли ему удается пересказать все — эх, как трудно это! — солдату Гильену и объяснить так же хорошо, как брат. Он лучше привезет Гильена в следующее воскресенье, пусть Педро сам ему все растолкует.

До позднего вечера беседуют братья, перескакивая с одной темы на другую. «Удивительно,— думает Теодоро,— брат, живя в городе, в такой нищете, так много узнал, так изменился, что если бы отец сейчас его послушал, он не узнал бы сына».

Собираясь в обратный путь и простившись с Лолой, Теодоро спрашивает у Педро:

— Скажи мне, брат, вот ты рабочий. Значит, ты тоже коммунист?

Вопрос слишком прямой. Но ведь это спрашивает его родной брат! Из осторожности Педро отвечает все же уклончиво:

— Об этом поговорим в следующий раз.

Теодоро не настаивает. Он постарается выбраться в ближайшее время. Нужно еще о многом поговорить с братом. Племянники провожают сержанта до автобусной остановки.

Распрощавшись с братом, Педро возвращается в патио, размышляя о странном поведении Теодоро. С одной стороны, его радует, что Теодоро заинтересовался такими вещами, но как узнать, нет ли здесь какой-нибудь провокации, не использует ли кто-нибудь Теодора «втемную».

Вдоль изгороди из колючей проволоки идет мужчина в пестрой рубашке с непокрытой головой. Это друг и сосед Педро, учитель местной школы Луис Гало — заядлый радикал. Они частенько спорят из-за политики.

— Я видел, к тебе брат приезжал. Что-нибудь у них слышно о военном перевороте?

— Ничего они не знают! Их ведь учат стрелять в людей, не размышляя, зачем и почему. Как раз сегодня Теодоро рассказал, что больше всего у них в казармах читают комиксы... «Суперменов» там всяких... «Дика Трэси»...

Луис Гало садится на ту самую скамью, где Педро сидел с Теодоро. Луис Гало еще молод, но уже успел облысеть: отец большого семейства, жалованье мизерное, жизнь тяжела...

— Я не верю, что вояки осмелятся на государственный переворот. А если и осмелятся, увидишь, как мы, радикалы, их раздавим! Ты не видел, сколько народу было, когда выступал наш кандидат, инженер Медидор? Фантастично! Тысячи, десятки тысяч собрались, чтобы послушать его речь! А как он говорит! Я убежден, что он будет нашим лучшим президентом за последнее столетие!

— То же самое ты говорил, когда выбирали доктора Перико...

— Э-э, нет, большая разница! Доктор Перико был неплохой президент, хотя мог бы быть превосходным, если бы у него была твердая рука. Он оказался слабоват перед вояками, позволил им оседлать себя. А вот Медидору пальца в рот не клади! Вот увидишь, как он остановит машину янки! А аграрная реформа?! Да что тут говорить — с первого взгляда видно, что этот человек сумеет выполнить свои обещания. Земля — тем, кто ее обрабатывает, но прежде выплатят деньги землевладельцам за экспроприацию! Это справедливо!

— Эх, Гало. Ты школьный учитель, образованный человек, но зачем ты мне рассказываешь всякие сказки про буржуазных демагогов. Я-то их знаю! Болтать все они умеют, и каждый кандидат бесстыдно наобещает с три короба, а сделать ничего и не подумает. Старая песенка.

— Так ты можешь сказать о консерваторах, но не о наших лидерах радикализма! Мы выполняем то, что обещаем!

— Выполняете? Разве Лабиавьеха издал закон об учителях? Что он им обещал перед выборами? Что скажешь? Даже жалованья не прибавил.

— В этом ты, пожалуй, прав, — соглашается Луис и отводит взгляд, будто опасаясь какого-нибудь нового выпада Педро.—Но... в основном... его политика в целом...

— Ты, стало быть, хочешь сказать, что твой хлеб и хлеб твоих детей — не самое основное? Подумай, до какого абсурда довела тебя привязанность к твоей радикальной партии! Ну, ладно, ты согласен, что твой президент не сумел справиться с одной проблемой? А теперь скажи мне, где же экономическая независимость нашей страны, о которой вы столько болтали перед последними выборами? Дела-то ведь идут все хуже и хуже. Банановая компания, и «Стандарт ойл», и посольство янки чувствуют себя хозяевами в нашей стране. Уф! Свинство было, свинством и осталось...

— Видишь ли, не сразу дела делаются. Но тем не менее никто не сомневается, что мы, радикалы, стоим на антиимпериалистических позициях.

— Стоите... Да, вот именно — стоите... и то не все, Луис. Большинство членов партии радикалов действительно антиимпериалисты, но руководство ваше настроено проамерикански. Оно стоит на месте и пальцем не пошевелит, чтобы хоть что-то предпринять против империализма. По моему мнению, радикалы-антиимпериалисты должны выступить единым фронтом со всеми антиимпериалистическими силами в стране.

— Ты повторяешь то, что говорят коммунисты, Педро. Понимаешь, почему они заговорили об единстве? Потому что их мало. А нас — большинство, вот коммунисты и решили расколоть нашу партию. Это все их уловки, Педрито, как тебе ни больно признать...

— Мне в самом деле больно, но больно за твою мелкобуржуазную слепоту. Уж тебе-то следовало быть более дальновидным...

И приятели снова спорят до хрипоты, и снова этот спор, как и все прежние, ни к чему не приводит — ни разу ни одному из них не удалось убедить другого.

— Мы, радикалы, ничего не выиграем, вступив в союз с коммунистами! Ничего, наоборот, даже потеряем. Лишь дадим повод воякам — тем, что на содержании у янки,— устроить резню.

— Подумай, дорогой Луис. Ей-богу, будет лучше, если сегодня же, пока еще не поздно, создадим фронт народа. Иначе завтра — сам увидишь — нам придется идти одним путем, только... в застенки или на кладбище...

С губ Луиса сорвался короткий смешок, внезапный, будто стайка

птиц вспорхнула над апельсиновым деревом в патио. Из окна квартиры учителя донесся спокойный женский голос:

— Луис, Луис, ужин готов. Иди, а то остынет!

— Иду, иду. Вот только обращу на путь истинный этого Педро-неверующего. Хочу убедить его голосовать за нас на выборах! — И, обратившись к приятелю, говорит: — Разумеется, ты будешь голосовать за нас?!

— Что ж, если не будет лучшего кандидата, проголосую за твоего Медидора. По крайней мере не пройдет этот пономарь Камандула. Но меня ты все равно не убедил, не верю я, что твой демагог выполнит свои обещания! Ерунда! Твоя радикальная буржуазия обманывает народ с таким же бесстыдством, как и консервативная олигархия!

— Не оскорбляй нас ни за что ни про что, Педро! Ты ведь признал, что инженер Медидор — единственный политик, не связанный какими-либо обязательствами с иностранцами, и он единственный — слава богу! — способен вытащить нас из когтей империализма. Наша родина будет суверенной!

— О, конечно! Ты забыл еще, что твой инженер во имя народного блага пойдет и дальше...

— Что ты имеешь в виду? Что-то я не понимаю...

— А как же? Ты забыл сказать, что Медидор в нашей стране собирается построить социализм...

Луис уже не отвечает. Он идет вдоль проволочной изгороди, улыбаясь и покачивая головой,— видимо, никак не удастся убедить этого упрямца Педро, что лидеры радикализма — истинные патриоты. Жаль, конечно, человек он хороший...

Вторая часть

1

Правительственный дворец — трехэтажное, желтовато-зеленое здание в европейском стиле, некое подражание итальянскому Ренессансу,— занимает целый квартал, фасадом оно обращено к Центральной площади, задняя его сторона выходит на набережную бурливой реки. В этом здании резиденция президента республики. Широкая лестница красного мрамора поднимается от главного подъезда к венчающей лестницу ротонде, где стоят часовые президентской гвардии. Вход во дворец свободен для всех граждан — об этом нельзя было даже мечтать в те времена, когда страной управляли диктатуры консерваторов.

Президентский кабинет находится на втором этаже, справа от лестницы, а слева расположены помещения службы прессы и информации. Если пройти в глубину большого, покрытого ковром коридора, попадаешь в личную резиденцию главы государства, где он проживает вместе со своей семьей; эти апартаменты выходят во внутренние патио с прекрасным садом и видом на реку.

Президент республики доктор Перико Лабиавьеха беседует в своем кабинете с поэтом Олимпо дель Корралем — беседует и думает, что уже наступает час, когда должен прибыть посол Нелсон Барроуз; об этом визите они условились накануне по телефону, и этой встречи очень ждет президент.

Лабиавьехе примерно пятьдесят или шестьдесят лет, он — человек весьма грузный, и сейчас, даже при богатом воображении, невероятно

трудно представить себе, что его фигура когда-то отличалась особой статностью. Свою уже обширную лысину он не в силах прикрыть оставшимися седыми волосками, хотя всякий раз их тщательнейшим образом приглаживает. На круглом лице выделяются удивительно черные, заботливо ухоженные усы, а массивные квадратные очки в черной оправе создают впечатление, будто лицо пересечено жирными полосками угля. Одет он, как всегда, безупречно, говорит с достоинством, поглядывая на своего собеседника даже с неким отеческим благоволением.

— Да, да, друг поэт. Я высоко ценю ваши труды, и вы это знаете очень хорошо. Однако я не полагаю, что было бы этично и целесообразно давать к сборнику ваших прекрасных поэм мое предисловие.

— Как это было бы великолепно, доктор Лабиавьеха! Ваше несравненное перо...

— Не забывайте, поэт Олимпо, что в эту книгу включены незаслуженные похвалы моей скромной персоне и моей супруге Росалине, а также и моим детям. Мы очень признательны вам, но...

— Ваше предисловие, — настаивает поэт, — может быть очень коротким, но оно придаст моей книге историческую ценность!

— Ах, друг Олимпо, Олимпо дель Корраль! Вы не представляете себе, что значит сейчас для меня время! Войдите в мое положение, друг мой! Практически у меня нет ни одной свободной минуты... нет минуты, чтобы написать предисловие к вашим стихам... У меня даже нет времени написать письма моим детям в Париж...

— Мой уважаемейший доктор, вы как президент республики... можете приказать кому-нибудь из своих секретарей, и тот мгновенно напишет предисловие — вам останется только подписать...

Настаивать таким образом может не всякий, это позволит себе, очевидно, только человек, подобный Олимпо дель Корралю. Среднего роста, смуглый, не красив и не уродлив, совершенно бесцветная личность, он совсем не походит на вдохновенного поэта и вообще на человека творческого. И все же все его считают поэтом. История Олимпо дель Корраля весьма примечательна, хотя поныне не нашлось достойного биографа, чтобы поведать ее во всей полноте современникам и грядущим поколениям. Нынче его имя пользуется известностью, правда не во всей стране, а всего только в столице, точнее, в некоторых столичных кругах, и, как утверждают местные знатоки литературы, прославил его не столько литературный талант, сколько умение немедля откликаться экзальтированными, риторическими рифмами на любое событие жизни общества. Не было ни одной королевы карнавала, которой он не посвятил бы рифмованных похвал. Он — поэт дней рождения и именин, творец дворцовых акростихов.

В свое время, когда он только начинал и не был еще Олимпо дель Корралем — тогда его звали Хуан Палотес, никто не знал его, терпевшего голод и нищету, — он писал довольно острые, социальные стихи. Он воспевал простой люд и гневно клеймил эксплуататоров, этих, по его собственным словам, «пиявок в кашемировых костюмах». Однажды, изрядно закутив,— а такой грех водится за ним и поныне — он случайно попал в фешенебельный ресторан и там — опять же по воле слепого рока — встретился не с кем иным, как с личным секретарем президента республики. В ту пору в стране господствовала диктатура консерваторов. Кто-то пригласил Хуана Палотеса за столик секретаря президента выпить виски вместе с видными политическими деятелями и светочами местной культуры. Этот день решил его судьбу.

Вернувшись в свою невзрачную каморку после попойки, Хуан нащупал в кармане несколько перепавших ему банковских билетов. И самое первое, что он сделал, тут же сжег все ранее написанные стихи, которые

бережно хранил в чемоданчике. Разве это стихи? Заблуждения юности! Глупости! Личный секретарь и его друзья убедили Хуана, или, лучше сказать, помогли ему раскрыть в самом себе поэта избранных, который пока не завоевал триумфа лишь потому, что шел по ложному пути.

— Вместо того чтобы воспевать голодающих рабочих, — сказали ему новые друзья, — за что тебе ничего не перепадет, ты должен воспевать красоту, любовь, славу и даже кончину выдающихся представителей нашего общества. Зачем растрачивать свой талант на посредственность? Художник твоей категории должен занять свое место, высокое место — вместе с теми, кто стоит высоко! Поэт должен подняться над простыми смертными, ведь талант — это дано свыше, это от бога...

И в тот же вечер произошло аутодафе — стали пеплом пролетарские стихи Хуана Палотеса. А их творец отрекся от своего имени, полученного при крещении, приняв по предложению личного секретаря имя Олимпо дель Корраль *. Личный секретарь президента не только открыл его, но и спас!

Во времена всех кровавых диктатур Олимпо всегда пользовался официальным признанием, не в пример прочим представителям интеллигенции. Он опубликовал около полдюжины книжек — отпечатанных всего в нескольких экземплярах, роскошно изданных и перенумерованных подарочных изданий, предназначенных для именитых особ, — кстати, все эти книжки печатались за государственный счет в государственной типографии. Каждое стихотворение и каждая поэма были вдохновлены тем или иным деятелем правительства, стоявшего у власти.

Олимпо преуспевал, вызывая зависть собратьев, впрочем, преуспевал — сказано скромно, он процветал среди трутней в пчелином улье, в плеяде нуворишей, сновавших в правительственном дворце.

Однако вопреки всем предсказаниям, славословьям и дифирамбам, к тому же напечатанным жирной краской в поэмах Олимпо, консервативные диктатуры были невечны. Народ сметал их. И как только к власти пришло буржуазно-демократическое правительство радикалов, Олимпо долго не размышлял: он повернулся спиной к своим прежним покровителям и стал посвящать оды новым властителям. Теперь он воспевал доблести и заслуги правительства доктора Перико Лабиавьехи и по-прежнему публиковал за государственный счет книжки, хотя и не столь роскошно изданные и нумерованные, как раньше, но зато выходившие большими тиражами и распространявшиеся бесплатно.

Поскольку правительство Лабиавьехи завершало свое существование и ему непременно должно было наследовать правительство инженера Медидора, Олимпо в кратчайший срок написал двести тридцать восемь страниц — в честь короля уходящего и короля грядущего, не забыты были и члены их семейств.

Как раз по поводу этой поэмы, которая готовилась к изданию правительственной службой печати, поэт и явился к доктору Лабиавьехе. Автору пришла в голову идея, чтобы президент написал предисловие к поэме, и, было, вырвал у доктора, улучив удобный момент, обещание написать предисловие, а теперь Лабиавьеха старался как можно деликатнее отделаться от автора поэмы и отступиться от своего обещания. Поразмыслив, президент счел, что подобное предисловие могло бы повредить ему, поставив его в ложное положение, чем не преминули бы воспользоваться враги радикальной партии, да и лично Лабиавьехи.

— Послушайте меня, поэт дель Корраль, — говорит президент, поглядывая на часы.—Я убедительнейшим образом прошу вас отказаться от этой идеи, хотя бы на время. Я чрезвычайно занят, и не только потому, что кончается срок полномочий моего правительства, но и потому,

---

* Игра слов: буквально — «Дворовый Олимп».

что приближаются национальные празднества и выборы. Кроме того, через несколько минут я буду принимать одного дипломата. Так что очень прошу вас извинить меня...

— Не извиняйтесь, доктор, — смеется Олимпо, наконец-то заметив, что президент осторожно, но настойчиво подталкивает его к двери, — я самый преданный среди ваших поклонников и ваших сторонников, я самый искренний из ваших друзей, так что...

— Благодарю вас, друг поэт! — прерывает это словоизвержение доктор Лабиавьеха, уже выставив Олимпо за порог, так что придворный бард не успевает даже закончить свою фразу; поспешно закрыв дверь на ключ, президент отирает лицо платком и, забыв о своем президентском сане, цедит сквозь зубы: — Вот жулик, сукин сын!

Через несколько минут бывший коммерсант, ныне личный секретарь президента Карлос Луис — высокий, худощавый и ловкий — докладывает доктору Лабиавьехе о том, что прибыл посол США Нелсон Барроуз вместе с первым секретарем посольства и что американцы, а также лисенсиат Паломино ожидают аудиенции в Голубом салоне. Этот салон, делающий честь своему названию, примыкает непосредственно к апартаментам президента и служит для особо важных закрытых совещаний с ограниченным числом участников, здесь проходят и конфиденциальные встречи; завтраки, обеды, ужины. Для более широких собраний и больших приемов предназначен просторный и парадный Посольский зал на третьем этаже.

Расцветший в улыбке доктор Лабиавьеха приветствует американского посла — президент просит извинить: он заставил ждать высоких гостей. Вместе с американцами вошел, как всегда элегантный, лисенсиат Паломино, министр иностранных дел.

Карлос Луис, дока в вопросах протокола, отдает распоряжение принести напитки, сигары и сигареты для гостей.

Посол Барроуз, старый и плотный гринго, широколицый, с двойным подбородком, тщательно выбритые щеки отливают темным румянцем, рыжие волосы кое-где уже тронуты сединой, большие серые глаза навыкате кажутся всегда чуть-чуть удивленными, а когда посол пристально смотрит кому-нибудь в лицо, в его глазах собеседнику чудится несколько пренебрежительная усмешка. Посол известен как отменный интриган, отменный любитель виски, отменный проконсул в этой банановой республике. Во рту у Барроуза торчит длинная, толстая сигара из табака высшего сорта — очевидно, кубинская, и очевидно, что империалистическая блокада острова Свободы в данном случае значения не имеет.

Президент принимает посла сердечно и тепло. Надо сказать, что за все время президентского правления Лабиавьехи между президентом и послом великой северной державы ни разу не возникло разногласий. Лабиавьеха изо всех сил старался идти в ногу с Барроузом. И все же, несмотря на это, правительство Лабиавьехи до сих пор не получило обещанной помощи через Союз ради прогресса. Американцы сначала выдвинули в качестве предварительного условия разрыв дипломатических и торговых отношений с революционным правительством Кубы — Лабиавьеха беспрекословно подчинился. Однако вот уже кончается срок его полномочий, а обещания гринго так и продолжают оставаться обещаниями. Говорят, что посол здесь не виноват — возникли какие-то объективные препятствия, технические затруднения...

И на этот раз посол снова подтверждает свои обещания, даже дает честное слово, что в ближайшее время бескорыстная помощь через Союз ради прогресса будет оказана, республика получит многомиллионные кредиты. Опять обещания, обещания...

Президент интересуется, какое впечатление производит на посла развитие предвыборной борьбы в стране.

— Чудесно, доктор Перико, чудесно! — восторгается дипломат. — Предвыборная кампания — зеркало «репрезентативной демократии»! Точь-в-точь как у нас в Штатах! Я нахожу, что эта политическая борьба — выражение высокой гражданственности, столь похвальной и образцовой в такой маленькой, но великой стране! Ваше превосходительство, не могу скрыть, что порой я даже завидую вам!

— О, это очень лестно слышать, мой дорогой друг!..

— Это не лесть, уверяю вас, сеньор президент, это святая правда. Лично у меня нет никаких сомнений в том, что выборы будут происходить под знаменем широких демократических свобод. Именно так я уже неоднократно докладывал моему правительству. Мой президент в высшей степени удовлетворен. Все происходит так, как желаем мы и все свободные люди свободного мира!

Лисенсиат Паломино слушает посла внимательно, но не может подавить в себе чувство горечи. Барроуз не оправдал его ожиданий: несмотря на все свои заверения, он не поддержал кандидатуру министра на пост президента от радикальной партии. По убеждению Паломино, если бы посол в свое время оказал нажим на Лабиавьеху, тот ни за что бы не осмелился выдвинуть кандидатуру Медидора. Но удар уже нанесен. И как бы отвечая на затаенные мысли Паломино, посол говорит:

— Мы, ваше превосходительство... — Барроуз делает паузу, чтобы затянуться сигарой и стряхнуть пепел,—мы придерживаемся нашей традиционной политики невмешательства во внутренние дела других стран. Доказательство — выборы у вас в стране. Я полагаю, ни радикалы, ни консерваторы не могут пожаловаться, что я или какой-нибудь другой представитель моего правительства пытались вмешаться и повлиять на выдвижение кандидатов. Не так ли, сеньор президент?

— Золотые слова, господин посол! Мое правительство не имеет к вам ни малейших претензий. Вы, как представитель вашей великой державы, никогда не стремились навязать нам ваш критерий. А если и высказывали иногда свое мнение, то только по моей просьбе, по моей настоятельной просьбе — ибо ваш опыт и ваш совет чрезвычайно ценны для нас, для тех, кто стоит во главе нашей республики! Я безгранично признателен вам как президент и как свободный гражданин!

Беседа продолжается в том же дружественном духе, между бокалом и бокалом собеседники расхваливают друг друга. Обсудив проблему выборов, президент и посол заговорили о национальных праздниках, которые приходятся почти на канун выборов, следовательно, совсем уже близки. Очень удачное совпадение, считает доктор Перико, национальными празднествами торжественно завершится период его правления, оставив неизгладимый след в отечественной истории.

— Празднование Дня независимости, — размышляет вслух Лабиавьеха, — будет как бы символическим прологом к празднику гражданских свобод — к выборам в нашей стране представительной демократии!

— Несомненно, в ходе выборов еще раз проявится свободный и суверенный характер нашей республики, — с пафосом подхватывает Паломино. — Мы предполагаем пригласить на национальные праздники корреспондентов из всех стран континента. Моим министерством уже разосланы соответствующие приглашения. Однако мы с господином президентом считаем исключительно важным, чтобы журналисты присутствовали также и на выборах. Кроме того, нами получено подтверждение, что на выборы прибудут наблюдатели Организации американских государств и Организации Объединенных Наций.

Посол с улыбкой одобрительно кивает головой. Его страна тоже пришлет наиболее выдающихся и ответственных представителей большой прессы.

Внезапно президент, с видом человека, который вспомнил о чем-то забытом, говорит:

— Ваше превосходительство, простите меня, что я задерживаю ваше внимание на вопросе выборов, но, по правде говоря, мне очень хотелось бы услышать ваше слово джентльмена. Скажите мне, что вы думаете о слухах по поводу якобы готовящегося военного переворота?

На лицах министра Нелсона Барроуза и первого секретаря посольства написано крайнее удивление, хотя, впрочем, лицо первого, и без того всегда как-то удивленное, почти не изменилось.

— Ваше превосходительство отлично знает мою точку зрения, — говорит посол, — а она является точкой зрения и моего правительства. Кроме того, я дал вашему превосходительству слово, которое является словом государственного департамента... — и торжественно, чуть ли не драматически, словно давая клятву на библии, посол заявляет: — Я считаю, что эти слухи лишены какого-либо основания. Вознамериться нарушить столь демократический, столь органичный избирательный процесс путем насилия — абсурдно. Представители армии достаточно разумны, чтобы не решиться на это, да и народ этого не позволит. Мое правительство, со своей стороны, не останется безучастным, если кто-либо осмелится на подобное преступление! Это безусловно!

— Очень хорошо, ваше превосходительство,—президент небрежным жестом приглаживает черные усы. — Именно это мы и надеялись услышать от вас. Слухи о военном перевороте, который якобы пользуется поддержкой Вашингтона, стали настолько упорными и тревожными, что и мы уже начали было кое в чем сомневаться...

— Все это не что иное, как коммунистическая пропаганда, ваше превосходительство,— уверенно произносит первый секретарь.— Это их старый метод. Не удивляйтесь и не давайте поймать себя в ловушку. Всюду нас подстерегает коммунизм...

Доктор Перико еле удержался от желания—правда, мимолетного—напомнить американцам, что систематическая пропаганда, провоцирующая военных на выступления против правительства, ведется только на страницах газет «Ла ноче» и «Эль конституционалиста», широко известных своим антикоммунизмом. Однако он, будучи приверженцем линии благоразумия, предпочитает смолчать, тогда как рыжий посол и секретарь не жалеют слов, уверяя, что невозможно организовать военный переворот в этой стране, где правит «репрезентативная демократия» в ее идеальном для Вашингтона виде.

Дипломаты уже собрались было проститься с президентом, когда в Голубом салоне появилась донья Росалина де Лабиавьеха, «первая дама нации», президентша ad honorem* всех женских ассоциаций, всех благотворительных организаций и всех светских клубов, организованных бесстрашными юношами из «Корпуса мира», присланными сюда Соединенными Штатами. Пятидесятилетней донье Росалине, благодаря строго выдерживаемому ею режиму, еще удается сохранить следы былой красоты.

Посол Барроуз и первый секретарь посольства США целуют сверкающую бриллиантовым кольцом ручку и, подарив «первой даме нации» несколько обворожительных улыбок и изысканных комплиментов, поднимают бокалы в ее честь.

Вскоре, однако, посетители удалились. Доктор Перико, министр иностранных дел и личный секретарь президента проводили их до мра-

---

* Почетная *(лат.)*.

морной лестницы, затем вернулись в президентский кабинет, чтобы подвести итоги прошедшей встречи. По единодушному мнению, результаты были весьма удовлетворительны—выявилась точка зрения Соединенных Штатов по поводу угрозы военного переворота.

Однако, оставшись один, президент погружается в раздумья. Он восстанавливает в памяти беседу с мистером Барроузом, делает заметки в своем дневнике, затем читает написанное и в конце концов пожимает плечами. Конечно, поскольку он, Лабиавьеха, пользуется поддержкой государственного департамента, военные элементы не осмелятся пойти на путч...

«Но... — приходит в голову президенту, — как знать, когда именно дипломаты-янки снимают с себя маску... а когда ее натягивают...»

2

Дни национальных празднеств проходят под знаком патриотизма. Патриотизма официального и патриотизма народного. Отмечается годовщина провозглашения независимости, завоеванной в прошлом веке народом, самоотверженно боровшимся против колониального господства.

Ежегодно во время этих празднеств исполняются одни и те же гимны, произносятся одни и те же речи. Реют повсюду флаги. По улицам дефилируют воинские части и колонны школьников. Украшаются улицы, площади, дома. Несколько дней объявляются нерабочими, чтобы государственные служащие могли достойно отпраздновать годовщину. Это дни массовых балов, загородных прогулок. Много подвыпивших, много автомобильных катастроф, куда больше людей во хмелю тонет в море или кончает жизнь самоубийством.

Трудовой народ в День независимости выступает скорее в роли зрителя, он должен аплодировать военным и гражданским парадам и выслушивать бесконечные трескучие речи правителей, славословящих свободу, братство, равенство и независимость, благами которых, дескать, пользуется народ. Народ остается зрителем и тех великолепных официальных празднеств, которыми этот день отмечают высокопоставленные лица — высшие офицеры в парадных мундирах, дамы в ослепительных туалетах, дипломатический корпус, — пусть народ еще и еще раз убедится в процветании своей отчизны!

Вечером в Посольском зале правительственного дворца проводится большой дипломатический прием. Здесь присутствуют представители всех трех властей государства: исполнительной, законодательной и судебной; приглашены командование вооруженных сил, высшая иерархия католической церкви, дипломатический и консульский корпус, руководство крупнейших банков, «короли» промышленности, коммерции и сельского хозяйства. Здесь также можно увидеть и выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Здесь дамы и господа, безупречно выполнившие предписания протокола, напечатанные на пригласительных карточках: «Джентльмены — в смокингах или во фраках, дамы—в длинных вечерних туалетах».

Сюда собрались сливки общества. Забыв о политических разногласиях, здесь сердечно приветствуют друг друга «зеленые» и «желтые». Это — манифестация культуры, благородства, изящества и величия, и, кажется, нет места жульничеству, тупости, подлости, корыстолюбию и всей прочей гадости, что скрывается за мишурой богатства. Дамы и сеньориты сегодня сверкают роскошными колье из драгоценных камней, золотыми серьгами и подвесками, бриллиантовыми кольцами, филигранны-

ми диадемами и брошами. С блеском драгоценностей и элегантностью туалетов соперничает красота холеного, цветущего тела, умелю подчеркнутая изысканной косметикой и пышностью высоких причесок. Длинные шлейфы, скрывающие дамские ножки, по-видимому, должны как-то компенсировать откровенные декольте, которые не столь скрывают, сколь обнажают иллюзорную девственность бюста.

Не умолкает оркестр, играющий классические произведения. Слуги, одетые в новые ливреи, чрезвычайно любезны и предупредительны: ловко лавируя в толпе приглашенных, они разносят на огромных подносах фужеры баккара, наполненные шипящим шампанским. С почтительным поклоном они предлагают вина гостям, а гости — старательные актеры этого спектакля, не то фарса, не то гротеска, заученным жестом поднимают бокалы и произносят заученные тосты в память независимости Отечества, уже давно потерявшего свою независимость. Дамы и господа стоят группами, между ними шныряют фоторепортеры со своими аппаратами и комментаторы радио со своими микрофонами, репортеры светской хроники со своими блокнотами. Изо всех углов зала смотрят на разряженную толпу телевизионные камеры, которым надлежит донести до каждой семьи, до каждого очага, где, конечно, есть телевизор, зрелище ультрапатриотического празднества.

Наступает торжественный момент. Симфонический оркестр исполняет национальный гимн — сейчас начнется традиционная речь его высокопревосходительства господина конституционного президента республики. Все взоры обращены к главе государства, который стоит в окружении сенаторов, министров, дипломатов, депутатов и скульптурно застывших военачальников. Сановито выглядит и доктор Перико Лабиавьеха, подтянутый, в черном костюме, в ослепительно накрахмаленной белой сорочке с эффектным белоснежным галстуком. Грудь президента пересекает многоцветная лента — символ высшей государственной власти. Посверкивают от бриллиантина те немногие волоски на голове, что еще остались. Лабиавьеха осторожно расправляет нафабренные усы и поднимает правую руку, призывая к тишине. Улыбнувшись стоящей рядом супруге, он начинает свою речь, держа в левой руке бокал с шампанским:

— Превосходительнейший господин посол великой нации Севера, мистер Нелсон Барроуз, дуайен дипломатического корпуса превосходительнейший и светлейший апостолический нунций, монсеньёр де ла Гамбетта, ваши превосходительства главы дипломатических и консульских миссий, превосходительнейшие военачальники вооруженных сил — опора и надежда отчизны, превосходительнейшие председатели национального конгресса и верховного суда, превосходительнейшие сенаторы и депутаты, магистраты и министры, превосходительнейшие и прекрасные сеньоры, превосходительнейшие и благородные кабальерос...

Голос оратора великолепен, хорошо поставлен, энергично звучит — голос человека, привыкшего прибегать к ярким, цветистым оборотам и сравнениям, к уместным цитатам из высказываний и трудов великих деятелей истории и культуры, однако не теряющего благоразумия и хитрости, в высшей степени скупого на какие-либо политические оценки. Выступления доктора Лабиавьехи выделялись из всего того, что произносилось в стенах правительственного дворца за всю его историю. Радикалы чуть не каждую минуту прерывают речь президента бурными аплодисментами, а консерваторы лишь складывают ладони рук, едва-едва пошевеливая ими — из чувства вежливости.

Президент затрагивает вопросы внутренней политики. Он гордится своей «репрезентативной демократией», тем, что его правительство твердо следовало принципам антикоммунизма и непоколебимо боролось с нарушителями закона и порядка. Его голос прерывается от волнения,

как только он заговорил о предстоящих президентских выборах и выборах в конгресс. Президент переходит к вопросам международной политики, радикалы и консерваторы аплодируют дружно — и те и другие в равной степени поддерживают внешнеполитическую линию нынешнего правительства. Еще бы! Президент расточает дифирамбы правительству великой нации Севера—Соединенным Штатам Америки, панамериканизму, свободному западному христианскому миру. На глазах президента от избытка чувств даже появляются слезинки, когда он громы и молнии ниспосылает в адрес «красного» правительства Фиделя Кастро и когда не скупится на восхваления североамериканской программы Союза ради прогресса. Заканчивает он свою речь тостом:

— Позвольте мне, дорогие друзья и соотечественники, поднять этот пенный бокал в честь самой торжественной даты в истории нашего Отечества!

Президент обращается к послу Барроузу, который поглаживает свой двойной подбородок:

— Превосходительнейший господин посол, позвольте мне с самым горячим чувством дружбы и признательности одновременно поднять тост и за наше Отечество — предмет нашей заботы, усердия и любви, и за вашу великую державу, за вашего достойнейшего и превосходительнейшего президента, образец президентов всего мира, и за ваше личное, господин посол, здоровье. Я молю всемогущего господа, чтобы ваше присутствие в нашей стране длилось многие годы на благо развития и укрепления отношений между нашими государствами и нашими правительствами. Ваше здоровье, господин посол!

Тонко зазвенели бокалы, президент и посол пригубили шампанское. Их примеру следуют все. Аплодисменты и крики «ура» как будто заставили вздрогнуть даже бронзовые бюсты, украшающие зал. Очень приятен свежий кондиционированный воздух, завоевателен аромат женских духов, слегка одуряющ дым американских сигарет.

Оркестр снова прерывает мелодию. В воцарившемся молчании раздается голос рыжего посла — глуховатый, негромкий, но очень отчетливый. Посол говорит по-испански. Он отвечает на тост президента и обращается по очереди ко всем превосходительствам, присутствующим здесь. Взгляд его выпуклых глаз перекатывается с одного лица на другое, и каждого, кого он называет, посол приветствует легким кивком.

Услышав голос посла США, люди спешат подойти поближе, теснятся, чтобы лучше расслышать каждое слово: все знают, что слово этого дипломата определяет политику их страны. И хотя он произносит одни общие фразы, все пытаются прочесть что-то между строк, уловить какие-то намеки, разгадать недомолвки — и все это, конечно, весьма субъективно, соответственно собственным помыслам и желаниям. Речь посла лишена каких-либо эмоций, она звучит официально, холодно, автоматически, металлически. В заключение, после паузы, он говорит, выделяя каждое слово, чтобы все поняли точный смысл его выступления:

— Мое правительство, считающее себя тесно связанным с вашим нерушимыми узами идеалов свободного мира и панамериканской доктрины, подтверждает еще раз свою решительную поддержку вашему государству и имеет честь отметить перед всем миром, что ваш режим «репрезентативной демократии» мы считаем образцом претворения в жизнь конституционных гарантий и свободного сотрудничества между нациями. Я поднимаю тост за новые демократические свершения вашего правительства, гарантировавшего беспрепятственное проведение свободных выборов в ближайшие дни, я поднимаю тост за ваше, господин президент, здоровье и за здоровье вашей очаровательной супруги!

Северной холодности тона речи посла придает тропическую знойность продолжительное пылкое «ура» и туш оркестра, барабаны и ли-

тавры которого обрушивают на гостей потоки невероятного грохота. Глава государства и посол крепко обнимают друг друга — объятие должно символизировать трогательную дружбу акулы и сардинки. Кандидат от радикалов Хоакин Медидор — высокий, сильный, гордящийся своим атлетическим видом и своим происхождением из аристократической семьи, — также приветствует посла и даже позволяет себе обронить какую-то шутку, давая всем понять, что его с послом связывает тесная личная дружба.

Радикалы — и те из них, кто смотрит официальный прием по телевидению, и те, кто присутствует сейчас в зале, — убеждены, что их партии обеспечено на выборах большинство: рыжий посол так одобрительно отозвался о политике правительства радикалов. Теперь ни у кого не осталось сомнений в том, что военный переворот, да еще при содействии североамериканцев, — всего лишь плод чьей-то фантазии.

Проскальзывая как рыба среди тех, кто спешил приветствовать мистера Барроуза, к послу продвигается Олимпо дель Корраль, высоко подняв в руке полный бокал. Несколько капель шампанского из его бокала неожиданно выплескивается и падает на обнаженную цвета слоновой кости спину какой-то дамы. Вздрогнув, та молниеносно оборачивается вне себя от ярости, но Олимпо уже далеко — ему удалось все-таки пробраться к рыжему американцу.

Смешной в архипридворном угодничестве, Олимпо протягивает свой бокал, чокается с послом и, не теряя секунды, напыщенным тоном декламирует собственные засахаренные и от этого не звучащие умнее строфы. Барроуз изображает нечто похожее на улыбку, но про себя выпаливает отборнейшие ругательства. Шеф церемониала, видимо, уловил что-то в лице посла и без особых разговоров, взяв Олимпо под руку, отводит его в сторону. Другие ждут своей очереди поднять тост с послом Соединенных Штатов. Олимпо ничуть не огорчен. Ну что ж, не удалось побеседовать с послом — не беда, Олимпо направляется к президенту Лабиавьехе, который вместе с доньей Росалиной любезно приветствует гостей.

Рекой текут шампанское, виски, коньяк, вина — лакеи словно плавают в волнах кашемира, шелка, бархата, нейлона. Смех и голоса звучат все громче — уже забываются нормы этикета, придававшего людям вид манекенов, и люди снова становятся людьми, их уже не ограничивают ни фраки, ни вечерние туалеты.

Да здравствует День Отечества! Это они олицетворяют сегодня Отечество — Отечество и... независимость.

Журналисты пользуются подходящей возможностью и поспешно записывают десятки интереснейших интервью-молний. Радиорепортеры торопятся донести до своих слушателей живые голоса великих мира сего, описывают подробности торжественного приема. Улучив момент, когда президент Лабиавьеха, инженер Медидор и главнокомандующий вооруженными силами Балафуга случайно оказываются рядом, репортеры спешат выжать хоть несколько слов у сверкающего орденами военачальника. Он согласен сейчас отвечать на любые вопросы — видно, выпито им уже немало...

— Полковник Балафуга, не могли бы вы сказать нашим радиослушателям и телезрителям, какую позицию займете вы и руководимые вами вооруженные силы во время выборов?

На лицо полковника нацелены объективы телевизионных камер, к его губам подносят микрофон. Гости молча толпятся вокруг, опасаясь пропустить хотя бы слово.

— С большим удовольствием... — Балафуга нервно улыбается и теребит в руках перчатки.— Позиция вооруженных сил и моя личная, как главнокомандующего, давно определена конституцией республики. Мы—

гаранты свободы и порядка, мы обязаны позаботиться о том, чтобы каждый гражданин мог отдать свой голос за кандидата, который ему более нравится, и чтобы процедура голосования соответствовала бы законам республики. Как вам известно, мы, военные, не вмешиваемся в политику!

— Господин полковник Балафуга, — обращается к главнокомандующему другой репортер, — а какая-нибудь политическая партия или группа граждан вам лично не предлагала выдвинуть свою кандидатуру на пост президента? И если это так, то не согласились бы вы участвовать в избирательной борьбе?

— О, нет, нет!—решительно возражает полковник.—Никто не предлагал мне этого, а если бы это и случилось, то я ответил бы на это одним словом: нет! Повторяю, мы, военные, не вмешиваемся в политику!

— Господин полковник Балафуга, — спрашивает у него еще один репортер, вытягиваясь над головами своих коллег. — Что вы нам можете сказать по поводу настойчивых слухов о том, что вооруженные силы готовят государственный переворот с целью свержения нынешнего демократического правительства?

Шум в зале мгновенно стихает. Те, от кого полковник закрыт толпой, взбираются на стулья и кресла. Все замерли в ожидании. Полковник, окинув взглядом присутствующих, улыбается. Доктор Лабиавьеха и Хоакин Медидор тоже улыбаются, ожидая ответа полковника и... благословляя предприимчивого журналиста, который так ловко взял быка за рога. Выпуклые глаза посла Барроуза в упор смотрят на полковника. Нунций Ватикана, благостно тихий, как статуя святого, даже не моргает. Вопрос, как оказалось, был задан Хаиме Боланьосом, корреспондентом радикальной газеты.

Наконец раздается глухой голос главнокомандующего.

— Все эти слухи — совершенный абсурд... Ложь... от начала и до конца... Командование вооруженными силами — ответственные люди, поддерживающие «репрезентативную демократию»... Как мы могли бы пойти на подобный шаг, господин корреспондент? Это значило бы выступить против конституции? Да, это было бы предательством! Я бы отдал под военный трибунал всех... всех тех, кто... так клевещет на нас. Я еще раз повторяю, мы, военные, вне политики!

— В таком случае, полковник, — настаивает репортер Боланьос,— вы ручаетесь, что никакой «фланкирующий удар» не будет нанесен, чтобы сорвать выборы?

— Этого не может произойти, господин корреспондент! — Глаза Балафуги не задерживаются ни на чем и ни на ком, он чувствует себя явно не в своей тарелке, в то же время его охватывает злость — откуда только свалился этот кретин, заставивший касаться столь щепетильных вопросов.— Мы — стража демократии, вооруженная десница народа! Как мы можем пойти на измену родине?..— Теперь голос его гремит, он бросает слова, как камни: — Еще раз повторяю: мы... не предатели... мы — патриоты...

Аплодисменты, восклицания, общий шум заглушают слова полковника Балафуги, который пользуется этим, чтобы прервать интервью. Радикалы торжествуют. Медидор, Паломино и Лабиавьеха пожимают руку полковнику, предлагают ему выпить с ними. Прекрасное заявление! Теперь прищемит языки безответственным болтунам, которые мечтают о путче! Еще одна победа одержана сегодня радикалами! Фотографы спешат запечатлеть исторический момент, чтобы завтра снимки появились в газетах.

За стенами дворца люди, собравшиеся на площади, обсуждают новости, услышанные по радио.

Президент с супругой выходит на центральный балкон. Воздев руки,

доктор Лабиавьеха будто хочет обнять всю толпу, собравшуюся внизу. Кто-то ему аплодирует, кто-то выкрикивает слова приветствия, но слышатся и другие возгласы: «Вор!.. Вор!..» В толпе вспыхивают яростные споры; какие-то пьяные переходят от слов к кулакам; их разнимает гражданская гвардия, которая, впрочем, в честь праздника милостиво прощает и позволяет им уйти.

Над Северными холмами в небо взлетают, рассыпаясь звездами, огни фейерверка, расцвечивая фантастическими красками тропическую ночь; при вспышках огней возникают и тут же исчезают мимолетные, будто вышедшие из тысячи и одной ночи тени и силуэты.

А Посольский зал уже напоминает сумасшедший дом. Сотни и тысячи бутылок лишились своей души, как и в каждую годовщину независимости. Очень много пьют. И тем более на этот раз — в последний год правительства Перико Лабиавьехи! Тут же поэт Олимпо дель Корраль, забыв о ритме и размере, усердствует изо всех сил — ну как не воспользоваться патриотической попойкой! Прием кончается за полночь — приглашенные разбредаются без всяких церемоний, не считаясь с этикетом и нормами протокола. Большинство уедет прямо из дворца, чтобы в ночных клубах и кабаре прокутить остаток ночи во славу отечества. А президент и министры, сенаторы и депутаты, а также представители военной миссии янки приглашены командованием вооруженных сил на бал в военном казино.

3

Два дня спустя после торжеств по случаю Дня независимости, когда правительственный аппарат еще не вошел в обычную колею, из Соединенных Штатов прибыла группа журналистов «с дружеским визитом». Местная ассоциация печати принимает их тепло, а пресс-атташе посольства США мистер Гарольд делает все возможное, чтобы пребывание журналистов было бы приятным и плодотворным.

Визит этот все же необычен. Креольские журналисты задаются вопросом, почему их коллеги не прибыли раньше — на национальные праздники? Это было бы логично, и, собственно, официально им было послано приглашение именно в связи с торжествами, а вот теперь, когда праздники уже позади, появились журналисты-янки. Что поделаешь, в конце концов гринго — вообще очень странные люди, и ведь недаром говорят, что странность — свидетельство гениальности! Креольские журналисты во главе с адвокатом Анисето Пакином из кожи лезут вон, чтобы «окружить теплом и вниманием» корреспондентов, представляющих информационные агентства ПИС, ПОС и ПЮС, а также крупнейшие газеты великой нации Севера. Особенно старается адвокат Пакин, который вместе с пресс-атташе мистером Гарольдом стал служить в качестве чичероне дорогим гостям. Не переводя дыхания, он носился по городу — из редакции «Ла ноче» в посольство США, из посольства к военному атташе США, оттуда в Нью-йоркский банк, из банка — в редакцию «Эль конституционалиста», в редакцию «Пренса либре»... в общем, лилипут на высоких каблучках напоминал в этот день взбесившегося муравья, который суетится, бегает, хлопочет и никак не может остановиться...

В тот же день, точнее, после полудня, на аэродром «Лос Сипресалес» прибыли весьма представительные лица: члены военной миссии янки, атташе Коэн, Рэк Донни, первый секретарь посольства, адвокат Пакин, полковники Балафуга, Терсеро, Педралиса, Плумилья, коммодор де Вила, генерал Сенсерро, капитан Орехона и лейтенант Пикана.

Ровно в четыре часа плавно приземлился военный самолет с белыми звездами. Великолепная посадка! Самолет прибыл из Зоны Панамского

канала. По трапу спускаются двое. В военной форме. Полковник и подполковник. Собравшиеся на аэродроме двинулись навстречу прибывшим. По тому, как дружески приветствуют этих двух офицеров, можно заключить, что их здесь хорошо знают. Приятно встретиться старым друзьям!

— Как долетели, полковник Гэйбл? — спрашивает по-английски главнокомандующий вооруженными силами.

— О'кей! — лаконично отвечает полковник Элмер Хейн Гэйбл, «типично американская» физиономия которого прокалена тропическим солнцем и лишь тоненькая полоска незагоревшей кожи временами виднеется из-за воротничка. У гринго — холодные, голубые, никогда не улыбающиеся глаза.

— Уже больше недели, — заискивающим тоном произносит полковник Педралиса, — мы ждем вас, все давно готово!

— Вот я и здесь, коллеги. Быстро обсудим все дела! И сегодня же я должен вернуться в Зону. У меня очень мало времени!

Услышав эти слова, все заторопились к выходу. Они идут через «запретную зону», где их ждут машины. Вереница автомобилей устремляется по шоссе, ведущему в город. Машины останавливаются у подъезда американского посольства. Гостей встречает лично посол Барроуз, который — удивительное дело! — не может скрыть своего крайне нервного состояния перед вновь прибывшими офицерами армии США.

Гости проходят в глубину здания и рассаживаются в комнате, где воздух охлажден мощными кондиционерами. Чувствуется, что все необычно возбуждены, взвинчены до предела. Бой приносит виски, кофе, кока-колу со льда, сигареты, контрабандные сигары. Вскоре появляются Пол Трэп, Отто Оверсир, Селестино Кама́ндула, генерал Лотто и еще четыре офицера. Ради такого события адвокат Анисето Пакин даже покинул своих подопечных — корреспондентов янки.

Пока собравшиеся поджидали запоздавших, полковник Элмер и посол Барроуз провели короткое конфиденциальное совещание в соседнем кабинете. Вышли они, как только узнали, что все собрались. Первым заговорил посол Барроуз:

— Дорогие друзья и коллеги, вы все знаете, что полковник Элмер Хейн Гэйбл, ныне находящийся у нас, является полномочным представителем Пентагона и правительства Соединенных Штатов. В его задачу входят установление непосредственных контактов между нашими вооруженными силами и вооруженными силами стран Латинской Америки. Он прибыл, чтобы передать последние указания по поводу операции «Горилла». Полковник Элмер Хейн Гэйбл, прошу, мы вас слушаем!

Сидевшие вокруг круглого стола и те, кто за недостатком места примостился сзади, повернулись к эмиссару великой державы Севера. Сейчас, когда полковник Гэйбл снял фуражку, открыв белокурую шевелюру, он стал выглядеть моложе. Гэйбл, улыбнувшись, оглядывает внимательно собравшихся. Сделав затяжку и выпустив струйку дыма, он начинает:

— Пентагон весьма удовлетворен... — полковник, как и посол, говорит по-английски, — удовлетворен тем, как идет подготовка операции «Горилла». Все идет по плану, и мы думаем, что успех операции обеспечен...

Полковник Педралиса на этот раз сохраняет спокойствие и невозмутимость, но сердце его сжимается от тягостных предчувствий. Он понимает: сейчас, через несколько минут, все будет ясно — полковник Гэйбл объявит, кто из офицеров возглавит военный режим после переворота. Правда, Педралису не раз уверяли, что намечена его кандидатура, однако ему известно, что то же самое было обещано и Оскару Балафуге, и — кто знает — быть может, министру обороны. Педралиса нервно вертит в руках шариковую ручку.

— Коллеги, через сорок восемь часов...—полковник Элмер Х. Гэйбл произносит слова раздельно и отчетливо, словно подчеркивая каждое слово движением указательного пальца. Он бросает беглый взгляд на свои часы. — Начиная с ноля часов и одной минуты... должно начаться выступление, одновременно по всей стране. В течение первых пяти часов должны быть взяты под контроль все стратегические цели с тем, чтобы к утру новый режим уже совершенно прочно овладел всеми командными высотами в стране...— Он сделал паузу — все серьезны и сосредоточены; на лицах Понсиано, Педралисы и Балафуги ничего нельзя прочесть, даже дымок от сигарет поднимается медленно и, кажется, осторожно, словно стараясь не нарушить шаловливыми колечками торжественность обстановки. — В течение этих пяти часов необходимо провести тщательную генеральную «чистку», заранее подготовив ее. Любые акции оправдываются самой природой военных действий. Это нужно сделать во избежание нежелательных эксцессов, во всяком случае, в столице...

Балафуга, стараясь скрыть волнение, рисует на бумаге странные изломанные фигурки, однако его правая нога, закинутая на левую, выдает его, беспрерывно подергиваясь. А если гринго выскажутся в пользу Лидио, что же предпринять в таком случае? Разорвать с ними, обвинить их в вероломстве, в нарушении обещания?..

— ...Немедленно организовать новое правительство и обратиться с воззванием к народу. Я уже прочел текст, который показал мне мистер Нелсон Барроуз, и я согласен с этим текстом. Наш посол будет выступать в роли политического советника. Наша военная миссия во главе с полковником Манки будет осуществлять военное руководство, а наш специалист Рэк Донни, на которого возложена исключительно ответственная задача, будет отвечать за безопасность. Разоблачение кастро-коммунистического заговора — лейтмотив всей операции «Горилла». Уведомляю, что все, даже самые незначительные детали, должным образом изучены нашими специалистами. Вам остается только действовать, и действовать решительно...

Полковник Гэйбл подробно излагает план операции. Но даже это не приковывает особого внимания.

С минуты на минуту должно произойти то, чего с таким нетерпением и тревогой ждут все креольские офицеры. А полковник Гэйбл, будто понимая, чем обеспокоены его местные коллеги, намеренно не спешит перейти к главному вопросу.

— Общее руководство операцией, как вы уже знаете, поручено полковнику Балафуге, который будет консультироваться с военной миссией. На случай каких-либо неожиданных эксцессов — выступлений толпы, упорного сопротивления гражданской гвардии или отдельных воинских частей, которые проявят отсутствие дисциплины, у нас наготове воздушные и сухопутные силы, предоставленные дружественными правительствами. И на самый крайний случай, если этого потребует... — теперь гринго говорит совсем медленно,— ...осложнение положения, что в свою очередь может причинить ущерб осуществлению операции, тогда нам придется бросить морскую пехоту, находящуюся на кораблях военно-морского флота США в ближайших водах. Но я уверен, что этого не потребуется...

Полковник Элмер Х. Гэйбл не спешит, словно желая продлить отчаянную агонию полковников, которые с каждой минутой все больше теряют надежду...

— Это все, — заключает полковник, как бы ставя точку, но немного подумав, говорит: — А теперь перейдем к вопросу о выборе того офицера, которому надлежит взять на себя ответственность, возглавив новое правительство. Мы, в Пентагоне, учитывая рекомендации государственного департамента и Центрального разведывательного управления, ре-

шили, что эта миссия должна быть поручена полковнику... — Гэйбл останавливается на одно мгновение, чтобы перевести дыхание, но офицерам эта секунда кажется вечностью, они замирают, глядя в глаза гринго, сжавшись так, будто ожидают удара, — Оскару Балафуге, которому вы должны оказать свою единодушную и безусловную поддержку.

Ни один мускул не дрогнул на лице Педралисы, лишь мертвенная бледность залила щеки, да улыбка, застывшая на губах, стала похожа на болезненную гримасу. Такая же неестественная улыбка — на лице министра обороны; он слегка прикрывает глаза, боясь, чтобы окружающие не прочли в них боли и гнева. Удар, который, по его расчетам, предназначался для других, попал прямо в него. Сколь сладки были слова полковника Элмера и какое страшное разочарование принесли они Лидио и Понсиано!

Проходит первый момент — напряжение немного спало. Большинство удовлетворено исходом дела и не скрывает своего злорадства и торжества. Полковник Элмер Хейн Гэйбл обращается к каждому из присутствующих и напоминает о высшем долге—воинской дисциплине, призывает офицеров к единству.

— О'кей! Коллеги и друзья, моя миссия завершена! Если есть у вас вопросы или пожелания, я готов выслушать.

Никто не задает вопросов. Никто не выражает несогласия. Все переглядываются — всем ясно: сейчас не время копаться в собственных чувствах и переживаниях. Предстоит осуществить операцию «Горилла». И в случае успеха в их руках — абсолютная власть со всеми вытекающими отсюда последствиями. Только одна мысль омрачает радость: на карту поставлена их жизнь, хотя Гэйбл и утверждает, что противник не успеет организовать вооруженное сопротивление. Конечно, внезапный удар дает много преимуществ, однако офицеров не покидает чувство страха погибнуть именно тогда, когда они уже встают на порог новой славной эпохи. И ощущение страха каждый пытается заглушить внешним оптимизмом, наигранным мужеством.

Балафуга благодарит североамериканских друзей. Рыжий посол закрывает совещание. Однако никто не уходит, офицеры по-прежнему сидят на своих местах и негромко, вполголоса разговаривают о каких-то второстепенных вопросах, о деталях. Приносят напитки. Каждый с жадностью потягивает виски со льдом, чтобы освежить пересохшую глотку и измученную переживаниями душу. Балафуга сияет, его обезьянье лицо расплывается от счастья. Сейчас он готов простить Педралисе все его козни. Триумф еще раз подтвердил сформировавшееся у него в последнее время ощущение своего личного превосходства и особого предназначения. Выбор пал на него — следовательно, он, и только он, заслуживает этого в силу своих способностей, и американцы только ему доверяют. На своих коллег он посматривает уже свысока, хотя и не пренебрежительно, а скорее как отец на недозрелых юнцов.

Наконец встали. Все оговорено. Все ясно. Офицеры подходят проститься с полковником Элмером Х. Гэйблом. Те, кто встречал его на аэродроме, отправляются проводить его к самолету. Солнце опускается в багрово-красное зарево заката, словно в озеро крови. Прохожие равнодушно провожают взглядами мчащиеся по улице официальные машины. Когда офицеры прибыли на военно-воздушную базу и вышли из машин, оказалось, что здесь их ждала неприятная встреча — на аэродроме находились президент Лабиавьеха и кое-кто из его сотрудников.

Полковник Элмер Х. Гэйбл — высокопоставленное лицо в официальных кругах великой державы, с которой правительство Лабиавьехи поддерживает теснейшие отношения, и тот факт, что он прибыл в столицу

без какого-либо предварительного уведомления по обычным дипломатическим каналам и здесь не встречался ни с президентом, ни с министром иностранных дел,— это нечто ненормальное, во всяком случае, выходящее из существующих дипломатических норм.

Доктор Перико Лабиавьеха, узнав о странном визите полковника Гэйбла и не полагаясь на ту информацию, какую ему потом подсунут, предпочел появиться на аэродроме военно-воздушной базы «Лос Сипресалес» в сопровождении своего секретаря и нескольких ближайших сотрудников. Президент дипломатично придал этой встрече характер простой случайности: он лишь прогуливается здесь, наслаждаясь вечерней прохладой.

Гринго не остается ничего другого, как приветствовать президента.

Первый секретарь посольства США просит президента извинить его за то, что он не успел предупредить шефа церемониала о прибытии американского представителя. Дело в том, говорит первый секретарь, что полковник Гэйбл летел из Вашингтона в Зону Панамского канала, однако из-за неисправности в одном из двигателей самолета вынужден был совершить вынужденную посадку. И, пока шел ремонт, полковника пригласили в посольство, чтобы он смог там отдохнуть. Местные офицеры узнали о неожиданном прибытии Гэйбла и явились в посольство приветствовать своего коллегу по оружию, а поскольку они являются официальными лицами, посольство посчитало, что нет необходимости беспокоить его высокопревосходительство господина президента.

Судя по всему, доктора Лабиавьеху вполне удовлетворила эта версия. Он радушно приветствует путешественника и, пока самолет готовят к вылету, старается развлечь гостя — он говорит без умолку, он шутит, улыбается, в общем, создается впечатление, что эта встреча носит вполне дружеский характер. На прощание президент и американский полковник обнимаются, как истинные друзья.

Самолет отрывается от земли и вскоре исчезает в сумерках умирающего дня. Пальмы, колокольни, крыши города позолочены вечерней зарей, но на доктора Лабиавьеху — кто знает почему — красота эта навевает грусть; его охватывает томительное, гнетущее чувство, будто возвращается он после похорон. Желая как-то избавиться от неприятного ощущения тяжести на сердце, он приглашает всех присутствующих выпить в ближайшем баре за здоровье уважаемого гостя, только что покинувшего столицу.

Немного погодя все возвращаются в город, уже загоревшийся вечерними огнями. По приглашению доктора Лабиавьехи главнокомандующий вооруженными силами занимает место в президентском лимузине. Балафуга чувствует себя неловко — ему кажется, что его, как мальчишку, поймали на месте преступления, даже изобличили в предательстве по отношению к президенту. Он уверен, что у доктора зародились подозрения и он вот-вот задаст ему какой-нибудь каверзный вопрос. Однако на протяжении всего пути президент говорит совсем о другом.

Они подъезжают ко дворцу. Президент, не выходя из машины, обращается к Балафуге:

— Вы видели фотографии приема в газетах и журналах? Превосходно, не правда ли? Особенно удачен снимок, где вы рядом с кандидатом радикалов и со мной. Это символическое фото, историческое! Газеты опубликовали ваше заявление под огромными шапками. Вы читали? Корреспонденты ничего не добавили от себя? Ох, знаю я эту публику, так и норовят протащить что-нибудь свое! Сколько раз после публикации моих выступлений мне приходилось давать разъяснения или опровержения. Порой приписывают вам то, что им выгодно.

— Я просмотрел газеты, доктор. Должен вам сказать, что ваша речь и ваши тосты впечатляющи. Прекрасный образец подлинного патриотиз-

ма! Поздравляю вас! А что касается меня, то... я сказал только то, что должен был сказать. Разве вы не согласны с моими словами?

— Конечно, согласен, мой дорогой полковник, но я опасаюсь, что другие не согласны,— и, улыбнувшись, президент заключает: — Разумеется, нельзя же ублаготворить всех!

Оба смолкают, но доктор не выходит из машины. Как хотел бы Балафуга быть сейчас как можно дальше от своей жертвы. Президент опять заговорил:

— Полковник, прежде чем расстаться с вами, я хотел бы задать вам один вопрос.

— Прошу вас, уважаемый доктор, я к вашим услугам.

— Быть может, этот вопрос не относится к разряду приятных, но я хотел бы вернуться к тому, о чем вас спрашивал журналист вчера вечером... насчет военного переворота. Скажите мне доверительно, я человек несентиментальный и, как мне думается, способен понять многое. Я знаю, у вас в руках — сила, а сила дает право. Все же остальное — конфетки и бирюльки! Что вы можете мне сказать?

Как раз этого Оскар Балафуга и хотел бы избежать, но в голову ничего не приходит — как бы уйти от ответа на этот вопрос? Собственно, проще простого, можно солгать, и все. Полковник Гэйбл четко и определенно сказал, что выбор сделан: он, Балафуга, возглавит правительство. А президент? Конченый человек, обреченный... Всего-навсего картонная фигурка, которая не сегодня-завтра бесславно исчезнет с политического горизонта... Однако доктор питает к нему, Балафуге, явное доверие, совсем недавно предлагал ему вступить в качестве одного из двух основных акционеров на равных паях в новую промышленную компанию. Мысль об этом вызывает у полковника еще большее замешательство. Как выйти из положения? Сказать правду?.. Полковник как-то странно смеется и, взяв под руку президента, спрашивает его шутливым тоном:

— Я вижу, что вы нас очень боитесь, доктор! А стоит ли так бояться? Что вы хотели бы услышать от меня?

— Правду, полковник Балафуга, только правду.

— А если бы разговоры о перевороте оказались правдой? — спрашивает полковник, продолжая принужденно смеяться.— Как отнеслись бы к этому лично вы, доктор?

Лицо Лабиавьехи скрыто в полумраке. Теперь у доктора почти не остается сомнений: тревога не была напрасной. Наигранный шутливый тон и смех полковника уже не могут обмануть.

— До некоторого пункта я был бы согласен с этой акцией, — с горечью произносит президент, — но только до некоторого пункта...

— Я не понимаю вас, — говорит Балафуга.

— Это значит, что хотя я и считаю путч большим несчастьем для нашего конституционного порядка, я бы принял императивную необходимость изменения модуса в зависимости от характера и целей акции. Вы понимаете меня, полковник? Поэтому и говорю — до известного пункта.

— Ах, доктор, сколько пируэтов делается в политике нашего времени!

— А еще больше пируэтов делают люди, полковник, люди!

Доктор уже не настаивает на своем вопросе. Он покидает машину, на его лице снова оптимистическая улыбка. Простившись с полковником, он быстрым шагом подходит к своим спутникам, поджидающим его у мраморной лестницы.

Президентский лимузин увозит Балафугу в его резиденцию. Полковника не покидает мысль: допустил глупый промах, незачем откровенничать с доктором, ведь тот может немедленно принять контрмеры, привести в боевую готовность гражданскую гвардию, предупредить об

опасности партию радикалов — и всем этим сорвать осуществление операции «Горилла». Пожалуй, не стоит ни с кем говорить об этом промахе и надо быть начеку, усилив наблюдение за правительственным дворцом и центром радикальной партии. Какую непростительную глупость он допустил!

Прибыв в свою резиденцию, Балафуга немедля вызвал по телефону капитана Модесто Орехону и лейтенанта Бартоломе Пикану и приказал срочно прибыть и получить инструкции. Теперь, когда уже бесспорно, что он возглавит государство, операция — дело его жизни.

4

У доктора Перико Лабиавьехи было немало причин для беспокойства. Неожиданный прилет полковника Элмера Х. Гэйбла и его странное поведение в столице, более чем странный факт — прибытие североамериканских журналистов, нагрянувших после национальных праздников без какой-либо видимой и объяснимой причины. А теперь еще и странный ответ полковника Балафуги, что при всем желании никак нельзя принять за шутку... Сам собой напрашивается вывод, что вопрос о военном перевороте, по-видимому, уже предрешен. Но он, президент, бессилен оказать какое-либо воздействие на ход событий: нет сомнений, что за спиной местных военачальников — мощь великой державы Севера, какие бы публичные или приватные заявления ни делали официальные представители этой страны. А если уж в чем-то замешаны друзья-гринго, не остается ничего иного, как подчиниться их воле!.. И все-таки трудно поверить, что все это возможно, трудно поверить, что гринго, верным другом которых он был столько лет, обойдутся с ним так коварно...

В тот же вечер президент приглашает к себе лисенсиата Паломино и инженера Медидора для конфиденциальной беседы за чашкой кофе с коньяком. Оба не разделяют тревог и подозрений доктора — агентура СОБ не обнаружила никаких нитей военного заговора. О вооруженном перевороте кричат только газетенки консерваторов, которым ничего другого не остается, поскольку у них нет никаких шансов победить на выборах. Их кандидат, доктор Камандула, без сомнений, потерпит провал. Что же касается выборов в Национальный конгресс, то консерваторам удастся заполучить максимально полдюжины депутатских кресел.

Эктор Паломино напомнил о том, что сказал посол Барроуз, их ближайший друг: государственный департамент, осуждая любые попытки военного переворота, поддержит в любом случае «репрезентативную демократию».

Хоакин Медидор уверен в своем безусловном триумфе — народ горячо приветствует его, где бы он ни появлялся, и, кроме того, он уверен в поддержке янки. Да, вначале его беспокоила позиция полковников, однако после бесед tête-à-tête с Балафугой, с министром обороны, затем с командующими военно-воздушными силами и военно-морским флотом и, наконец, с Лидио Педралисой он считает, что нет абсолютно никаких оснований для беспокойства. И, бесспорно, подтверждением тому может служить публичное заявление полковника Балафуги!

— Заявление Балафуги предельно четко. В нашем распоряжении гражданская гвардия, и в случае попытки переворота народ немедля раздавит заговорщиков. У нас в стране обстановка совсем иная, чем в других странах Латинской Америки! Наши военные — не «гориллы», они приверженцы демократических традиций!

— Оставим разговоры насчет демократических традиций военщины,— возмущается доктор Перико, в памяти которого еще жива история возникновения былых диктатур.— Что касается народа — я тоже сомневаюсь. Он настроен антимилитаристски, но не забудьте, что армия ныне располагает значительными силами и серьезной техникой. Мы рано успокоились. Мне не зря как-то сказал Карлос Луис, мой секретарь, что не мешало бы вооружить даже гражданских лиц.

— Нет, нет,— запротестовал лисенсиат.— Я знаю, какие настроения сейчас в армии, среди офицеров у меня много хороших друзей, людей вполне надежных... Если бы намечался какой-либо план переворота, мне тут же стало бы об этом известно! Прежде всего мне дал бы знать об этом мой ближайший и давнишний друг Оскар! А вооружать штатских — неблагоразумно, они могут воспользоваться нашим доверием и тогда... кто знает, куда потечет река!

— Вы, пожалуй, правы,— согласился президент.— Толпа с оружием в руках представляет собой опасность значительно большую, чем армия.

— Я очень доволен, что наши точки зрения совпадают, доктор. Кроме того, вооружение гражданского населения может вызвать провокации. Мы просто дали бы повод офицерству предпринять какие-то ответные шаги — и это даже было бы логично!

— Я согласен с тобой, Паломино,— отозвался инженер,— это была бы явная провокация и политическая ошибка. Ей-богу, все эти страхи совершенно необоснованны, чистейшая фантазия. Нам нужно сейчас не ломать голову над проблемой военного переворота, а подумать о проблемах нового кабинета и прежде всего рассмотреть перспективы и возможности моей администрации, добиться, наконец, помощи от Союза ради прогресса. Это основное! Выборы? Наша победа — у меня в кармане!

Президент утвердительно кивает, хотя все эти доводы не развеяли окончательно его сомнений. Он достает из портфеля бумаги и раскладывает их перед собеседниками.

— Вот полученные мною конфиденциальные письма. Авторы их как будто сговорившись, единодушно предупреждают о военном перевороте. В одном письме даже сообщается, что руководить мятежом будет главнокомандующий вооруженными силами; в другом письме указывают на полковника Педралису как на главное действующее лицо. В третьем — идея переворота приписывается министру обороны. Как все это понять?

— Что за варварство! — обиженно восклицает Паломино.— Вот уж правду говорят, что злые языки никого не щадят! Если слушать всех кумушек, можно в сумасшедший дом попасть!

— А вот листовка коммунистов,— продолжает доктор,— они утверждают то же самое, но подчеркивают, что переворотом руководят советники из военной миссии, а финансируют его монополии янки, в частности, Банановая компания. Следует ли принимать это на веру?

— Ах, друг мой, милый доктор! — воскликнул инженер, изобразив на лице глубокое сожаление.— Как можно принимать всерьез анонимные письма? А те, что подписаны, разве вы не видите, что это всего лишь нелепые измышления коммунистической пропаганды? Разве впервые вы сталкиваетесь с интриганами и клеветниками, которые хотят поссорить нас с североамериканскими друзьями? Нет, доктор, к подобным пасквилям не стоит относиться серьезно! Паломино прав — если слушать всех сплетников, можно рассудка лишиться!

— Разумеется,— подхватывает Паломино, отодвинув бумаги в сторону, правда, прежде проглядев их бегло.— Мне думается, что для блага нашей политики мы должны сделать вот что...— Он на минуту

задумывается и после паузы продолжает: — Следует нейтрализовать коммунистов, засадить их за решетку, чтобы своей агитацией они не мешали во время выборов. С этой целью было бы неплохо организовать пропагандистский скандал. Таким путем мы покажем всему миру, как мы боремся с коммунизмом.

— Гениально! Это идея, Эктор! И чтобы окончательно избавиться от сплетен вокруг жупела военного переворота, следует незамедлительно претворить в жизнь идею Эктора! Тактический шаг — и исключительный эффект.

— Идея Паломино конструктивна,— одобряет президент.— Вероятно, было бы целесообразно арестовать кое-каких лиц из числа коммунистов. Такого рода акция защитит от любой непогоды.

— Политика зонтика! — лисенсиат разражается смехом, вскакивает с кресла.— Любой шаг по пути антикоммунизма неизменно приносил нам значительнейшие политические выгоды. Очень позитивным и своевременным оказался разрыв отношений с красным правительством Фиделя. Мы приумножили политический капитал перед правительственными сферами Вашингтона, поддержав в Организации американских государств резолюцию государственного департамента о блокаде Кубы. И если мы устроим «коммунистический заговор», мы не только потрафим нашим северным друзьям, но и обезоружим нашу военщину, которая вечно атакует нас за то, что мы якобы недостаточно решительно действуем против коммунистов.

— И, кстати, мы заткнули бы рот консерваторам с их рупором «Ла ноче»! — вставляет инженер Медидор.

— Да, вы правы, друзья мои, такой зонтик в самом деле поможет нам уберечься от многих бед...

Президент собирает бумаги, засовывает их в свой портфель и снова усаживается рядом с Медидором, улыбается и приглаживает усы. Оптимизм его единомышленников заразил и его — и он уже готов признать свои подозрения насчет государственного переворота чересчур преувеличенными, даже необоснованными. Очевидно, Оскар Балафуга просто пошутил; возможно, и в самолете Элмера Х. Гэйбла обнаружились какие-то дефекты; вероятно, журналисты-янки прибыли после празднеств с той целью, чтобы в спокойной обстановке познакомиться со страной и прославить ее в «большой прессе» США. Он воздает должное своим собеседникам, которые считают, что все дальнейшее по части организации «коммунистического заговора» следует поручить СОБ, советником которой является янки Рэк Донни.

В политических вопросах доктор — старая лиса. Он всегда поддерживал теснейший контакт с гринго: и когда был послом в Вашингтоне, и когда был представителем страны в Организации американских государств, и ныне, будучи президентом. У него много друзей в государственном департаменте, которые никогда не откажут ему в совете и поддержке. Да и он не давал друзьям-гринго повода для недовольства — его правительство всегда свято придерживалось и придерживается линии Вашингтона. По-видимому, коллеги правы, глядя с оптимизмом на будущее.

— Да, что верно, то верно, друзья мои, не всякий раз, увидев метлу, надо искать ведьму! Полезнее восстановить собственное спокойствие, избавиться от дурных предчувствий. Политика — штука деликатная. Под хорошим деревом — тень хороша.

— Наше правительство проводило мудрую политику,— с достоинством произнес министр иностранных дел.— Мы действовали всегда с тактом и никогда не шли наперекор панамериканскому потоку, истоки которого — в Вашингтоне.

— Североамериканцы,— прерывает его инженер,— безусловно за-

интересованы в таком режиме, как наш: побольше пышных листьев и поменьше...

— Вы не правы,— энергично протестует президент.— Ваши слова можно расценить как неуважение к самим себе и к своей стране!

Инженер, иронически улыбнувшись, зажигает сигару. Потом продолжает:

— Весьма опасно не понимать нашу подлинную роль. Всем известна моя программа — из моих выступлений. Она революционна — никто не сомневается! Но всякий реалистический политик знает, что в наших странах такая программа подобна наркотическому средству — усыпляет толпу. Я никогда не осмелился бы высказать идеи такого порядка, если бы до этого не обменивался мнениями с мистером Барроузом.

— Точка зрения гринго именно такова! — замечает Паломино.— Такая политика отводит толпу подальше от лозунгов Кастро. «Репрезентативная демократия» позволяет сдерживать народ и нейтрализовать военных...

— Ну эти-то получают из бюджета столько, что им грех жаловаться...

— Вот именно,— подтверждает президент, для которого все, что связано с военными, уже вызывает антипатию.— Какие у них могут быть претензии, когда мы для них ничего не жалели... Я понимаю, что военные не просто рвутся к власти, им нужны еще и деньги. Учитывая обстановку, мое правительство старалось удовлетворить их аппетиты...

— Не исключено, что мы подогревали их аппетиты,— говорит Паломино.— Аппетит, как говорится, приходит во время еды.

— О, если бы этим аппетитом отличались только военные! — подает реплику президент не без сарказма.

Собеседники смеются, делая вид, что это к ним не относится.

Обменявшись еще несколькими шутками и напомнив о приеме для журналистов-янки, назначенном на завтра в Посольском зале, лисенсиат и инженер прощаются с президентом.

Оставшись в кабинете один, Перико Лабиавьеха с наслаждением потянулся. Страшная усталость! Какой напряженный сегодня день! Он кладет портфель в стол, запирает его на ключ и выходит из кабинета. В приемной личный секретарь Карлос Луис и адъютант президента, стройный юноша в парадном мундире, склонились за своими столами. Бросив им на прощанье несколько слов, доктор удаляется в свои апартаменты — пора отдохнуть. А правительственный дворец не спит — в кабинетах допоздна работают служащие, много сотрудников и в службе печати, откуда слышится перестук пишущих машинок. Президент еще идет по коридору, когда его догоняет Карлос Луис с каким-то листком в руке.

— Простите, доктор, срочное сообщение... Радиограмма американского агентства ПЮС. Взгляните, пожалуйста!.. Только что получена!

— Большое спасибо, я возьму с собой, прочту на сон грядущий.

Карлос Луис хотел было что-то сказать, но не решился и молча ушел в приемную, которую уже покидают адъютанты, заметив, что президент завершил трудовой день. Двое вооруженных часовых вытягиваются по стойке «смирно», отдают честь президенту. Доктор, войдя в свои приватные апартаменты, направляется прямо в спальню, где уже спит супруга. Положив радиограмму на ночной столик, он раздевается, натягивает шелковую пижаму и, мурлыча под нос какую-то песенку, идет в ванную. После душа доктор протирает лицо лосьоном и принимает снотворное. Ложась в постель, он пожелал спокойной ночи донье Росалине, но та не слышит — спит. Доктор надевает очки, берет радиограмму со столика.

Первые же слова заставляют его судорожно схватить листок, он впивается глазами в каждое слово, в буквы. Радиограмма агентства ПЮС датирована в Вашингтоне. Лаконичная информация о сообщении, опубликованном сегодня в газете «Уорлд телеграмм» — «Неминуемый государственный переворот угрожает правительству доктора Перико Лабиавьехи».

— Росалина, Росалина, ты не спишь? Проснись, послушай, что сообщает радиограмма! Переворот все-таки готовят!

Супруга, уже проснувшись, поворачивается на постели, просит Перико, чтобы он прочел сообщение вслух. Доктор читает, вопросительно смотрит на жену, будто испрашивает совета. Росалина сонно зевает.

— Эти корреспонденты вечно со своими сенсациями, вечно спекулируют на чем-нибудь... У нас, конечно, ничего этого нет... Впрочем, чтобы успокоиться, позвони послу Барроузу... что он скажет.

В самом деле. Доктор Перико усаживается на постели и нервно пододвигает поближе к себе один из телефонов, стоящих на столике. Это прямой провод с посольством янки. Вызывает. Быть может, уже поздно и посол спит — или не у себя?.. Президент по-детски радуется, когда в трубке раздается голос рыжего посла.

— Простите, ваше превосходительство,— неуверенным тоном выговаривает доктор,— вы, очевидно, уже в постели.

— Не беспокойтесь, ваше превосходительство, я обычно ложусь очень поздно. Привычка еще с юношеских лет. Чем могу служить?

— Видите ли, ваше превосходительство, речь идет об одной радиограмме... Я только что получил информацию агентства ПЮС. Ее содержание меня беспокоит. Речь идет о неминуемом военном перевороте, направленном против моего правительства. Что вы думаете по этому поводу?

— Сообщение ПЮС? — спрашивает металлический голос посла. — Я ничего о нем не знаю. Понимаю, что вас это может беспокоить, но я могу сказать вам с полной ответственностью, что речь идет о какой-то злой шутке либо зондируется общественное мнение в преддверии выборов...

— Но это сообщение заставляет о многом подумать. Оно опубликовано сегодня в «Уорлд телеграмм» — газете, как известно, весьма информированной, близкой к официальным кругам вашей страны.

— Не принимайте всерьез, ваше превосходительство! Корреспонденты часто увлекаются мистификациями. Завтра же я пошлю телеграмму, чтобы запросили автора этой выдумки, пусть он ее опровергнет. Я должен просить вас принять мои извинения в связи с этими нелепыми выдумками, направленными против вашего правительства. Вы же сами знаете, что в вашей столице царит мир. И хочу еще раз напомнить вам, что государственный департамент поддерживает ваш режим. Мы не допустим никакого военного переворота. Спите спокойно, ваше превосходительство!

— Большое спасибо, дорогой посол! Вы меня успокоили! Все мои надежды я обращаю к вам, моим друзьям!

— Это большая честь для нас, ваше превосходительство. Спокойной ночи.

Президент опускает на рычаг телефонную трубку. Слова посла должны бы успокоить, но лицо президента все еще остается озабоченным. В раздумье он потирает подбородок. Быть может, позвонить министру внутренних дел и начальнику гражданской гвардии? Но тут же отказывается от этой мысли. Ложится на постель, натягивает простыню. Передает Росалине свой разговор с послом. Она сонным голосом отвечает:

— Ну вот видишь, если бы было что-нибудь серьезное, Барроуз знал бы об этом.

И все-таки доктор не может избавиться от ощущения глухого беспокойства.

— Во всяком случае, Росалина, мы должны привести все наши денежные дела в полный порядок. Береженого бог бережет.

— А все и так в порядке, Перико, — отвечает супруга, которую по-прежнему одолевает сон. — Ты же знаешь, что с первого дня твоего правления мы начали готовиться к любой ситуации. Наши капиталы в надежном месте!

— Ты мой ангел-хранитель, дорогая! А у меня так забита делами голова, что я совсем позабыл об этом.

— Не беспокойся, Перико, спи спокойно. У нас завтра прием североамериканских журналистов.

— Да, их надо принять хорошо, они — славные ребята и могут быть очень полезны нам.

— Только, пожалуйста, не злоупотребляй напитками, не забывай о своем диабете.

— Конечно, дорогая, я буду осторожен. Спокойной ночи, любовь моя!

Ему хочется еще кое-чем поделиться с женой, но он замечает, что она уже заснула. Да и его самого одолевает зевота — видимо, стало действовать снотворное. Он протягивает руку и выключает свет. Супруги засыпают.

А в столице еще многие бодрствовали. Продолжают работать сотрудники службы печати. Наступил час смены караула президентской гвардии.

У подъезда правительственного дворца остановилась военная машина. Из нее вышли, не торопясь, несколько офицеров. Тихо и спокойно переговариваются между собой. Во главе этой группы — полковник Лидио Педралиса. Приезд Педралисы и других офицеров не вызывает никакого удивления: им и раньше случалось приезжать сюда в ночные часы. Караул отдает честь офицерам, за которыми следует взвод солдат с автоматами.

— Полковник Педралиса! — радушно восклицает начальник караула, приветствуя вошедшего, но, заметив вооруженных солдат, останавливается в недоумении.

В следующую минуту он понимает все. Уже поздно — солдаты с автоматами обезоруживают президентскую охрану, от неожиданности гвардейцы даже не пытаются оказать сопротивление; к тому же полковник приказал им молчать, не то... Охрану закрывают на ключ в караульном помещении.

К дворцу прибывают грузовики с пополнениями солдат. Автоматчики задерживают всех, кто находится во дворце. На втором этаже арестовывают служащих, в том числе личного секретаря президента Карлоса Луиса. Солдаты поднимаются на третий этаж — проникают в башенки с пулеметными гнездами и бесшумно, словно в какой-то игре, обезоруживают часовых. На Центральной площади раздается звяканье гусениц танка, который медленно разворачивается и направляет свое орудие на желто-зеленый дворец.

Полуночные гуляки останавливаются и расспрашивают друг у друга — пытаются узнать, что же случилось. Но в правительственном дворце по-прежнему тихо и спокойно. Можно подумать, что танки и солдаты участвуют в каких-то ночных учениях в условиях города.

Педралиса отправляется на поиски президента. В конце длинного коридора, у дверей президентских апартаментов, ходят взад и вперед два часовых с винтовками. Беседуют друг с другом, курят. При виде офи-

церов они испуганно бросают сигареты и, вытянувшись по стойке «смирно», четко отдают честь. Им приказывают отдать оружие и спуститься на первый этаж. Почему? Непонятно. Должно быть, накажут за курение на посту, думают часовые и молча повинуются. Адъютантов поднимают с постели, арестовывают в таком виде, как они были — в нижнем белье.

Педралиса входит в президентские апартаменты и стучит в дверь спальни — дверь закрыта на ключ изнутри. Будит экономку и слуг. Экономка сама идет будить сеньора.

— Вставайте, доктор, — говорит Педралиса вполголоса. — Это я — полковник Лидио Педралиса. Нам срочно необходимо ваше присутствие. Я прибыл к вам по просьбе полковника Патрика Манки. Прошу вас, поскорее!

Голос полковника первой слышит супруга президента, она будит мужа, который быстро вскакивает с постели и начинает одеваться. Внезапно у Росалины мелькает подозрение — почему это Педралиса их будит, а не адъютант или президентская охрана. Доктор, натянув брюки и рубашку, в незашнурованных ботинках идет к двери, за ним Росалина. Быть может, думает доктор, радиограмма была все-таки не случайной и сейчас верные правительству офицеры во главе с Педралисой встали на защиту конституции, действуют вместе с военной миссией янки. Да и не может быть иначе! Друзья-гринго не позволят, чтобы правительство было свергнуто!

Башенные часы правительственного дворца бьют полночь.

Президент открыл дверь и отпрянул — и не только потому, что увидел перед собой автоматы, направленные на него. В эту самую минуту донесся далекий пушечный выстрел, а за ним — частая перестрелка где-то близко, возможно, даже на Центральной площади.

— Что случилось, полковник?

— Чепуха, доктор, пустяки, если у вас хватит благоразумия, вы поймете...

— Боже мой! Неужели правда, что...

— Доктор Лабиавьеха, ваше правление окончено! — строгим тоном провозглашает полковник Педралиса.— Вооруженные силы взяли в свои руки судьбы страны! Вы и ваша супруга задержаны!

— Таким образом, вы хотите сказать... Учтите, мне на помощь придут... Это мерзкая измена! Вы вонзили кинжал в спину человеку, когда его обнимали! Нет, меня вам не так-то просто убрать с дороги! Мои друзья из...

— Молчать! — обрывает его Педралиса.— Послушайтесь совета, перестаньте орать и кривляться. Мелодраматические позы не помогут! Ваше клоунское представление окончилось! Я готов относиться к вам с уважением, обещаю не причинить ничего плохого вам и вашей супруге. Но если вы будете закатывать истерики, мне придется поступить с вами, как требует мой долг. Надеюсь, вы меня понимаете!..

Доктор Лабиавьеха, пожав плечами, пятится назад и падает в кресло. Росалина в слезах подбегает к мужу, гладит его по голове. Нервы свергнутого президента напряжены до последней степени, однако он делает чрезмерные усилия и пока еще держит себя в руках. Случилось то, чего он так опасался. А он-то был так уверен в гарантиях госдепартамента! Нужно было самому действовать энергично, не рассчитывая ни на кого... Нужно было предупредить циклон... Нужно было предусмотреть, чтобы политический крах не отозвался на его финансовых делах... Нужно было уйти со сцены самому и вовремя. Нужно было уметь плыть и в бурном потоке... А что, если военный переворот не удастся? А что, если гражданская гвардия... или радикальная партия... или народ... рабочие, студенты, крестьяне — выступят в защиту его правительства?..

— Росалина, скажи служанке, чтобы нам принесли чего-нибудь выпить. Да, дорогая, лучше коньяк!..

Из города слышны выстрелы орудий, по злой иронии судьбы недавно приобретенных правительством Лабиавьехи. Трещат пулеметы, установленные на башнях правительственного дворца. Это развлекаются солдаты. А жители столицы, которые слышат пальбу, считают, что на улицах и площадях развертываются ожесточенные бои.

Уже несколько успокоившись, доктор приводит в порядок свою одежду и проходит в приемную в сопровождении Педралисы и нескольких солдат. Росалина лично угощает коньяком победителей и побежденных.

— За ваше здоровье, полковник Педралиса! За вашу отвагу!

— За ваше здоровье, господин экс-президент! За ваше здоровье, госпожа экс-первая дама нации!

Какая наглость! Донья Росалина с огромным трудом сдерживается, чтобы не бросить рюмки с коньяком в лицо этому негодяю! Увы! Это невозможно — и сеньора пытается улыбнуться...

5

Полночь прострелена пулеметными очередями и винтовочными выстрелами, взорвана гранатами, минами и снарядами артиллерийских орудий. Отчаянными криками полны улицы столицы. Подразделения «специального корпуса», переброшенные из казарм Сан-Хорхе, в первом часу ночи захватили все господствующие позиции в городе. Как только прозвучал первый выстрел танка, подошедшего к главному штабу гражданской гвардии, солдаты «специального корпуса» окружили и блокировали здание исполкома радикальной партии, резиденции членов правительства, дома, где находились руководящие центры профессиональных союзов, не контролируемых ОРИТ *, прогрессивных культурных организаций, а также все государственные учреждения. В столичном небе угрожающе гудели самолеты — казалось, они готовы расстрелять даже звезды.

Все радиостанции столицы были захвачены в первые же минуты. Войска фактически не встретили никакого организованного сопротивления, так что переворот обещал быть бескровным. Заговорщики не успели разработать конкретный план «чистки», о которой говорил полковник Элмер Х. Гэйбл.

— Внимание, внимание! — слышалось в радиоприемниках, поспешно включенных жителями столицы, разбуженных среди ночи грохотом на улицах.

— ...Сегодня правительство доктора Перико Лабиавьехи, которое организовало заговор радикалов и коммунистов и, используя гражданскую гвардию и банды левых экстремистов, намеревалось уничтожить вооруженные силы республики, было свергнуто верными идеалам демократии военными патриотами, во главе которых встал отважный сын нации полковник Оскар Балафуга!.. Внимание, внимание!.. Повторяем... Сегодня правительство доктора Перико Лабиавьехи, которое организовало заговор...

За полчаса до полуночи в главном штабе гражданской обороны готовилась смена постов в городе. Под командованием лейтенанта солдаты вышли из штаба, расположенного в центре города. Оставшиеся

* «Межамериканская региональная организация трудящихся», находящаяся под американским контролем.

легли спать. Начальник штаба гражданской обороны Флоренсио Диес давно уже отправился в свой особняк. В кабинете на втором этаже служебного помещения еще продолжали работать заместитель начальника штаба, а также капитан и секретарь.

В просторном вестибюле главного штаба часовые дремали, придерживая карабины. С минуты на минуту их должны были сменить другие. Заместитель начальника штаба подписал рапорт о смене караула. На лестнице уже послышались шаги смены. Спускались солдаты.

Неожиданно где-то раздался выстрел. Еще выстрел, еще. Послышались крики. Заместитель начальника штаба бросился вниз по лестнице, на ходу приказав часовым взять оружие наизготовку. Стрелять могут только вооруженные люди. Значит, части вооруженных сил!.. Значит, государственный переворот! Не успел он добежать до нижнего этажа, как донесся звук разрывов ручных гранат, которые были брошены в окна с улицы. Все стало каким-то адом.

— К оружию! Военный переворот! Тревога!..

Стены дрогнули и, похоже, покачнулись — начали обстрел штаба танки «шерман». Штаб будто прочеркнут очередями пулеметов, установленных на крышах соседних домов. Вспыхивают зажигательные бомбы. Замешательство и паника. Голые и полуголые, вооруженные и безоружные люди мечутся по этажам, обезумев от ужаса. Несколько бойцов гражданской обороны со страху забились в комнатушку, но вот и ее стены обрушиваются от прямого попадания снаряда. Примерно с полсотни человек, перепрыгивая через трупы и через обломки, успели выбежать на улицу, подняв руки, однако тут же были скошены очередями автоматчиков.

Кое-кому удалось забраться на крышу — босиком, в одних трусах. Они надеются, что им удастся спастись, перебраться на крыши соседних зданий. Все напрасно — солдаты их подстреливают, и люди падают с крыш на землю. Гражданская оборона уже не существует, даже не приняв боя с противником. Всю ночь пылает здание ее главного штаба.

В квартале отсюда полковник Диэго Марадиага наблюдает с балкона за пожаром. Ночной ветер доносит до командира «специального корпуса» запах гари...

Под командой лейтенанта с усиками á la Гитлер сержант Теодоро Энсина должен участвовать вместе со своим отделением, наряду с другими подразделениями «специального корпуса», в захвате железнодорожного вокзала. Тут собрались усталые, измученные после бессонной ночи пассажиры, ожидающие поездов. Естественно, ни у кого нет оружия. Никто не помышлял выступать против вооруженных сил.

Атака началась одновременно с разных сторон. Огонь открыли по зданию, по пассажирам; под сводами вокзала разнеслось звонкое эхо — крики, стоны и выстрелы, выстрелы... Женщины падают на пол, пытаясь прикрыть своим телом детей. Люди бегут в поисках убежища, прячутся в служебных помещениях, туалетах, гардеробах, ломятся в камеру хранения, в кассы, забираются под вагоны, стоящие у перрона.

Солдаты ворвались в зал ожидания, беспрерывно стреляя и ругаясь на чем свет. Летят осколки стекла, падают куски цемента и дерева. Кровью жертв залит пол. Солдаты избивают прикладами ни в чем не повинных людей — впрочем, последним повезло: они, по крайней мере, живы, только арестованы.

— Смерть коммунистам!.. Долой коммунистических заговорщиков, выступивших против вооруженных сил!.. — дико орут солдаты.

— Да здравствует защитник родины полковник Балафуга.

Неподалеку от вокзала — помещение профсоюза железнодорожников. Лейтенант с гитлеровскими усиками посылает туда отделение сержанта Энсины. Солдаты бегут вдоль улицы, не прекращая беспорядочный огонь по окнам и дверям. Свет в окнах испуганно гаснет. Внезапно с какого-то балкона раздаются выстрелы из револьвера. С криком падает солдат — его ранило в живот. Лейтенанта с усиками на какое-то мгновение сковывает страх. Это не предусмотрено! Сопротивления не ожидали. Санитары подхватывают раненого, уносят к санитарной машине, которая ждет на углу.

Теодоро слышит свист пуль — видимо, стреляют железнодорожники, обороняющие здание своего профсоюза. Он подзывает солдата Норберто Гильена, следующего за ним с пулеметом. Оба подбегают к ближнему дому — высокому и большому. Оказывается, отель, на его фасаде еще сверкает вывеска: «Гамильтон». Двери подъезда открыты — солдаты в маскировочных комбинезонах, с автоматами в руках неожиданно очутились в роскошном беломраморном холле отеля, устланном коврами и уставленном массивными кожаными креслами. Онемевший от страха лифтер по молчаливому сигналу солдат поднимает их на террасу. Отсюда солдаты повели обстрел здания профсоюза, они стреляют вслепую — темно, почти ничего не видно: лишь какие-то тени временами мелькают по крыше того здания. Норберто Гильен наугад посылает туда пулеметную очередь. Смолкли защитники профсоюзного центра.

Лейтенант приказывает взять штурмом здание. Солдаты, взломав двери и продолжая вести беглый огонь, врываются в опорный пункт железнодорожников. Бегут по обломкам мебели, по каким-то бумагам, по флагам. Быстро прочесывают все этажи, но никого не находят. Покинув отель, Теодоро со своим отделением взбирается на крышу профсоюзного центра. Пулеметчик Норберто Гильен вдруг спотыкается обо что-то и едва не падает.

— Ранен? Мертв?

Теодоро, подбежав к упавшему и осветив его электрофонариком, видит на цементном полу неподвижное тело. У их ног лежит седой железнодорожник. Убитый. Перед глазами Теодоро воскресает лицо брата Педро. Теодоро медленно распрямляется и говорит Гильену:

— Стреляй в воздух! Делай как можно больше шума!

Через несколько минут в здание железнодорожного центра прибывают агенты лейтенанта Бартоломе Пиканы. Они погружают в грузовик архивы профсоюза и увозят в СОБ. Другие уносят раненых и убитых.

Унесли и труп старика. Там, где лежало его тело, осталась только темно-красная лужица.

— Не плачь, детка, не плачь. Спи спокойно. Не бойся, это на улице фейерверк! Просто у одной девочки, такой же, как ты, сегодня день рождения!

Испуганная женщина с заплаканными глазами пытается успокоить четырехлетнюю дочку и в то же время не спускает вопрошающего взгляда со своего мужа. Флоренсио Диес, поспешно натянув на себя мундир, снимает телефонную трубку и набирает номер главного штаба гражданской гвардии. Никто не отвечает — пронзительный гудок несется из трубки. С улицы слышатся беспорядочные выстрелы.

Флоренсио Диес, начальник главного штаба гражданской гвардии, должен находиться на своем посту. И не знает, что предпринять.

Вынимает из кобуры пистолет. Девочка не перестает плакать. Крики и ругань где-то уже совсем близко, под окнами, у дверей. Снова

выстрелы. Удары в дверь. Кто-то кричит: «Смерть заговорщикам! Смерть радикалам и коммунистам!» Оконное стекло со звоном вылетает из рамы и рассыпается на тысячи осколков. Флоренсио, сжав в руке пистолет, идет к входной двери, в которую ожесточенно дубасят прикладами. Обернувшись, он смотрит на жену и дочку — неужели эти канальи даже их не пощадят?!.. Да, сомнений нет — это государственный переворот, которого так опасались, хотя ни министр внутренних дел — непосредственный начальник Флоренсио, ни сам президент Лабиавьеха не верили в его возможность. Флоренсио кусает губы — поздно, выхода уже нет. Он говорит жене, чтобы та оставалась с дочкой в спальне, а он откроет дверь, которую вот-вот сорвут с петель. Женщина умоляет не открывать, но уже поздно...

Не успел Флоренсио подойти к двери, ее и в самом деле срывают с петель. В холле бросают гранату, еще одну. Взрывной волной Диеса отбрасывает к стене, он падает на ковер. Вылетел из руки пистолет. Свет погас. Полная темнота. Диес пытается закричать, но из горла вырывается какой-то странный хрип. Солдаты вбегают в комнату, стреляя по сторонам. Диеса они не видят — но ему сейчас все равно: его охватила жгучая боль в животе, в груди, в горле. Тени превращаются в ярко-желтое пламя. Тысячи и тысячи красных точек мельтешат в глазах, рассыпаясь звездочками. Звездочки растут, становятся все больше, больше и наконец гаснут. Что-то влажное и горячее обливает тело. Должно быть, пот. Он пытается позвать дочку, жену, но язык не повинуется, тяжелый, будто брус свинца. И опять тени, тени, тени...

Ослепшие от ярости солдаты шарят по всему дому. Мать и дочь сжались в комочек при виде солдат, вломившихся в спальню. Страшные, отвратительные, звериные лица. Женщина прижимает к груди девочку и не столько видит, сколько ощущает направленные на нее автоматы. Девочка трепещет, как крольчонок. Приказ есть приказ! В отчаянии кричит женщина, падая навзничь и увлекая за собой ребенка.

Не слышно больше детского плача. Не слышно больше и голоса матери. «Это на улице фейерверк... Просто у одной девочки... день рождения...» У той и другой застыли широко открытые глаза. Мать лежит рядом с ребенком. Луч электрофонарика выхватывает из темноты обнаженные ноги матери — упругие, стройные, красивые ноги молодой женщины. Офицер, взглянув на лежащую женщину, выговаривает подчиненным:

— Не надо было ее убивать!

— А почему? Разве не было вашего приказа, капитан?..

— Да, но прежде могли бы...

Капитан Монтойа разрешает солдатам обыскать и захватить все, что только можно унести с собой. Победители торжествуют!

Популярное кабаре «Ракета» этой ночью — впрочем, так же, как и в любую другую ночь,— было битком набито: клиенты беззаботно развлекались, танцевали, пили, «занимались любовью». Здесь обычно собиралась радикальная молодежь: владелец кабаре был кандидатом в депутаты от партии радикалов. Перед микрофоном полуодетая — не то полураздетая — певица пела под оркестр модную песенку, а танцующие вторили ей вполголоса.

Внезапно у входа раздается какой-то заглушающий все шум. Слышны выстрелы. В зал вбегает с растерянным видом швейцар и, подняв руки, громко кричит:

— Мятеж! Мятеж! Военный переворот! «Гориллы» на улицах! Бьют радикалов!

В одно мгновение все замирает. Смолкает оркестр, из трубы вырывается дикий, пронзительный последний звук, с пюпитров вспугнутой стаей разлетаются ноты. Оборвала свою песенку певица, застывшая на месте. И вдруг по залу словно пронесся вихрь: все вскакивают с мест и, позабыв оплатить счета, бегут к выходу, налетают друг на друга, истошно вопят, толкаются, проклинают все на свете. Плачут женщины. Падают стулья, опрокидываются столики, летят на пол бокалы и бутылки. В углу на столик взобрался какой-то пьяный и, нелепо размахивая руками, заклинает:

— Остановитесь! Лучше закройте наглухо двери! Будем ждать здесь! Давайте танцевать!

Никто не обращает на него внимания. Кое-кому уже удалось протиснуться в двери. На улице обрушивается на них порыв холодного ветра. Громкие выкрики, топот многих ног. Трещат выстрелы. По обеим сторонам улицы бегут солдаты — разноцветная неоновая реклама кабаре бросает на пестрые маскировочные комбинезоны яркие блики, и солдаты кажутся участниками какого-то феерического спектакля. Люди останавливаются на тротуаре. Останавливаются и солдаты. Ай!.. Огонь их автоматов будто приветствует гуляк из кабаре. Девушка, схватившись за грудь, покачнулась и со стоном рухнула на асфальт. Ее юный спутник вне себя от бешенства кричит:

— Убийцы! За что вы ее убили? Убийцы!

В ответ снова выстрелы. Люди бросаются врассыпную, но пули настигают их на бегу. Кто-то сумел вскочить в автомашину и пустить ее на полную скорость, но на углу автомашина сталкивается с джипом и обе машины с грохотом опрокидываются. Кровь и бензин потекли ручейками по мостовой. Многие вернулись в кабаре — сгрудились в глубине зала, подальше от входа.

— Смерть правительству заговорщиков! Не жалейте пуль для радикалов и коммунистов!

Один из солдат швыряет гранату в неоновую вывеску — улица погружается во мрак. Другой солдат, не желая отставать, бросает гранату в распахнутую дверь кабаре — глухой взрыв потрясает здание...

— Нале...во! Раз, два, три! Нале...во! Раз, два, три!

Чеканя шаг, солдаты маршируют по улице, что ведет к Центральному рынку. Тяжелые сапоги словно перекликаются с выстрелами. Автоматы и винтовки наперевес, солдаты готовы в любой момент пустить в ход оружие — пулю, штык, приклад. Командир колонны шагает впереди. На рынке, как всегда, нашли пристанище бездомные — они спят на земле, темные тела похожи на кучи мусора, где-то стреляют... С земли поднимаются всклокоченные головы. Что это? Война?.. Но ведь они нищие, бездомные бродяги, что им за дело до политики, до войны, до правительства...

А все-таки, что случилось? Где бы, у кого бы разузнать?... Но никто из спешащих, пробегающих по улице людей им не разъясняет. Нищие закутаны в лохмотья, воняют по́том и псиной — обычный запах нищеты. Заслышав приближающийся топот солдат, бродяги поглядывают, где бы укрыться на всякий случай,— у шальной пули нет глаз, она не различает, где солдаты, а где штатские, где правые, а где виноватые. Из-за угла появляется колонна. Каблуки отбивают по мостовой барабанную дробь. Старик нищий выходит вперед.

— Господин начальник, почему стреляют?..

Выстрел из пистолета обрывает вопрос — старик падает, не получив ответа. Автоматные очереди предупреждают другие вопросы. Обитатели рынка кричат, молят о пощаде. Они ведь ничего не знают, они

нищие, которые милостыней добывают себе пропитание... Нищие. Даже не люди...

— Боже мой, за что... за что убивают! Не стреляйте! Деточки!

Но автоматы трещат, не выслушивая... Темные груды лохмотьев в агонии корчатся, затихая на земле. Человек с костылем бросается на колени перед офицером, обхватив рукой блестящие сапоги. На заросшем волосами лице виден только огромный рот — огромный, быть может, из-за того, что очень часто и очень долго приходилось выпрашивать... Офицер стреляет в упор — прямо в висок — рот нищего так и остается открытым, будто напоследок просит кусочек хлеба.

— Нале...во! Раз, два, три! Нале...во! Раз, два, три!

Солдаты, повинуясь команде героя, маршируют дальше.

По широкому арочному мосту через реку движутся армейские машины. Солдаты обходят мост и спускаются на берег к воде. Река равнодушно катит серые волны. Под мостом шевелятся какие-то тени. Снова и снова очереди из автоматов. Даже крикнуть никто не успел. Молча солдаты стреляют, как по мишеням, по этим темным силуэтам, затем вновь поднимаются по склону, переходят мост и, даже не теряя равнения, маршируют дальше. Не люди. Нет, идут автоматы, заводные, с пружиной...

Грудой лежат нищие под мостом. Неподвижной молчащей массой. Один упал возле темной воды, рука его опущена в реку, словно пытается он поймать рыбешку и утолить последний голод. Из груды тел выкарабкивается голый ребенок, с круглым вздутым животиком. Он еле переступает кривыми ножками и плачет... плачет. Тоненький жалобный голосок тонет в монотонном шуме реки. А солдаты идут дальше четким строем, чеканя шаг... Марш героев. Быть может, в городе еще остались нищие... Солдаты выполняют особую миссию. Или это парад победителей?

— Нале...во... два, три! Нале...во... два, три!

Выскочив из джипа, полковник Вердолага с удовольствием влезает в башню танка. Сегодня он докажет, что недаром считается прославленным танкистом. Как не воспользоваться случаем и не показать своего мастерства в такую ночь? Что, нет противника? Что ж, можно открыть огонь по университету, разбить вдребезги древнюю дверь с барельефами в стиле барокко. Этот университет — рассадник радикализма и коммунизма, тут много сторонников Фиделя Кастро. Наконец-то он добрался до этого логова антиимпериалистов и антимилитаристов, и хотя в этот ночной час, должно быть, там находится один старый швейцар, Вердолага выпускает пулеметную очередь по стенам, дверям и окнам университетского здания. Памятный урок тем, кто считает себя представителем культуры!

«Эх, если можно было бы расстрелять эту самую их культуру!» — мечтает Вердолага.

Он удовлетворенно улыбается: оставил свой автограф на память студентикам... Пули запомнятся лучше, чем любая книга или лекция! Конечно, было бы еще лучше снести до основания университет!..

Танк, громыхая, несется по улице, за ним следует пехота. Пулемет Вердолаги оставляет бесконечное многоточие на стенах домов. Сверкающими фонтанчиками брызгают стекла витрин. Вот в освещенном окне появляется чья-то голова. Вердолага стреляет — голова исчезает, а окно застилает облако кирпичной пыли и осколков. Рука у полковника твердая, хоть и стреляет он из танка на ходу!

Несколько поодаль видна автомашина: шофер, заметив танк, хочет освободить путь... Выстрел из башенного орудия прямой навод-

кой — и машину окутывает пламя. Шофер выпрыгивает на тротуар — пулеметная очередь прошивает ноги... Вердолага, ухмыляясь и как бы не замечая раненого, направляет гусеницы танка на лежащего... Никто не слышит безумного отчаянного крика...

Пулемет тарахтит как бешеный — нацеливаясь на все то, что движется и что неподвижно. Запыхавшиеся от бега солдаты, увидев танк, приветствуют его криками, стреляют в воздух.

— Да здравствуют вооруженные силы! Да здравствует «специальный корпус»!..

Работая в своей резиденции, лисенсиат Эктор Паломино подготовляет тезисы ответов на вопросы, которые задали ему накануне североамериканские журналисты. Услышав первые выстрелы, он вскакивает с места в крайнем изумлении. Что это? Мысль о государственном перевороте даже не приходит ему в голову. Он только что возвратился из исполкома радикальной партии, где был с инженером Медидором после беседы с президентом. В городе было все тихо, спокойно. Ничто не предвещало бури.

Его супруга, еще молодая и весьма полная дама, вбегает в пижаме и домашних туфлях, за ней толпятся родственники, приехавшие к ним погостить, и прислуга.

— Эктор, Эктор! — восклицает сеньора.— Это же военный переворот!.. Ты слышишь!..

— Не думаю. Почему непременно военный переворот?

И все же бросается к телефону. Вызывает правительственный дворец. Никто не отвечает. В исполкоме никого. Тогда он звонит в резиденцию Медидора... в штаб гражданской гвардии... в свое министерство... Безрезультатно! Может быть, телефон отключен? Может быть, действительно военный переворот?... Если это произойдет, то мятежникам, конечно, никто не окажет никакого сопротивления. Во всяком случае, нужно быстро что-то придумать, найти надежное убежище. В каком-нибудь посольстве? Он — личный друг всех послов, никто ему не откажет... Но ведь у него дружеские отношения и со многими высшими офицерами — чего же ему бояться? Благоразумнее перевести деньги на какой-нибудь иностранный банк...

Раздается продолжительный звонок у подъезда. Громкие голоса в саду. Надо открыть. Лакей открывает дверь. Входит майор Реконко, за ним солдаты с автоматами.

— Вы арестованы, лисенсиат! — сухо, но беззлобно объявляет майор.— Радикальное правительство пало. У меня приказ задержать вас и препроводить в казармы Сан-Хорхе.

— Я арестован, майор? Как это понять? Вы позволите мне позвонить послу, мистеру Нелсону?

— Не пытайтесь. Ваши телефоны не работают. Успокойтесь, я не причиню вам ничего плохого. Я могу сказать, что именно мистер Барроуз рекомендовал отнестись к вам и к другим членам кабинета с полным уважением...

Слова майора Реконко восстанавливают в лисенсиате Паломино чувство доверия к этому человеку и к своему будущему. Надев пиджак, он берет на руку плащ, сунув в бумажник пачку долларов — на всякий случай. Супруга провожает каждое его движение встревоженным взглядом.

— Не стоит волноваться,— говорит он ей,— мы находимся под защитой американского посла...— Его, конечно, задержат ненадолго, все знают его как антикоммуниста, и к тому же звездно-полосатый флаг охраняет...

Паломино выходит в сопровождении охраны. Шум на улице становится сильней. «Какое безумие,— думает министр,— неужели гражданская гвардия решила сопротивляться? Если бы можно было позвонить Флоренсио Диесу, я бы сказал ему, что сопротивление бесполезно, нужно немедленно сдаться».

Лисенсиата Эктора Паломино увозят в казармы Сан-Хорхе, где его встречает полковник пехоты, который проводит министра в офицерский салон. Здесь уже находятся другие члены радикального правительства и высокопоставленные лица. Здесь же и кандидат в президенты Хоакин Медидор.

— Майор, предложите господам виски или коньяк,— слышит Паломино.— Пусть джентльмены отдохнут. Позаботьтесь о том, чтобы они ни в чем не нуждались. Если кто-нибудь захочет прилечь, может воспользоваться офицерской спальней. Относиться к ним надо хорошо, они глубокоуважаемые люди. Таков приказ сверху!

Приказ сверху... Приказ гринго — победителей!

Журналист Хаиме Боланьос задержался в редакции органа радикалов «Пренса либре». В типографии четверо печатников заканчивали печатание очередного выпуска газеты — монотонно шумит печатная машина.

Хаиме Боланьос кончает печатать на машинке статью — комментарий к заявлениям, сделанным полковником Оскаром Балафугой на официальном приеме в День независимости. Он курит и обдумывает. Его ловкие пальцы быстро ударяют по клавишам, перенося на бумагу только что родившиеся мысли. Новая фраза осталась недописанной, пальцы замерли — с улицы донесся удар... или, быть может, выстрел?.. Боланьос бежит в приемную, печатники уже здесь, а печатная машина в типографии продолжает работать одна.

— Что за дьявольство! Неужели военщина все-таки взбунтовалась? Очень похоже на стрельбу! Послушайте! Это же канонада... где-то около штаба гражданской гвардии, если не ошибаюсь!

— Что будем делать, товарищ Боланьос?

— Немедленно — в исполком нашей партии! Если это действительно переворот, мы должны встретить его во всеоружии! Видно, прав был Карлос Луис...

— Люди-то у нас есть, но оружие...

— Слышите? Бегут! Кто это?

Они готовы уже открыть дверь — и отступают. Солдаты оцепили здание, врываются в дверь. В их руках оружие. Один из печатников, растерявшись, бросается бежать по коридору в типографию. Солдат стреляет ему вслед. Пуля попала в затылок, и тело, вздрогнув, вытянулось, судорожно и уже бессознательно сжались кулаки жертвы.

Рабочие и журналист, белые как мел, молча поднимают руки. Сейчас они стоят лицом к лицу со смертью — любой ошибочно понятый жест может стать роковым. Их обыскивают и ударами прикладов выталкивают на улицу. Солдаты сбрасывают кассы, рассыпают по полу шрифты. Очередь из автомата поливает печатную машину — последний оттиск появился на белом листе. Такая же участь ждала и линотипы. Несколько солдат остается охранять помещение редакции и типографии, тогда как агенты СОБ обыскивают кабинет главного редактора.

Боланьос и рабочие типографии, вне всякого сомнения, попали случайно, в списках разыскиваемых они не числятся, однако их ведут посреди улицы. Идут они беглым шагом, руки закинуты на затылок. Прохожие при встрече с солдатами стараются юркнуть в какую-нибудь

подворотню, забиться в любую щель. Мужчина в нижней рубашке и без шляпы выбегает из-за угла. Трое солдат его преследуют, он, оказывается, офицер гражданской гвардии — на бегу успел сбросить мундир и фуражку. В его правой руке зажат пистолет; глаза, как у загнанного оленя. Видно, что он бежит из последних сил... И еще несчастье! Столкнуться с этой новой группой солдат, которые ведут арестованных... Отступать некуда. Он перемахивает через ограду, падает в чей-то сад. Вслед ему летят пули, но человеку как будто удается скрыться за деревьями, в кустах... Солдаты распахивают калитку, преследуют добычу, как заядлые охотники. Быть может, этот человек спасется... быть может, нет...

Пронизывающе воют в ночи сирены санитарных машин. Грохочут танки. Проносятся зеленые армейские вездеходы, урчат грузовики. Какие-то автомобили с иностранными флажками и гербами осторожно пробираются по улицам: а, это североамериканские журналисты! В черном небе рокочут самолеты, свистят реактивные, сверхзвуковые... На тротуарах лежат тела и ручейки крови, будто дождевые, ищут стока.

Ночь ужасов! Зверь сорвался с цепи!

6

В здании командования вооруженных сил расположен своего рода штаб по проведению операции «Горилла». Все прилегающие улицы забиты танками, джипами, транспортными машинами, в которых сидят солдаты с оружием. На крышах окрестных домов расставлены пулеметы.

Члены американской военной миссии, а также Оскар Балафуга и Понсиано Терсеро осуществляют высшее руководство операцией. В соседних кабинетах работают генерал Сенсерро, коммодор де Вила и полковник Плумилья, направляя действия сухопутных частей, военно-морского флота и военно-воздушных сил. Много людей работает здесь, работает с необычайной поспешностью, но сохраняя четкий порядок. Здание напоминает муравейник, только обитатели этого муравейника — беспрерывно снуют они, входят и уходят, копошатся — одеты в мундиры. Стучат пишущие машинки, звенят телефоны. Отсюда летят приказы командирам войсковых частей, дислоцированных в разных районах столицы и в провинции. Все в порядке, все превосходно, все — как говорит полковник Патрик Манки — великолепнейше. У американских советников своя охрана — подразделение военно-морской пехоты США.

Полковник Балафуга — в полевой форме. Он курит сигарету за сигаретой; нервы напряжены, напряжены до предела, и... непонятно из-за чего... По сути, он ничем не занимается, ни во что не вмешивается — всем заправляют янки. Время от времени ему звонит Асусена — она в американском посольстве. Там надежнее — кто знает, какой оборот примут события? Она все-таки боится, что гражданское население окажет сопротивление и начнутся уличные бои. Народное сопротивление?.. Конечно, береженого бог бережет. Хорошо, что под рукой бутылка виски...

До сих пор все идет о'кей — если не считать военные зоны востока и юга, где пока медлят с выполнением приказа командования. Но пусть это беспокоит янки! Плумилья уже послал туда самолеты, авиация живо приведет кое-кого в чувство.

В штаб по проведению операции «Горилла» прибывают американские журналисты: им нужна последняя информация для своих газет и информационных агентств. Собственно, ради чего они и прибыли в эту крошечную страну? Они работают в полном контакте с официальными кругами Вашингтона, выполняют миссию исключительной важности: ин-

формировать мировое общественное мнение о том, как был ликвидирован заговор кастро-коммунистов. Воспользовавшись машинами посольства США, они уже объехали город, чтобы воочию увидеть все события, однако, по правде говоря, ничего сенсационного, ничего примечательного не обнаружили, даже не было боев, которых так ждали. Нельзя же в самом деле писать о том, как убивали беззащитных людей и причиняли ненужные разрушения... Кого это будет интересовать?!.. Это не новость!.. Они разочарованы — придется самим «домыслить» подробности коммунистического заговора.

Узнав о прибытии корреспондентов-янки, Балафуга ощущает прилив сил. В конце концов в его руках власть, и завтра его имя появится на первых страницах газет всего мира. Почти никому не известный дотоле офицер, командующий вооруженными силами крошечной страны, отныне станет в один ряд с великими капитанами современности на американском континенте. Он больше не будет офицеришкой, место которого где-то позади президентов и министров; он уже не будет служащим с мизерным жалованьем — нет, теперь его имя — впереди всех, он — во главе государства и, чего доброго, превратится в могущественного сеньора, в миллионера — на это намекают друзья-гринго.

На карту поставлена его судьба, и в игре участвует вся страна. Какое необычайное ощущение — он, Балафуга, простой смертный, который сидит сейчас в своем кабинете и спокойно курит сигару, через несколько часов будет обладать властью над целой страной! Это ради него, будущего диктатора — да, именно диктатора, всемогущего человека,— всю ночь трудятся советники военной миссии янки и сражаются солдаты! Это ли не свидетельство его значимости и величия?

Конечно, он не Адонис, но какое имеет значение, красив он или нет, для государственного деятеля такого масштаба. Он — в ореоле славы, как и великие капитаны истории! Вот, оказывается, каково предначертание его судьбы. А отец, предприимчивый землевладелец, еще предсказывал ему тусклое будущее, когда он бросил среднюю школу,— мог ли отец вообразить тогда, что в один прекрасный день его сын станет главой государства и всякое школярство окажется ни к чему?!

Фоторепортеры, иностранные и местные — из газет «Эль конституционалиста» и «Ла ноче»,— запечатлели Балафугу с телефонной трубкой, которую ему предложили взять в руки — ...«Главнокомандующий лично руководит операцией «Горилла» из пункта «Х» в столице». Потом они попросили его надеть стальную каску и вскинуть на плечо автомат — на этом снимке лицо у него суровое, даже надменное, ведь он триумфатор, герой. Вспыхивают лампы-вспышки, щелкают фотоаппараты, жужжат киносъемочные камеры. Корреспонденты торопливо записывают в блокноты, какие сигареты он курит, какого цвета предпочитает носки... Завтра... уже завтра... во всех газетах напечатают сообщения!.. Он вспоминает, что сказал доктор Лабиавьеха насчет проказ журналистов, и улыбается. Вообще-то следовало бы ему самому арестовать президента, интересно было бы увидеть лицо Лабиавьехи в момент ареста и насладиться его растерянностью, его бессилием, но... он, Оскар Балафуга — главный руководитель операции «Горилла»; он не может подвергать себя риску...

— Вот это декларация военной хунты,— говорит полковник Бейбун, вручая журналистам давно отпечатанную копию документа, который должен разъяснить всему миру императивную необходимость военного переворота и определить политические цели нового режима.— Если вы пожелаете увидеть арестованных, обратитесь к мистеру Рэку Донни, в СОБ.

— Вы хотели бы видеть экс-президента доктора Лабиавьеху?

— Пожалуйста. Он — во дворце. Обратитесь к полковнику Лидио

Педралисе — кстати, это он лично арестовал доктора Перико,— и он обеспечит интервью всем, кто этого пожелает.

Капитан Модесто Орехона берет в руки магнитофонную ленту, которая должна быть передана по радио рано утром. Этой ночью у Орехоны было много работы. Он и лейтенант Бартоломе Пикана из СОБ всю ночь составляли списки коммунистов и подозреваемых в симпатиях к коммунизму, чтобы «обезвредить» их до рассвета. Именно здесь, в «Г-2» — под контролем Рэка Донни — была проведена вся предварительная работа по организации «чистки» в столице и провинции.

Группы агентов СОБ и «Г-2» начали действовать в первые же минуты путча. Агенты весьма удачно выполнили важную часть задания — провести облаву на «красных элементов»; немедля они «профильтровали» квартиры и учреждения. Таким, как Флоренсио Диес, паспорт на тот свет был выдан сразу, без всяких формальностей. Других в наручниках отправили в тюремные камеры, им еще предстоят допросы... они должны признать свое участие в заговоре против республики и ее вооруженных сил.

Трудно переоценить важность этого задания СОБ и «Г-2»: нужно создать политические предпосылки операции «Горилла», нужно показать связи заговорщиков с Фиделем Кастро и с социалистическими странами. Мир должен знать, что военная хунта была вынуждена выступить — и выступила она не против «репрезентативной демократии», а против коммунизма и прокоммунистических сил. Лейтенант Пикана и капитан Орехона оправдали надежды — недаром они считались одними из самых способных слушателей, когда проходили подготовку под руководством специалистов Центрального разведывательного управления США.

Еще до наступления рассвета в штаб поступили донесения о завершении операции «Горилла» в провинциях. В общем, все шло согласно плану. В городах была проведена основательная чистка, а в деревнях приняты меры против крестьян, которые организовали было союзы борьбы за землю. Число убитых пока что определяется примерно пятью тысячами. Арестовано более сорока тысяч человек. Только в столице насчитывается около пятнадцати тысяч арестованных. Аресты пришлось временно приостановить — нет места в тюрьмах. Во всем плане именно это обстоятельство оказалось непредусмотренным. С убитыми легче — земли хватит на всех.

В пять часов утра над столицей все еще кружили военные самолеты. С невероятным гулом они совершали театральные пике, разражаясь пулеметными очередями, выпуская дымовые завесы, и все с единственной целью: напугать, терроризировать население.

Военно-морской флот действовал в прибрежных водах. На заре корабли подошли к берегу и без предупреждения открыли огонь по мирным городам и селениям. С большим шумом высадились десанты морской пехоты. Штурмом взяты портовые зоны и доки. На темных улицах вооруженные до зубов десантники «дали бой» запоздавшим прохожим и грузчикам, грузившим кофе и бананы на суда Банановой компании. Поскольку все тюрьмы были переполнены, то коммодор Прима де Вила приказал бросать арестованных в трюмы военных судов.

Едва взошло солнце, как радиостанции разнесли по всей стране декларацию военной хунты. Декларацию зачитал полковник Оскар Балафуга:

— Соотечественники! Вооруженные силы Республики под моим руководством были вынуждены, ввиду нетерпимого положения, в кото-

ром оказалась страна при режиме радикальной партии, предпринять чрезвычайные меры и низложить правительство президента Лабиавьехи. Мы пошли на такой шаг после того, как убедились в полной бесплодности наших усилий воздействовать на президента Лабиавьеху с тем, чтобы он отказался от своей преступной политики, поставившей государство перед катастрофой. Мы взяли на себя руководство государством и установили новый военный режим временного характера в силу следующих причин...

Далее следовал длинный перечень: в правительство проникли коммунисты... лидеры радикалов вступили в тайные переговоры с Фиделем Кастро... инженер Хоакин Медидор вознамерился создать в стране диктатуру пролетариата и открыть двери республики агентам Гаваны и Москвы... в планах радикал-коммунистического заговора предполагалось, используя гражданскую гвардию и банды мятежников, вооруженных русским и чехословацким оружием, напасть на казармы, перебить офицеров, уничтожить всех патриотов-антикоммунистов, устроить кровавую оргию...

— В результате политики Перико Лабиавьехи,— продолжал Балафуга,— страна потеряла международный авторитет и доверие, и потому ей было отказано в помощи со стороны Союза ради прогресса...

Хриплый голос полковника Балафуги звучал твердо и уверенно. Свое выступление он закончил словами:

— Мое правительство дает обещание нации, что как только в стране будет возрожден подлинно демократический режим в соответствии с принципами «репрезентативной демократии», республиканские вооруженные силы немедленно возвратятся в свои казармы, чтобы продолжать выполнять свой долг законного стража конституции и порядка. За родину! Бог, порядок и труд!

Тысячи арестованных слушают декларацию военной хунты, находясь в тюрьмах; тысячи людей уже никогда не услышат ее: горы трупов в моргах госпиталей, горы трупов на кладбищах ждут могильщиков, а те боятся приблизиться к ним — как бы самим не превратиться в покойников.

Балафуга упоенно слушал собственную речь, записанную на пленку, сидя в кабинете, положив ноги в начищенных до блеска сапогах на письменный стол. Наконец-то! И подумать только, что миллионы людей сейчас, затаив дыхание, слушают его...

Ход мыслей Балафуги прервал телефонный звонок. Полковник Лидио Педралиса звонил из правительственного дворца.

— Послушай, Оскар,— доносится из трубки громкий и резкий голос Педралисы,— возникли кое-какие осложнения. Толпы бросились на улицы, как в праздник. В городе невозможно навести порядок. Одни якобы ищут своих родных, другие вышли узнать новости, но кое-кто пользуется создавшимся положением в подрывных целях. Зарегистрированы акты терроризма против войск. Кто-то поджег армейскую транспортную машину. Сейчас, когда я говорю с тобой, на Центральной площади горит мой собственный джип...

— Что такое? Разве не было приказа, запрещающего передвижение гражданских лиц по улицам?

— А что можно сделать с этой ордой, да к тому же уже светло? Пять часов, о которых говорил полковник Гэйбл, истекли. На улицах полно женщин, стариков, детей. Воспользовавшись нашей оплошностью, какие-то мерзавцы захватили здание исполкома партии радикалов. То же самое и в университете. Мне только что сообщили, что даже в проф-

союзе, руководимом ОРИТ, засели коммунисты. На улицах замечены вооруженные группы!

— Так чего же ты ждешь? Надо немедля открывать огонь! Отступать нельзя! Ни минуты не медли, действуй твердой рукой!

— А что скажет об этом полковник Манки?

— Выполняй приказ! Я — глава государства! Что? Ты этого не знал?

На другом конце провода Педралиса произносит такое крепкое словечко, что, кажется, телефон еле выдержал, чуть не лопнул. Балафуга рассмеялся. Ну, Лидио, еще увидим, кто держит вожжи в руках!.. Но тут же смех смолкает, Балафугу охватывает ярость: полученное от Педралисы сообщение подтвердило худшие опасения.

Положение, однако, оказалось более серьезным, чем предполагал Оскар Балафуга. Как только миновала растерянность от неожиданного удара, жители столицы решили дать войскам отпор. Рабочие, студенты, бойцы гражданской гвардии, которым удалось спастись в рабочих предместьях, стали сплачивать людей в боевые отряды, собирать оружие. Один принес винтовку, другой добыл где-то пистолет, у третьего оказалась динамитная шашка. К наступлению утра уже были созданы — вернее, сформировались стихийно — народные бригады и «команды смертников».

Центры сопротивления возникли в конфедерации рабочих профсоюзов, в здании исполкома радикальной партии и в университете. Отсюда предпринимаются смелые атаки, здесь разрабатываются диверсионные операции. Организаторов переворота поразила отвага этих почти безоружных людей. Солдаты регулярных войск, которые действовали в ночной темноте против беззащитных людей, теперь уступали им в храбрости.

На стенах домов забелели листовки коммунистической партии, призывающие к борьбе. Эти листовки вывели из себя лейтенанта Пикану. Разве его агенты не очистили город от коммунистических вожаков? Откуда же снова взялись коммунисты?

7

В первый день существования военной хунты глава государства полковник Балафуга не покидал здания главного командования вооруженных сил. Другие высшие офицеры расположились со своими штабами в разных районах столицы. Несмотря на все хитроумные и энергичные маневры организаторов заговора, мятежникам не удалось избежать вооруженного столкновения с патриотическими силами.

На улицах то там, то тут вспыхивали короткие, но упорные и кровопролитные схватки с народными бригадами или с «командами смертников». Народным бригадам — группам в десять-пятнадцать человек, куда входили и женщины,— иногда удавалось взять верх над подразделениями регулярных войск. «Команды смертников», созданные студентами университета и состоявшие обычно из трех человек, выполняли особые задания, связанные со смертельным риском, так что название этих групп порой оправдывалось в полной мере. Вскоре после своего первого появления «команды смертников», которые умело пользовались ручными гранатами «домашнего изготовления», стали наводить страх на мятежников.

В столице еще царил хаос, когда руководители путча занялись созданием нового правительства. Балафуга составил список лиц, подходящих для того, чтобы занять основные посты в новой администрации,— в основном это были его ближайшие помощники, которым он мог дове-

рять больше других, и, кроме того, эти назначения могли бы служить как бы наградой за преданность и верность верховному лидеру мятежа.

Около полудня в штаб прибыл посол Барроуз с многочисленной группой штатских и военных лиц. Среди штатских выделялись первый секретарь и атташе посольства США, президент Нью-йоркского банка, член правления Банановой компании и представитель Центрального разведывательного управления. Вместе с послом США приехали и местные высшие офицеры, в том числе полковник Лидио Педралиса.

У рыжего посла был весьма серьезный, пожалуй, даже озабоченный вид. Очевидно, возникновение групп сопротивления, а также факты волнений в провинции явились для посла неожиданностью. Мистер Нелсон Барроуз, по инициативе которого было создано совещание, обратился к присутствующим с краткой речью:

— Дорогие друзья, мы прошли уже половину пути, и прошли с явным успехом. Я должен горячо поздравить полковника Балафугу — наш план выполняется по всем пунктам. Превосходна и безупречна ваша деятельность, полковник, и мне доставляет удовольствие передать вам поздравления моего правительства. Наши поздравления обращены также и ко всем вашим сотрудникам.

— Весьма благодарен, мистер Нелсон. Я жду официального и незамедлительного признания моего правительства Белым домом,— высокомерно заявил Балафуга.

Рыжий посол продолжает говорить, глядя прямо в глаза полковнику. Он не скрывает, что его удивил тон Балафуги. Поза, жесты, пренебрежительно поджатые губы, этот взгляд свысока — все совсем не похоже на прежнего Оскара Балафугу. Остальные тоже заметили метаморфозу. Может быть, Балафуга выпил или это власть его опьянила?

— Прежде всего,— отвечает посол,— нам придется приостановить наши дипломатические отношения, поскольку речь идет о правительстве де-факто. С точки зрения международного права и исходя из нашей практики, сейчас официально не могут существовать дипломатические отношения между нашими государствами ввиду произошедших событий. Однако я в самое ближайшее время выеду в Вашингтон, чтобы оформить признание вашего правительства. А теперь самое главное, ради чего мы, собственно, и собрались здесь,— это формирование кабинета. Имеете ли вы, полковник Балафуга, какие-либо предложения по составу кабинета министров?

Глава государства утвердительно кивает. Он поднимается с места, подходит к письменному столу и достает из кожаного портфеля список членов будущего правительства. Дипломат читает его вслух, затем вынимает из своего портфеля другой листок и сравнивает оба списка.

— Здесь не все совпадает, полковник Балафуга,— замечает посол, вытащив из кармана платок и отирая шею.— Нам придется внести кое-какие изменения в ваш список.

— Я не думаю,— роняет раздраженно Балафуга,— не думаю, что мне следует что-либо изменять.

Воцаряется тревожное молчание. Все взгляды обращены к послу. Балафуга снова встает с места, идет по кабинету, ступая тяжело, медленно — так шагали великие капитаны континента, герои истории. Издалека донеслись выстрелы. Это танки Вердолаги действовали против тех пунктов, где укрепились бойцы народного сопротивления.

— Нет, здесь я не могу уступить вам, мистер Нелсон! Вы понимаете, что операция «Горилла» основывалась также и на каких-то личных компромиссах, на каких-то обязательствах! Я должен выполнить свои обязательства по отношению к моим офицерам!

Посол будто ощетинился. Подбородок его вздрагивал, выпученные лягушечьи глаза метали молнии. Невероятная, неслыханная наглость!

Он даже не хочет говорить, опасаясь, что не выдержит, сорвется и будет чересчур резок в своих высказываниях. Барроуз ждет, когда заговорят остальные, которым кое-что перепало из предоставленных миллионов, но все предпочитают отмалчиваться. Наконец Барроуз встает и подходит к Балафуге, указательный палец подчеркивает каждое слово:

— Я прибыл сюда не для того, чтобы получать ваши указания! Если я и спросил вас о ваших предложениях, это была всего лишь элементарная любезность, к этому меня обязывает положение посла. Я прибыл сюда, чтобы сформировать правительство, которое вы возглавите по предложению моего правительства и находящихся здесь господ! — Он сделал жест в сторону представителей Нью-йоркского банка и Банановой компании.— Если вы отказываетесь сотрудничать с нами, господин полковник, вам придется подать немедленно в отставку! Даю вам пять минут на размышление!

Эти слова, будто выплюнутые послом, производят необычайный эффект в сознании полковника Балафуги. Полковник молчит, как молчат пять тысяч трупов — пять тысяч убитых сегодня на рассвете. Полковник ошеломлен — будто получив пощечину, которая пробудила от прекрасного сна. Полковник вопросительно смотрит на советников из военной миссии. Те улыбаются. Он смотрит на своих коллег и сподвижников, но и здесь никакой поддержки. Ему кажется, что по лицу Педралисы даже скользнула язвительная улыбка. Нет! Он никогда не позволит, чтобы Лидио воспользовался его разногласиями с послом и захватил бы в свои руки власть! К черту все! Пусть летит все в тартарары, но он ни за что не подаст в отставку! Сникший, повинующийся, покорный, он отвечает:

— Ну что вы, ваше превосходительство! Вы совершенно напрасно сердитесь. Это — просто недоразумение. Я беру свои предложения обратно. Посмотрим ваш список, ваше превосходительство, я уверен, что вы очень тщательно его обдумали. И прошу вас забыть это досадное недоразумение!

Широкая улыбка появляется на усталых лицах американских военных и словно перелетает на лица местных деятелей. Конфликт разрешен! Однако лицо посла по-прежнему остается сумрачным, жестким. Не так-то просто умерить гнев проконсула.

— Это, конечно, лучше, полковник,— говорит с иронией Барроуз.— Я не желал бы прийти к тому, к чему мы пришли, но вы вынудили меня быть резким. О'кей! Забудем происшедшее, поскольку вы согласны выполнять ваши обязанности.

— Разумеется! С большим удовольствием, ваше превосходительство! Здесь нет никого, кто был бы более предан идее дружбы с Соединенными Штатами.— Он хотел было продолжать, но, заметив на лицах нескрываемую насмешку, прервал свои излияния.

— Итак, возвращаемся к отправному пункту,— продолжает посол.— Вот список членов кабинета. Мы предварительно беседовали с нашими друзьями, присутствующими здесь, и пришли к единому мнению. Так вот, послушайте. Министр иностранных дел — адвокат Анисето Пакин, министр экономики — доктор Селестино Камандула, обороны — полковник Лидио Педралиса, внутренних дел — полковник Понсиано Терсеро, просвещения — адвокат Анисето Пакин... никто не сомневается, что он обладает достаточными способностями взять портфели двух министерств, хотя бы на какое-то время... Министр здравоохранения — доктор...

Звучный металлический голос Барроуза называет министров, заместителей министров, национального казначея, президента государственного банка и других официальных лиц, с которыми предстоит работать

новому главе государства. Балафуга отнюдь не подумывал предоставить Педралисе сколь-нибудь важный пост; у него и в помыслах не было включать в состав своего правительства гражданских лиц, людей, не имеющих ничего общего с военными и даже неизвестных, однако выхода нет: придется как-то сотрудничать с этими адвокатами, представителями монополий, членами консервативной партии, латифундистами, коммерсантами... Ба, что за важность! В конце концов гринго виднее — им же работать с этими людьми! А военные — вне политики.

Где-то очень далеко грохочут танки и лают пулеметы. Судя по звукам, бои идут не только в каком-то одном пункте. Балафуга выливает весь свой гнев на этих людишек, которые еще осмеливаются оказывать сопротивление,— на рабочих и студентов, на радикалов и коммунистов. Вот на кого нужно направить всю свою ярость, всю свою ненависть!

Когда все разошлись, посол остался один на один с полковником Балафугой — ничто больше не омрачало их беседы. Посол наставлял полковника, давал советы, как лучше управлять государством. Затем полковник, как глава государства, подписал список новых назначений. Список передали на радиостанцию, и через несколько минут его услышали все жители страны.

В течение суток продолжались бои и перестрелка на улицах. Потери были довольно значительны и с той и с другой стороны. Здания университета, профсоюзного центра и исполкома радикальной партии почти разрушены танками, орудиями и авиабомбами. В неравной борьбе кое-кому из участников сопротивления все же удалось спастись. Они бежали в горы, чтобы там продолжать борьбу. Одиночные выстрелы защитников свободы смолкли на заре нового дня.

В городе наступила тишина, погасли пожары — и даже воздух казался измученным боями и с трудом уносил последние клубы дыма и искры. На тротуарах остались несмываемые следы крови. Наконец-то жители смогли уснуть, хотя тревога и страшные видения не покидали их. Только в одном из окон правительственного дворца всю ночь горел свет. Там проводили свою последнюю ночь доктор Перико Лабиавьеха и его супруга Росалина. На следующий день они в качестве политических эмигрантов должны на специальном самолете отправиться в другую страну. Этим же самолетом летят и некоторые бывшие министры — среди них лисенсиат Эктор Паломино; покинут пределы страны инженер Хоакин Медидор и личный секретарь президента Карлос Луис.

В здании командования вооруженными силами — центре по проведению операции «Горилла» — на протяжении всей ночи свет не выключали: здесь, следя за дирижерской палочкой иностранных советников, работали новые правители страны. После инцидента с послом полковник Балафуга стал прежним Балафугой и всю инициативу передал гринго. они лучше разбираются в политике.

Правда, Балафуга чувствовал себя не особенно важно — видимо, перебрал виски. Когда занялась заря, полковник полусидел-полулежал в кресле, закинув ноги на письменный стол. Этому он тоже научился у янки. Скоро утро. Скоро он вместе с Асусеной переберется в президентские апартаменты дворца. Вот она, новая жизнь!

Просмотрев страницы газеты «Ла ноче», Балафуга засыпает в кресле, сраженный бессонной ночью. Газета упала на небритое лицо полковника. На первой полосе — огромное фото нового главы государства и льстивая подпись: «Человек, который спас Латинскую Америку от коварного коммунистического заговора».

(Окончание следует)

ИЗ ИНДИЙСКОЙ ПОЭЗИИ

Шанкара Куруп

■

Перевод с малаялам НАТЭЛЛЫ ГОРСКОЙ

Шанкара Куруп — один из крупнейших современных поэтов Кералы. Он родился в глухой керальской деревне. Сын крестьянина, он доучился только до седьмого класса в одной из деревенских школ тогдашнего штата Траванкор и вскоре сам стал деревенским учителем.

Куруп рано начал писать. Он пришел в литературу в годы подъема национально-освободительного движения, получившего яркое отражение в пламенных стихах выдающихся поэтов-патриотов Валлатхола и Кумарана Асана.

Творчество Валлатхола, а затем мистические мотивы в поэзии Тагора оставили явный след в ранних стихах Курупа. Однако вскоре поэт обретает самостоятельность. Все значительные исторические события, свидетелем которых был Шанкара Куруп,— индийское движение за независимость, Великая Октябрьская революция, возвестившая человечеству начало новой эры, борьба с фашизмом во второй мировой войне, фантастические результаты научно-технической революции — нашли отзвук в его произведениях.

В своем знаменитом стихотворении «Завтра» Шанкара Куруп воспел величие социалистической революции. Знаете ли вы, писал поэт, что завтрашний день придет с «алым цветком на алой рубашке»? Снова юной станет земля, когда

Освобожденный труд поднимет флаг —
веселый флаг — весенний красный мак...

Когда над Землей начал свой полет первый советский искусственный спутник, Шанкара Куруп написал стихотворение «Время, распахнувшее глаза»:

Изумленное время! Глаза распахни,
на алтарь свободы и правды взгляни...
. . . . . .
Купол небесный, синюю шапку сними
перед людьми, чей ум дерзновенный
сумел отомкнуть ворота вселенной!..

А совсем недавно появилась новая поэма Шанкары Курупа «Стальные облака» — антиимпериалистический манифест поэта, гневно изобличающий зверства американцев во Вьетнаме и предрекающий победу героического вьетнамского народа.

Поэт обогатил литературу малаялам не только своими оригинальными произведениями, но и переводами из мировой поэтической классики. Переводы тагоровской «Гитанджали», «Рубайят» Омара Хайяма, поэм Хафиза и Калидасы относятся к лучшим работам Курупа.

Шанкара Куруп — страстный патриот и в жизни, и в поэзии; он — верный последователь Махатмы Ганди и Джавахарлала Неру. Неиссякаемые источники всего его творчества — живая жизнь и глубокие традиции национальной культуры.

С. АЧУТА МЕНОН

Единый мир

Не надо мне чернил для этих строк,
я вышвырну ненужный пузырек

и вместо бледных, жиденьких чернил
живую кровь свою возьму из жил!

О человек, моим словам внемли
и взглядом охвати всю ширь земли.

Взгляни и сразу ты поймешь,
что зачастую карты — ложь,

что иногда военный шквал
границы справедливые стирал,

и меч, направленный рукою лжи,
переиначил рубежи.

Зато безбрежный океан,
давным-давно раскрыв обман,

на линии проклятые плюет,
и в барабан волны тревогу бьет,

дрожит, бунтует и ревет
и все границы, словно нитки, рвет...

...А по земле шагал за веком век,
и слезы наполняли русла рек.

Не приходило в голову богам
спуститься к этим горьким берегам,

и руку окунуть в поток,
и сделать хоть бы маленький глоток.

Все боги были далеки.
Кругом сновали пауки,

сновали летом и зимой,
и оплетали шар земной,

и каждый крохотный паук,
почувствовав себя великим вдруг,

вооружал толпу жулья
и шел войной в соседние края...

А человек терпел, глядел во тьму,
и мир волшебный грезился ему:

дома, с которых сняты все замки,
богатые металлом рудники,

привольные зеленые луга,
где росы превратились в жемчуга,

в поля пришедшая весна,
колосья — колыбель зерна,

глаза озер, каналов синь,
плодовый сад в песках пустынь,

священный пот на лбу труда
и незнакомые с печалью города...

Быть может, человек, мечту взрастив,
веками создавал прекрасный миф?

Но если в небе солнца нет,
мечта приходит, зажигает свет,

и ты, мечтатель мой, проснись,
за дело славное возьмись:

оковы сбей и путы разорви,
пойди к друзьям и вехами любви

отметь свой благородный путь.
И в неделимом мире счастлив будь!

Жажда любви

Ветер гуляет по белому свету...
Можешь ли, ветер, ответить поэту:

в вечном скольжении, в вечном кружении,
как ты живешь в бесконечном движении?

Удали бешеной ветви пугаются,
слабые травы к земле пригибаются...

Что в твоем шепоте, что в твоем пении?
Может быть, это — любви опьянение?

В плаче безумном, в беспомощном жесте -
все исступление страсти божественной!

Мечешься, мчишься, секунды не мешкая,
эхо тебя провожает насмешками...

Ветер, стихая, ответил поэту:
— Странствуя вечно по белому свету,

жажду вернуть все, что было и минуло,—
жажду найти ускользнувшую милую.

Помню то утро — мой страх и отчаянье...
Хмурились дали в печальном молчании.

Землю допрашивать, спрашивать небо ли —
были мы вместе когда-то иль не были?..

Помню в венке ее нежные лилии —
лилии хлынули звездными ливнями.

Помню, звенели браслеты хрустальные —
в пении птиц перезвоны растаяли.

След ее ног на дороге предутренней
вдруг обернулся росой перламутровой.

С тонкого пальца колечко упало —
стало на небе луною опаловой.

Белое сари ее полотняное
белым туманом легло над полянами.

Ложа покров с голубыми узорами
в чаще зеленой растекся озерами...

С тех самых пор и брожу неустанно я —
где же ты, где, красота несказанная?..

Мне говорят: ошибаешься, ветер,
разве такое бывает на свете?!

Спорить не стану с глупцами, невеждами,
с теми, кто сердце не тешил надеждами!

Робко целуя жасмин расцветающий,
вижу я образ ее ускользающий.

В пенье ручья, в ворковании голубя
слышу я отзвуки дальнего голоса.

Если она лишь видение зыбкое,
горе откуда мое неизбывное?..

Спрячусь порою в чащобу тенистую —
боль меня мучит все так же неистово.

Где ее дом — за горами, за до́лами?
Сколько бродить мне дорогами долгими?..

Ночью прилягу на мягкое облако,
кто-то во тьме остановится около,

гладит мне волосы пальцами легкими...
Нет, не она — это звезды далекие...

Плачу, тоскую, беседую с полночью,
к морю лечу за советом, за помощью.

Море смеется, шальное, надменное,
зубы оскалив свои белопенные.

Спрашивал дерево, раня и мучая,
ветви его сотрясая могучие:

— Где ее дом, существует на свете ли? —
Ветви сломались и мне не ответили.

Спрашивал горы, рыдал над лощинами —
горы на небо смотрели вершинами.

Небо молчало... Вот тут-то и понял я:
вечно продлится погони агония!..

Праздник весны

I

Отложим на завтра все наши дела —
весенняя радость к нам в гости пришла!

Сегодня, на празднике светлом, природа
весну избрала королевою года.

Порхают и вьются кругом мотыльки,
трепещут их крылья — цветные флажки.

II

Мы славим сегодняшний праздник счастливый,
и песни веселой звенят переливы.

Всю землю весна осчастливить сумела —
весенняя щедрость не знает предела.

Летучее время! Помедли — продли
прекрасную юность цветущей земли!

III

В дорогу отправился ветер крылатый —
весенний посланник, весенний глашатай.

Ему приказала весна-королева:
— Направо лети, и вперед, и налево,

деревья и травы буди ото сна
и людям скажи — наступила весна!

IV

Проснись и настрой свою лиру, певица,
я в песне всеобщей хочу раствориться

и в танце ритмичном почувствовать снова
удары единого пульса земного.

Нахлынет весенняя радость, звеня,
и музыки волны закружат меня.

V

Стоят неподвижно высокие горы,
но песня рождается в каменном горле —

ущелья клокочут, кипят от восторга
и вешнюю песню готовы исторгнуть.

К свободе и свету, на вольный простор,
несется приветствие скованных гор.

VI

Цветы распустились под солнцем полдневным, под
звонким, бездонным, безоблачным небом,

хмелеют в траве, опоенные светом,
и кружатся в танце с проказником-ветром.

И легкая тень голубые мазки
кладет осторожно на их лепестки.

VII

Весенняя радость бурлит повсеместно.
И бог, покровитель дремучего леса,

кудрявый, увенчанный веткой зеленой,
выходит на луг, в королеву влюбленный,

глаза опускает и шепчет ручью:
— Журчи и воспой королеву мою!

VIII

Печаль и тревога, сложите оружье —
сегодня нам радость защитницей служит!

Живая природа сменила одежды,
и капли росы — это искры надежды.

Сегодняшний праздник — отрада для всех,
под небом весенним печалиться грех!

Охотник

Еще темен небесный луг,
но уже приготовил лук

искусный охотник — день.
И звездная ночь — пятнистый олень —

от красных стрел убегает стремглав,
и тянется след кровав.

Охотник добычу взвалил на плечо,
а рассветное небо светло, горячо...

Так же время в тиши, по ночам,
смертоносные стрелы кладет в колчан.

Ты изведал радость едва-едва,
а уже за спиной звенит тетива...

Но пока ты живешь на земле,
и думать не смей о последней стреле!

О смерти и думать не смей!
Жизнь вдохновенно прожить сумей,

ароматом земли напиться спеши,
а земле подари — ароматы души.

И работай в поте лица,
без конца трудись — до конца!

Если радость приходит — бери!
Наслаждаясь, назад не смотри.

Взбираясь к вершинам, выброси грусть —
зачем тебе лишний груз?

А когда охотник, победу трубя,
на плечах понесет тебя,

счастливой улыбкой приветствуй тьму —
и страшно станет ему!

АЛЬБЕР КАМЮ

Посторонний

ПОВЕСТЬ

Перевод с французского НОРЫ ГАЛЬ

ЧАСТЬ I

I

Сегодня умерла мама. Или, может, вчера, не знаю. Получил телеграмму из дома призрения: «Матушка скончалась. Похороны завтра. Искренне соболезнуем». Не поймешь. Возможно, что и вчера.

Дом призрения находится в Маренго, за восемьдесят километров от Алжира. Выеду двухчасовым автобусом и еще засветло буду на месте. Таким образом, успею побыть ночь у гроба и завтра вечером вернусь. Попросил у патрона отпуск на два дня, и он не мог мне отказать — причина уважительная. Но видно было, что недоволен. Я ему даже сказал: «Я ведь не виноват». Он не ответил. Тогда я подумал — не надо было так говорить. В общем-то, мне нечего извиняться. Скорей уж он должен выразить мне сочувствие. Но он, наверно, еще выразит — послезавтра, когда увидит меня в трауре. А сейчас как-то еще не похоже, что мама умерла. Вот после похорон все станет ясно и определенно, так сказать, получит официальное признание.

Выехал двухчасовым автобусом. Было очень жарко. Позавтракал, как всегда, в ресторане у Селеста. Там все очень огорчились за меня, а Селест сказал: «Мать-то у человека одна». Когда я уходил, меня проводили до дверей. Напоследок спохватился, что надо еще подняться к Эммануелю — взять взаймы черный галстук и нарукавную повязку. Он месяца три назад схоронил дядю.

Чуть не упустил автобус, пришлось бежать бегом. Торопился, бежал, да потом еще в автобусе трясло и воняло бензином, дорога и небо слепили глаза, и от всего этого меня сморил сон. Проспал почти до Маренго. А когда проснулся, оказалось — привалился к какому-то солдату, он мне улыбнулся и спросил, издалека ли я. Я сказал «да», разговаривать не хотелось.

От деревни до дома призрения два километра. Пошел пешком. Хотел сейчас же увидеть маму. Но привратник сказал — надо сперва

зайти к директору. А он был занят, и я немного подождал. Пока ждал, привратник так и сыпал словами, а потом я увидел директора, он принял меня в кабинете. Это старичок с орденом Почетного легиона. Он посмотрел на меня ясными глазами. Потом пожал мне руку и долго не выпускал, я уж и не знал, как ее отнять. Он заглянул в какую-то папку и сказал:

— Госпожа Мерсо пробыла у нас три года. Вы были ее единственной опорой.

Мне показалось, он меня в чем-то упрекает, и я начал было объясняться. Но он перебил:

— Не нужно оправданий, дружок. Я перечитал бумаги вашей матушки. Вы были не в силах ее содержать. Она нуждалась в уходе, в сиделке. Заработки у вас скромные. Если все принять во внимание, у нас ей было лучше.

Я сказал:

— Да, господин директор.

Он прибавил:

— Понимаете ли, здесь ее окружали друзья, люди ее лет. У нее нашлись с ними общие интересы, которых нынешнее поколение не разделяет. А вы молоды, с вами она бы скучала.

Это верно. Когда мама жила со мной, она все время молчала и только неотступно провожала меня глазами. В доме призрения она первые дни часто плакала. Но это просто с непривычки. Через несколько месяцев она стала бы плакать, если бы ее оттуда взяли. Все дело в привычке. Отчасти из-за этого в последний год я там почти не бывал. И еще потому, что надо было тратить целый воскресный день, уж не говорю — тащиться до остановки, брать билет да два часа трястись в автобусе.

Директор еще что-то говорил. Но я почти не слушал. Потом он сказал:

— Вы, наверно, хотите видеть вашу матушку.

Я ничего не ответил и встал, он повел меня к двери. На лестнице он стал объяснять:

— У нас тут своя небольшая мертвецкая, мы перенесли покойницу туда. Чтобы не тревожить остальных. Каждый раз, как в нашем доме кто-нибудь умирает, остальные на два-три дня теряют душевное равновесие. И тогда затруднительно за ними ухаживать.

Мы пересекли двор, там было много стариков, они собрались кучками и толковали о чем-то. Когда мы проходили мимо, они смолкали. А за спиной у нас опять начиналась болтовня. Будто приглушенно трещали попугаи. У низенькой постройки директор со мной простился:

— Я вас покидаю, господин Мерсо. Но я к вашим услугам, вы всегда найдете меня в кабинете. Погребение назначено на десять часов утра. Мы полагали, что вы захотите провести ночь подле усопшей. И еще одно: говорят, ваша матушка в беседах не раз высказывала желание, чтобы ее похоронили по церковному обряду. Я сам обо всем распорядился, но хочу вас предупредить.

Я поблагодарил. Мама хоть и не была неверующей, но при жизни религией вовсе не интересовалась.

Вхожу. Внутри очень светло, стены выбелены известкой, крыша стеклянная. Обстановка — стулья да деревянные козлы. Посередине, на таких же козлах, закрытый гроб. Доски выкрашены коричневой краской, на крышке выделяются блестящие винты, они еще до конца не ввинчены. У гроба — чернокожая сиделка в белом фартуке, голова повязана ярким платком.

Тут у меня над ухом заговорил привратник. Наверно, он догонял меня бегом. Он сказал, запыхавшись:

— Гроб закрыт, но мне велели отвинтить крышку, чтоб вам поглядеть на покойницу.

И шагнул к гробу, но я его остановил.

— Не хотите? — спросил он.

— Нет,— сказал я.

Он отступил, и я смутился, не надо было отказываться. Потом он посмотрел на меня и спросил:

— Что ж так?

Не с упреком спросил, а словно из любознательности. Я сказал:

— Не знаю.

Тогда он покрутил седой ус и, не глядя на меня, заявил:

— Понятно.

Глаза у него были красивые, голубые, и красноватый загар. Он подал мне стул, и сам уселся немного сзади. Сиделка поднялась и пошла к двери. Тут привратник сказал мне:

— У нее шанкр.

Я не понял и посмотрел на сиделку, лицо ее пересекала повязка. На том месте, где положено быть носу, повязка была плоская. На лице только и выделялась белая повязка.

Когда она вышла, привратник сказал:

— Я вас оставлю одного.

Уж не знаю, верно, я сделал какое-то невольное движение, только он остался. Он стоял у меня за спиной, и мне это мешало. Комнату заливало яркое предвечернее солнце. В стекло с жужжаньем бились два шершня. Меня стало клонить в сон. Не оборачиваясь, я спросил привратника:

— Вы тут давно?

— Пять лет,— мигом ответил он, словно с самого начала ждал, что я про это спрошу.

И пошел трещать. Мол, вот уж никогда не думал, что будет доживать свой век в Маренго, привратником в богадельне. Ему уже шестьдесят четыре, он парижанин. Тут я его перебил:

— А, так вы не здешний?

Потом я вспомнил: прежде чем проводить меня к директору, он говорил про маму. Говорил, что надо хоронить поскорее, тут ведь Алжир, да еще равнина, вон жара какая. Тогда-то он мне и сказал, что прежде жил в Париже и никак не может его забыть. В Париже с покойником не расстаются три дня, а то и четыре. А здесь нет времени, не успеешь свыкнуться с мыслью, что человек умер, как уже надо поспешать за дрогами. Тут жена его перебила: «Замолчи ты, молодому человеку незачем про это слушать». Старик покраснел и извинился. Тогда я вмешался и сказал: «Нет-нет, ничего». По-моему, все, что он говорил, было верно и интересно.

Потом, в мертвецкой, он мне объяснил, что в дом призрения попал по бедности. Но он еще крепок, вот и вызвался служить привратником. Я заметил — значит, он тоже здешний пансионер. Он возразил — ничего подобного! Меня еще раньше удивило, как он говорил про здешних жителей: «они», «эти», иногда — «старики», а ведь некоторые из них были ничуть не старше него. Но, конечно, это совсем другое дело. Он ведь привратник и в какой-то мере над ними начальство.

Тут вошла сиделка. Неожиданно настал вечер. Над стеклянной крышей вдруг сгустилась тьма. Привратник повернул выключатель, и меня ослепил яркий свет. Потом он предложил мне пойти в столовую пообедать. Но есть не хотелось. Он сказал, что принесет мне чашку кофе с молоком. Я согласился, потому что очень люблю кофе с молоком, и через минуту он вернулся с подносом. Я выпил кофе. Захотелось курить. Сперва я сомневался, можно ли курить возле мамы. А потом подумал,

что это не имеет значения. Предложил привратнику сигарету, и мы закурили.

Немного погодя он сказал:

— А знаете, друзья вашей матушки тоже придут посидеть около нее. Такой здесь обычай. Так что я пойду принесу еще стульев и черного кофе.

Я спросил, нельзя ли погасить хоть одну лампу. Яркий свет отражался от побеленных стен, это было утомительно. Привратник сказал — ничего не поделаешь. Так уж тут устроено: либо горят все лампы сразу, либо ни одной. После этого я его почти не замечал. Он вышел, вернулся, расставил стулья. На один стул поставил кофейник и нагромоздил чашки. Потом уселся напротив меня, по ту сторону гроба. Сиделка все время оставалась в глубине комнаты, спиной к нам. Мне не видно было, что она делает. Но по движениям локтей я догадался — наверно, вяжет. Было тихо, я выпил кофе и согрелся, из открытой двери тянуло запахом ночи и цветов. Кажется, я вздремнул.

Меня разбудил шорох. Я успел отвыкнуть от яркого света, и выбеленные стены совсем ослепили меня. Теней не было, каждый предмет, каждый угол и изгиб вырисовывались так четко, что резало глаза. В комнату входили мамины друзья. Их было человек двенадцать, они неслышно скользили в слепящем свете. Они уселись, и ни один стул не скрипнул. Никогда никого я не видел так ясно, до последней морщинки, до последней складки одежды. Однако их совсем не было слышно, просто не верилось, что это живые люди. Почти все женщины были в фартуках, перетянутых в талии шнурком, от этого еще заметней выдавались животы. Никогда прежде я не замечал, что у старух бывает такой большой живот. Мужчины были почти все тощие и опирались на палки. Больше всего меня поразило в их лицах, что я не мог разглядеть глаз, только что-то мерцало в сети морщин. Когда они уселись, многие посмотрели на меня и неловко наклонили головы; у всех были беззубые, запавшие рты; я не мог понять, то ли они со мной здороваются, то ли головы у них трясутся от старости. Наверно, все-таки это они со мной здоровались. Тут я заметил, что все они, качая головами, сидят напротив меня, по обе стороны от привратника. У меня мелькнула нелепая мысль, будто они собрались, чтобы меня судить.

Вскоре одна женщина заплакала. Она сидела во втором ряду, позади другой старухи, и я плохо ее видел. Она плакала на одной ноте, то и дело всхлипывая; казалось, она никогда не перестанет. Другие словно не слышали. Они все как-то обмякли, сидели хмурые, молчаливые. Каждый уставился в одну точку — кто на гроб, кто на собственную палку. на что попало — и уж больше никуда не смотрел. А та женщина все плакала. Очень странно, совсем незнакомая женщина. Мне хотелось, чтобы она замолчала. Но я не решался ей это сказать. Привратник наклонился к ней, заговорил, но она только мотнула головой, что-то пробормотала и продолжала все так же всхлипывать на одной ноте. Тогда привратник обошел гроб и сел рядом со мной. Долго молчал, потом сказал, не глядя на меня:

— Она была очень привязана к вашей матушке. Она говорит, ваша матушка одна здесь была ей другом, а теперь у нее никого не осталось.

Мы долго так сидели. Понемногу та женщина стала вздыхать и всхлипывать реже. Она еще некоторое время сопела и, наконец, утихла. Спать больше не хотелось, но я устал, ныла поясница. Теперь меня тяготило, что все они сидят так тихо. Только изредка слышался какой-то странный звук, я не мог разобрать, откуда он. Потом, наконец, понял: некоторые старики всасывали щеки внутрь, и тогда в беззубом рту странно щелкало. А они этого не замечали, слишком заняты были своими мыслями. Мне даже показалось, что они собрались вокруг покойницы

вовсе не ради нее самой. Теперь-то я думаю — это мне просто показалось.

Привратник налил всем кофе, и мы выпили. Что было дальше, не знаю. Миновала ночь. Помню, в какую-то минуту я открыл глаза и вижу: все старики спят, обмякнув на стульях, только один не спит — стиснул обеими руками палку, оперся на них подбородком и уставился на меня, словно только того и ждал, чтоб я проснулся. Потом я опять задремал. Проснулся оттого, что у меня все сильнее ныла поясница. Над стеклянной крышей посветлело. Немного погодя проснулся один из стариков и надолго раскашлялся. Он все сплевывал в огромный клетчатый платок, и всякий раз у него словно что-то рвалось внутри. Кашель разбудил остальных, и привратник сказал, что им пора уходить. Они поднялись. После утомительного бдения лица у всех стали серые. Очень странно: уходя, каждый пожал мне руку, будто эта ночь, когда мы не обменялись ни словом, нас сблизила.

Я устал. Привратник проводил меня в сторожку, и я немного привел себя в порядок. Выпил еще чашку кофе с молоком, было очень вкусно. Когда я вышел из сторожки, уже совсем рассвело. Над холмами, которые отгораживают Маренго от моря, небо закраснелось. И ветер доносил из-за холмов соленый запах. Отличный начинался денек. Давно уже я не бывал за городом, и так приятно было бы прогуляться, если бы не мама.

А теперь я ждал во дворе, под платаном. Вдыхал свежий запах земли, и спать больше не хотелось. Вспомнил о сослуживцах. В этот час они встают и собираются на работу — для меня это всегда самое трудное время. Я еще немного подумал обо всем этом, а потом в доме зазвонил колокол и отвлек меня. За окнами началась суета, потом все опять успокоилось. Солнце поднялось немного выше и пригревало мне ноги. Подошел привратник и сказал, что меня ждет директор. Я пошел в кабинет. Директор дал мне подписать какие-то бумаги. На нем был черный сюртук и брюки в полоску. Он взялся за телефон и сказал мне:

— Прибыли люди из похоронного бюро. Сейчас я велю закрыть гроб. Угодно вам до этого в последний раз посмотреть на вашу матушку?

Я сказал — нет. Понизив голос, он распорядился по телефону:

— Фижак, велите им, пусть приступают.

Потом сказал мне, что и сам будет на похоронах, и я поблагодарил. Он сел за письменный стол, скрестил свои коротенькие ножки. Мы с ним будем одни да еще дежурная сиделка, сказал он. Обитателям дома не полагается присутствовать при погребении. Он только разрешает им посидеть возле покойника ночь.

— Нельзя забывать о человеколюбии,— заметил он.

Но на сей раз он позволил одному пансионеру проводить покойницу.

— Тома Перез — старый друг вашей матушки.— Тут директор улыбнулся.— Понимаете, чувство это немного ребяческое. Но они с вашей матушкой были неразлучны. В доме над ними подшучивали, Переза называли женихом. Он смеялся. Им обоим это было приятно. И надо признать, что смерть госпожи Мерсо для него тяжелый удар. Я не счел нужным ему отказывать. А вот провести ночь у гроба я ему запретил — так посоветовал наш врач.

Потом мы довольно долго молчали. Директор поднялся и выглянул в окно. Чуть погодя он заметил:

— А вот и священник. Даже раньше времени.

И предупредил, что приходская церковь находится в самой деревне Маренго и до нее идти по меньшей мере три четверти часа. Мы вышли из кабинета. Перед домом стояли священник и два мальчика-служки; один служка держал кадильницу, а священник, наклонясь, подтягивал серебряную цепочку. Когда мы подошли, он выпрямился. Он назвал меня

«сын мой» и сказал мне несколько слов. Потом вошел в мертвецкую; я последовал за ним.

Я тотчас заметил, что теперь винты глубоко ушли в дерево, и увидел четырех человек в черном. Директор сказал, что катафалк уже ждет, и тут же священник начал читать молитву. Все пошло очень быстро. Люди в черном с покровом в руках подступили к гробу. Священник, служки, директор и я вышли из мертвецкой. У двери стояла какая-то почтенная женщина, которой я прежде не видел.

— Господин Мерсо,— представил меня директор.

Имени этой женщины я не расслышал, понял только, что она здешняя сиделка. Она поклонилась без улыбки, лицо у нее было длинное и очень худое. Потом мы все посторонились, давая дорогу носильщикам. Они вынесли гроб, и мы вышли вслед за ними из ворот. За воротами ждал катафалк. Длинный, блестящий, лакированный, совсем как пенал. Рядом стояли распорядитель — низенький, нелепо одетый человечек — и старик, которому явно было не по себе. Я понял, что это и есть Перез. На нем была мягкая фетровая шляпа с круглой тульей и широкими полями (когда выносили гроб, он ее снял), костюм не по росту, так что штанины гармошкой свисали на башмаки, на шее — черный бант, чересчур маленький для рубашки с таким широким белым воротничком. Нос угреватый, губы трясутся. Под редкими седыми волосами видны престранные уши — нелепой формы, торчащие и притом багрово-красные, это меня поразило, потому что сам он был мертвенно-бледен. Распорядитель объяснил нам, какой будет порядок. Впереди всех священник, за ним катафалк. Вокруг катафалка — четверо в черном. Позади — мы с директором, а замыкают шествие сиделка и господин Перез.

Небо наполнилось солнцем. Оно уже начинало припекать, жара с каждой минутой усиливалась. Не знаю, почему мы так долго не двигались с места. В темном костюме я запарился. Старичок Перез надел было шляпу, но опять снял. Я слегка повернулся в его сторону и слушал, что говорит про него директор. Тот рассказывал, что по вечерам мама с Перезом часто ходили гулять, их сопровождала сиделка, и они доходили до самой деревни. Я поглядел вокруг. Вереницы кипарисов тянулись к холмам у горизонта, меж кипарисами сквозила земля — где зеленая, где рыжая,— отчетливо вырисовывались редкие домики, и я понимал маму. Должно быть, вечер в этом краю — как раздумчивое затишье. А вот сейчас под неукротимым солнцем все вокруг содрогается и в свой черед становится гнетущим и жестоким.

Мы двинулись в путь. И тут я заметил, что Перез прихрамывает. Дроги катили все быстрей, и старик понемногу отставал. Один из тех четверых тоже дал дрогам себя обогнать и пошел рядом со мной. Удивительно, как быстро солнце поднималось все выше. Оказалось, в полях давно уже гудят и жужжат насекомые, шелестит трава. У меня по щекам струился пот. Шляпу я не захватил и обмахивался носовым платком. Служащий похоронного бюро что-то мне сказал, но я не расслышал. Он вытирал лысину платком, который держал в левой руке, приподнимая правой фуражку. Я переспросил:

— Что?

Он показал на небо и повторил:

— Ну и шпарит.

— Да,— сказал я.

Немного погодя он спросил:

— Вы покойнице кто — сын?

Я опять сказал — да.

— Старая она была?

— В общем да,— сказал я, потому что не знал точно, сколько ей было лет.

Тогда он замолчал. Я обернулся и увидел, что старик Перез отстал уже метров на пятьдесят. Он торопился, как мог, размахивал руками, в одной руке он держал шляпу. Поглядел я и на директора. Он шагал с большим достоинством, не делая ни одного лишнего движения. На лбу его блестели капли пота, но он их не вытирал.

Казалось, процессия понемногу ускоряет шаг. Вокруг сверкала и захлебывалась солнцем все та же однообразная равнина. Небо слепило нестерпимо. Одно время мы шли по участку дороги, который недавно чинили. Солнце расплавило гудрон. Ноги вязли в нем и оставляли раны в его сверкающей плоти. Клеенчатый цилиндр возницы маячил над катафалком, словно тоже слепленный из этой черной смолы. Я почувствовал себя затерянным между белесой выгоревшей синевой неба и навязчивой чернотой вокруг: липко чернел разверзшийся гудрон, тускло чернела наша одежда, черным лаком блестел катафалк. Солнце, запах кожи и конского навоза, исходивший от катафалка, запах лака и ладана, усталость после бессонной ночи... от всего этого у меня мутилось в глазах и путались мысли. Я опять обернулся — Перез маячил далеко позади, в знойной дымке, а потом и вовсе пропал из виду. Я стал озираться и увидел: он сошел с дороги и двинулся через поля. Оказалось, впереди дорога описывает дугу. Стало быть, Перез, которому эти места хорошо знакомы, решил срезать напрямик, чтобы нас нагнать. На повороте он к нам присоединился. Потом мы опять его потеряли. Он снова пошел наперерез, полями, и так повторялось несколько раз. Кровь стучала у меня в висках.

Дальше все разыгралось так быстро, слаженно, само собой, что я ничего не запомнил. Разве только одно: когда мы входили в деревню, сиделка со мной заговорила. У нее оказался необыкновенный голос, звучный, трепетный, очень неожиданный при таком лице. Она сказала:

— Медленно идти опасно, может случиться солнечный удар. А если заторопишься, бросает в пот, и тогда в церкви можно простыть.

Да, правда. Выхода не было. В памяти уцелели еще какие-то обрывки этого дня — например, лицо Переза, когда у самой деревни он нас перехватил в последний раз. От усталости и горя по щекам его текли крупные слезы. Но морщины не давали им скатиться. Слезы расплывались и опять стекались и затягивали иссохшее лицо влажной пленкой. Была еще церковь, и деревенские жители на тротуарах, и кладбище, на могилах краснела герань, и Перез упал в обморок (точь-в-точь марионетка, которую уже не дергают за нитки), и красная, как кровь, земля сыпалась на мамин гроб, мешаясь с белым мясом перерезанных корней, и еще люди, голоса, деревня, ожидание на остановке перед кафе, потом непрестанное урчанье мотора, и как я обрадовался, когда автобус покатил среди огней по улицам Алжира, и я подумал: вот лягу в постель и просплю двенадцать часов кряду.

II

Проснувшись, я понял, отчего у патрона был недовольный вид, когда я просил отпуск на два дня: нынче суббота. Я про это почти забыл, а когда начал вставать — вспомнил. Конечно, патрон сразу подумал, что вместе с воскресеньем у меня выйдет четыре свободных дня, и, понятно, это ему не понравилось. Но, с одной стороны, я не виноват, что маму хоронили вчера, а не сегодня, а с другой стороны, в субботу и воскресенье я бы все равно не работал. Впрочем, я прекрасно понимаю, что патрону это не нравится.

Поднялся я с трудом, потому что накануне устал. Пока брился, думал, как бы провести время, и решил искупаться. Сел в трамвай и поехал в купальни у порта. Кинулся в воду и поплыл. Тут было много молодежи. В воде встретился с Мари Кардона, когда-то она работала у нас в конторе машинисткой, в ту пору я ее хотел. И она, кажется, тоже. Но мы не успели, она очень быстро уволилась. Сейчас я помог ей взобраться на поплавок и при этом коснулся ее груди. Я еще не вылез из воды, а она уже растянулась на поплавке. И повернулась ко мне. Волосы падали ей на глаза, и она смеялась. Я подтянулся и пристроился с ней рядом Было славно, я откинулся назад и, точно в шутку, положил голову ей на живот. Она ничего не сказала, и я так и остался лежать. Прямо в глаза мне смотрело просторное небо, синее и золотое. Затылком я чувствовал, как тихонько поднимается и опускается от дыхания живот Мари. Мы долго лежали полусонные на поплавке. Когда солнце стало слишком припекать, она нырнула, я за ней. Я догнал ее, обнял за талию, и мы поплыли вместе. Она все время смеялась. На пристани, когда мы сохли, она сказала:

— А я загорела сильней, чем вы.

Я спросил, не пойдет ли она вечером в кино. Она опять засмеялась и сказала, что ей хочется посмотреть картину с Фернанделем. Когда мы оделись, она очень удивилась, что на мне черный галстук, и спросила — разве я в трауре? Я сказал — умерла мама. Она спросила когда, и я сказал: «Вчера». Она отступила на шаг, но промолчала. Я хотел было сказать, что я ведь не виноват, да вспомнил, что уже говорил это патрону. Ну, неважно. Все равно, как ни крути, всегда окажешься в чем-нибудь да виноват.

Вечером Мари обо всем забыла. Картина была временами забавная, а в общем преглупая. Нога Мари прижималась к моей. Я гладил ее грудь. Под конец сеанса я ее поцеловал, но как-то неловко. После кино она пошла ко мне.

Когда я проснулся, Мари уже ушла. Она еще раньше объяснила, что ей надо навестить тетку. Я вспомнил, что нынче воскресенье, и мне стало скучно — не люблю воскресений. Повернулся на другой бок, вдохнул с подушки запах моря от волос Мари и проспал до десяти часов. Потом лежал в постели до двенадцати, курил сигареты. Завтракать, как обычно у Селеста, не хотелось: там, конечно, стали бы расспрашивать, а я этого не люблю. Поджарил себе яичницу и съел прямо со сковороды без хлеба — дома не было ни крошки, а идти покупать не хотелось.

После завтрака мне стало скучновато, и я начал бродить по квартире. При маме тут было удобно. А для одного квартира слишком велика, пришлось перетащить к себе стол из столовой. Так я теперь и живу в одной комнате, тут у меня стоят соломенные стулья, уже немного продавленные, зеркальный шкаф (зеркало пошло желтыми пятнами), туалетный столик и кровать с медными прутьями. Остальное все в забросе. Немного погодя от нечего делать я взял старую газету и стал читать. Вырезал рекламу слабительной соли и наклеил в старую тетрадь, я туда вклеиваю все, что попадется в газетах забавного. Потом вымыл руки и, наконец, вышел на балкон.

Моя комната выходит на главную улицу предместья. День стоял погожий. Но накатанная мостовая жирно блестела, прохожих было мало, и почему-то они торопились. Некоторые вышли на прогулку всей семьей. Прежде всего, прошли два мальчугана, будто одеревеневшие в парадных наглаженных матросках и в штанах ниже колен, и девочка с большим розовым бантом, в черных лакированных туфельках. За ними — огромная толстая мамаша в коричневом шелку и маленький щуплый папаша, я его знаю в лицо. На нем галстук бабочкой, жесткая соломенная шляпа, в руке трость. Увидав его рядом с женой, я понял.

почему в нашем квартале он считается человеком весьма достойным. Немного спустя прошли молодые люди — волосы напомажены, красные галстуки, пиджаки в талию, из нагрудных карманов торчат вышитые платочки, у башмаков квадратные носы. Видно, собрались в город, в кино. Потому они и вышли спозаранку, и спешат к трамваю, и хохочут во все горло.

Потом улица понемногу опустела. Наверно, всюду начались сеансы. На улице остались только лавочники да кошки. Над фикусами, которые растут вдоль домов, небо чистое, но неяркое. Хозяин табачной лавки, что через дорогу, выставил стул на тротуар у входа и уселся верхом, опершись локтями на спинку. Еще недавно трамваи были набиты битком, а сейчас идут почти пустые. Рядом с табачной лавкой, в маленьком кафе «У Пьеро» совсем пусто, официант посыпал пол опилками и подметает. Сразу видно — воскресенье.

Я повернул свой стул и тоже, как торговец табаком, оседлал его — оказывается, так удобнее. Выкурил две сигареты, вернулся в комнату, взял кусок шоколада, подошел к окну и стал жевать. Вскоре небо нахмурилось, и я подумал, что налетит летняя гроза. Но понемногу опять прояснилось. Однако после того, как прошли облака, улица так и осталась хмурой, будто в предчувствии дождя. Я еще долго сидел и смотрел на небо.

В пять часов с грохотом прикатили трамваи. Они везли народ с дальнего стадиона, люди гроздьями висели по бокам и на подножках. Следующие вагоны привезли игроков, я их признал по чемоданчикам. Они орали и пели песни во славу своей непобедимой команды. Некоторые махали мне руками. Один даже крикнул:

— Дали мы им жару!

И я кивнул в ответ.

После этого потоком хлынули машины.

День еще немного померк. Небо над крышами стало краснеть, и с наступлением вечера улицы оживились. Люди понемногу возвращались с прогулки. Среди прочих я узнал достойного отца семейства. Детишки хныкали и едва плелись, их тащили за руку. И сейчас же кинотеатры всего квартала выплеснули на улицу волну зрителей. Молодые люди шагали решительней обычного и энергичней размахивали руками — наверно, фильм был приключенческий. Те, кто ездил в кино в центр города, вернулись позже. Эти держались серьезнее. Иногда они смеялись, но чаще лица у них были усталые и задумчивые. Они не расходились по домам, а прогуливались взад и вперед по тротуару напротив. Девушки с непокрытыми головами гуляли, взявшись под руки. Молодые люди нарочно шли им навстречу и отпускали всякие шуточки, а они со смехом отворачивались. С некоторыми девушками я был знаком, они кивали мне и улыбались.

Внезапно зажглись уличные фонари, и первые проглянувшие в небе звезды побледнели. Оттого, что я долго смотрел на улицу, полную огней и прохожих, у меня зарябило в глазах. Мостовая лоснилась под лучами фонарей, в отсвете проходящих трамваев то и дело вспыхивали чьи-то волосы, улыбка или серебряный браслет. Понемногу трамваи стали реже, небо над деревьями и фонарями совсем почернело, квартал незаметно опустел, и вот уже совсем безлюдную улицу лениво перебежала первая кошка. Тут я подумал, что надо бы пообедать. Я так долго сидел, опершись на спинку стула, что у меня затекла шея. Я вышел купить хлеба и макарон, сварил макароны и стоя поел. Хотел было выкурить у окна еще сигарету, но потянуло холодом, и мне стало зябко. Я закрыл окно и, отходя от него, увидел в зеркале угол стола и на нем спиртовку и куски хлеба. И подумал — вот и прошло воскресенье, маму похоронили, завтра я пойду на работу, и, в сущности, ничего не изменилось.

III

Сегодня в конторе у меня набралось много дела. Патрон был любезен. Спросил, сильно ли я устал, и тоже поинтересовался, сколько маме было лет. Чтобы не ошибиться, я сказал просто: «Седьмой десяток»,— и почему-то у него на лице выразилось облегчение, словно он решил, что говорить больше не о чем.

У меня на столе громоздилась куча накладных, надо было все их разобрать. Перед тем как пойти завтракать, я вымыл руки. Среди дня это очень приятно. Вечером мне это меньше нравится: полотенцем возле умывальника пользуется вся контора, и за день оно становится совсем мокрое. Однажды я сказал об этом патрону, он ответил — да, нехорошо, но в конце концов это мелочь. Завтракать я пошел немного позже обычного, в половине первого, вместе с Эмманюелем — он служит в экспедиции. Наша контора выходит к морю, и мы минуту-другую помешкали — смотрели на торговые суда в залитой солнцем гавани. Тут, треща выхлопной трубой и гремя цепями, появился грузовик. Эммануель сказал: «Поехали?» — и я кинулся бежать. Грузовик уже прокатил дальше, мы бросились вдогонку. Меня захлестнуло грохотом и пылью. Я уже ничего не видел и не чувствовал, мы мчались наобум между лебедок и машин, мимо посудин у причалов, мачты качались и чиркали по небу. Я первым ухватился за борт грузовика и забрался в кузов. Потом помог Эмманюелю. Мы насилу переводили дух, грузовик подскакивал на неровной брусчатке набережной, среди солнца и пыли. Эмманюель закатывался хохотом.

Взмокшие, потные, мы ввалились к Селесту. Он был тут как тут, толстопузый, в белом переднике и с белыми усами. Он спросил меня: «Ну как, держишься?» Я сказал «да» и еще сказал, что хочу есть. Мигом все съел, выпил кофе. Пошел домой, немного поспал, потому что за завтраком выпил лишнее, а когда проснулся, захотелось курить. Побоялся опоздать и побежал к трамваю. Работал до вечера. В конторе стояла духота, и вечером я с наслаждением, не торопясь, возвращался по набережной пешком. Небо стало зеленое, мне было хорошо и спокойно. Все же я пошел прямо домой, потому что хотел сварить себе картошки.

Поднимаясь по неосвещенной лестнице, я столкнулся со стариком Саламано — мы живем на одной площадке. Он выводил свою собаку. Уже восемь лет они неразлучны. У этого спаниеля какая-то накожная болезнь, лишай, наверно,— он весь облезлый, в болячках и в бурой коросте. Старик Саламано ютится со своим псом в тесной комнатенке и за долгие годы сам стал похож на него. Лицо в красноватых струпьях, редкие выцветшие волосы. А пес перенял у хозяина повадку — какой-то он сутулый, шею вытянул, голову повесил. Похоже, что оба одной породы,— и, однако, они друг друга ненавидят. Дважды в день, в одиннадцать и в шесть, старик выводит пса на прогулку. За восемь лет маршрут ни разу не менялся. Они идут по Лионской улице, пес изо всех сил натягивает поводок, старик Саламано начинает спотыкаться. Тогда он колотит пса и ругательски его ругает. Струсив, пес приседает и упирается. Теперь уже старик тянет его за собой. Но стоит псу забыться, и он снова тащит хозяина вперед, а тот опять бьет его и ругает. Станут посреди тротуара и смотрят друг на друга — собака со страхом, человек с ненавистью. И так изо дня в день. Когда пес задирает ногу, старик не дает ему времени и тащит вперед, и за собакой остается след — цепочка мелких капель. И если собаке случится напакостить в комнате, на нее снова сыплются побои. Все это длится восемь лет. Селест говорит, что Саламано — негодяй, но ведь никто не знает, как оно на самом деле. Когда я встретил старика на лестнице, он осыпáл пса бранью.

— Сволочь! — говорил он.— Подлюга!

Пес в ответ скулил. Я сказал:

— Добрый вечер!

Но старик все ругался. Тогда я спросил, что пес ему сделал. Саламано не ответил, только повторял:

— Сволочь! Подлюга!

В темноте я едва разглядел, что он наклонился над собакой и как будто поправляет ошейник. Я спросил еще раз, погромче. Тогда он ответил, не оборачиваясь, с еле сдерживаемой яростью:

— Опостылел он мне...

И ушел, волоча за собой пса, а тот скулил и упирался всеми четырьмя лапами.

Тут вошел другой мой сосед по лестничной площадке. В нашем квартале он слывет сутенером. Но когда его спрашивают, чем он занимается, он называет себя кладовщиком. Все его недолюбливают. Однако со мной он часто заговаривает, а иногда на минуту заходит ко мне, потому что я готов его слушать. По-моему, он рассказывает интересно. И у меня нет причин с ним не разговаривать. Зовут его Раймон Синтес. Он небольшого роста, плечи широкие, нос как у боксера. Одет всегда с иголочки. Он тоже сказал мне про Саламано:

— Вот негодяй!

И спросил, не противно ли мне все это, а я сказал — нет.

Мы поднялись по лестнице, я хотел уйти к себе, но он сказал:

— У меня есть вино и кровяная колбаса. Может, присоединитесь?

Я подумал, не придется готовить себе ужин, и согласился. У Раймона, как и у Саламано, только одна комната да темная, без окна, кухня. Над кроватью — бело-розовый гипсовый ангел, фотографии чемпионов, две или три картинки, вырезанные из журнала,— голые женщины. В комнате грязно, постель не прибрана. Раймон первым делом зажег керосиновую лампу, потом вытащил из кармана сомнительной чистоты бинт и стал перевязывать себе правую руку. Я спросил, что с рукой. Он объяснил: пристал к нему один фрукт, вот и пришлось подраться.

— Понимаете, господин Мерсо, я человек не злой, но нрав у меня горячий. Тот фрукт мне говорит: «Выходи из трамвая, если ты мужчина!» Я говорю: «Да ладно, отстань». А он мне: ты, мол, не мужчина. Ну, я вышел с ним из вагона и говорю: «Лучше отвяжись, не то получишь». А он отвечает: «Черта с два!» Ну, тут я ему врезал. Он свалился. Я хотел его поднять. А он лежит и отбивается ногами. Я ему наподдал коленом и еще по морде — раз, раз! В кровь разбил. Спрашиваю — ну как, мол, хватит с тебя? Он говорит: «Хватит».

Рассказывая, Синтес перевязывал руку. Я сидел на его постели. Он сказал еще:

— Понимаете, я к нему не приставал. Он первый меня оскорбил.

Я согласился, что так оно и выходит. Тогда он заявил, что как раз хотел со мной посоветоваться насчет этого дела, я-то мужчина, притом человек бывалый и могу ему помочь, и тогда он станет мне другом-приятелем. Я промолчал; тогда он спросил, хочу ли я стать ему другом. Я сказал, что мне все равно, и он, видно, был доволен. Он вытащил колбасу, поджарил ее на сковородке, расставил стаканы, тарелки, достал ножи, вилки и две бутылки вина. И все это молча. Потом мы сели за стол. За едой он начал рассказывать о своих делах. Сперва он немного мялся.

— Я водил знакомство с одной особой... собственно говоря, она моя любовница...

Человек, с которым он подрался,— брат этой женщины. Раймон сказал, что содержал ее. Я промолчал, и, однако, он сейчас же приба-

вил, что знает, какие про него ходят сплетни по всему кварталу, но совесть его чиста, он работает кладовщиком.

— Так вот,— продолжал он,— заметил я, что меня водят за нос.

Он давал любовнице ровно столько, чтоб хватало на жизнь. Сам снимал ей комнату и давал двадцать франков в день на еду.

— Триста франков за комнату, шестьсот на еду, время от времени пара чулок — вот вам тысяча франков. И дамочка не работала. Но вечно уверяла, что моих денег ей никак не хватает. Я ей говорю: «Пошла бы работать на полдня. Избавила бы меня от мелких расходов. Я тебе в этом месяце купил костюм, я тебе даю двадцать франков в день, я плачу за твою комнату, а ты еще среди дня распиваешь с приятельницами кофе. Угощаешь их кофе с сахаром. И все на мои деньги. Я с тобой по-хорошему, а ты как поступаешь?» Но она не работала, только знай твердила, что денег ей никак не хватает, ну, под конец я и понял, что меня водят за нос.

И Раймон рассказал мне, что нашел в сумочке у любовницы лотерейный билет, и она не могла объяснить, на какие деньги его купила. Немного позже он нашел у нее квитанцию — оказалось, она заложила в ломбарде два браслета. А он и не подозревал, что у нее есть эти браслеты.

— Тут-то я ее и раскусил. И тогда я с ней расстался. Но сперва отлупил ее. И выложил начистоту, что я про нее думаю. Ты, говорю, только и знаешь, что забавляешься в постели с кем попало. Понимаете, господин Мерсо, я ей так и сказал, я, говорю, тебя осчастливил, все тебе завидуют, а ты не ценишь. Еще пожалеешь, да поздно будет.

Он избил ее в кровь. Прежде он ее не бил.

— Поколачивал, но только так, любя. Она, бывало, всплакнет, я закрою ставни, и все кончается самым обыкновенным образом. А на этот раз дело серьезное. И, скажу вам, я еще не проучил ее как следует.

Он объяснил, что тут-то ему и нужен мой совет. Потом остановился и поправил фитиль, потому что лампа коптила. Я молчал и слушал. Я выпил чуть не литр вина, и у меня сильно шумело в голове. Я курил сигареты Раймона, своих у меня не осталось. Проходили последние трамваи, унося с собой затихающие отголоски дневного шума. Раймон продолжал рассказывать. Он еще не охладел к этой шлюхе, вот что досадно. Но он непременно ее проучит. Сперва он хотел привести ее куда-нибудь в гостиницу и вызвать полицию нравов — пускай разыграется скандал, и она получит желтый билет. Потом обратился к друзьям — у него в этих кругах есть свои люди. Они ничего путного не присоветовали. Что толку после этого водить с ними дружбу, заметил Раймон. Он им так и сказал, и тогда они предложили поставить ей на роже метку. Но ему не это нужно. Он еще поразмыслит. Но сперва он хочет меня кое о чем попросить. Нет, еще прежде того вопрос: что я думаю обо всей этой истории? Я сказал — ничего не думаю, просто это любопытно. А как я думаю, обманывала она его? Да, пожалуй, обманывала. А как я думаю, надо ее проучить? И как бы я поступил на его месте? Я ответил — трудно сказать, но что он хочет ее проучить — это я понимаю. Потом я выпил еще вина. Раймон закурил сигарету и раскрыл мне свой план. Он напишет ей письмо, в котором «даст ей по морде» и в то же время заставит раскаяться. А потом, когда она вернется, он ляжет с ней в постель и «в самую последнюю минуту» плюнет ей в лицо и выгонит вон. Я согласился — да, таким образом она и вправду будет наказана. Но Раймон сказал, что он, пожалуй, не сумеет составить такое письмо, вот он и подумал — может, я напишу за него. Я ничего не ответил, и он предложил, если я не против, заняться этим сейчас же. Я сказал, что не против.

Он выпил стакан вина и поднялся. Отодвинул тарелки и остатки застывшей в жиру колбасы. Старательно вытер клеенку на столе. Вынул из ящика ночного столика лист бумаги в клетку, желтый конверт, красную деревянную ручку и квадратную чернильницу с лиловыми чернилами. Когда он назвал имя женщины, стало ясно, что она мавританка. Я сочинил письмо. Писал отчасти наобум, но старался, чтобы Раймон был доволен,— в сущности, отчего бы и не постараться? Потом прочел ему письмо вслух. Он слушал, курил и качал головой, потом попросил прочесть еще раз. Остался вполне доволен. И сказал мне:

— Я же знал, что ты человек бывалый.

Не сразу я заметил, что он перешел на «ты». Только когда он заявил: «Вот теперь ты мне настоящий друг!» — меня это поразило. Он повторил то же самое еще раз, и я сказал: «Да». Мне все равно, друг так друг, а ему, видно, вправду этого хотелось. Он запечатал письмо, и мы допили вино. Потом посидели молча, покурили. На улице стало совсем тихо, шурша шинами, прошла одинокая машина. Я сказал:

— Уже поздно.

Раймон тоже так думал. Он сказал — время идет быстро,— и в некотором смысле это верно. Меня клонило ко сну, но я никак не мог подняться. Наверно, у меня был усталый вид, потому что Раймон сказал — не надо вешать нос. Я сперва не понял. Тогда он объяснил: он слышал, что я похоронил маму, но ведь рано или поздно все помрем. Я согласился.

Потом я встал, Раймон крепко пожал мне руку и сказал, что настоящие мужчины всегда поймут друг друга. Я вышел, затворил дверь и минуту постоял в темноте на площадке. Дом спал, снизу по лестнице тянуло чем-то сырым и смутным. Я стоял не шевелясь, но ничего не услышал, только в ушах шумело. Да в комнате старика Саламано глухо проскулил пес.

IV

Всю неделю я много работал. Как-то зашел Раймон и сказал, что отослал то письмо. Два раза я ходил с Эмманюелем в кино, он часто не понимает, что делается на экране. Надо ему объяснять. Вчера, в субботу, как мы уговорились, приходила Мари. На ней было красивое платье в белую и красную полоску и кожаные сандалии, и я очень ее захотел. Под платьем угадывались ее крепкие груди, смуглое от загара лицо было как цветок. Мы сели в автобус и поехали за несколько километров от Алжира на маленький пляж — он прячется между скал, а от суши его отгораживают тростники. В четыре часа солнце уже не такое жаркое, но вода теплая. Не спеша поплескивала пологая ленивая волна. Мари обучила меня игре: когда плывешь, надо втянуть ртом пену с гребня волны, перевернуться на спину и дунуть в небо фонтаном. Брызги рассеиваются в воздухе, точно кружево, или падают на лицо теплым дождем. Но скоро от горько-соленой воды стало жечь во рту. Мари подплыла ближе и в воде прильнула ко мне. Прижалась губами к моим губам, провела по ним языком. Рот у меня перестал гореть, и мы немного покачались на волнах.

Потом мы вышли на песок и стали одеваться, Мари смотрела на меня блестящими глазами. Я обнял ее. После этого мы больше не разговаривали. Я прижал ее к себе, и мы заторопились к автобусу, сразу пошли ко мне и бросились на постель. Я оставил окно настежь. Летняя ночь омывала наши опаленные солнцем тела, и это было славно.

Утром Мари осталась у меня, и я сказал — давай позавтракаем вместе. И вышел купить чего-нибудь поесть. Когда возвращался, услы-

хал в комнате Раймона женский голос. Немного погодя заворчал на своего пса старик Саламано. По деревянным ступеням зашаркали подошвы, заскребли когти, и послышалось знакомое:

— Сволочь! Подлюга!

Они вышли на улицу. Я рассказал Мари про старика, и она засмеялась. На ней была моя пижама, рукава она подвернула. Когда она засмеялась, я опять ее захотел. Немного погодя она спросила:

— Ты меня любишь?

Я ответил, что это пустые слова, они ничего не значат, но, пожалуй, не люблю. Лицо у нее стало грустное. Но, готовя завтрак, она ни с того ни с сего опять засмеялась так, что я ее обнял. И в эту минуту в комнате Раймона поднялся шум.

Сперва мы услышали пронзительный женский крик, потом голос Раймона:

— Ты меня обманула, да, обманула! Я тебе покажу, как меня обманывать!

Раздались глухие удары, и женщина завопила, да так отчаянно, что на лестницу тотчас выбежали жильцы. Мы с Мари тоже вышли. Женщина все кричала, а Раймон все осыпал ее ударами. Мари сказала — какой ужас. Я не ответил. Она попросила, чтобы я позвал полицию, но я сказал — не люблю полицейских. Однако полицейский пришел, его привел жилец со второго этажа, водопроводчик. Полицейский постучал в дверь, и там все стихло. Он постучал сильнее, и тут женщина заплакала, и Раймон отворил. Он приторно улыбался, в зубах торчала сигарета. Женщина кинулась к двери и крикнула полицейскому, что Раймон ее избил.

— Фамилия? — спросил полицейский.

Раймон ответил.

— Вынь сигарету изо рта, когда со мной разговариваешь,— сказал полицейский.

Раймон замялся, поглядел на меня и сигарету не вынул. Полицейский размахнулся и влепил ему звонкую, увесистую оплеуху. Сигарета отлетела на несколько метров. Раймон переменился в лице, но сразу ничего не сказал, а погодя кротко спросил, можно ли подобрать окурок. Полицейский разрешил и прибавил:

— В другой раз будешь знать, как с полицией шутки шутить.

Все это время женщина плакала и повторяла:

— Он меня излупил. Он кот.

Раймон сказал:

— Господин полицейский, разве по закону позволяется обзывать человека котом?

Но тот велел ему «заткнуть глотку». Тогда Раймон обернулся к женщине и сказал:

— Ну погоди, деточка, мы еще встретимся.

Полицейский велел ему заткнуться, и пускай женщина уходит, а он пускай сидит дома и ждет, покуда его вызовут в участок. И прибавил — хоть бы Раймон постыдился, вон до чего пьян, весь трясется! Тут Раймон объяснил:

— Я не пьян, господин полицейский. Просто перед вами я поневоле дрожу.

Он затворил дверь, и все разошлись. Мы с Мари опять принялись готовить завтрак. Но ей не хотелось есть, я почти все съел сам. Через час она ушла, а я опять немного поспал.

Часа в три ко мне постучали, и вошел Раймон. Я все еще лежал. Он присел на край кровати. Он сидел и молчал, и я спросил, как было дело. Он рассказал, что сделал все, как задумал, но она дала ему пощечину, и тогда он ее поколотил. Остальное я и сам видел. Я сказал — по-моему,

теперь он ее проучил и может быть доволен. Он был того же мнения и сказал, мол, как бы полицейский ни старался, а тумаков он ей надавал, этого уже никто не изменит. И прибавил, что полицейских он изучил и знает, как с ними обращаться. Потом спросил — наверно, я ждал, что он тоже даст полицейскому по морде? Я сказал, ровным счетом ничего не ждал, а вообще не люблю я полицию. Раймон, видно, был очень доволен. Он спросил, не пойду ли я с ним пройтись. Я поднялся и пригладил волосы. Тут он сказал, что хочет взять меня в свидетели. Мне это было все равно, но я не знал, что надо говорить. Раймон объяснил: довольно будет подтвердить, что эта женщина его обманула. Я согласился выступить свидетелем.

Мы вышли из дому, и Раймон предложил выпить по рюмочке коньяку. После этого ему вздумалось сыграть партию в бильярд, и я немножко проиграл. Потом он звал меня в бордель, но я сказал — нет, потому что я этого не люблю. Тогда мы не спеша повернули обратно. И он все говорил, как он доволен, что проучил свою любовницу. Он был со мной очень мил, и я подумал: мы славно провели время.

Еще издали я увидел на пороге нашего дома старика Саламано, он был чем-то взволнован. Когда мы подошли поближе, оказалось — он без собаки. Он озирался по сторонам, вертелся волчком, вглядывался в темный коридор, бормотал что-то несвязное и вновь принимался воспаленными красными глазками обшаривать улицу. Раймон спросил, что с ним, но он ответил не сразу. Он все суетился, и я с трудом разобрал, что он ворчит сквозь зубы:

— Сволочь! Подлюга!

Я спросил, где пес.

— Удрал,— отрезал старик и вдруг разразился длинной речью: — Пошел я с ним, как всегда, на площадь. Там ярмарка, у балаганов полно народу. Я остановился поглядеть «Короля-бродягу». Потом собрался идти дальше, хвать, а его и след простыл. Правда, давно надо было купить ему ошейник поуже. Да только не думал я, что эта сволочь вот так возьмет и удерет.

Раймон стал ему толковать, что, может быть, пес просто заблудился и еще вернется. Он приводил разные случаи: сколько раз бывало, что собака пробежит десятки километров, а все-таки вернется к хозяину. Но старик все не мог успокоиться:

— Поймите, его прикончат. Еще если б кто-нибудь взял его себе. Да нет, кто его возьмет, шелудивого, им все брезгают. Его наверняка сцапают живодеры.

Тогда я посоветовал Саламано пойти на живодерню, пускай заплатит штраф — и собаку вернут. Он спросил, большой ли штраф. Я не знал. Тут он вспылил:

— Еще деньги платить за такую падаль! Да чтоб он сдох, подлый пес!

И разразился бранью. Раймон засмеялся и вошел в дом. Я пошел за ним, и на площадке мы расстались. Через минуту я услыхал шаги старика, и он постучал ко мне. Я открыл, он потоптался на пороге и сказал:

— Извините... прошу прощенья...

Я пригласил его войти, но он не вошел. Он потупился, его покрытые коростой руки тряслись. Не поднимая глаз, он спросил:

— Скажите, господин Мерсо, у меня его не отнимут? Мне его отдадут? А то что же со мной будет!

Я сказал, на живодерне собаку держат три дня, чтобы хозяин, если пожелает, мог ее забрать, а уж потом распоряжаются ею по своему усмотрению. Он долго молча глядел на меня. Потом сказал:

— Спокойной ночи.

И ушел к себе, я слышал, как он ходил по комнате взад-вперед.

Потом заскрипела кровать. Через перегородку донеслись странные глухие звуки, и я понял, что старик плачет. Сам не знаю почему, я подумал о маме. Но назавтра надо было рано вставать. Есть не хотелось, и я лег спать без ужина.

V

Раймон позвонил мне в контору. Он сказал, что один его приятель, которому он про меня рассказывал, приглашает меня на воскресенье за город, у него там домишко, вернее лачуга. Я сказал, что охотно бы поехал, да обещал провести воскресенье с подружкой. Раймон тотчас объявил: пускай и подружка едет. Жена приятеля только обрадуется, что будет не одна в мужской компании.

Я хотел сразу повесить трубку, патрон не любит, когда нам звонят на службу. Но Раймон сказал — одну минуту, приглашение он мог бы передать и вечером, но хочет меня еще кое о чем попросить. За ним весь день ходят по пятам несколько арабов, в том числе брат его бывшей любовницы.

— Если увидишь его вечером возле дома, когда вернешься, предупреди меня.

Я сказал — непременно.

Немного погодя меня позвали к патрону, и мне стало досадно, я подумал: сейчас он скажет, что надо поменьше разговаривать по телефону и побольше работать. Но оказалось, ничего подобного. Он объявил, что у него есть один план, пока еще неопределенный. И ему любопытно услышать мое мнение. Он намерен открыть в Париже отделение конторы, которое занималось бы делами прямо на месте, вело бы там переговоры с крупными парижскими фирмами, — так вот, не хочу ли я за это взяться? Тогда я мог бы жить в Париже и при этом довольно много разъезжать.

— Вы молоды, и, мне кажется, такая работа должна прийтись вам по вкусу.

Я сказал — пожалуй, хотя, в сущности, мне все равно. Тогда он спросил, неужели мне не интересно переменить образ жизни. Я сказал, в жизни ничего не переменишь, все одно и то же, а мне и так хорошо. У него стало недовольное лицо, и он сказал, вечно я отвечаю не по существу, нет у меня никакого честолюбия, и это очень плохо для дела. Тогда я опять пошел работать. Неприятно, что он недоволен, но с какой стати я буду менять свою жизнь? Если вдуматься, разве я несчастен? В студенческие годы были у меня всякие честолюбивые мечты. Но когда пришлось бросить учение, я очень быстро понял, что все это, в сущности, неважно.

Вечером пришла Мари и спросила, хочу ли я, чтобы мы поженились. Я сказал, мне все равно, можно и пожениться, если ей хочется. Тогда она захотела знать, люблю ли я ее. Я ответил, как и в прошлый раз, что это не имеет значения, но, конечно, я ее не люблю.

— Зачем же тогда на мне жениться? — спросила она.

Я объяснил, что это совершенно неважно, — отчего бы и не пожениться, раз ей хочется. Ведь она сама об этом просит, а я только соглашаюсь. Тогда она сказала, что брак — дело серьезное. Я сказал:

— Нет.

Она осеклась и с минуту молча смотрела на меня. Потом опять заговорила. Интересно знать, согласился бы я, если бы мне то же самое предложила другая женщина, с которой я был бы связан такими же отношениями? Я сказал:

— Разумеется.

Мари сказала, что и сама не понимает, любит ли она меня, но этого я уж вовсе не знал. Она опять помолчала, потом пробормотала, что я ка-

кой-то чудной, — конечно, за это она меня и любит, но, может быть, когда-нибудь именно из-за этого я стану ей противен. Мне нечего было прибавить, и я молчал; тогда она с улыбкой взяла меня под руку и объявила, что хочет выйти за меня замуж. Я ответил, когда ей угодно, тогда и поженимся, я не против. Потом рассказал ей о предложении патрона, и Мари сказала, что была бы очень рада повидать Париж. Я сказал, что когда-то жил там, и она спросила, какой он, Париж. Я сказал:

— Там грязно. Всюду голуби и закопченные дворы. А кожа у людей белая.

Потом мы вышли из дому и по широким улицам прошли через весь город. Нам встречались красивые женщины, и я спросил Мари, замечает ли она это. Она сказала, что да и что она меня понимает. Некоторое время мы больше не разговаривали. Но я хотел, чтобы она осталась со мной, и я сказал: можно пообедать вдвоем у Селеста. Мари ответила, что и рада бы, но она сегодня занята. Мы были уже недалеко от моего дома, и я сказал — до свиданья. Она посмотрела на меня.

— Тебе не любопытно, чем я занята?

Да, было любопытно, но я не догадался сразу спросить, и она, видно, ставила мне это в укор. Наверно, лицо у меня стало смущенное, и она засмеялась, потянулась ко мне всем телом и подставила губы.

Я пообедал у Селеста. Уже принялся за еду, и вдруг вошла какая-то чудачка и спросила, можно ли сесть за мой столик. Можно, разумеется. Она была престранная: маленькая, движения порывистые, лицо как яблочко, глаза блестят. Она сбросила жакет, села и принялась лихорадочно просматривать меню. Подозвала Селеста и тотчас торопливо, но решительно заказала обед. Дожидаясь закуски, открыла сумку, достала листок бумаги и карандаш, заранее все подсчитала, вытащила из кошелька сколько надо, прибавила на чай и положила деньги у прибора. Тут ей подали закуску, и она мигом все уплела. Дожидаясь следующего блюда, опять открыла сумку, вынула синий карандаш и журнал, где печатают программу радиопередач на неделю. И принялась старательно отмечать птичками чуть не все передачи подряд. Программа была разбросана на десятке страниц, так что работы ей хватило на весь обед. Я уже поел, а она все еще усердно ставила птички. Потом поднялась, теми же отчетливыми движениями, как автомат, надела жакет и вышла. Я тоже вышел и от нечего делать двинулся следом. Она устремилась по самому краю тротуара, до неправдоподобия быстро и уверенно, строго по прямой, не отклоняясь и не оглядываясь. В конце концов я потерял ее из виду и повернул назад. Вот чудна́я, подумал я, но быстро о ней забыл.

Возле моей двери торчал Саламано. Я повел его к себе, и он пожаловался, что пес пропал, — на живодерне его не оказалось. Тамошние служащие сказали, возможно, он попал под колеса. Саламано спросил, нельзя ли это узнать точно через полицию. Ему ответили, что таких случаев каждый день хоть пруд пруди и никто их не учитывает. Я сказал — можно завести новую собаку, но старик справедливо заметил, что к своему псу он привык.

Я сидел с ногами на кровати, а Саламано напротив меня, у стола. Руки он уронил на колени. Старой фетровой шляпы не снял. Он вяло жевал обрывки фраз, пожелтевшие усы шевелились. Он мне немного надоел, но делать все равно было нечего и спать не хотелось. Говорить тоже было не о чем, и я стал спрашивать про пса. Старик рассказал, что завел собаку после смерти жены. Женился он поздно. В молодости хотел стать актером, еще в полку играл в солдатских самодельных пьесках. А кончилось тем, что пошел служить на железную дорогу и не жалеет об этом — ведь теперь ему платят небольшую пенсию. С женой он счастлив не был, но, в общем-то, сильно к ней привык. Когда она умерла, ему ста-

ло очень одиноко. Тогда он выпросил у одного товарища по мастерской собаку. Это был совсем крохотный щенок, его пришлось выкармливать из рожка. Но собачий век короче человеческого, и они состарились вместе.

— У него был скверный характер, — сказал Саламано. — Бывали у нас и нелады. А все-таки он был хороший пес.

Я сказал — да, пес породистый, и старику, видно, это польстило.

— Вы его не знали в ту пору, когда он еще не захворал, — прибавил он. — Шерсть у него была уж так хороша, любо поглядеть.

С тех пор как на пса напала хворь, Саламано каждое утро и каждый вечер натирал его мазью. Но, в сущности, пес был не болен, а просто-напросто стар, так ведь от старости не вылечишь.

Тут я зевнул, и Саламано сказал, что ему пора. Я сказал — пускай еще посидит, досадно, что с его псом приключилась беда; старик поблагодарил. Он сказал, что его пса очень любила моя мама. «Ваша бедная матушка»,— сказал он. И затем изрек: уж наверно, смерть мамы для меня страшное несчастье, но я ничего не ответил. Тогда он как будто смутился и скороговоркой прибавил: мол, в нашем квартале меня осуждают за то, что я отдал маму в богадельню, но он-то меня знает и не сомневается, что я маму очень любил. Я ответил, сам не понимаю зачем, мол, первый раз слышу, что меня за это осуждают, мне казалось совершенно естественным устроить маму в дом призрения, ведь у меня не хватало денег на сиделку.

— И потом,— прибавил я,— ей уже давно не о чем было со мной говорить, а одна она скучала.

— Да, — согласился Саламано, — в богадельне можно, по крайней мере, завести друзей.

Потом он стал прощаться. Пора спать. Жизнь его переменилась, и он еще не понимает, как быть дальше. Впервые за все годы, что я его знал, он робко протянул мне руку, и я почувствовал, какая она у него шершавая. Уходя, он слабо улыбнулся и сказал:

— Хоть бы собаки ночью не лаяли. Мне все мерещится, что это лает мой пес.

VI

В воскресенье я насилу проснулся. Мари пришлось звать меня и трясти. Завтракать мы не стали, потому что хотели искупаться пораньше. У меня сосало под ложечкой и немного болела голова. Сигарета показалась горькой. Мари посмеивалась и уверяла, что у меня похоронная физиономия. Она надела белое полотняное платье, распустила волосы. Я сказал, что она красивая, и она засмеялась от удовольствия.

Выходя, мы постучали в дверь к Раймону. Он крикнул, что сейчас идет. Оттого, что я не выспался, да еще в комнате мы не поднимали шторы, яркий солнечный свет ошеломил меня, как пощечина. Мари прыгала от радости и все повторяла, какой чудесный день. Я немного оправился и вдруг сообразил, что голоден. Сказал об этом Мари, а она показала мне свою клеенчатую сумку — там лежали только наши купальные костюмы и полотенце. Оставалось одно — ждать; наконец мы услышали, что Раймон запирает свою комнату. Он вышел в синих штанах, в белой рубашке с короткими рукавами. А на голове у него была соломенная шляпа-канотье, и Мари даже засмеялась; руки у него до локтя оказались очень белые, густо заросшие черными волосами. Мне стало немного противно. Спускаясь по лестнице, Раймон насвистывал, вид у него был очень довольный. Он сказал мне:

— Привет, старина!

А Мари назвал «мадемуазель».

Накануне мы с ним ходили в полицию, и я засвидетельствовал, что

та особа «обманула» Раймона. Ему сделали предупреждение и отпустили. Мои слова никто не проверял. Сейчас, выйдя на улицу, мы с Раймоном еще об этом поговорили, потом решили сесть в автобус. До пляжа не очень далеко, но так будет быстрее. Раймон сказал — его приятель будет доволен, если мы явимся пораньше. Мы уже хотели идти на остановку, как вдруг Раймон сделал мне знак, чтобы я поглядел через дорогу. Там, прислонясь к витрине табачной лавки, стояли несколько арабов. Они молча смотрели на нас, но так равнодушно, будто мы были камни или высохшие деревья. Раймон мне сказал, что второй слева и есть тот самый, и лицо у него стало озабоченное. Впрочем, прибавил он, это уже дело прошлое. Мари не поняла и спросила, о чем речь. Я объяснил, что эти арабы злы на Раймона. Она сказала — так пойдем скорей отсюда. Раймон гордо выпрямился, но тут же засмеялся и сказал, что нам и правда надо спешить.

Мы двинулись к остановке автобуса — это недалеко, и Раймон объявил мне, что арабы за нами не пошли. Я обернулся. Они даже не пошевелились и все так же равнодушно смотрели на то место, где мы только что стояли. Мы сели в автобус. У Раймона, видно, стало легче на душе, и он все время подшучивал над Мари. Я понял, что она ему нравится, но на шуточки она почти не отвечала. Только изредка поглядывала на него и смеялась.

Выехали за город. От остановки автобуса до пляжа совсем близко. Надо только пересечь ровное открытое место на высоком берегу, а дальше отлогий спуск ведет к пляжу. Под ногами валялись желтоватые камни и ярко белели на фоне неба, уже налившегося густой синевой. асфодели. Мари забавлялась — размахивала клеенчатой сумкой, сбивая лепестки асфоделей. Мы шли между рядами загородных дач, обнесенных белыми и зелеными заборами, одни домики вместе с верандами прятались в кустах тамариска, другие стояли совсем голые среди камней. Еще не дойдя до края плоскогорья, мы увидели неподвижное море. Поодаль прозрачную воду разрезал тяжелый сонный мыс. В ясном воздухе слышался слабый стук мотора. Далеко-далеко мы увидели маленькое рыбачье судно, оно неприметно скользило по сверкающему морю. Мари нашла между камнями несколько ирисов. С пологого склона видно было, что на берегу уже кое-где есть купальщики.

Приятель Раймона жил в деревянном домишке на самом краю пляжа. Домишко прислонился к скале, спереди его подпирали сваи, вокруг плескалась вода. Раймон нас познакомил. Приятеля звали Масон. Он был рослый, плотный, плечистый, а жена его — маленькая, кругленькая, приветливая, по выговору — парижанка. Он сразу сказал, чтоб мы располагались как дома, сейчас он нас угостит жареной рыбой, он сам наловил ее нынче утром. Я сказал — домик у него очень красивый. Он ответил, что проводит здесь каждую субботу и воскресенье и весь отпуск.

— Вместе с женой, понятное дело,— прибавил он.

Его жена и Мари говорили о чем-то и смеялись. Кажется, впервые я всерьез подумал: пожалуй, и правда надо мне жениться.

Масон хотел купаться, но его жене и Раймону идти не хотелось. Мы пошли втроем, и Мари сразу бросилась в воду. Мы с Масоном немного посидели на песке. Речь у него была медлительная, и за ним водилась привычка то и дело приговаривать «более того», даже когда он уже ничего не прибавлял к сказанному. Про Мари он сказал:

— Она изумительна и более того — прелестна.

Потом я уже не обращал внимания на эту нелепую присказку, а лежал и наслаждался — было очень приятно греться на солнце. Песок под ногами стал горячий. Я еще помедлил, хотя меня уже тянуло в воду, и наконец сказал Масону:

— Пошли?

И бросился в воду. А он вошел осторожно и поплыл, только когда ноги перестали доставать дно. Плыл он брассом, довольно плохо, так что я его оставил и пустился догонять Мари. Вода была холодная, а плыть приятно. Мы с Мари заплыли далеко, славно было плыть так дружно, в лад и чувствовать, что нам обоим хорошо.

Отплыв подальше, мы перевернулись на спину, я смотрел в небо, и под солнцем вмиг высохли на лице и на губах соленые брызги. Нам было видно, как Масон вышел из воды и растянулся на припеке. Издали он казался великаном. Мари захотелось поплавать вместе со мной. Я пристроился позади, взял ее за талию, и она поплыла, работая руками, а я помогал, отталкиваясь ногами. В тишине утра негромко плескала вокруг вода. А потом я устал, оторвался от Мари и поплыл к берегу, равномерно взмахивая руками и глубоко дыша. Вылез из воды и растянулся на животе рядом с Масоном, лицом в песок. Хорошо, сказал я ему, и он согласился. Немного погодя приплыла Мари. Я повернулся и смотрел, как она выходит на берег. От соленой воды она была вся точно лакированная, волосы откинуты назад. Она вытянулась на песке рядом со мной, от ее жаркого тела и от жаркого солнца я задремал.

Мари потрясла меня за плечо и сказала, что Масон пошел к себе и уже пора завтракать. Я сейчас же поднялся, потому что хотелось есть, но Мари сказала — я с утра еще ни разу ее не поцеловал. И правда, ни разу, а поцеловать хотелось.

— Пойдем окунемся,— сказала она.

Мы вбежали в воду и закачались на прибрежных волнах. Поплыли немного, и Мари прильнула ко мне. Обхватила мои ноги своими, и я ее захотел.

Когда мы подходили к дому, Масон с порога уже звал нас. Я сказал — до чего хочется есть, и он сейчас же заявил своей жене, что я ему нравлюсь. Хлеб был вкусный, я вмиг уплел свою порцию рыбы. Потом было мясо с жареной картошкой. Ели молча. Масон прихлебывал вино и то и дело подливал мне. К тому времени, как подали кофе, голова у меня стала тяжелая, и я начал курить одну сигарету за другой. Мы с Масоном и Раймоном надумали в августе пожить всем вместе в складчину здесь, на пляже. И вдруг Мари сказала:

— А знаете, который час? Половина двенадцатого.

Мы все удивились, но Масон сказал — ну и пускай, поели рано, ничего страшного тут нет: когда проголодаешься, тогда самое время поесть. Не знаю почему, но Мари это очень насмешило. Наверно, она выпила лишнее. Масон спросил — может, я хочу прогуляться с ним по пляжу?

— Жена после еды всегда отдыхает. А я этого не люблю. Мне надо пройтись. Я ей всегда говорю, что это куда полезнее для здоровья. Но, в конце концов, ее воля, пускай делает как знает.

Мари объявила, что останется и поможет госпоже Масон перемыть посуду. Маленькая парижанка сказала — для этого надо выставить мужчин за дверь. И мы трое вышли.

Солнечные лучи падали на песок почти отвесно, и море под ними блестело нестерпимо. На пляже не было ни души. Из домишек, которые лепились на краю высокого берега, нависая над морем, слышался звон посуды, стук ножей и вилок. От раскаленных камней под ногами несло жаром так, что дух захватывало. Раймон с Масоном заговорили о делах и людях, мне не знакомых. Я понял, что они знают друг друга очень давно и даже когда-то жили под одной крышей. Мы шли по кромке песка, вдоль самой воды. Иногда волна побойчее с разбегу обдавала наши парусиновые туфли. Я ни о чем не думал, солнце жгло непокрытую голову, и от этого меня клонило ко сну.

Вдруг Раймон сказал Масону что-то, чего я не расслышал. Но в ту же минуту я увидел далеко впереди, в самом конце пляжа, двух арабов в синем — они шли нам навстречу. Я поглядел на Раймона, и Раймон сказал:

— Это он самый.

Мы шли, не останавливаясь. Масон спросил, как же они догадались приехать сюда. Я подумал: должно быть, видели, что мы с пляжной сумкой садились в автобус, но промолчал.

Арабы не спеша подходили все ближе. Мы не замедляли шага, но Раймон сказал:

— Если начнется потасовка, ты, Масон, займись вторым. О своем субчике я сам позабочусь. А если явится третий, это уж для тебя, Мерсо.

— Ладно,— сказал я.

Масон заложил руки в карманы. Раскаленный песок мне теперь казался багровым. Размеренно, не торопясь, мы шли навстречу арабам. Расстояние сокращалось. Когда нас разделяло уже всего несколько шагов, арабы остановились. Мы с Масоном замедлили шаг. Раймон пошел прямиком к своему врагу. Я не расслышал, что он ему сказал, но тот пригнулся, будто хотел на него броситься. Тогда Раймон нанес первый удар и тотчас позвал Масона. Масон подошел ко второму арабу и дважды ударил его изо всей силы. Тот плашмя свалился в воду, лицом вниз, и несколько секунд лежал так, а вокруг его головы на воде лопались пузыри. Тем временем Раймон опять ударил противника и разбил ему лицо в кровь. Обернулся ко мне и сказал:

— Сейчас я его изукрашу!

Я крикнул:

— Берегись, нож!

Но араб уже полоснул его по руке повыше локтя и по губам.

Масон прыгнул вперед. Но второй араб поднялся и стал позади того, с ножом. Мы не смели шевельнуться. Они медленно отступали, не сводя с нас глаз и грозя ножом. А отойдя подальше, пустились бежать, мы же остались под солнцем, будто в землю вросли; Раймон зажимал рану на руке, из нее сочилась кровь.

Масон вспомнил, что тут есть врач. Он по воскресеньям всегда приезжает на дачу. Раймон хотел сейчас же пойти к нему. Но при каждом слове у него на разрезанных губах пузырилась кровь. Мы взяли его под руки и поскорей отвели в домик Масона. Там Раймон заявил, что у него не раны, а царапины, он может и сам пойти к врачу. Они с Масоном ушли, а я стал объяснять женщинам, что случилось. Госпожа Масон плакала, Мари сильно побледнела. Под конец мне надоело с ними толковать. Я замолчал и стал курить, глядя на море.

К половине второго Раймон с Масоном вернулись. Рука у Раймона была на перевязи, угол рта залеплен пластырем. Врач сказал, что это все пустяки, но Раймон был мрачнее тучи. Масон пытался его рассмешить. Но он отмалчивался. Потом заявил, что опять пойдет на пляж, и я спросил — куда. Он ответил — просто подышать воздухом. Мы с Масоном сказали, что тоже пойдем. Он вдруг разозлился и обругал нас. Масон сказал — не надо ему перечить. Но я все-таки пошел за Раймоном.

Мы долго шли по пляжу. Солнце жгло невыносимо. Оно дробилось на песке и на воде в колкие осколки. Мне казалось, Раймон знает, куда идет, но, наверно, я ошибался. В самом конце пляжа мы набрели на родничок, он выбегал из-за большой скалы и струился по песку к морю. Здесь мы увидели тех двух арабов. Они лежали на песке в своих засаленных синих одеждах. С виду они были смирные, даже кроткие. И к нашему появлению отнеслись очень спокойно. Тот, который ударил Раймона ножом, теперь молча смотрел на него. Второй насвистывал на тро-

стниковой дудке, он искоса на нас поглядывал и повторял опять и опять одни и те же три ноты.

Было только солнце и тишина, вполголоса журчал ручей да выводила одно и то же тростниковая дудка. Потом Раймон сунул руку в карман за револьвером, но его противник не пошевелился, они в упор смотрели друг на друга. Я заметил, что у того, который играл на дудке, большие пальцы на ногах далеко отставлены от остальных. Но тут Раймон, все не сводя глаз с врага, спросил меня:

— Прикончить его?

Я подумал — если сказать нет, он взовьется и наверняка выстрелит. И я проговорил только:

— Он еще ни слова не сказал. Было бы свинством стрелять ни с того ни с сего.

Опять стоим в жаре, в тишине, слушаем журчанье родника и дудки. Потом Раймон говорит:

— Тогда я его обругаю, а как ответит — прикончу.

— Ну что ж,— отвечаю.— Только если он не вытащит нож, стрелять не годится.

Раймон понемногу взвинчивался. Второй араб все играл, и оба они следили за каждым движением Раймона.

— Вот что, — сказал я. — Сойдись с ним один на один, а револьвер отдай мне. Если второй вмешается или если этот вытащит нож, я его пристрелю.

Раймон отдал мне револьвер, металл блеснул на солнце. Но мы по-прежнему не шевелились, будто весь мир оцепенел и сковал нас. Мы только глядели в упор на арабов, арабы — на нас, а море, солнце и песок, еле слышная дудка и родник будто замерли. И я подумал — можно стрелять, а можно и не стрелять, какая разница. Но вдруг арабы попятились и скользнули за скалу. Тогда мы с Раймоном повернули назад. Его как будто отпустило, и он сказал — пора к автобусу и домой.

Я проводил его до лачуги Масона, и он стал взбираться по деревянной лестнице, а я остановился внизу: в голове гудело от жары и не хватало пороху одолеть два десятка ступеней да еще разговаривать с женщинами. Но солнце пекло немилосердно, с неба хлестал дождь слепящего света, и оставаться под ним было тоже невмоготу. Остаться тут или идти — в конце концов, было все едино. Я постоял минуту, повернулся и зашагал обратно на пляж.

Все так же слепил багровый песок. Море, тяжко дыша и захлебываясь, выплескивало на него мелкие волнишки. Я медленно шел к скалам и чувствовал, как от солнца пухнет голова. Жара давила, стеной вставала поперек дороги, обдавала лицо палящим дыханием. И я опять и опять стискивал зубы, сжимал кулаки в карманах штанов, весь напрягался, силясь побороть солнце и мутное опьянение, которое обволакивало меня и валило с ног. Всякая песчинка, побелевшая от солнца раковина, осколок стекла метали в меня копья света, и я судорожно стискивал зубы. Я шел долго.

Вдалеке завиднелась темная глыба скалы в ослепительном ореоле света и летящей морской пены. Я вспомнил, что за скалой течет прохладный родник. Захотелось опять услышать его журчанье, укрыться от солнца, не напрягать мышц, не видеть женских слез, захотелось, наконец, тени и покоя. Но когда я подошел ближе, оказалось — тот араб, враг Раймона, вернулся.

Он был один. Он лежал на спине, заложив руки под голову, лицо было в тени скалы, а все тело на солнце. В жарких лучах от синего балахона шел пар. Я немного удивился. Я-то думал, с этим делом покончено, и совсем про него позабыл, когда шел сюда.

Завидев меня, араб приподнялся и сунул руку в карман. Понятно, я

нащупал в кармане куртки револьвер Раймона. Тогда араб опять откинулся на спину, но руку из кармана не вынул. Я был от него довольно далеко, метров за десять. Порой между полусомкнутыми веками я угадывал его взгляд. Но чаще его черты расплывались передо мной в дрожащем знойном воздухе. Волны плескали еще реже, еще ленивее, чем в полдень. Все то же солнце, тот же сверкающий, слепящий песок, и нет им конца. Вот уже два часа, как день оцепенел, два часа, как он бросил якорь в океане расплавленного металла и не двигается с места. На горизонте шел пароход, я едва заметил краем глаза темную точку, потому что неотрывно смотрел на араба.

Я подумал: стоит только повернуться и пойти прочь — и все кончится. Но весь раскаленный знойный берег словно подталкивал меня вперед. Я ступил к роднику — шаг, другой. Араб не шелохнулся. Все-таки до него было еще довольно далеко. Может быть, от того, что на лицо его падала тень, казалось — он усмехается. Я помедлил. Солнце жгло мне щеки, на брови каплями стекал пот. Вот так же солнце жгло, когда я хоронил маму, и, как в тот день, мучительней всего ломило лоб и стучало в висках. Я не мог больше выдержать и подался вперед. Я знал: это глупо, я не избавлюсь от солнца, если сдвинусь на один только шаг. И все-таки я сделал его — один-единственный шаг вперед. Тогда, не поднимаясь, араб вытащил нож и показал мне, выставив на солнце. Оно высекло из стали острый луч, будто длинный искрящийся клинок впился мне в лоб. В тот же миг пот, скопившийся у меня в бровях, потек по векам и затянул их влажным полотнищем. Я ничего не различал за плотной пеленой соли и слез. И ничего больше не чувствовал, только в лоб, как в бубен, било солнце да огненный меч, возникший из стального лезвия, маячил передо мной. Этот жгучий клинок рассекал мне ресницы, вонзался в измученные, воспаленные глаза. И тогда все закачалось. Море испустило жаркий, тяжелый вздох. Мне почудилось — небо разверзлось во всю ширь и хлынул огненный дождь. Все во мне напряглось, пальцы стиснули револьвер. Выпуклость рукоятки была гладкая, отполированная, спусковой крючок поддался — и тут-то, сухим, но оглушающим треском, все и началось. Я стряхнул с себя пот и солнце. Я понял, что разрушил равновесие дня, необычайную тишину песчаного берега, где совсем недавно мне было так хорошо. Тогда я еще четыре раза выстрелил в распростертое тело, пули уходили в него, не оставляя следа. И эти четыре отрывистых удара прозвучали так, словно я стучался в дверь беды.

ЧАСТЬ II

I

Сразу же после ареста меня несколько раз допрашивали. Но допросы были недолгие — просто выясняли, кто я такой. В первый раз, в полицейском участке, моим делом, кажется, ровно никто не заинтересовался. Неделю спустя, напротив, судебный следователь смотрел на меня с любопытством. Но для начала он только спросил мое имя и адрес, род занятий, время и место рождения. Потом пожелал узнать, выбрал ли я себе адвоката. Я сказал — нет, а разве это так уж необходимо?

— То есть как? — удивился он.

Я сказал, по-моему, дело мое очень простое.

Он улыбнулся и сказал:

— Можно считать и так. Однако существует закон. Если вы не выберете себе защитника сами, мы вам кого-нибудь назначим.

Я подумал: очень удобно, что правосудие само заботится обо всех мелочах. Так я и сказал следователю. Он согласился и заметил, что законы составлены весьма разумно.

Сначала я не принял его всерьез. Он ждал меня в кабинете с завешенными окнами, горела одна только лампа на письменном столе и освещала кресло, в которое он меня усадил, а сам остался в тени. Я уже читал про такие вещи в книгах, и все это показалось мне игрой. Но когда мы поговорили, я посмотрел на него внимательней — он был высокий, тонкие черты лица, глубоко посаженные голубые глаза, длинные седеющие усы и грива почти совсем белых волос. Он показался мне человеком очень разумным и в общем приятным, хотя рот у него как-то нервно подергивался. Уходя, я чуть было не протянул ему руку, да вовремя вспомнил, что ведь я убил человека.

На другой день ко мне в тюрьму пришел адвокат. Он был маленький, кругленький, еще молодой, с тщательно прилизанными волосами. Несмотря на жару (я сидел без куртки), на нем был темный костюм, крахмальный воротничок и какой-то необыкновенный галстук в широкую черную и белую полосу. Он водрузил на мою койку портфель, представился и объявил, что внимательно изучил дело. Случай щекотливый, но он не сомневается в успехе, если только я вполне ему доверюсь. Я поблагодарил, и он сказал:

— Перейдем прямо к сути.

Он сел на койку и сообщил, что уже наведены справки о моей личной жизни. Стало известно, что моя мать недавно умерла в доме призрения. Тогда послали запрос в Маренго. Там следователям сообщили, что в день похорон мамы я «проявил бесчувственность».

— Понимаете, — сказал мой защитник, — мне неловко вас об этом расспрашивать. Но это крайне важно. И обвинение с успехом использует этот довод, если я ничего не сумею возразить.

Он хотел, чтобы я ему помог. Он спросил, горевал ли я в тот день. Я очень удивился, мне кажется, сам я постеснялся бы задать кому-нибудь такой вопрос. Все же я ответил, что несколько отвык разбираться в своих чувствах и затрудняюсь ему что-либо объяснить. Конечно, я любил маму, но какое это имеет значение. Всякий разумный человек так или иначе когда-нибудь желал смерти тем, кого любит. Тут адвокат меня перебил и, кажется, очень разволновался. Он взял с меня слово не говорить так ни на суде, ни у следователя. Все же я ему объяснил, что такой уж я от природы — когда мне физически не по себе, все мои чувства и мысли путаются. В тот день, когда хоронили маму, я очень устал и не выспался. И поэтому плохо соображал, что происходит. Одно могу сказать наверняка: я бы предпочел, чтобы мама была жива. Но защитник, видно, остался недоволен. Он сказал:

— Этого недостаточно.

Он задумался. Потом спросил, может ли он сказать на суде, что в тот день я взял себя в руки и сдержал естественную скорбь. Я сказал:

— Нет, ведь это неправда.

Он странно на меня посмотрел, как будто я был ему немного противен. И сказал почти злобно, что, во всяком случае, директор и служащие дома призрения будут вызваны в качестве свидетелей, «и тогда дело может принять для вас прескверный оборот». Я сказал — это здесь ни при чем, ведь меня судят совсем за другое, но он ответил только — сразу видно, что я никогда не сталкивался с правосудием.

Ушел он сердитый. Мне хотелось его удержать, объяснить, что я был бы рад, если бы он отнесся ко мне по-хорошему,— и не потому, что тогда бы он больше старался, защищая меня, а просто так. Главное, я видел: из-за меня ему неспокойно. Он меня не понимал и поэтому немного злился. Мне хотелось растолковать ему, что я такой же, как все люди, в точ-

ности такой же. Но все это, в сущности, бесполезно, мне стало лень, и я махнул рукой.

Попозже меня опять отвели к следователю. Было два часа дня, и на этот раз кабинет был залит светом, легкая занавеска его почти не смягчала. Было очень жарко. Следователь предложил мне сесть и весьма любезно сообщил, что мой адвокат не мог прийти — «помешали обстоятельства». Но я имею право не отвечать на вопросы и ждать адвоката. Я сказал, что и один могу отвечать. Он нажал кнопку звонка на столе. Вошел молодой секретарь и сел очень близко позади меня.

Мы со следователем поудобнее устроились в креслах. Начался допрос. Сперва он сказал, что, по общему мнению, я человек молчаливый и замкнутый, — а сам я как полагаю? Я ответил:

— Просто мне нечего сказать. Вот я и молчу.

Он, кажется, впервые улыбнулся, согласился, что более веской причины не найдешь, и прибавил:

— Впрочем, это неважно. — Замолчал, посмотрел на меня, вдруг выпрямился и сказал быстро: — Меня интересуете вы сами.

Я не очень понял, что он имеет в виду, и не ответил.

— Есть в вашем поступке что-то для меня неясное, — продолжал он. — Я уверен, вы поможете мне в этом разобраться.

Я сказал — все очень просто. Он попросил, чтобы я еще раз подробно описал ему тот день. Я перебрал заново все то, о чем уже рассказывал ему: Раймон, пляж, купанье, стычка с арабами, опять пляж, родник, солнце и пять выстрелов из револьвера. Он то и дело приговаривал:

— Так, так.

И когда я дошел до неподвижного тела на песке, он опять одобрил:

— Хорошо.

Мне уже надоело повторять все одно и то же, кажется, никогда в жизни я так много не говорил.

Мы помолчали, потом он поднялся и сказал, что хочет мне помочь, что я его заинтересовал и с божьей помощью он постарается что-нибудь для меня сделать. Но сначала хочет задать мне еще несколько вопросов. И без перехода спросил, любил ли я маму. Я сказал:

— Да, как все люди.

Секретарь, который до сих пор без остановки стучал на машинке, тут, наверно, сбился и ударил не по той клавише: он вдруг замешкался, и ему пришлось вернуться назад. Так же некстати, без видимой связи следователь спросил, стрелял ли я пять раз подряд, без перерыва. Я подумал и вспомнил, что сперва выстрелил один раз, а чуть погодя еще четыре.

— Почему вы ждали после первого выстрела? — спросил он.

Я снова увидел багровый пляж и почувствовал, как солнце жжет лоб. Но на этот раз ничего не ответил. Наступило долгое молчание, следователь как будто заволновался. Он опять сел, взъерошил волосы, облокотился на стол и с каким-то странным видом наклонился ко мне.

— Почему, почему вы стреляли в убитого?

Я опять не знал, что ответить. Следователь провел ладонями по лбу и повторил изменившимся голосом:

— Почему? Скажите мне, это необходимо: почему?

Я все молчал.

Он резко поднялся, большими шагами прошел через весь кабинет к картотеке и открыл ящик. Вытащил оттуда серебряное распятие и, размахивая им, вернулся ко мне. И совсем другим тоном, чуть ли не с дрожью в голосе, воскликнул:

— Да знаете ли вы его?

Я сказал:

— Да, конечно.

Тогда он быстро, с жаром заговорил: он верит в бога, он убежден, что нет на свете человека столь виновного, чтобы господь бог его не простил, но для этого виновный должен раскаяться и стать душою как дитя — открыт и доверчив. Следователь перегнулся над столом. Он махал распятием чуть не над самой моей головой. Сказать по правде, я плохо улавливал нить его мыслей, потому что было очень жарко, да еще по кабинету летали огромные мухи и садились мне на лицо, а кроме того, он меня немного пугал. И, однако, я понимал, что бояться смешно, ведь, в конце концов, преступник-то я. А он все говорил и говорил. Насколько я понял, в моем признании ему неясно одно — то обстоятельство, что после первого выстрела я выждал и дальше стрелял не сразу. Все остальное его не смущает, а вот этого он понять не может.

Я хотел сказать, что напрасно он упорствует: сразу ли стрелял, не сразу ли — невелика важность. Но он меня перебил и, выпрямившись во весь рост, в последний раз потребовал ответа: верю ли я в бога. Я сказал — не верю. Он рассердился и сел. И сказал, что этого не может быть, все люди верят в бога, даже те, кто от него отворачивается. Таково его глубочайшее убеждение, и, если он вынужден будет в этом усомниться, вся его жизнь потеряет смысл.

— Неужели вы хотите, чтобы жизнь моя потеряла смысл? — воскликнул он.

Я рассудил, что меня это не касается, и так ему и сказал. Но он через стол сунул распятие мне чуть не под нос и закричал, как одержимый:

— Я христианин! Я молю его отпустить тебе твои грехи! Как ты можешь не верить, что он страдал за тебя?

Конечно, я заметил, что он уже говорит мне, как близкому, «ты», но с меня было довольно. Жара становилась нестерпимой. Как всегда, когда я хочу избавиться от кого-нибудь, кого слушаю через силу, я сделал вид, что со всем согласен. К моему удивлению, следователь возликовал.

— Вот видишь, видишь! — с торжеством заявил он.— Ведь правда, ты веруешь в него и доверишься ему?

Разумеется, я еще раз сказал — нет. Он тяжело опустился в кресло. Лицо у него сделалось очень усталое. Он немного помолчал, а пишущая машинка, которая не переставала трещать во все время нашего разговора, еще достукивала последние слова. Потом следователь посмотрел на меня внимательно и даже печально. И пробормотал:

— Никогда еще я не видел души столь очерствелой, как ваша. Все преступники, сколько их ни проходило через мои руки, плакали перед этим скорбным ликом.

Я хотел ответить — потому и плакали, что они преступники. Но тотчас подумал, что ведь и я такой же. Я никак не мог свыкнуться с этой мыслью. Тут следователь встал, словно в знак того, что допрос окончен. Он только спросил еще, с тем же усталым видом, сожалею ли я о своем поступке. Я подумал и сказал — не то чтобы жалею, но мне неприятно. Кажется, он не понял. Но в тот день на этом все и кончилось.

Потом я еще часто бывал у этого следователя. Но каждый раз со мною приходил мой защитник. И от меня требовалось только уточнять разные подробности прежних показаний. Или же следователь обсуждал с адвокатом пункты обвинения. Но в эти минуты сам я нисколько их обоих не занимал. Во всяком случае, тон допросов понемногу изменился. По-видимому, для следователя мое дело прояснилось, и он потерял ко мне интерес. Он больше не заговаривал со мной о боге, и я уже никогда не видал его в таком волнении, как при первой встрече. И поэтому наши разговоры стали более непринужденными. Несколько вопросов, короткая беседа с адвокатом — вот и все. Дело мое, как выражался следователь, двигалось своим чередом. Иногда, если разговор заходил на какую-нибудь общую тему, меня тоже в него втягивали. И я начинал дышать сво-

боднее. В эти часы никто на меня не злился. Все разыгрывалось, как по нотам, естественно, размеренно, спокойно, и у меня возникало забавное ощущение, как будто я здесь — член семьи. Следствие длилось одиннадцать месяцев, и под конец мне почти не верилось, что у меня когда-то бывали другие удовольствия, кроме этих редких минут, когда следователь провожал меня до дверей кабинета, похлопывал по плечу и говорил дружески:

— Ну, на сегодня хватит, господин Антихрист!

А затем меня передавали с рук на руки жандармам.

II

Об иных вещах я всегда не любил говорить. И в тюрьме я в первые же дни понял: об этой полосе моей жизни говорить будет неприятно.

Потом я стал думать, что и это чувство ровно ничего не значит. В сущности, на первых порах я еще не был настоящим арестантом, я смутно ждал: вот-вот что-то изменится. Все началось только после первого и единственного посещения Мари. С того дня, как я получил от нее письмо (она писала, что ей больше не разрешают меня навещать, потому что мы не женаты), с того самого дня я почувствовал: теперь камера и есть мой дом, и на этом жизнь моя остановилась. Сначала после ареста меня заперли в помещении, где уже сидели несколько заключенных, почти все — арабы. Увидев меня, они стали смеяться. Потом спросили, что я сделал. Я сказал, что убил араба, и они замолчали. Но очень скоро стемнело и они объяснили мне, как разложить циновку, на которой предстояло спать. Один конец надо скатать валиком вместо подушки. Всю ночь у меня по лицу бегали клопы. Через несколько дней меня перевели в одиночку, там я спал на деревянных нарах. У меня была параша и жестяной таз для умыванья. Тюрьма стояла высоко над городом, и в узкое оконце видно было море. Однажды, когда я, ухватясь за прутья решетки, тянулся к свету, вошел надзиратель и сказал, что ко мне пришли. Я подумал — наверно, Мари. И правда, это была она.

В комнату свиданий меня вели длинным коридором, потом по лестнице и, наконец, еще одним коридором. Я вошел в просторный зал с огромными окнами по одной стене. Две решетчатые перегородки рассекали зал во всю длину на три части. Пустое пространство между решетками, метров восемь или десять, отделяло посетителей от арестантов. Напротив меня стояла Мари, я увидел платье в полоску и загорелое лицо. По ту же сторону, что и я, было еще с десяток заключенных, почти все — арабы. Посетительницы, кроме Мари, тоже были больше мавританки; справа от нее, плотно сжав губы, стояла маленькая старушка в черном, слева — простоволосая толстуха, эта кричала во все горло и размахивала руками. Да и всем заключенным и посетителям приходилось кричать, расстояние между решетками было слишком велико. Гул голосов и резкий свет, лившийся в окна, еще усиливались, отражаясь от голых стен, и, когда я вошел, у меня даже голова закружилась. В камере моей было куда тише и темнее. Не вдруг я освоился. Но потом в ярком свете начал ясно различать лица. В конце прохода между решетками сидел надзиратель. Многие арестанты-арабы и их родичи присели друг против друга на корточки. Эти не кричали. Несмотря на шум и гам вокруг, они говорили совсем тихо и умудрялись понимать друг друга. Они глухо бормотали внизу, будто гудела басовая струна, сопровождая вопросы и ответы, перелетавшие у них над головой. Все это я заметил очень быстро и направился к Мари. Она уже прильнула к решетке и изо всех сил улыбалась мне. Она показалась мне очень красивой, но я не умел ей это сказать.

— Ну как? — очень громко спросила она.
— Да так.
— Ты здоров, у тебя есть все, что нужно?
— Да, есть.

Мы замолчали, Мари все улыбалась. Толстуха что-то орала моему соседу, рослому детине со светлыми волосами и простодушным взглядом, — наверно, мужу. Разговор этот, видно, начался еще до моего прихода.

— Жанна не хотела его брать! — во всю мочь вопила толстуха.
— Да, да, — повторял муж.
— Я ей сказала, что ты, как выйдешь, опять его заберешь, а она все равно не захотела его взять!

Тут Мари крикнула, что Раймон передает мне привет, и я сказал:
— Спасибо.

Но меня заглушил сосед, крикнув жене:
— А он как, здоров?

Она засмеялась и ответила:
— Лучше всех!

Мой сосед слева — молодой, щуплый, с тонкими руками — все время молчал. Я заметил, что он стоит напротив маленькой старушки и они неотрывно смотрят друг на друга. Но больше я не успел за ними понаблюдать, потому что Мари закричала: надо надеяться на лучшее!

Я сказал:
— Да.

Я смотрел на нее, и мне хотелось сжать ее плечо, прикрытое легким платьем. Мне хотелось этой чудесной плоти, и, право, не знаю, на что еще, кроме этого, стоило надеяться. Но, конечно, то же самое думала и Мари, потому что она все время улыбалась. Теперь я только и видел блеск ее зубов да смеющиеся морщинки у глаз. Она опять закричала:
— Вот выйдешь — и поженимся!
— Ты думаешь? — ответил я, надо ж было что-то сказать.

Она ответила очень быстро и очень громко — да-да, меня оправдают, и мы еще поплаваем. Но толстуха рядом с нею кричала еще громче: она, мол, передала корзинку в тюремную канцелярию,— и перечисляла все, что в корзинку положено. И пускай он проверит — ведь все это стоит денег! Второй мой сосед и его мать по-прежнему не сводили глаз друг с друга. Внизу все так же вполголоса переговаривались арабы. На улице яркий свет словно набухал и давил на окна. Он стекал по лицам, точно сок из лопнувшего плода.

Мне нездоровилось, и я рад был бы уйти. От шума ломило виски. И все-таки хотелось, пока можно, видеть Мари. Не знаю, сколько еще времени прошло. Мари стала рассказывать о своей работе, а улыбка все не сходила с ее лица. Бормотанье, крики, разговоры были как перекрестный огонь. Уцелел только один островок тишины — щуплый молодой человек рядом со мной и его старуха мать молча глядели друг на друга. Понемногу арабов начали уводить. Как только первый вышел, почти все в зале умолкли. Старушка напротив придвинулась поближе к решетке, и в эту самую минуту надзиратель сделал знак ее сыну. Тот сказал:
— До свиданья, мама.

А она просунула руку между прутьями и махнула ему долгим, медленным движением.

Она вышла, и сейчас же появился мужчина со шляпой в руке и стал на ее место. Ввели нового арестанта, и они заговорили оживленно, но негромко, потому что в зале теперь все притихли. Надзиратель пришел за другим моим соседом, и жена крикнула ему, будто не замечая, что повышать голос уже незачем:

— Ты поосторожней! Береги себя!

Потом настал мой черед. Мари послала мне воздушный поцелуй. В дверях я оглянулся. Она стояла как вкопанная, прижимаясь лицом к решетке, и улыбалась все той же застывшей, вымученной улыбкой.

Вскоре после этого она мне написала. И тогда же началось многое такое, о чем я всегда не любил говорить. Хотя не надо преувеличивать: мне это давалось легче, чем другим. Однако первое время в тюрьме хуже всего было то, что у меня еще появлялись мысли свободного человека. Например, вдруг захочется полежать на песке, спуститься к морю. Ясно представлялось — всплескивают под ногами первые волны, погружаешься в воду, становится так легко, вольно,— и тут вокруг разом смыкаются стены тюрьмы. Но через несколько месяцев это прошло. И уже все мысли были арестантские. Я ждал, когда меня выведут во двор на ежедневную прогулку либо когда придет адвокат. И остальное время научился проводить неплохо. И часто думал: если бы меня заставили жить в стволе высохшего дерева и совсем ничего нельзя было бы делать, только смотреть, как цветет небо над головой, я бы понемногу и к этому привык. Ждал бы, чтоб пролетела птица или наползли облака, все равно как здесь жду, в каком еще диковинном галстуке явится мой адвокат, а в прежней жизни запасался терпеньем до субботы, когда можно будет обнять Мари. Так ведь, если вдуматься, я не сижу в стволе сухого дерева. Есть люди несчастнее меня. Хотя это не моя мысль, а мамина, мама часто повторяла, что в конце концов ко всему привыкаешь.

Впрочем, обычно я не заходил так далеко в своих рассуждениях. Первые месяцы давались тяжело. Надо было как-то себя одолевать, но это-то и помогало провести время. К примеру, мучительно хотелось женщину. Это естественно, я молод. Я никогда не думал именно о Мари. Думал просто о женщине, вообще о женщинах, обо всех, кого знал, и о том, когда и как с ними сходился, но думал так много, что вся камера наполнялась их лицами, в ней становилось тесно от моих желаний. В каком-то смысле это выводило из равновесия. Зато так я легче убивал время. Под конец мне стал сочувствовать старший надзиратель, он обычно сопровождал того малого, который приносил с кухни еду. Старший надзиратель и заговорил со мной о женщинах. Он сказал — всем арестантам этого больше всего не хватает. Я сказал, мне тоже, несправедливо так обращаться с людьми.

— Да ведь для того вас и сажают в тюрьму,— сказал он.

— Как так?

— Ну да, свобода это самое и есть. А вас лишают свободы.

Прежде мне такое в голову не приходило. А ведь правильно. Я сказал:

— Да, верно — иначе какое же это было бы наказание?

— Вот-вот, вы-то разбираетесь. А другие нет. Но в конце концов они начинают сами себя утешать.

И он ушел.

Потом — сигареты. В тюрьме у меня сразу отобрали пояс, шнурки от ботинок, галстук и все, что было в карманах, главное — сигареты. Попав в камеру, я сразу попросил, чтобы мне все это вернули. Но мне сказали — это запрещено. Первые дни было очень тяжко. Пожалуй, то, что нельзя курить, угнетало меня больше всего. Я отдирал от нар щепочки и сосал их. Весь день меня мутило. Я не понимал, почему у меня отнимают то, что никому не мешает и не вредит. Позже понял: это тоже часть наказания. Но к тому времени я уже отвык курить, и это больше не было для меня наказанием.

Если не считать этих неприятностей, я был не так уж несчастен. Самое главное, повторяю, убить время. Я научился вспоминать разные разности и с тех пор больше не скучал. Иногда принимался вспоминать

свою комнату, представлял себе — вот я обхожу ее кругом, начинаю вон с того угла и перебираю мысленно каждую вещь, которая встретится на пути. Сперва этого хватало ненадолго. Но с каждым разом получалось немного дольше. Потому что я вспоминал каждый стул, что где стоит, что лежит в каком ящике, каждую мелочь, все подробности — инкрустацию, щербинку, трещинку, что какого цвета и какое на ощупь. В то же время я старался не сбиться, перебрать все по порядку и ничего не забыть. И через несколько недель у меня уже уходили часы только на то, чтобы перечислить все вещи, сколько их было в моей комнате. Чем больше я вспоминал, тем больше всплывало в памяти разных неприметных мелочей. Вот тогда я понял: если человек жил хотя бы один только день, он потом спокойно может сто лет просидеть в тюрьме. У него будет вдоволь воспоминаний, чтоб не скучать. Если угодно, это тоже утешает.

Потом еще сон. Вначале я плохо спал по ночам и совсем не спал днем. Понемногу ночью дело наладилось, и я даже научился спать днем. А в последние месяцы я спал по шестнадцать, по восемнадцать часов в сутки. Оставалось убить шесть часов, для этого у меня были завтрак, обед и ужин, естественные нужды, воспоминания да еще история про чеха.

Однажды я нашел на нарах под соломенным тюфяком прилипший к нему обрывок старой газеты — пожелтевший, почти прозрачный. Это был кусок уголовной хроники, начала не хватало, но, по-видимому, дело происходило в Чехословакии. Какой-то человек пустился из родной деревни в дальние края попытать счастья. Через двадцать пять лет, разбогатев, с женой и ребенком он возвратился на родину. Его мать и сестра содержали маленькую деревенскую гостиницу. Он решил их удивить, оставил жену и ребенка где-то в другом месте, пришел к матери — и та его не узнала. Шутки ради он сделал вид, будто ему нужна комната. Мать и сестра увидели, что у него много денег. Они молотком убили его, ограбили, а труп бросили в реку. Наутро явилась его жена и, ничего не подозревая, открыла, кто был приезжий. Мать повесилась. Сестра бросилась в колодец. Я перечитал эту историю, наверно, тысячу раз. С одной стороны, она была неправдоподобна. С другой — вполне естественна. По-моему, этот человек в какой-то мере заслужил свою участь. Никогда не надо притворяться.

Вот так я часами спал, вспоминал, перечитывал отрывки из этой истории, в камере становилось то светло, то темно — а время шло. Где-то когда-то я вычитал, что в тюрьме человек под конец теряет представление о времени. Но тогда это для меня был звук пустой. Я не понимал, что день может быть сразу и очень длинным и очень коротким. Конечно, прожить такой день — это долго, но они так растягивались, что в конце концов сливались, один переходил в другой. Они стали безликие, безымянные. Только слова «вчера» и «завтра» еще не потеряли свой смысл.

Однажды надзиратель сказал, что я сижу в тюрьме уже пять месяцев,— и я поверил, но понять не понял. Для меня в камере нескончаемо тянулся все один и тот же день, и забота у меня была все одна и та же. Когда надзиратель ушел, я погляделся, как в зеркало, в жестяной котелок. Мне показалось, мое отражение остается хмурым, даже когда я стараюсь ему улыбаться. Я повертел котелок и так, и эдак. Опять улыбнулся, но отражение оставалось строгим и печальным. Смеркалось, и это был час, о котором мне не хочется говорить, безымянный час, когда со всех этажей тюрьмы безрадостным шествием поднимаются глухие вечерние шумы и медленно замирают. Я подошел к оконцу и в последних сумеречных отсветах еще раз всмотрелся в свое отражение. Оно по-прежнему было серьезное, и что в этом удивительного, раз я и сам теперь был серьезен? Но тут, впервые за столько месяцев, я отчетливо услышал свой голос. Так вот что за голос уже много дней отдавался у

меня в ушах: только тут я понял, что все время, сидя в одиночке, разговаривал сам с собой. И вспомнил, что говорила сиделка на похоронах мамы. Да, никакого выхода нет, и никто не может себе представить, что такое вечера в тюрьме.

III

В сущности, лето очень быстро сменилось другим летом. Я заранее знал, что с наступлением жары для меня начнется новая полоса. Дело мое должно было слушаться на последней сессии суда присяжных, она заканчивается в июне. Когда процесс начался, на воле все полно было солнцем. Мой защитник уверял, что разбирательство продлится дня два-три, не больше.

— Суд будет спешить,— прибавил он,— потому что ваше дело на этой сессии не самое важное. Есть еще отцеубийство, им займутся сразу после вас.

В половине восьмого утра за мной пришли и в тюремной машине отвезли в здание суда. Два жандарма ввели меня в затхлую каморку, там пахло темнотой. Мы ждали, сидя у двери, а за нею разговаривали, перекликались, двигали стульями — словом, было шумно и суматошно, как на благотворительном вечере, когда после концерта середину зала освобождают для танцев. Жандармы сказали, что заседание еще не начиналось, и один предложил мне сигарету, но я отказался. Немного погодя он спросил, не трушу ли я, и я сказал — нет. В известном смысле мне даже интересно: посмотрю, как это бывает. Никогда еще не случалось попасть в суд.

— Да,— сказал второй жандарм,— но под конец это надоедает.

Немного спустя в комнате звякнул звонок. Тогда с меня сняли наручники. Отворили дверь и подвели меня к скамье подсудимых. В зале набилось полно народу. Шторы были спущены, но кое-где пробивалось солнце, и дышать было уже нечем. Окон не открывали. Я сел, жандармы стали по бокам. И тут я увидел вереницу лиц напротив. Все они смотрели на меня, и я понял — это присяжные. Но я их не различал, они были какие-то одинаковые. Мне казалось, я вошел в трамвай, передо мною сидят в ряд пассажиры — безликие незнакомцы,— и все уставились на меня и стараются подметить, над чем бы посмеяться. Я понимал, что это все глупости: во мне ищут не смешное, а преступное. Но разница не так уж велика, во всяком случае, такое у меня тогда было ощущение.

И еще меня ошеломило множество народу — как сельди в бочке. Я опять оглядел зал, но не различил ни одного лица. Наверно, сперва я не понимал, что вся эта толпа сошлась сюда поглазеть на меня. Обычно люди не обращали на меня внимания. Пришлось сделать усилие, чтобы сообразить, что вся эта суматоха из-за меня. Я сказал жандарму:

— Сколько народу!

Он ответил — это газеты постарались, и показал на кучку людей у стола, пониже скамьи присяжных.

— Вот они,— сказал он.

— Кто? — спросил я.

И он повторил:

— Газеты.

Он увидел знакомого репортера, тот как раз направлялся к нам. Это был человек уже немолодой, с приятным, хотя, пожалуй, чересчур подвижным лицом. Он сердечно пожал жандарму руку. Тут я заметил, что все эти люди раскланивались, перекликались, переговаривались, будто в клубе, где все свои и рады побыть в дружеском кругу. Так вот отчего у меня сперва было это странное ощущение, словно я тут лишний, не-

прошеный гость. Однако репортер с улыбкой обратился ко мне. Он надеется, сказал он, что для меня все кончится благополучно. Я сказал — спасибо, и он прибавил:

— Знаете, мы немножко раздули ваше дело. Для газет лето — мертвый сезон. Ничего не подвертывалось стоящего, только вот вы да отцеубийца.

Потом он показал на одного из репортеров в группе, от которой он сам отошел,— этот человечек напоминал разжиревшего хорька, на носу у него красовались огромные очки в черной оправе,— и сказал, что это специальный корреспондент одной парижской газеты.

— Вообще-то он приехал не ради вас. Он будет писать о процессе отцеубийцы, а уж заодно его попросили рассказать и о вашем деле.

Я чуть не поблагодарил еще раз, да спохватился, что это было бы смешно. Он приветливо махнул мне рукой и отошел. Потом мы еще немного подождали.

Явился мой защитник, в адвокатской мантии, окруженный своими собратьями. Направился к репортерам и стал жать им руки. Они шутили, смеялись и, видно, чувствовали себя как дома, пока в зале не раздался звонок. Тогда все разошлись по местам. Защитник подошел, пожал мне руку и посоветовал на вопросы отвечать кратко, ни о чем не заговаривать первым, а в остальном положиться на него.

Слева от меня шумно отодвинули стул, я обернулся — там усаживался высокий, сухопарый человек в пенсне, заботливо расправляя красную мантию. Это был прокурор. Судебный пристав объявил, что суд идет. В эту минуту зажужжали два огромных вентилятора. Вошли трое судей, двое в черных мантиях, третий — в красной, у каждого под мышкой папка с бумагами, и быстрым шагом направились к возвышению. Тот, что в красном, сел в кресло посередине, положил свою шапочку перед собой на стол, вытер платком лысину и объявил заседание суда открытым.

Репортеры уже навострили перья. Лица у них были равнодушные и немного насмешливые. Впрочем, один, самый молодой, в сером фланелевом костюме с голубым галстуком, еще не брался за самопишущую ручку, которая лежала перед ним на столе, и только смотрел на меня. В лице его была какая-то неправильность, но я видел только глаза — очень светлые, они пристально изучали меня, однако их выражение я не мог уловить. Очень странно — мне показалось, будто это я сам себя разглядываю. Может, поэтому и еще потому, что мне не знакомы судебные порядки, я плохо понимал, что происходило дальше: отбирали по жребию кандидатов в присяжные, председатель о чем-то спрашивал защитника, прокурора и присяжных (каждый раз головы всех присяжных разом поворачивались в его сторону), скороговоркой читали обвинительный акт (я услыхал знакомые имена и названия знакомых мест), опять задавали вопросы защитнику.

А потом председатель сказал, что сейчас вызовут свидетелей. Пристав громко прочитал имена, они привлекли мое внимание. Из людского сборища, которое перед тем было слитным и безликим, по одному поднимались и затем уходили в боковую дверь директор и привратник дома призрения, старик Тома Перез, Раймон, Масон, Саламано, Мари. Она украдкой тревожно кивнула мне. Я удивлялся, как это я раньше никого из них не заметил, и вдруг назвали последнее имя, и поднялся Селест. Рядом с ним я увидел ту чудачку, которая в ресторане села за мой столик, и узнал ее жакет, решительное лицо и механические движения. Она смотрела на меня в упор. Но мне некогда было раздумывать, потому что председатель заговорил. Он сказал, что суд переходит к слушанию дела и, надо надеяться, нет нужды призывать публику к тишине и порядку. Его, председателя, долг позаботиться о том, чтобы дело разбиралось со

всем беспристрастием и непредвзятостью. Присяжным надлежит вынести приговор в духе истинной справедливости, а кроме всего прочего, если кто-нибудь вздумает нарушить порядок, он, председатель, велит очистить зал.

Становилось все жарче, кое-кто в публике обмахивался газетой. Непрестанно слышалось это бумажное шуршанье. Председатель сделал знак приставу, тот принес три плетеных соломенных веера, и судьи сразу пустили их в ход.

И сейчас же меня начали допрашивать. Председатель задавал мне вопросы очень спокойно и даже как бы доброжелательно. Снова потребовалось назвать мое имя, фамилию, возраст и прочее, и хотя это мне порядком надоело, я подумал: в сущности, это естественно, ведь не шутка, если бы вдруг судили не того, кого надо. Потом председатель снова принялся рассказывать о том, что я сделал, и через каждые два слова переспрашивал меня:

— Так? Правильно?

И я каждый раз отвечал, как научил меня защитник:

— Да, господин председатель.

Это тянулось долго, потому что председатель рассказывал дотошно, со всеми подробностями. И все время репортеры записывали. Я чувствовал на себе взгляд самого молодого из них и той маленькой женщины-автомата. Все пассажиры с трамвайной скамейки смотрели на председателя. Он покашлял, полистал бумаги и, обмахиваясь соломенным веером, повернулся ко мне.

Он сказал, что должен сейчас затронуть вопросы, по видимости не имеющие отношения к моему делу, но, быть может, по существу весьма тесно с ним связанные. Я понял — сейчас он заговорит о маме,— и мне стало тошно. Он спросил, почему я отдал маму в дом призрения. Я ответил: потому что у меня не хватало денег на уход за нею и на сиделку. Он спросил, не трудно ли мне было на это решиться, и я ответил — мы с мамой больше ничего друг от друга не ждали, да и ни от кого другого тоже, и оба мы привыкли к новому образу жизни. Тогда председатель сказал, что не стоит больше углубляться в эту тему, и спросил прокурора, нет ли у того ко мне вопросов.

Прокурор, не глядя на меня, через плечо заявил, что, с разрешения председателя, он желал бы узнать, для того ли я один вернулся к роднику, чтобы убить араба.

— Нет,— сказал я.

— Тогда почему же обвиняемый был вооружен и почему он вернулся именно на это место?

Я ответил — это вышло случайно. И прокурор процедил сквозь зубы:

— Пока достаточно.

Дальше пошла какая-то неразбериха, по крайней мере такое у меня было ощущение. А потом судьи пошептались, и председатель объявил перерыв; на вечернем заседании, сказал он, будут выслушаны свидетели.

У меня не было времени подумать. Меня вывели из зала, посадили в арестантскую машину и отвезли в тюрьму, там я поел. И очень скоро, как раз когда я почувствовал, что устал, за мной опять пришли; все началось сызнова, я очутился в том же зале, на меня смотрели те же лица. Только стало куда жарче, и, точно по волшебству, в руках у всех присяжных, у прокурора, защитника и некоторых репортеров тоже появились соломенные веера. Молодой журналист и маленькая женщина сидели на прежних местах. Но они не обмахивались веерами и все так же молча смотрели на меня.

Я утирал пот со лба и плохо понимал, где я и что со мной, как вдруг услышал, что вызывают директора дома призрения. Его спросили, жало-

валась ли мама на меня, и он сказал — да, но это дело обычное, все обитатели дома вечно жалуются на своих родных. Председатель попросил уточнить, упрекала ли меня мама в том, что я отдал ее в дом призрения, и директор опять сказал — да. Но на этот раз ничего больше не прибавил. На другой вопрос он ответил, что его удивило мое спокойствие в день похорон. Его спросили, что он подразумевает под словом «спокойствие». Директор опустил глаза и сказал, что я не хотел видеть маму в гробу, не пролил ни слезинки и не побыл у могилы, а уехал сразу же после погребения. И еще одно его удивило: служащий похоронного бюро сказал ему, что я не знал точно, сколько моей матери было лет. Минуту все молчали, потом председатель спросил директора, обо мне ли он все это говорил. Тот не понял вопроса, и председатель пояснил: «Так полагается по закону». Потом спросил прокурора, нет ли у того вопросов к свидетелю, и прокурор воскликнул:

— О нет, этого предостаточно!

Он заявил это с таким жаром, так победоносно посмотрел в мою сторону, что впервые за много лет я, как дурак, чуть не заплакал, вдруг ощутив, до чего все эти люди меня ненавидят.

Председатель спросил присяжных и защитника, нет ли у них вопросов, потом вызвал привратника. С ним, как и с остальными, повторилась та же церемония. Выйдя на свидетельское место, он посмотрел на меня и отвел глаза. Ему задавали вопросы, он отвечал. Он сказал, что я не хотел увидеть маму, что я курил, спал и пил кофе с молоком. Тут я почувствовал, как в зале нарастает волнение, и впервые понял, что виноват. Привратника заставили снова рассказать про кофе с молоком и про сигарету. Прокурор посмотрел на меня с насмешкой. В эту минуту мой адвокат спросил привратника, не курил ли и он со мною. Но прокурор яростно запротестовал:

— Да кто же здесь подсудимый и что за приемы у защиты! Напрасно она пытается очернить свидетелей обвинения, ей не удастся умалить вес их сокрушительных показаний!

Председатель все-таки потребовал, чтобы привратник ответил на вопрос. Старик смутился.

— Верно, я тоже виноватый,— сказал он.— Да только этот господин сам предложил мне сигарету, так отказываться было неловко.

Под конец меня спросили, не хочу ли я что-нибудь прибавить.

— Ничего,— сказал я,— свидетель правильно говорит. Это правда, я предложил ему сигарету.

Привратник поглядел на меня удивленно и как будто даже с благодарностью. Помялся немного и сказал, что он сам предложил мне кофе. Защитник шумно обрадовался и заявил: присяжным следует это учесть. Но в ответ громом раскатился голос прокурора:

— Да, господа присяжные это учтут. И сделают вывод, что посторонний человек мог предложить чашку кофе, а вот сын у бездыханного тела той, которая дала ему жизнь, должен был от этого кофе отказаться.

Привратник вернулся на свое место.

Когда настала очередь старика Переза, приставу пришлось под руку довести его до трибуны. Тома Перез сказал, что он был больше знаком с моей матерью, а меня видел только один раз, в день похорон. Его спросили, что я делал в тот день, и он ответил:

— Понимаете, я был убит горем. Так что я ничего не видел. Я ничего не видел от горя. Потому для меня это было тяжкое горе. Я даже лишился чувств. Так что я не мог видеть господина Мерсо.

Прокурор спросил: может быть, он, по крайней мере, видел, что я плакал? Перез ответил, нет, не видел. И прокурор в свой черед сказал:

— Господам присяжным следует это учесть.

Но тут мой защитник вспылил. И спросил Переза, по-моему, чересчур сердито, видел ли он, что я не плакал. Перез сказал:

— Нет.

В зале засмеялись. И защитник, откидывая широкий рукав, громогласно заявил:

— Вот он каков, этот процесс! Все правильно, и все вывернуто наизнанку!

У прокурора стало каменное лицо, он тыкал карандашом в свои бумаги.

Объявили перерыв на пять минут, и защитник успел сказать мне, что все идет хорошо, а после этого вызвали Селеста — свидетеля со стороны защиты. То есть с моей стороны. Селест поглядывал на меня и вертел в руках панаму. Он был в новом костюме, который надевал иногда по воскресеньям, когда мы с ним ходили на скачки. Но, видно, воротничок ему уже не под силу было надеть, и рубашка на шее разъехалась бы, если бы не медная запонка. Селеста спросили, столовался ли я у него, и он сказал — да, но кроме того, он мой друг. Спросили, какого он обо мне мнения, и он ответил, что я — человек. А как это понимать? Всякий понимает, что это значит, заявил Селест. А замечал ли он, что я замкнутый и скрытный? В ответ Селест сказал только, что я не трепал языком попусту. Прокурор спросил, всегда ли я вовремя платил за стол. Селест засмеялся и сказал:

— Да это пустяки, мы с ним всегда сочтемся.

Его спросили, что он думает о моем преступлении. Тогда он оперся обеими руками о барьер, и стало ясно: он заранее приготовился на это ответить. Он сказал:

— Я так считаю, это несчастье. Всякий знает, что такое несчастье. Ты перед ним беззащитен. Так вот, я считаю, это было несчастье.

Он хотел продолжать, но председатель сказал — очень хорошо, спасибо. Селест немного растерялся. Но все-таки заявил, что ему надо еще кое-что сказать. Его попросили говорить покороче. Он опять повторил, что со мной случилось несчастье. И председатель сказал:

— Да, понятно. Но мы для того здесь и находимся, чтобы судить такого рода несчастья. Благодарю вас.

Тогда, словно не зная, как быть дальше и чем еще помочь, Селест повернулся ко мне. И мне показалось, глаза у него заблестели и губы дрожат. Он будто спрашивал, что еще можно сделать. А я ничего не сказал и не подал ему никакого знака, но в первый раз за всю мою жизнь мне захотелось обнять мужчину. Председатель опять велел ему уйти со свидетельского места. И Селест пошел и сел среди публики. До самого конца заседания он сидел, наклонясь вперед, локти в колени, панама в руках, и внимательно слушал.

Вошла Мари. Она была в шляпке и все-таки красивая. Но мне она больше нравится с непокрытыми волосами. Я даже издали угадывал, как колышется ее грудь, видел знакомую, всегда немного припухшую нижнюю губу. Казалось, Мари очень волнуется. Ее сразу спросили, давно ли она меня знает. Она сказала — с тех пор, как служила у нас в конторе. Председатель поинтересовался, в каких она со мной отношениях. Мари сказала, что она моя приятельница. А на другой вопрос ответила: да, правда, она собиралась за меня замуж. Прокурор перелистал свои бумаги и вдруг спросил, когда началась наша связь. Мари назвала месяц и число. Прокурор сделал равнодушное лицо и заметил — если он не ошибается, как раз накануне умерла моя мать. Потом усмехнулся и прибавил, что понимает смущение Мари и рад бы не развивать далее столь деликатную тему, но (тут голос его зазвучал резко) его долг — стать выше условностей. И он потребовал, чтобы Мари описала тот день, когда мы с ней сошлись. Мари не хотела говорить, но про-

курор настаивал, и она рассказала, как мы с ней купались и ходили в кино, а потом пошли ко мне домой. Прокурор сказал, что после показаний Мари на следствии он уже поинтересовался, какая в тот день шла картина. Но пускай Мари сама скажет, что за фильм тогда показывали. Мари еле слышно назвала фильм с участием Фернанделя. Когда она умолкла, в зале стояла мертвая тишина. Тут прокурор поднялся, лицо у него было очень серьезное, и в голосе мне послышалось непритворное волнение, он ткнул в мою сторону пальцем и медленно проговорил:

— Господа присяжные заседатели, на другой день после смерти матери этот человек едет на пляж купаться, заводит любовницу и идет в кино на развеселую комедию. Больше мне нечего вам сказать.

Он сел, в зале по-прежнему было тихо. И вдруг Мари громко зарыдала и стала говорить — это все неправда, было совсем по-другому, и ее заставили говорить не то, что она думает, а она меня хорошо знает, и я ничего плохого не делал. Но председатель подал знак приставу, тот ее увел, и заседание продолжалось.

После этого никто уже толком не слушал Масона, который заявил, что я человек честный «и более того, порядочный». И никто не слушал толком старика Саламано, когда он начал рассказывать, как я был добр к его собаке, а на вопрос, как я относился к матери, ответил, что нам с мамой уже не о чем было говорить, поэтому я и отдал ее в богадельню.

— Надо понимать,— твердил Саламано,— надо понимать.

Но, видно, никто не понимал. Его увели.

Потом пришел черед последнего свидетеля — Раймона. Он чуть заметно кивнул мне и сейчас же заявил, что я невиновен. Но председатель сказал — от свидетеля требуются не выводы, а факты. Его дело отвечать на вопросы. В каких отношениях он состоял с убитым арабом? Раймон воспользовался этим вопросом и сказал, что он-то и есть враг убитого, потому что дал пощечину его сестре,— вот брат его и вознена-видел. Но председатель спросил, а не имел ли убитый оснований ненавидеть и меня тоже. Раймон сказал — что я очутился на пляже, это чистая случайность. Тогда прокурор спросил, каким образом получилось, что письмо, из-за которого разыгралась вся трагедия, писал я. Раймон опять сказал, это — случайность. Прокурор возразил: в этой истории почему-то случай оказывается главным козлом отпущения. Интересно знать, вот когда Раймон дал своей любовнице пощечину, я не вмешался — это тоже случайно? И свидетелем в полицейский участок пошел случайно? И что своими показаниями я всячески выгораживал Раймона — тоже случайность? Под конец он спросил, на какие средства живет Раймон, тот ответил: «Я кладовщик»,— и тогда прокурор заявил присяжным: всем известно, что у этого свидетеля особое ремесло, он — сутенер. А я его сообщник и приятель. Итак, тут имел место трагический фарс самого низкого пошиба, и перед судом не заурядный преступник, но выродок без стыда и совести. Раймон хотел оправдываться, и мой защитник тоже запротестовал, но им предложено было помолчать, пока не договорит прокурор. Прокурор сказал:

— Мне почти нечего прибавить.— И спросил Раймона: — Подсудимый был вашим приятелем?

— Да,— сказал Раймон,— он мне друг.

Прокурор и мне задал тот же вопрос, я посмотрел на Раймона, он не отвел глаз. Я сказал:

— Да.

Тогда прокурор повернулся к присяжным и провозгласил:

— Вот человек, который назавтра после смерти родной матери предавался постыдному распутству, и этот же самый человек по ничтожному поводу, лишь бы покончить с грязной, безнравственной сварой, совершил убийство.

И сел. Но мой защитник вышел из терпения, воздел руки к небесам, так что откинулись широкие рукава мантии и стали видны складки крахмальной рубашки, и закричал:

— Да в чем же его, наконец, обвиняют — что он убил человека или что он похоронил мать?!

В зале поднялся смех. Но прокурор снова выпрямился, запахнулся в мантию и заявил — надо, мол, обладать наивностью почтенного защитника, чтобы не уловить, сколь глубокая, потрясающая, нерасторжимая связь существует между этими двумя разнородными фактами.

— Да! — закричал он с жаром.— Я обвиняю этого человека в том, что на похоронах матери он в сердце своем был уже преступен.

Его слова, видно, произвели большое впечатление на публику. Защитник пожал плечами и утер пот со лба. Но он, кажется, и сам растерялся, и я понял, что дело принимает для меня плохой оборот.

После этого все пошло очень быстро. Заседание закрылось. Когда меня выводили из здания суда и усаживали в тюремную машину, я на минуту вдохнул тепло летнего вечера, почувствовал его запахи и краски. И потом, в темной камере на колесах, сквозь усталость вновь услыхал один за другим знакомые шумы города, который я всегда любил, звуки того часа, когда мне бывало хорошо и спокойно. Дневной гомон спадал, ясно слышались крики газетчиков, затихающий писк сонных птиц в сквере, зазывные вопли торговцев сандвичами, жалобный стон трамвая на крутом повороте и смутный гул, будто с неба льющийся перед тем, как на гавань опрокинется ночь,— по этим приметам я и вслепую узнавал дорогу, которую знал наизусть, когда был свободен. Да, в этот самый час мне когда-то бывало хорошо и спокойно. Я знал: впереди — сон без тревог и без сновидений. Но что-то переменилось, и впереди у меня не только предвкушение завтрашнего дня, а еще и одиночная камера. Словно знакомые дорожки, прочерченные в летнем небе, могут привести не только к безмятежным снам, но и за тюремную решетку.

IV

Послушать, что про тебя говорят, интересно, даже когда сидишь на скамье подсудимых. В своих речах прокурор и защитник много рассуждали обо мне — и, пожалуй, больше обо мне самом, чем о моем преступлении. Разница между их речами была не так уж велика. Защитник воздевал руки к небесам и уверял, что я виновен, но заслуживаю снисхождения. Прокурор размахивал руками и гремел, что я виновен и не заслуживаю ни малейшего снисхождения. Только одно меня немного смущало. Как ни поглощен я был своими мыслями, иногда мне хотелось вставить слово, и тогда защитник говорил:

— Молчите! Для вас это будет лучше.

Получалось как-то так, что мое дело разбирают помимо меня. Все происходило без моего участия. Решалась моя судьба — и никто не спрашивал, что я об этом думаю. Иногда мне хотелось прервать их всех и сказать: «Да кто же, в конце концов, обвиняемый? Это не шутка — когда тебя обвиняют. Мне тоже есть что сказать!» Но если вдуматься, мне нечего было сказать. Притом, хотя, пожалуй, это и любопытное ощущение, когда люди заняты твоей особой,— оно быстро приедается. Скажем, прокурора я очень скоро устал слушать. Лишь изредка я улавливал какой-нибудь обрывок его речи, иная тирада, резкий жест поражали меня или казались стоящими внимания.

Насколько я понял, суть его мысли заключалась в том, что я совершил убийство с заранее обдуманным намерением. По крайней мере, он

старался это доказать. Он сам так говорил:

— Я это докажу, господа присяжные заседатели, и докажу двумя способами: сначала при ослепительном свете фактов, а затем при том зловещем свете, в котором предстает эта преступная душа, когда исследуешь ее тайные движения.

И он опять перечислил факты — все, что произошло после смерти мамы. Припомнил, какой я был бесчувственный, как не мог сказать, сколько маме было лет, а на другой день купался с женщиной, смотрел в кино комедию и наконец привел Мари к себе домой. Тут я не сразу его понял, потому что он все говорил «любовница», а для меня она — Мари. Потом он перешел к истории с Раймоном. Надо сказать, в его представлении все складывалось в довольно стройную систему. Все, что он говорил, звучало правдоподобно. Я написал письмо по сговору с Раймоном, чтобы заманить его любовницу в ловушку и предать ее в безжалостные руки этого субъекта «сомнительной нравственности». На пляже я первым затеял драку с противниками Раймона. Его ранили. Я взял у него револьвер. И вернулся, чтобы пустить оружие в ход. Я за тем и шел, чтобы убить того араба. После первого выстрела я выждал. А потом, «чтобы убедиться, что дело сделано на совесть», выпустил в него еще четыре пули — не спеша, уверенно, по какому-то продуманному плану.

— Так вот, господа,— продолжал прокурор.— Я восстановил перед вами ход событий, которые привели этого человека к хладнокровному предумышленному убийству. Повторяю и настаиваю: тут был умысел. Это не заурядное убийство под влиянием аффекта, не внезапный порыв, для которого вы могли бы найти смягчающие обстоятельства. Перед вами, господа, человек вполне разумный. Вы его слышали, не так ли? Он умеет отвечать на вопросы. Он знает цену словам. И уж никак нельзя сказать, что он действовал, не отдавая себе отчета в своих поступках.

Итак, меня считали разумным. Но я не мог понять, почему же то, что в обыкновенном человеке считается достоинством, оборачивается сокрушительной уликой против обвиняемого. Это меня поразило, и я больше не слушал прокурора, пока до меня не донеслись такие слова:

— Раскаивается ли он, по крайней мере? Ничуть не бывало! За все время, пока шло следствие, этот человек ни разу не обнаружил, что хоть сколько-нибудь удручен своим гнусным злодеянием.

Тут он повернулся ко мне и, показывая на меня пальцем, разразился новыми нападками, а почему — право, толком нельзя было понять. Конечно, я не мог не признать, что он отчасти прав. Да, я не слишком жалел о сделанном. Но странно, что он обрушивался на меня с такой яростью. Я охотно попробовал бы ему объяснить, вполне доброжелательно и даже дружески, что никогда я не умел по-настоящему о чем-либо сожалеть. Меня всегда занимает то, что впереди, сегодняшний и завтрашний день. Но, разумеется, когда тебя посадили на скамью подсудимых, уже ни с кем нельзя говорить в таком тоне. Я больше не имел права разговаривать по-дружески, проявить добрую волю. И я опять постарался слушать внимательно, потому что прокурор стал рассуждать о моей душе.

Он говорил, что пристально в нее всмотрелся — и ровно ничего не нашел, господа присяжные заседатели! Поистине, говорил он, у меня вообще нет души, во мне нет ничего человеческого, и нравственные принципы, ограждающие человеческое сердце от порока, мне недоступны.

— Без сомнения,— прибавил прокурор,— мы не должны вменять это ему в вину. Нельзя его упрекать в отсутствии того, что он попросту не мог приобрести. Но здесь, в суде, добродетель пассивная — терпимость и снисходительность — должна уступить место добродетели более трудной, но и более высокой, а именно — справедливости. Ибо пустыня, ко-

торая открывается нам в сердце этого человека, грозит разверзнуться пропастью и поглотить все, на чем зиждется наше общество.

И тут он заговорил о моем отношении к маме. Он повторил то, что уже высказывал раньше. Но теперь он стал куда многословнее, чем когда говорил о моем преступлении,— он распространялся так долго, что под конец я уже ничего не чувствовал, кроме жары. Во всяком случае, до той минуты, когда прокурор остановился, немного помолчал и вновь заговорил очень тихо и очень проникновенно:

— Господа присяжные, завтра этот же суд будет рассматривать дело о гнуснейшем из злодеяний — убийстве родного отца.

Подобное злодейство, сказал он, невозможно вообразить. Он осмеливается выразить надежду, что людское правосудие сурово покарает преступника. Но он не побоится сказать, продолжал он, что даже это чудовищное преступление едва ли ужасает его сильнее, нежели мое бессердечие. Ибо, как он полагает, тот, кто убил родную мать душевной черствостью, столь же бесповоротно отторгает себя от человечества, как и тот, кто поднял на родителя преступную руку. Во всяком случае, первый открывает путь деяниям второго, в известном смысле предвещает их и узаконивает.

— Я убежден, господа,— продолжал прокурор, возвысив голос,— вы не сочтете мою мысль слишком дерзостной, если я скажу, что человек, сидящий сейчас на скамье подсудимых, виновен также и в убийстве, которое вы будете судить завтра. И соразмерно этой вине его надлежит покарать.

Прокурор отер лоснящееся от пота лицо. И в заключение сказал, что долг его тягостен, но он исполнит этот долг с твердостью. Он заявил, что мне нет места в обществе, чьих важнейших заповедей я не признаю, и я не вправе ждать милосердия, раз мне чужды простейшие движения человеческого сердца.

— Я требую от вас головы преступника,— сказал он,— и требую с чистой совестью. Немалый срок я служу на своем поприще, и мне уже случалось требовать смертной казни, но никогда еще я в такой мере не ощущал, что тяжесть этого долга возмещена, уравновешена, озарена сознанием властной и священной необходимости, а также и ужасом, который я испытываю при виде чудовища, в чьих чертах не могу прочесть ничего человеческого.

Когда прокурор сел на свое место, настала долгая минута молчания. Что до меня, я был оглушен жарой и удивлением. Председатель, покашляв, очень тихо спросил, не желаю ли я что-нибудь прибавить. Я поднялся — говорить мне хотелось,— и я сказал (правда, немного бессвязно), что вовсе не собирался убивать того араба. Председатель ответил, что это голословное заявление, до сих пор он плохо понимал, на что опирается моя защита, и, прежде чем выслушать моего адвоката, рад был бы от меня самого узнать точнее, какими побуждениями я был движим. Понимая, что это звучит нелепо, я наскоро и довольно сбивчиво объяснил: все вышло из-за солнца. В зале раздались смешки. Мой адвокат пожал плечами, и сейчас же ему дали слово. Но он заявил, что уже поздно, а для его речи понадобится не один час, и попросил отложить ее до вечернего заседания. Суд согласился.

После перерыва огромные вентиляторы все так же перемешивали застоявшийся воздух в зале суда, и так же равномерно колыхались маленькие пестрые веера присяжных. Мне казалось, речи защитника не будет конца. В какую-то минуту я все-таки прислушался, потому что он сказал:

— Да, это правда, я убил.

И продолжал в том же духе — речь шла обо мне, а он всякий раз

говорил: «я». Меня это очень удивило. Я наклонился к жандарму и спросил, почему так. Он велел мне замолчать и через минуту прибавил:

— Адвокаты всегда так говорят.

Мне подумалось, таким образом меня еще больше отстраняют от дела, сводят к нулю и в некотором смысле подменяют. Но, видно, я был уже очень далек от всего, что происходило в этом зале. Да и защитник казался мне смешным. Он наспех упомянул, что я действовал по наущению и подстрекательству, а потом тоже стал рассуждать о моей душе. Но, по-моему, прокурор говорил куда талантливей.

— Я тоже всмотрелся в эту душу,— сказал защитник,— но, в отличие от многоуважаемого представителя прокуратуры, я там кое-что нашел и могу сказать, что читал в этой душе, как в открытой книге.

Он прочел, что я честный человек, прилежный и неутомимый труженик, верный интересам фирмы, в которой служил, любимый окружающими и отзывчивый к чужому горю. По его мнению, я был примерным сыном и оставался опорой матери до последней возможности, а в дом призрения отдал ее в надежде, что там она обретет покой и уют, какими я при своих скудных средствах не мог ее окружить.

— Меня удивляет, господа присяжные заседатели,— прибавил мой защитник,— что вокруг этого приюта для престарелых поднят такой шум. Ибо, если нужно доказывать полезность и великодушие подобных учреждений, напомню, что их содержит само государство.

Он только не сказал о похоронах, и я почувствовал, что это пробел в его речи. Но от всех этих длинных фраз, от нескончаемых часов, когда толковали о моей душе, все словно затопило мутной водой, и у меня стала кружиться голова.

Помню только, под конец, пока мой защитник все еще что-то говорил, откуда-то с улицы, через все коридоры и залы суда, до меня долетел звук рожка — это проходил со своей тележкой мороженщик. И нахлынули воспоминания о той жизни, которая больше мне не принадлежала и которая прежде приносила мне самые скудные и самые верные радости: запахи лета, любимые улицы, краски вечернего неба, смех Мари, ее платье. Мне стало тошно от бессмысленного, бесполезного торчанья здесь, в этом зале, и хотелось только одного — поскорей бы все кончилось, поскорей бы вернуться в камеру и уснуть. Я едва слышал, как защитник в заключение воскликнул, что присяжные, конечно же, не захотят послать на смерть честного труженика, которого погубило кратковременное помрачение рассудка! Пусть примут они во внимание все смягчающие обстоятельства, ведь самой тяжкой карой для меня навек останутся угрызения совести. Суд удалился на совещание, а защитник, точно выбившись из сил, опустился на свое место. Но тут коллеги обступили его и начали жать ему руку.

— Великолепно, мой дорогой,— говорили ему.

А один даже призвал меня в свидетели.

— Каково? — сказал он мне.

Я согласился, что речь была великолепная, но не слишком искренне, потому что очень устал.

Между тем на улице день угасал, и в зале тоже стало не так жарко. По иным шумам, долетавшим снаружи, я догадывался, что вечер настает мягкий, прохладный. Все мы сидели и ждали. Но то, чего мы ждали все вместе, касалось одного меня. Я опять посмотрел в зал. Все осталось точно таким же, как в первый день. Я встретил взгляды репортера в сером пиджаке и женщины-автомата. И подумал, что за все время процесса ни разу не поискал глазами Мари. Не потому, что забыл о ней, а просто был слишком занят. Я увидел ее между Селестом и Раймоном. Она чуть кивнула мне, как будто говорила — наконец-то! — и улыбну-

лась, хотя была, видно, встревожена. Но у меня внутри все закаменело, и я даже не сумел улыбнуться в ответ.

Вернулись судьи. Присяжным зачитали ряд вопросов. До меня доносилось: «виновен в убийстве...», «подстрекательство...», «смягчающие обстоятельства...» Присяжные вышли, а меня увели в каморку, где я и раньше ожидал заседания. Туда пришел и защитник. Он болтал без умолку и говорил со мной так доверительно и дружелюбно, как никогда прежде. Он полагал, что все сойдет хорошо и я отделаюсь несколькими годами тюрьмы или каторги. Я спросил, есть ли надежда на пересмотр дела, если приговор будет неблагоприятный. Он сказал — нет. Его тактика заключалась в том, чтобы не подсказывать выводов,— это лишь ожесточило бы присяжных. Приговор по такому делу, пояснил он, без серьезных оснований никто пересматривать не станет. Это мне показалось совершенно очевидным, и я с ним согласился. Если рассуждать трезво, это вполне разумно. Иначе развернулось бы слишком много ненужной писанины.

— Во всяком случае,— сказал защитник,— можно подать просьбу о помиловании. Но я убежден, что исход будет благоприятный.

Мы ждали очень долго, наверно, три четверти часа. Потом зазвенел звонок. Защитник направился к двери.

— Сейчас старшина присяжных зачитает ответы на вопросы,— сказал он мне, выходя.— Вас введут только тогда, когда объявят приговор.

Где-то захлопали двери. По лестницам — не знаю, далеко или рядом — бежали люди. Потом в зале послышался глухой голос, он что-то читал. Опять прозвенел звонок, меня повели на скамью подсудимых, и навстречу из зала хлынула тишина — странная, небывалая тишина, и еще меня поразило, что молодой репортер отвел глаза. В сторону Мари я не посмотрел. Я не успел, потому что председатель в каких-то высокопарных выражениях сказал мне, что именем французского народа мне на площади прилюдно отрубят голову. И мне показалось: на всех лицах я читаю одно и то же чувство. Да, конечно, теперь все смотрели на меня с уважением. Жандармы стали очень милы. Адвокат взял меня за руку. Я ни о чем больше не думал. Но председатель суда спросил, не хочу ли я еще что-нибудь прибавить. Я немного подумал. И сказал:

— Нет.

И тогда меня увели.

V

Уже третий раз я отказался принять тюремного священника. Мне нечего ему сказать и нет охоты с ним говорить, скоро я и так его увижу. А сейчас меня занимает только одно: нельзя ли ускользнуть от этой машины, найти выход из неизбежности. Меня перевели в другую камеру. Отсюда, когда лежишь, видно небо — и ничего, кроме неба. Все дни напролет я смотрю, как на его лице понемногу блекнут краски, превращая день в ночь. Ложусь, закидываю руки за голову и жду. Уж не знаю, сколько раз я себя спрашивал, бывало ли, чтобы осужденные на смерть ускользали от беспощадного механизма, исчезали до казни, прорвались сквозь цепь охраны. Напрасно я раньше не слушал с должным вниманием рассказов о смертной казни. Такими вещами следует интересоваться. Ведь никогда не знаешь, что может случиться. Как и все, я читал газетные отчеты. Но уж наверно есть и специальные труды, а я ни разу не полюбопытствовал в них заглянуть. Быть может, там нашлись бы и рассказы о побегах. Может, я узнал бы, что хоть раз колесо остановилось на полпути, что хоть однажды случай и удача изменили что-то в не-

отвратимом ходе вещей. Хоть однажды! В каком-то смысле, думаю, мне и этого было бы довольно. Сердце само доделало бы остальное. Газеты часто пишут: мол, общество предъявляет преступнику счет. И по счету, мол, надо платить. Но это ничего не говорит воображению. Важно другое — возможность ускользнуть, вырваться из рамок неумолимого обряда, безрассудный побег, открывающий столько надежд. В сущности, надеяться можно только на то, что тебя перехватят на перекрестке и забьют насмерть либо подстрелят на бегу. Но, если трезво все взвесить, мне такая роскошь недоступна, все обращается против меня, от этой машины не уйдешь.

При всем желании я не мог примириться с этой наглой очевидностью. Потому что был какой-то нелепый разрыв между приговором, который ее обусловил, и неотвратимым ее приближением с той минуты, когда приговор огласили. Его зачитали в восемь часов вечера, но могли зачитать и в пять, он мог быть другим, его вынесли люди, которые, как и все на свете, меняют белье, он провозглашен именем чего-то весьма расплывчатого — именем французского народа (а почему не китайского или немецкого?),— все это, казалось мне, делает подобное решение каким-то несерьезным. И, однако, я не мог не признать, что с той минуты, как оно было принято, его действие стало таким же ощутимым и несомненным, как стена, к которой я сейчас прижимался всем телом.

В эти часы я вспоминал одну историю, которую мама рассказывала мне об отце. Отца я не знал. Об этом человеке мне известно, пожалуй, только то, что рассказала тогда мама: однажды он пошел посмотреть на казнь убийцы. Ему тошно было даже думать о том, чтобы пойти туда. И все-таки он пошел, а когда вернулся, его чуть ли не все утро рвало. После этого рассказа мне как-то неприятно было думать об отце. А теперь я его понимаю, это так естественно. Как же я раньше не соображал, что нет на свете ничего важнее смертной казни, в известном смысле только она и заслуживает внимания! Если я когда-нибудь выйду из тюрьмы, всегда буду смотреть, как казнят. Впрочем, напрасно я об этом подумал. Потому что при одной мысли — вот я ранним утром окажусь за цепью охраны, вроде бы по другую сторону, буду просто зрителем, который придет, посмотрит, а потом его может выворачивать наизнанку,— при одной этой мысли к сердцу отравленной волной прилила радость. Нет, это неблагоразумно. Напрасно я позволил себе такие предположения, потому что меня тотчас обдало ледяным холодом и я скорчился под одеялом. Я стучал зубами и никак не мог взять себя в руки.

Но, понятно, не всегда удается сохранять благоразумие. Иногда, например, я обдумывал новые законы. Я переделывал систему наказаний. По-моему, самое важное — оставить осужденному хоть какую-то надежду. Пусть повезет одному из тысячи — этого довольно. Можно, скажем, составить химическое снадобье, убивающее пациента (про себя я так и выражался: пациент) в девяти случаях из десяти. Одно условие — пусть пациент об этом знает. Потому что по зрелом размышлении, спокойно все обдумав и взвесив, я понял, чем плоха гильотина: она не оставляет ни тени надежды. Смерть пациента решена с первой минуты окончательно и бесповоротно. Тут все твердо, незыблемо, установлено раз и навсегда, и возврата быть не может. Если каким-то чудом нож заело, все начнут сначала. А потому — досадная нелепость! — осужденный сам вынужден желать, чтобы машина работала безотказно. Я сказал — это недостаток. В каком-то смысле так оно и есть. Но в другом смысле нельзя не признать, что тут-то и кроется секрет отлично налаженного дела. Осужденный волей-неволей оказывается заодно с теми, кто его казнит. В его же интересах, чтобы все шло без запинки.

И еще я не мог не признать, что прежде у меня были обо всех этих вещах ложные понятия. Я долго думал, сам не знаю почему, что гильо-

тина стоит на эшафоте и к ней надо подниматься по ступенькам. Наверно, это из-за революции 1789 года, то есть так меня учили в школе и так рисуют на картинках. Но однажды утром я вспомнил фотографию, которую поместили газеты в связи с одной нашумевшей казнью. Никакого помоста нет, машина стоит просто-напросто на земле. И она совсем не такая широкая, как мне представлялось. Забавно, что я не знал этого раньше. Механизм на снимке поражал своей законченностью, словно блестящий, безукоризненно точный инструмент. Чего не знаешь, то всегда преувеличиваешь. А теперь, напротив, я убеждаюсь, что все очень просто: машина стоит на одной плоскости с идущим к ней человеком. К ней подходишь, как к знакомому на улице. В каком-то смысле это тоже досадно. Взойти на эшафот, подняться к небу — тут есть за что ухватиться воображению. А здесь все подавляет механика — убивают тихо и скромно, чуть пристыженно и очень аккуратно.

Еще две неотвязные мысли преследовали меня: рассвет и просьба о помиловании. Однако я сдерживал себя и старался про это не думать. Растягивался на койке, смотрел в небо и заставлял себя сосредоточиться. Небо стало зеленое — значит, уже вечереет. Я делал над собой еще усилие: надо думать о чем-то другом. Прислушивался к своему сердцу. Никак не удавалось представить себе, что этот стук, неразлучный со мною с незапамятных времен, вдруг оборвется. Я никогда не отличался живым воображением. И все же пробовал вообразить такую секунду, когда биение сердца уже не будет отдаваться в висках. Но зря я старался. Опять и опять на ум приходили рассвет или помилование. Под конец я решил — нет смысла себя принуждать.

Они приходят на рассвете, это я знал. И все ночи напролет только тем и занимался, что ждал рассвета. Не люблю, чтобы меня заставали врасплох. Уж если что-то должно случиться, лучше я буду к этому готов. Так что под конец я только урывками спал днем, а ночами терпеливо ждал, пока в небе, как в окне, затеплится свет. Трудней всего давался тот смутный час, когда, как я знал, они обычно принимаются за дело. С полуночи я настораживался и ждал. Никогда прежде мое ухо не различало столько звуков — самых слабых, еле уловимых. Впрочем, мне, можно сказать, везло — за все время я ни разу не услыхал шагов. Мама часто говорила, что человек никогда не бывает совершенно несчастен. В тюрьме, когда небо наливалось краской и в камеру проскальзывал свет нового дня, я понял — она была права. Ведь шаги могли бы и прозвучать, и тогда, пожалуй, у меня разорвалось бы сердце. Но хотя при малейшем шорохе меня кидало к двери и я прижимался ухом к толстым доскам и ждал долго, исступленно и под конец пугался своего же дыхания, такое оно было громкое, хриплое, точно у загнанного пса,— а все-таки вот и опять сердце не разорвалось, и я выиграл еще двадцать четыре часа.

А весь день на уме была просьба о помиловании. Наверно, из этой мысли я извлек все, что только мог. Я ничего не упускал из виду, все до мелочей принял в расчет, и мои рассуждения приносили отличные плоды. Для начала я всегда предполагал самое худшее: просьба о помиловании отвергнута. Так что же? Значит, я умру. Раньше, чем другие, разумеется. Но ведь всякий знает — жить не стоит труда. В сущности, я прекрасно понимал, что умереть в тридцать лет или в семьдесят — невелика разница — все равно другие мужчины и женщины останутся жить после тебя, и так будет еще тысячи лет. Ясно и понятно, чего проще. Теперь или через двадцать лет — все равно я умру. Сейчас при этом рассуждении меня смущало одно: как подумаю, что можно бы прожить еще двадцать лет, внутри все так и вскинется. Оставалось глушить это чувство, внушать себе, что те же мысли одолевали бы меня и через двадцать лет, когда я все равно очутился бы в таком же положении. Ведь

ясно и понятно: смерти не миновать, а когда и как умрешь — что за важность. Значит (трудней всего было не упустить нить рассуждений, которая вела к этому «значит»),— значит, надо примириться с тем, что мою просьбу могут отвергнуть.

Вот тут, только тут я, так сказать, получал право, я в какой-то мере позволял себе допустить другую возможность: меня помилуют. Досадно одно: приходилось обуздывать неистовый порыв крови и плоти, сумасбродную ослепляющую радость. Надо было старательно заглушать этот внутренний крик трезвыми рассуждениями. Надо было освоиться и с этой возможностью, чтобы вернее покориться той, первой. Когда мне это удавалось, я выигрывал час спокойствия. А это все же не пустяк.

Именно в такую минуту я еще раз отказался принять священника. Я лежал на койке и по тому, как бледнело летнее небо, угадывал приближение вечера. Только что я отклонил свою просьбу о помиловании и чувствовал, как спокойно течет кровь по жилам. Мне незачем было видеть священника. Впервые за много дней я подумал о Мари. Она уже давным-давно мне не писала. В тот вечер, поразмыслив, я сказал себе: может быть, ей надоело быть любовницей смертника. А могло случиться и другое — она заболела и умерла. Очень может быть. Откуда мне знать, что произошло,— ведь наши тела теперь врозь, а больше ничто нас не связывало и не напоминало друг о друге. Впрочем, если бы Мари умерла, я вспоминал бы о ней спокойно. Мертвая она бы меня ничуть не занимала. Это вполне естественно, и обо мне тоже, разумеется, забудут, как только я умру. Людям больше не будет до меня дела. Даже не могу сказать, чтобы это меня угнетало. В сущности, нет такой мысли, к которой человек не мог бы привыкнуть.

Вот тут-то и вошел священник. При виде его я слегка вздрогнул. Он это заметил и сказал, не надо бояться. Я сказал — обычно он приходит в другой час. Он ответил, что пришел просто по-дружески меня навестить, просьба о помиловании тут ни при чем, он про нее ничего не знает. Он присел на мою койку и предложил мне сесть рядом. Я отказался. Впрочем, лицо у него было очень доброе.

Некоторое время он сидел, облокотясь на колени, и разглядывал свои руки. Они были тонкие и мускулистые, точно два проворных зверька. Он медленно потер их. И застыл с опущенной головой, и не шевелился так долго, что я о нем чуть не забыл.

Но вдруг он вскинул голову и посмотрел на меня в упор.

— Почему вы всегда отказываетесь меня видеть? — спросил он.

Я ответил, что не верю в бога. Он спросил, вполне ли я в этом уверен, и я сказал — мне незачем себя проверять, ведь это совершенно неважно. Тогда он откинулся назад, прислонился к стене, опустив руки на колени. И словно про себя заметил, что иногда людям кажется, будто они в чем-то уверены, а на самом деле это не так. Я промолчал. Он посмотрел на меня и спросил:

— А как по-вашему?

Я сказал — всяко бывает. Может, я и не знаю, наверно, что меня по-настоящему занимает. Но уж что мне совсем не интересно — это я знаю наверняка. Так вот, то, о чем он говорит, меня ничуть не интересует.

Он отвел глаза и, все не меняя позы, спросил — должно быть, я так говорю от крайнего отчаяния? Я объяснил, что вовсе не отчаиваюсь. Только боюсь — а это вполне естественно.

— Господь вам поможет,— заметил он.— В вашем положении все, кого я знал, обращались к господу.

Я сказал — что ж, это было их право. Кроме того, очевидно, у них хватало на это времени. Ну, а я не хочу, чтобы мне помогали, и у меня совершенно нет времени заниматься тем, что мне неинтересно.

Тут он было с досадой всплеснул руками, но сдержался и начал расправлять складки сутаны. Потом опять заговорил, называя меня «друг мой». Он, мол, так со мной говорит не потому, что я осужден на смерть,-- ведь, в сущности, все мы осуждены на смерть. Я перебил его и сказал: это не одно и то же, и уж во всяком случае это не утешает.

— Да, конечно,— согласился он.— Но если вы не умрете в скором времени, так умрете позже. И тогда перед вами встанет тот же самый вопрос. Как встретите вы это страшное испытание?

Я ответил:

— Точно так же, как встречаю сейчас.

Он поднялся и посмотрел мне прямо в глаза. Эта игра мне знакома. Я часто забавлялся ею с Эмманюелем и Селестом, и, как правило, первыми глаза отводили они. Я сразу же понял, что и священник тоже хорошо знает эту игру: его взгляд не дрогнул. И голос тоже не дрогнул, когда он сказал:

— Неужели у вас нет никакой надежды? Неужели вы живете с мыслью, что умрете совершенно и ничего от вас не останется?

— Да,— ответил я.

Он опустил голову и опять сел. И сказал, что ему меня жаль. Ему кажется — такое невозможно вынести человеку. А я чувствовал одно: он начинает мне надоедать. Я тоже отвернулся и подошел к окошку. И прислонился плечом к стене. Краем уха я слышал, что он опять задает мне вопросы. В голосе его звучала тревога и настойчивость. Я понял, что он взволнован, и стал слушать внимательней.

Он уверен, говорил он, что мою просьбу о помиловании удовлетворят, но на мне тяготеет грех — и от этого груза надо освободиться. У него выходило, что людской суд ничего не значит, важен только суд божий. Я сказал: меня-то осудили люди. Он возразил, однако этим не смыт мой грех. Я сказал: а мне неизвестно, что такое грех, мне объявили только, что я виновен. Я виновен и расплачиваюсь по счету, а больше с меня нечего спрашивать. Он снова поднялся, и я подумал — когда хочешь шевельнуться, в этой тесной камере нет выбора, только и можно встать или сесть.

Я смотрел в пол. Он шагнул ко мне и остановился, как будто не смел подойти ближе. Через решетку он посмотрел на небо.

— Вы заблуждаетесь, сын мой,— сказал он.— С вас могли бы спросить больше. А возможно, и спросят.

— Что спросят?

— Чтобы вы увидели.

— А что надо видеть?

Священник огляделся по сторонам, и голос его вдруг показался мне очень усталым:

— Я знаю, здесь каждый камень насквозь пропитан страданием. Не могу без скорби смотреть на эти стены. Но в глубине души знаю: самые несчастные из вас порой видели, как сквозь эти мрачные стены проступал божественный лик. Вот его-то вы и должны увидеть.

Я немного оживился. И сказал, что уже много месяцев смотрю на эти стены. Я их изучил, как ни одну стену и ни одного человека на свете. Может быть, когда-то я и старался увидеть на них лицо. Но в том лице горят краски солнца и пламя желания: это лицо Мари. И я искал его понапрасну. А теперь с этим покончено. Во всяком случае, ничего я не видел и ничего сквозь эти камни не проступает.

Кажется, он посмотрел на меня с грустью. Теперь я прислонился к стене спиной, свет падал мне на лоб. Священник сказал несколько слов, которых я не расслышал, потом торопливо спросил: можно ему меня обнять?

— Нет,— сказал я.

Он отвернулся, шагнул к стене и медленно провел по ней ладонью.

— Неужели вам так дорого все земное? — спросил он вполголоса.

Я ничего не ответил.

Он довольно долго стоял, отвернувшись. Меня это злило, он был мне в тягость. Я уже хотел сказать — пускай уйдет и оставит меня в покое, как вдруг он обернулся ко мне и закричал с жаром:

— Нет, я не могу вам поверить! Я убежден, вам тоже случалось желать иной жизни.

Я ответил, да, конечно, но это бессмысленно — все равно как если хочешь разбогатеть, или плавать быстрей всех, или чтобы у тебя рот стал красивый. Совершенно одно и то же — пустые мечты. Тут он меня перебил и спросил: а как я себе представляю ту, иную жизнь? И я закричал:

— Так, чтобы вспоминать вот эту жизнь, земную!

И сейчас же прибавил: хватит с меня, надоело! Он хотел еще говорить о боге, но я подступил к нему ближе и постарался в последний раз объяснить, что у меня осталось слишком мало времени. И я не желаю тратить его на бога. Он попробовал переменить разговор и спросил, почему я называю его «господин священник», а не «отец мой». Я вспылил и ответил, что он мне не отец: он заодно с теми, кто против меня.

— Нет, сын мой,— сказал он и положил руку мне на плечо.— Я с вами. Но вы не в силах это понять, потому что сердце ваше слепо. Я буду за вас молиться.

Тут, не знаю почему, во мне что-то прорвалось. Я стал орать во все горло и выругал его и сказал: нечего за меня молиться, и лучше гореть в огне, чем исчезнуть вовсе. Я схватил его за воротник сутаны. От гнева и радости меня била дрожь, я излил на него все, что скопилось в душе, до самого дна. Он с виду такой уверенный и ни в чем не сомневается? Так вот, вся его уверенность не стоит единого женского волоска. Напрасно он уверен, что жив, ведь он живет как мертвец. Вот я с виду нищий и обездоленный. Но я уверен в себе и во всем, куда уверенней, чем он, я уверен, что жив и что скоро умру. Да, кроме этой уверенности у меня ничего нет. Но, по крайней мере, этой истины у меня никто не отнимет... как и меня у нее не отнять. Я прав и теперь и прежде, всегда был прав. Я жил вот так, а мог бы жить по-другому. Делал то и не делал этого. Поступил так, а не эдак. Ну и что? Как бы там ни было, а выходит — я всегда ждал вот этой минуты, этого рассвета, тут-то и подтвердится моя правота. Все — все равно, все не имеет значения, и я прекрасно знаю почему. И он тоже знает. На протяжении всей моей нелепой жизни, через еще не наступившие годы, из глубины будущего неслось мне навстречу сумрачное дуновение и равняло все на своем пути, и от этого все, что мне сулили и навязывали, становилось столь же призрачным, как те годы, что я прожил на самом деле. Что мне смерть других людей, любовь матери, что мне его бог, другие пути, которые можно бы предпочесть в жизни, другие судьбы, которые можно избрать,— ведь мне предназначена одна-единственная судьба, мне и еще миллиардам избранных, всем, кто, как и он, называют себя моими братьями. Понятно ли ему, понятно ли, наконец? Все люди на свете — избранные. Других не существует. Рано или поздно всех осудят и приговорят. И его тоже. Не все ли равно, если обвиненного в убийстве казнят за то, что он не плакал на похоронах матери? Псу старика Саламано цена не больше и не меньше, чем его жене. Маленькая женщина-автомат столь же виновна, как парижанка, на которой женился Масон, и как Мари, которая хотела стать моей женой. Не все ли равно, если моим приятелем был и Раймон, а не только Селест, который куда лучше Раймона? И не все ли равно, если Мари сегодня подставит губы какому-нибудь другому Мерсо? Так понимает ли он, приговоренный, что из глубины моего будуще-

го... Я выкрикивал все это и задыхался от крика. Но священника уже вырвали у меня из рук, и надзиратели накинулись на меня с угрозами. Однако он их успокоил и минуту молча смотрел на меня. В глазах у него стояли слезы. Он повернулся и исчез.

Как только он вышел, я успокоился. Почувствовал, что очень устал, и бросился на койку. Наверно, я уснул, потому что, когда очнулся, в лицо мне смотрели звезды. До меня доносились звуки с полей. Прохладный запах ночи, земли и моря освежал виски. Чудесное спокойствие спящего лета вливалось в меня, как прибой. Вдруг где-то на краю ночи взвыли пароходные гудки. Они возвещали отплытия и разлуки миру, который стал мне навсегда безразличен. В первый раз за долгий-долгий срок я подумал о маме. Кажется, я понял, почему в конце жизни она нашла себе «жениха», почему затеяла эту игру, будто все начинается сначала. И там, вокруг дома призрения, где угасали человеческие жизни, там тоже вечер был как раздумчивое затишье. Перед самой смертью мама, должно быть, почувствовала себя освобожденной, готовой все пережить заново. Никто, никто не имел права ее оплакивать. Вот и я — я тоже готов все пережить заново. Как будто неистовый порыв гнева очистил меня от боли, избавил от надежды, и перед этой ночью, полной загадочных знаков и звезд, я впервые раскрываюсь навстречу тихому равнодушию мира. Он так на меня похож, он мне как брат, и от этого я чувствую — я был счастлив, я счастлив и сейчас. Чтобы все завершилось, чтобы не было мне так одиноко, остается только пожелать, чтобы в день моей казни собралось побольше зрителей — и пусть они встретят меня криками ненависти.

Гость

РАССКАЗ

Перевод с французского
СЕРГЕЯ БОБРОВА

Учитель смотрел, как к нему на холм поднимаются два человека. Один — конный, другой — пеший. Они еще не дошли до крутой тропинки, которая вела к школе, стоявшей на верху склона. Они двигались с трудом, увязая в снегу, между камнями, медленно шагая по бескрайней равнине пустынного горного плато. Лошадь то и дело спотыкалась. Ее еще не было слышно, но всякий раз видно было, как струя пара вырывается у нее из ноздрей. По крайней мере хоть один-то из путников хорошо знал эти места. Они не сбивались с тропы, хотя она вот уже несколько дней, как совсем исчезла под этим грязным белесоватым покровом. Учитель прикинул, что им понадобится при-

мерно полчаса, чтобы подняться на холм. Было холодно; он вернулся в школу надеть свитер.

Он прошел через пустую и холодную классную комнату. На черной доске четыре реки Франции, нарисованные четырьмя мелками разных цветов, вот уже три дня текли к своему широкому устью. После восьми месяцев засухи, в половине октября — сразу, без всякого перехода, без единого дождя — повалил снег, и два десятка его учеников из деревушек, разбросанных на плато, перестали ходить в школу. Надо было переждать, пока не установится погода. Дарю топил теперь одну-единственную комнату, в которой он жил,— она примыкала к классной, и двери обеих комнат открывались на восточную сторону плато, а окно в его комнате выходило на юг, так же как и окна классной. С этой стороны школа стояла в нескольких километрах от того места, где плато начинало клониться к югу. В ясную погоду можно было различить темно-лиловые массы горных уступов, за которыми открывалась пустыня.

Немного согревшись, Дарю опять подошел к окну, откуда он первый раз увидел двух путников. Их уже не было видно. Значит, они добрались до тропинки под самым откосом. Небо сейчас было не такое темное: ночью снег перестал идти. Утро занялось хмурое, грязное, светлело едва-едва, по мере того, как тяжелый облачный покров медленно поднимался ввысь. В два часа пополудни казалось, день только начинается. Но как-никак это все-таки было лучше, чем последние трое суток, когда густой снег валил в непрерывной мгле и ветер, подкравшись, внезапно ломился в двойную дверь классной. Дарю целыми днями сидел у себя в комнате и вылезал только в пристройку, рядом — накормить кур да набрать угля для печки. На его счастье, фургон из Таджида, ближайшей деревушки к северу от школы, привез продовольствие за двое суток до непогоды и теперь должен был приехать через два дня. А впрочем, ему было с чем выдержать осаду, в его комнатушке были свалены мешки зерна, оставленные администрацией для раздачи ученикам, семьи которых пострадали от засухи. В сущности-то все они потерпели, потому что все были бедняки. Дарю каждый день выдавал малышам порции зерна. Он отлично понимал, что сейчас, в эти ненастные дни, им очень этого не хватает. Может быть, кто-нибудь из родителей или старших братьев придет к нему вечером, и он даст им паек. Надо как-то дотянуть до следующего урожая — и все. Сейчас из Франции идут суда с зерном, и самое страшное уже позади. Но не так-то легко было забыть эту нищету, эту армию призраков в лохмотьях, бродящих под солнцем, равнины, раскалявшиеся месяц за месяцем, постепенно корежившуюся землю, которая в полном смысле слова горела, так что каждый камень под ногой рассыпался в прах. Овцы в то время гибли тысячами, там и сям погибали и люди, иной раз так, что никто и не знал.

Рядом с этой нищетой он жил почти отшельником в своей отрезанной от всего школе и, довольствуясь тем малым, что давала ему эта суровая жизнь, чувствовал себя просто вельможей за своими выбеленными стенами, заставленными некрашеными книжными полками, на своем узеньком диванчике: у него свой собственный колодец, и каждую неделю привозят продовольствие и воду. И надо же вдруг — снег, без всякого предупреждения, без того, чтобы хоть спрыснуло дождем. Таков уж был этот край, жизнь здесь давалась нелегко, даже если и не иметь дела с людьми, которые, кстати сказать, ничего не облегчали. Но Дарю здесь родился. В любом другом месте он чувствовал себя изгнанником.

Он вышел из дому, прошел несколько шагов и остановился на площадке перед школой. Двое путников поднялись теперь уже до половины откоса. Он узнал верхового — это был Бальдуччи, старик жандарм, которого он знал с давних пор. Бальдуччи вел на веревке араба, шагавшего

позади с опущенной головой и связанными руками. Жандарм помахал ему, но Дарю не ответил, он смотрел, не отрываясь, на араба в выцветшей, когда-то синей джеллабе, ноги в сандалиях, но при этом — в толстых носках из нечесаной шерсти, на голове узенькая куцая феска. Они приближались. Бальдуччи придерживал лошадь, заставляя ее идти шагом, чтобы не изувечить араба, и они двигались медленно.

Когда они уже подошли на расстояние голоса, Бальдуччи крикнул:

— Час целый добирались сюда эти три километра от Эль-Амера!

Дарю не ответил. Низенький, кубастый в своем толстом свитере, он стоял и смотрел, как они взбираются наверх. Араб за все время ни разу не поднял головы.

— Приветствую вас, — сказал Дарю, когда они поднялись на площадку перед школой. — Идемте ко мне погреться.

Бальдуччи с трудом слез со своей лошади, не выпуская из рук веревки. Улыбнулся учителю сквозь щетинистые усы. Маленькие темные глаза, глубоко сидевшие под загорелым лбом, и губы, окруженные сетью морщин, придавали его лицу какое-то сосредоточенно старательное выражение. Дарю взял лошадь за повод, отвел под навес в пристройку и вернулся к гостям, дожидавшимся его уже в школе. Он повел их к себе в комнату.

— Затоплю-ка я в классной, — сказал он. — Там нам будет поудобней.

Когда он опять вернулся в свою комнату, Бальдуччи сидел на диване. Он отвязал веревку, которой был привязан к нему араб, и тот примостился около печки. Руки у него все так же были связаны, феска теперь сдвинута на затылок, он смотрел в окно. Дарю прежде всего бросились в глаза его громадные губы, толстые, гладкие, почти негроидные; однако нос был прямой, а глаза мрачные, полные лихорадочного огня. Из-под фески виден был упрямый лоб, и на всем его лице и под прокаленной кожей, сейчас несколько побледневшей от холода, проступало что-то тревожное и вместе с тем непримиримое, что поразило Дарю, когда араб, обернувшись, посмотрел ему прямо в глаза.

— Идемте в соседнюю комнату, — сказал учитель, — я вам сейчас заварю мятного чая.

— Спасибо, — сказал Бальдуччи. — Что за работенка проклятая! Скорей бы уж в отставку.— И обернувшись к своему узнику, кинул по-арабски: — Иди-ка, ты.

Араб поднялся и, держа перед собою связанные руки, медленно прошел в классную.

Вместе с чаем Дарю принес стул. Но Бальдуччи уже расселся на первой ученической парте, а араб, опустившись на корточки, прислонился к кафедре, лицом к печке, которая помещалась между письменным столом учителя и окном. Дарю протянул узнику стакан чаю и растерянно уставился на его связанные руки.

— Может быть, его можно развязать...

— Конечно, — сказал Бальдуччи, — это ведь только на дорогу.

И он сделал поползновение подняться. Но Дарю, поставив стакан прямо на пол, опустился на колени около араба. А тот, не произнося ни слова, следил за ним лихорадочными глазами. Когда руки его освободились, он потер одно о другое вспухшие запястья, взял стакан с чаем и, придыхая, стал пить обжигающую жидкость мелкими частыми глотками.

— Ну вот! — сказал Дарю. — Так куда же это вы сейчас направляетесь?

Бальдуччи поднял усы от чая:

— Сюда, сынок.

— Ничего себе ученички! Вы что, переночуете у меня?

— Нет. Я сейчас же обратно в Эль-Амер. А ты доставишь этого голубчика в Тингуит. Его там ждут в окружном суде.

Бальдуччи посматривал на Дарю, дружески посмеиваясь.

— Что это ты такое плетешь? — сказал учитель. — Ты что, смеешься надо мной?

— Нет, сынок. Таков приказ.

— Приказ? Я вам не... — Дарю замялся: ему не хотелось обижать старого корсиканца. — Ну, словом, это не по моей части.

— Э! Какое это сейчас имеет значение. На войне чего только не приходится делать.

— Ну, в таком случае я подожду, пока объявят войну.

Бальдуччи одобрительно кивнул.

— Правильно. Но приказ как-никак все-таки приказ, и тебя он тоже касается. Похоже, что-то заваривается. Поговаривают о восстании. Так что мы вроде как все мобилизованы.

Дарю молчал все с тем же упрямым видом.

— Слушай, сынок, — сказал Бальдуччи. — Я тебя очень люблю, но надо же понимать. Нас тут всего человек двенадцать в Эль-Амере, на всю территорию небольшого округа, и я должен вернуться. Мне сказано передать тебе этого субъекта — и тут же назад. Там его нельзя было держать. Деревня волнуется, они собирались его отбить. Ты должен отвести его в Тингуит завтра днем. Что там двадцать километров отшагать такому молодчику, как ты. А потом — все. Вернешься к своим ученикам и живи в свое удовольствие.

За стеной слышно было, как фыркает и бьет копытом лошадь. Дарю смотрел в окно. Погода явно разгуливалась, на занесенной снегом равнине становилось светлей. Когда весь снег растает, солнце снова воцарится здесь и еще раз прокалит эти каменные поля. И еще долгие, долгие дни невозмутимое небо будет изливать свой сухой свет на уединенный простор, где ничто не напоминало о человеке.

— Ну, а в чем, собственно... — произнес он, обернувшись к Бальдуччи, — ...что он такое сделал? — И прежде чем жандарм успел открыть рот, спросил быстро: — Он по-французски говорит?

— Нет, ни слова. Его уже месяц как разыскивали, но они его прятали. Убил своего двоюродного брата.

— Он против нас?

— Не думаю. Но разве можно знать?

— А из-за чего он его убил?

— По-моему, семейные свары, так я думаю. Похоже, один из них должен был другому зерно. Дело темное. Ну, короче говоря, пырнул ножом и убил своего двоюродного брата. Понимаешь, как барана — д ж и к! — и все.

Бальдуччи сделал жест, как бы скользнув лезвием по горлу, а араб, заметив это, глядел на него с острым беспокойством. Дарю внезапно охватило чувство отвращения к этому человеку и ко всем людям с их грязной злобой, с их неукротимой ненавистью и кровавым безумством.

А чайник распевал на печке. Дарю налил еще чаю Бальдуччи, поколебался и снова налил арабу, который и во второй раз пил с жадностью. Он пил, приподняв руки, джеллаба его распахнулась, и учителю видна была его худая и мускулистая грудь.

— Спасибо, малыш, — сказал Бальдуччи. — А теперь я поехал.

Он поднялся и направился к арабу, вытаскивая на ходу веревку из кармана.

— Что это ты? — сухо спросил Дарю.

Бальдуччи с недоуменным видом показал ему веревку.

— Ни к чему.

Старик жандарм колебался.

— Как хочешь. У тебя, надо полагать, есть оружие?

— Есть охотничье ружье.

— Где оно?

— В чемодане.

— Тебе следовало бы держать его около постели.

— Зачем? Мне нечего бояться.

— Ты, сынок, не в себе. Ни одна душа не будет в безопасности, если они поднимут восстание. Все мы, брат, в одной тележке.

— Я буду защищаться. Я всегда успею увидеть их, прежде чем они приблизятся сюда.

Бальдуччи расхохотался. Но тут же усы его снова опустились, прикрыв все еще белые зубы.

— Успеешь! Так! Так! Вот это-то я и говорю. Ты всегда был немножко чокнутый. Вот за это я так тебя и люблю: сын у меня тоже был такой.

Он вытащил свой револьвер и положил его на стол.

— Возьми-ка. Хватит мне и одного оружия, чтобы добраться отсюда до Эль-Амера.

Револьвер сверкал на черной доске стола. Когда жандарм повернулся, учителя обдало запахом кожи и лошади.

— Послушай, Бальдуччи, — внезапно сказал Дарю, — все это мне омерзительно, и больше всего этот твой малый. Но я не буду его никуда доставлять. Драться, если понадобится, пожалуйста. Но только не это.

Старый жандарм стоял перед ним, не сводя с него сурового взгляда.

— Глупости ты делаешь, — медленно произнес он. — Мне, знаешь, тоже не нравится водить человека на веревке, сколько бы лет ты это ни делал, все равно привыкнуть нельзя, и даже, по правде сказать, стыдно. Но ведь не спускать же им все.

— Не буду я его доставлять, — повторил Дарю.

— Таков приказ, сынок. Повторяю тебе.

— Понятно. Так вот ты им и повтори, что я сказал: я его доставлять не буду.

Бальдуччи, по-видимому, силился найти какой-то выход. Он поглядывал на араба, на Дарю. Наконец он решился:

— Нет. Ничего я им не буду говорить. Если ты хочешь от нас отступиться — твое дело, я на тебя доносить не стану. У меня приказ: доставить арестанта — я так и делаю. А теперь ты мне подпишешь документ.

— Это совершенно ни к чему. Я не собираюсь отрицать, что ты его у меня оставил.

— Ты на меня не огрызайся. Я знаю, что ты скажешь правду. Ты наш, здешний, и ты — мужчина. А все-таки ты должен расписаться—как положено.

Дарю выдвинул ящик стола, достал оттуда маленький четырехугольный пузырек с фиолетовыми чернилами, затем ручку из красного дерева с пером «фельдфебель», которым он выводил примеры на уроках чистописания, и расписался. Жандарм тщательно сложил расписку и спрятал ее в бумажник. Затем направился к двери.

— Я провожу тебя, — сказал Дарю.

— Нет! — сказал Бальдуччи. — Ни к чему эти церемонии, ты меня обидел.

Он взглянул на араба, который стоял неподвижно все на том же месте, огорченно посопел и повернулся к двери.

— Прощай, сынок, — сказал он. Дверь за ним хлопнула. Бальдуччи показался в окне, потом исчез. За стеной под навесом задвигалась лошадь, всполошились куры. Через секунду Бальдуччи снова прошел перед окном, ведя лошадь на поводу. Он шел, не оборачиваясь, прямо к тропинке и исчез первым, за ним лошадь. Потом слышно было, как мягко

покатился вниз большой камень. Дарю вернулся к узнику, который не двигался с места, но не сводил с него глаз.

— Подожди здесь, — сказал учитель по-арабски и пошел к себе в комнату. Но на пороге он спохватился, подошел к столу, взял револьвер и сунул его в карман. А потом, не оборачиваясь, пошел в свою комнату.

Долго лежал он на диване, глядя, как мало-помалу затягивается небо, и прислушиваясь к тишине. Это была все та же тишина, которая так тяготила его в первые дни, когда он попал сюда после войны. Он просил место учителя в маленьком городке, у подножия этого горного кряжа, отделяющего пустыню от плоскогорья. Там скалистые стены, зеленые и черные на севере, розовые или лиловатые на юге, отмечали границу вечного лета. Но его назначили дальше на север, на самое плоскогорье. Вначале ему трудно было свыкнуться с уединением и тишиной на этой неблагодарной земле, где обитали одни только камни. По встречавшимся кой-где бороздам можно было подумать, что тут что-то посеяно, но оказывалось, здесь рыли, чтобы обнажить каменный пласт и достать годный для постройки камень. Здесь только затем и пахали, чтобы собрать камни. Или иной раз наскребали немножко земли, скопившейся в каменных щелях, и удобряли ею хилые деревенские садики. Так уж оно велось здесь: три четверти этой страны было покрыто камнем. Тут зарождались города, цвели, потом исчезали; люди селились здесь, любили или перегрызали друг другу глотки, потом умирали. В этой пустыне никто — ни он, ни его гость — ровно ничего, ничего не значили. И, однако, вне этой пустыни, оторванные от нее, ни тот, ни другой — Дарю это хорошо знал — не могли по-настоящему жить.

Когда он встал, из классной комнаты не доносилось ни звука. И он даже сам удивился, как искренне он обрадовался при одной только мысли, что араб, может быть, убежал и он опять один и ничего ему не придется решать. Но узник был на месте. Он только улегся, вытянувшись во весь рост, между печкой и учительским столом. Глаза его были открыты, он смотрел в потолок. В этом лежачем положении особенно выделялись его толстые губы, придававшие ему какой-то надутый вид.

— Идем, — сказал Дарю.

Араб поднялся и пошел за ним. У себя в комнате учитель указал ему на стул около стола, под самым окном. Араб сел, не отрывая взгляда от Дарю.

— Хочешь есть?

— Да, — сказал узник.

Дарю поставил два прибора. Достал муки, оливкового масла, замесил лепешку и зажег маленькую газовую горелку. Пока лепешка поджаривалась, он вышел и принес из-под навеса сыру, яиц, фиников и сгущенного молока. Когда лепешка была готова, он отставил ее на подоконник, чтобы остыла, поставил на огонь сгущенное молоко, разведенное водой, и стал сбивать яйца для омлета. Неловко повернувшись, он задел за что-то револьвером, засунутым в правый карман. Он отставил миску, прошел в классную и спрятал револьвер в ящик стола. Когда он вернулся к себе, уже стемнело. Он зажег свет и поставил перед арабом еду.

— Ешь, — сказал он.

Тот взял кусок лепешки, быстро поднес ко рту и вдруг остановился.

— А ты? — спросил он.

— После тебя. Я тоже поем.

Толстые губы раскрылись, араб еще помедлил, затем решительно откусил кусок лепешки.

Араб кончил есть и теперь смотрел на учителя.

— Это ты судья?

— Нет. Ты у меня здесь побудешь до завтра.

— Почему ты ешь со мной?

— Мне хочется есть.

Араб умолк. Дарю поднялся и вышел. Он принес из пристройки походную кровать и расставил ее между столом и печкой, перпендикулярно к собственному ложу. Вынул из большого чемодана, который стоял стойком в углу и служил этажеркой для бумаг, два одеяла и расстелил их на кровати. Затем остановился, не зная, что бы еще сделать, и сел на свое ложе. Ни делать, ни приготовлять больше было нечего. Оставалось только смотреть на этого человека. И он смотрел, стараясь представить себе это лицо, искаженное яростью. Но у него это не выходило. Он видел только его взгляд, сумрачный и в то же время горящий, и плотоядный рот.

— Почему ты его убил? — спросил он таким враждебным тоном, что сам удивился.

Араб отвел глаза.

— Он бежал, я за ним погнался.

Он поднял глаза на Дарю — несчастные, горестно-вопрошающие:

— Что теперь со мной сделают?

— Ты боишься?

Все мускулы араба напряглись, он снова отвел глаза.

— Раскаиваешься?

Араб смотрел на него с открытым ртом. Ясно было, что он не понимает. Раздражение Дарю росло. И в то же время он чувствовал себя как-то неловко, не по себе в своем неуклюжем теле, зажатом между двумя кроватями.

— Ложись вон туда, — нетерпеливо сказал он. — Это твоя постель.

Араб сидел, не двигаясь. Он обратился к Дарю:

— Скажи мне!

Учитель посмотрел на него.

— Жандарм вернется завтра?

— Не знаю.

— Ты пойдешь с нами?

— Не знаю. А зачем?

Узник поднялся и лег на постель прямо поверх одеяла, ногами к окну. Свет электрической лампочки бил ему в глаза, и он тотчас же закрыл их.

— Зачем? — повторил Дарю, стоя перед кроватью. Араб открыл глаза под слепящим светом и поглядел на него, стараясь не мигать.

— Пойдем с нами, — сказал он.

Было уже за полночь. Дарю все еще не спал. Он лег, сняв с себя все, — обычно он спал голый. Но когда он сейчас в этой комнате остался без всего, ему стало как-то не по себе. Он почувствовал себя беззащитным, и у него было поползновение одеться снова. Потом он пожал плечами: видел он и не таких, да он его мигом скрутит, если до этого дойдет. С кровати ему видно было, как араб лежит все так же неподвижно на спине, с закрытыми глазами, под этим нестерпимо ярким светом. Когда Дарю потушил свет, тьма как будто сразу сгустилась. Мало-помалу мгла начала оживать за окном, где тихо трепетало беззвездное небо. Вскоре учитель уже мог различить это растянувшееся перед ним тело. Араб по-прежнему не двигался, но казалось, что глаза его открыты. Легкий ветер бродил вокруг школы. Может быть, он разгонит тучи, и солнце снова вернется.

К ночи ветер усилился. Куры повозились немного, потом затихли. Араб повернулся на бок, спиной к Дарю, и тому показалось, что он стонет. Но потом он уловил его дыхание — оно стало более сильным и ровным. Он слушал, как тот дышит совсем рядом с ним, и думал о том о сем, не в силах уснуть. В комнате, где он вот уже целый год спал один, это присутствие стесняло его, но оно стесняло его еще и потому, что налага-

ло на него хорошо знакомые ему узы братства, которое он в данном случае отказывался признать. У людей, живущих вместе в одном помещении — будь то солдаты или заключенные, — возникает некая странная связь, как будто, сбросив с себя вместе с одеждой какую-то защитную броню, они каждый вечер, не взирая на все существующие между ними различия, объединяются и обретают друг друга в древнем единении усталости и сна. Но Дарю встряхивался, он терпеть не мог все эти глупости, надо было спать.

Еще немного попозже, когда он все еще не спал, араб чуть заметно пошевелился. При втором движении узника Дарю замер и насторожился. Араб медленно приподнимался на руках, двигаясь почти как сомнамбула; сев на кровати, он застыл неподвижно, не поворачивая головы к Дарю, словно внимательно прислушиваясь. Дарю не шевелился, он только сейчас вспомнил, что револьвер остался у него в ящике стола. Верней уж было бы действовать сразу. Но он продолжал наблюдать за узником, который все тем же беззвучным, скользящим движением опустил ноги на пол, подождал немного, а затем начал медленно подниматься. Дарю совсем было уже окликнул его, но араб шагнул и пошел теперь уже обычным шагом, но удивительно бесшумно. Он шел к задней двери, которая открывалась в пристройку. Он осторожно отодвинул задвижку и, выйдя, притворил дверь, но не закрыл ее до конца. Дарю не шевелился. «Бежит,— подумал он.— Вот и хорошо, с рук долой!» А сам все-таки прислушивался. Куры не всполошились: значит, он на площадку пошел. До него донесся легкий звук льющейся воды, но он только тогда сообразил, что это такое, когда араб снова вырос в проеме двери, старательно закрыл ее, беззвучно прошел и улегся на свое ложе. Тогда Дарю повернулся к нему спиной и уснул. А еще позже ему казалось сквозь сон, будто он слышит крадущиеся шаги где-то рядом около школы. «Это мне снится, снится»,— повторял он про себя и продолжал спать.

Когда он проснулся, небо было ясное, в неплотно прикрытое окно лился холодный и чистый воздух. Араб спал, теперь уже съежившись под одеялами, с открытым ртом, в полной забывчивости. Но когда Дарю тряхнул его, он подскочил в ужасе и, не узнавая, уставился на Дарю обезумевшими глазами с таким испугом, что учитель отступил на шаг.

— Не бойся. Это я. Сейчас поесть надо.

Араб помотал головой и сказал — да. Лицо его снова стало спокойным, но сохраняло какое-то рассеянное, отсутствующее выражение.

Кофе был готов. Они пили его, сидя рядом на раскладной кровати, и ели разрезанную на куски лепешку. Затем Дарю повел араба в пристройку под навес и показал ему на кран, под которым он умывался. Потом вернулся в комнату, сложил одеяла и кровать, прибрал собственную постель и привел комнату в порядок. И только тогда прошел через школу на площадку перед домом. Солнце уже поднималось в синем небе, нежный, живой свет заливал пустынное плоскогорье. На тропинке кой-где таял снег, вот-вот опять обнажатся камни. Присев на краю откоса, учитель смотрел на пустынную равнину. Он думал о Бальдуччи. Он его обидел, расстался с ним как-то так, словно хотел показать, что вовсе не желает быть с ним в одной тележке. В ушах у него еще стояло «п р о щ а й!», которое ему кинул старый жандарм, и, сам не зная почему, он чувствовал себя как-то непривычно выдохшимся, уязвимым. В эту минуту, по ту сторону школы, узник закашлял. Дарю почти невольно прислушался, потом в ярости швырнул камень, который просвистел в воздухе и исчез в снегу. Бессмысленное преступление этого человека возмущало его, но сдать его властям казалось ему бесчестным, даже мысль об этом казалась ему до того унизительной, что он приходил в бешенство. И он проклинал своих, навязавших ему этого араба, и в то же время проклинал самого араба, который осмелился убить, но не

сумел скрыться. Он поднялся, походил кругом по площадке, постоял на месте и пошел в школу.

Нагнувшись над цементным полом пристройки, араб чистил зубы двумя пальцами. Дарю поглядел на него, потом сказал: «Идем». Он прошел в комнату впереди узника, натянул на себя поверх фуфайки охотничью куртку, надел походную обувь. Подождал стоя, пока араб надел свою феску и сандалии. Они прошли в школу, и учитель показал своему спутнику на выход.

— Ступай,— сказал он. Тот не двинулся.— Я сейчас,— сказал Дарю. Араб вышел. Дарю вернулся к себе в комнату, взял сухарей, фиников и сахару и завернул в бумагу. Проходя через классную, он на секунду остановился в нерешительности перед столом, но тут же пошел к выходу и, переступив порог, запер за собой дверь.—Сюда идем,—сказал он. И пошел направо, на восток, узник за ним. Но едва только они отошли от школы, Дарю показалось, что позади слышится какой-то слабый шум. Он тут же вернулся, обошел кругом школы — никого не было. Араб следил за ним с непонимающим видом.— Пошли,— сказал Дарю.

Они шли час, остановились отдохнуть у какого-то известнякового пика. Снег таял все быстрее и быстрее. Солнце мгновенно высасывало лужи, чистило на всех парах горное плато, которое, постепенно высыхая, колыхалось, как и сам воздух. Когда они снова поднялись и пошли, земля уже звенела у них под ногами. Время от времени какая-нибудь птица взлетала перед ними, с радостным криком рассекая воздух. Дарю глубокими вдохами пил этот свежий свет. Чувство безотчетного восторга поднималось в нем перед этим родным ему бескрайним простором, который сейчас почти весь уже стал желтым под куполом синего неба. Они шли еще час, спускаясь на юг. Вышли на край невысокого уступа из рыхлого ломкого камня. Отсюда плоскогорье, сбегая вниз, переходило на востоке в равнину, где можно было различить несколько хилых деревьев, а на юге подступало к скалистым нагромождениям, придававшим пейзажу сурово-гористый вид.

Дарю поглядел внимательно в ту и в другую сторону. Видно было только солнце на горизонте, нигде ни души. Он повернулся к арабу, который смотрел на него, явно ничего не понимая. Дарю протянул ему сверток.

— Возьми,— сказал он,— здесь сухари, финики и сахар. Тебе этого хватит на два дня. И вот еще тысяча франков.

Араб взял сверток и деньги, но держал все это, прижав руки к груди, словно не знал, что ему делать с тем, что ему дали.

— Теперь смотри,— сказал учитель, показывая ему на восток,— вот это дорога на Тингуит. Два часа ходьбы отсюда. В Тингуите начальство и полиция. Они тебя ждут.

Араб поглядел на восток, по-прежнему прижимая к груди сверток и деньги. Дарю взял его за плечо и довольно резко повернул на четверть круга к югу. Внизу, под уступом, на котором они сейчас стояли, можно было разглядеть едва различимую тропу.

— Вот эта тропа пересекает равнину. День ходьбы, и ты выйдешь к пастбищам и первым кочевьям. Кочевники по своему закону примут и укроют тебя.

Араб теперь повернулся к Дарю, и какой-то панический страх проступил на его лице.

— Послушай!..— сказал он.

Дарю покачал головой:

— Нет. Молчи. Я ухожу.

Он круто повернулся, сделал два больших шага, нерешительно оглянулся на неподвижно стоявшего араба и пошел. В течение нескольких минут он слышал только собственные звонкие шаги по холодной

земле. Он шел, не поворачивая головы. Но спустя некоторое время он все-таки обернулся. Араб все еще был там же, на краю уступа, руки его теперь были опущены, и он смотрел на учителя. Дарю почувствовал, как у него сжалось горло. Но он с раздражением выругался, махнул рукой и зашагал дальше. Он уже был совсем далеко, когда еще раз остановился, поглядел назад — на уступе никого не было.

Дарю постоял в нерешительности. Солнце уже поднялось довольно высоко и начинало припекать голову. Учитель повернулся и пошел обратно, сперва несколько неуверенно, но потом решительным шагом. Когда он дошел до уступа, пот лил с него ручьями. Он поднялся на него почти бегом и, задыхаясь, остановился на вершине. Каменистые долы на юге четко выступали в синем небе, но равнина на востоке уже тонула в дымке зноя. И в этой туманной дымке Дарю со стесненным сердцем увидел араба, медленно плетущегося по дороге к тюрьме.

Позже, стоя у окна классной комнаты, учитель глядел, не видя, как юный свет брызжет с небесных высот на бескрайнюю равнину. Позади него на черной доске среди излучин французских рек выступала выведенная неумелой рукой надпись, он только что ее прочел: «Ты предал нашего брата. Ты заплатишь». Дарю смотрел на небо, на равнину и туда, вдаль, где невидимые земли простирались до самого моря. В этой огромной стране, которую он так любил, он остался один.

АЗИЗ НЕСИН

Три рассказа

Перевод с турецкого И. ПЕЧЕНЕВА

ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ

Разыскав в кофейне Мурада, я подсел к нему:

— Дядюшка Мурад, ты всегда все знаешь. Скажи мне, какая партия победит на предстоящих выборах?

Он лукаво усмехнулся:

— Неизвестно.

— То есть как это? — удивился я.— Разве победит не самая сильная, не самая многочисленная партия?

— Вовсе нет,— покачал головой Мурад.— Цвет каракуля узнают, только когда родится ягненок. Спрашивай хоть у всех подряд, все равно ничего не узнаешь. Удивляешься? А вот послушай.

Старик поджал левую ногу, устроился на скамейке поудобнее и начал рассказывать:

— Прежде в наших краях не было никаких партий. То есть одна-то была, да народ про нее и знать не знал. В те времена, племянничек, мы думали, что партия все одно что правительство: вроде как большущий дом, а внутри партия. И вдруг пошла катавасия с многопартийной системой. Такое тут началось — словами не расскажешь.

Заходит ко мне портной Камиль и говорит:

«Мурад-ага, давай-ка мы с тобой откроем отделение новой партии!»

«Эх, сынок Камиль,— отвечаю,— не нашего ума это дело! Или, по-твоему, штука, которую называют партией,— скобяная лавка?.. Иди-ка ты к себе в мастерскую, крой, шей, утюжь».

Вслед за Камилем является адвокат Рыза-бей:

«Давай,— говорит,— откроем партию!»

Он, мол, состоит в переписке с лидерами новой партии и уже обо всем с ними договорился... Пристал ко мне — мóчи нет:

«Пойми, Мурад-ага, в наших краях твое слово уважают, так давай откроем тут отделение новой партии».

«Сыночек,— говорю,— ничего-то вы, молодежь, не соображаете. Вот однажды у нас в городке создали организацию под названием «Свободная партия», так через месяц от нее и следа не осталось, дома зачинщиков сровняли с землей и пришлось беднягам убраться отсюда подальше».

Адвокат Рыза-бей надул щеки:

«Ах, Мурад-ага, отстаешь ты от жизни. Времена-то теперь не те!

Мрачные дни, о которых гы говоришь, ушли и не вернутся. Теперь у нас все будет как в Америке. И каждый человек обязан будет по закону вступить в какую-нибудь политическую группировку».

Короче говоря, племянничек, создали мы новую партию. Как только объявили о ней, так все, кто прежде состоял в правящей партии, перешли к нам. Наш секретарь не успевает записывать желающих.

«Аллах всемогущий,— схватился я за голову,— что же мы будем делать с таким количеством народу? Как мы с ними справимся?»

Да и, по правде сказать, племянничек, начал меня одолевать страх. Я и говорю Рыза-бею, которого мы избрали нашим главой:

«Помилуй, Рыза! Давай прекратим запись, не то попадем в беду».

«Ничего не бойся,— посмеивается адвокат.— Чем больше в партии членов, тем лучше. Если за нас будет большинство, мы возьмем власть в свои руки».

К нам переходили не только из другой партии. Записывались к нам все кому не лень, даже те, кто и знать-то не знал, что такое вообще партия.

А у меня на душе кошки скребут: чем-то это все кончится? Люди словно спятили: идут и идут к нам, почти весь городишко записался в новую партию. Я день и ночь дрожу: вот, узнают там, наверху, достанется нам на орехи. И начал я подумывать: а не выйти ли мне из этой нашей партии, пока не поздно, не вступить ли в правительственную? Своя-то рубашка к телу ближе.

А из центра все шлют нам поздравительные телеграммы. Рыза-бей на базарной площади произносит такие пламенные речи, что земля того и гляди провалится от рукоплесканий.

Вдруг, племянничек, приходит известие: к нам в город приезжает сам председатель нашей партии. Все жители от мала до велика высыпали на дорогу. У меня сердце в пятки: вот узнают наверху о наших успехах, всех нас поссылают, а город в назидание другим сровняют с землей.

Мы-то считали, что наш Рыза-бей заправский оратор. Но ты бы, племянничек, послушал председателя новой партии! Начинает говорить — народ рыдает. Продолжает говорить — все со смеху валятся на землю. Потом опять плачут, затем вновь смеются. Ну, прямо делает с нами, что хочет: нажмет одну кнопку — плачем, нажмет другую — смеемся.

Кончил председатель речь, вошел в помещение партии и спросил Рызу:

«Сколько жителей в вашем городке?»

«Двадцать четыре тысячи»,— отвечает Рыза.

«Тех, кто не примет участие в выборах, ты не считай. То есть тех, кто не будет голосовать».

«Если их не считать,— прикинул адвокат,— будет примерно тысяч двенадцать».

«Сколько человек записалось в нашу партию?»

«Девять тысяч».

«Прекрасно! — говорит наш председатель.— Мы победили на выборах!»

Сказал и уехал.

Другая партия совсем приуныла. Тотчас в городок прикатил глава этой партии и тоже произнес речь. Ах, племянничек, слышал бы ты, как он говорил! Толпа на базарной площади стонала и рыдала. Молящиеся в мечети не плачут так, когда имам читает житие Мухаммеда. А в конце речи он объявил:

«Соотечественники, если мы останемся у власти, каждая семья получит в банке ссуду в тысячу лир!»

Как только люди услышали о кредите, все кинулись в ту партию. На следующий день вижу: адвокат Рыза плачет неподдельными слезами, обхватив голову руками.

«Что с тобой, дорогой Рыза? — спрашиваю.— Не зубы ли болят?»

«У меня,— отвечает,— зубы вставные и болеть не могут. Но плохо наше дело: все члены нашей партии переметнулись в другую».

«Неужели у нас никого не осталось?»

«У нас,—отвечает,— остались одни руководители и еще те, кто не успел узнать, что банк даст ссуду в тысячу лир».

Тут и я заплакал. Рву волосы у себя на голове, адвокат — у себя, вот-вот облысеем.

«Послушай, Рыза-бей,— говорю,— оттого, что мы страдаем и портим свою внешность, дело лучше не пойдет. А не вступить ли и нам в правящую партию? А то как бы не опоздать! Вдруг скажут: список заполнен, мест нет. Надо спешить».

«Подожди еще немного,— советует Рыза.— Сегодня позвоню в центр. Посмотрим, что они ответят».

А в городе, племянничек, творится что-то невообразимое. Люди гуляют, веселятся, проматывают свои сбережения. Выбранил я некоторых:

«Глупцы, опомнитесь! Что за легкомыслие? Или вы нашли деньги на улице?!»

А они мне отвечают:

«Разве ты не слышал, Мурад-ага? Банк даст нам по тысяче лир! Раз будут деньги, почему не повеселиться?»

Эх, племянничек, кто же засучивает штанины, не дойдя до реки?

Адвокат Рыза-бей совсем извелся и все твердит мне:

«Конец! Проиграли выборы!»

Неожиданно прикатил председатель нашей партии. Клянусь аллахом, племянничек, он прямо пыльными ногами влез на капот своего черного лимузина и закатил речь. Аллах, аллах! Такого я еще не слышал и не видел! Скажет слово — народ рыдает, скажет другое — все хохочут. Под конец он заявил:

«Сограждане! Тут передо мной приезжал один и уговаривал вас поддержать их партию, пообещав выдать из банка каждой семье по тысяче лир. Имейте в виду, если к власти придем мы, то дадим из банка на каждый дом по две тысячи лир!»

Видел бы ты, племянничек, что после этого началось! Сначала в нашей партии состояло девять тысяч человек, потом восемь тысяч семьсот сбежало в правящую партию. А как только люди услышали про две тысячи лир, все опять кинулись к нам. Если месяц назад наши ряды насчитывали девять тысяч человек, то сейчас нас стало более одиннадцати тысяч!

Адвокат Рыза потирал руки:

«Уж теперь-то мы непременно победим на выборах!»

Да разве один Рыза — все так считали. Городок веселится без передышки. Магазины и лавки торгуют вовсю. Никогда еще не было у нас такого. Я только диву даюсь и спрашиваю у людей:

«Ради аллаха, объясните, что все это значит?»

А они отвечают:

«То, что обещала правящая партия, мы уже проели. Сейчас проедаем две тысячи, которые посулила новая».

Эх, племянничек, кто поймет душу неискушенного в политике крестьянина! Одно слово — дети. Пускают на ветер свои и без того скудные сбережения, влезают в долги, проматывают деньги, которых у них еще нет,— словом, делят шкуру неубитого медведя.

Настал черед пугаться правящей партии. Вновь прикатил их глава:

«Сограждане, вас обманули, пообещав выдать из банка по две тысячи лир! Это демагогический трюк! Дешевая ложь!»

Кто-то из наших ответил:

«А вот и нет! Какая ж тут ложь, если мы уже проели деньги, которые нам обещали».

А он глазом не моргнув говорит:

«Ну, хорошо. Допустим, вас не обманули. Допустим, та партия дает на дом по две тысячи лир. А мы дадим столько же каждому человеку. Ну, что скажете, соотечественники?»

Его и дослушивать не стали: все помчались записываться в правящую партию. Наши ряды опять поредели. Впрочем, и рядов-то совсем не осталось.

Рыза впал в уныние.

«Эх, не видать нам победы на выборах».

Ну, а я твердо решил вступить в другую партию. Выжидаю только подходящей минуты.

А время идет. Люди, как узнали, что на каждую живую душу дадут по две тысячи лир, так сразу принялись увеличивать свои семьи. Чиновники, регистрирующие акты гражданского состояния, не успевали записывать новорожденных.

«Аллах милостивый! — ужасался я.— Если и дальше пойдет так, наш городок скоро станет самым перенаселенным в стране. Где будут жить люди? Опомнитесь! — увещевал я сограждан.— Образумьтесь! Подумайте, что вы делаете».

А у них готов ответ:

«Родине нужны дети!»

«Да просветит вас аллах! — говорю.— А раньше где был ваш патриотизм?»

И тут, племянничек, вновь является председатель нашей партии. Как раз вовремя. Опоздай он на день — быть бы ему генералом без единого солдата. Он и партийного дома не нашел бы.

Но он приехал и тотчас произнес речь на базарной площади:

«Соотечественники! Патриоты! Та партия переманила вас на свою сторону, пообещав дать на каждого члена семьи по две тысячи лир. Наша партия не только даст на каждого по две тысячи, но и не возьмет с вас даже банковских процентов...»

Не успел он докончить фразу, как все жители городка бросились наперегонки к зданию нашей организации.

Адвокат Рыза от радости так высоко подбросил шапку, что она столкнулась в небе со спутником и улетела в космос.

«Эх, Рыза, сынок,— говорю я,— если бы выборы были завтра! А то примчится глава той партии, и нам опять крышка: все перебегут к ним».

Так и вышло, я словно в воду глядел. Приехал лидер правящих и сокрушил нас одним ударом.

«Сограждане! — обратился он к горожанам.— Подумаешь, эти темные выскочки обещали не брать с вас банковских процентов! Подумаешь! Мы тоже отказываемся от процентов. Больше того, мы вообще ликвидируем ваши долги банку!»

Эх, племянничек, что тут началось на площади! Можно было подумать, что играют сразу сто свадеб. Люди пляшут, поют, обнимаются. Словом, праздник!

«Что же будет, Рыза-бей, сынок?» — спрашиваю я на другой день адвоката.

«Мы погибли, Мурад-ага,— отвечал он.— Пришел нам конец. У нас не осталось ни одного человека,— только ты да я, остальные переметнулись в правящую партию».

«А мы чего ждем?»

«Погоди еще немного. Я телеграфировал нашему лидеру. Посмотрим, что он посулит помимо ликвидации долгов банку».

А выборы уже совсем на носу: не сегодня-завтра начнутся. Из партийного центра пришло безотрадное известие: «Предвыборная кампания завершена, поэтому агитация и пропаганда запрещены. Мы не пожалели бы на словах отдать избирателям хоть весь банк, но это уже невозможно».

Аллах заступник, опоздали! В нашей партии пусто, а в той записано восемнадцать тысяч.

«Помилуй, Рыза-бей! — удивляюсь я.— У нас во всем городе не наберется столько избирателей. Откуда они взялись?»

«Очень просто, Мурад-ага. Многие в надежде на безвозвратную банковскую ссуду записались в их партию дважды».

«Сколько же у нас настоящих избирателей?»

«Двенадцать тысяч».

«Тогда прощай, сынок, Рыза-бей. Это политика, так что не обижайся. Я пошел в ту партию».

Хорошо ли я поступил, плохо ли, аллах мне судья, племянничек. Короче говоря, и я переметнулся в лагерь железноголовых.

Мурад заказал третью чашку кофе, переменил позу, поджав правую ногу, и спросил:

— Теперь ответь мне, племянничек: в одной партии числится восемнадцать тысяч человек, в другой — почти никого, так какая же победит?

— Странный вопрос, Мурад-ага. Конечно, победят те, которых больше.

— Вот и не отгадал, племянничек. На выборах победила новая партия, то есть та, из которой я ушел. Я сам первый отдал за нее голос. То же сделали и другие. Политика — дело темное. Ты схвати меня за горло или подкупи подарком, и я пообещаю голосовать за тебя. А ты не верь. На тайных выборах мы отдадим голоса за того, к кому сердце лежит. Да, политика — вещь хитрая. Цвет каракуля узнают только тогда, когда родится ягненок. Цыплят по осени считают, племянничек.

СЕКРЕТ БЛАГОЧЕСТИЯ

Вот что, братец: воспитание молодежи у нас в деревне — дело тонкое и хитрое.

Скажем, нет с парнем сладу, никак не желает образумиться — отругай его хорошенько. Не поможет — выдери. А это не поможет — отдай упрямого осла в солдаты. Вернется из армии все таким же — жени паршивца. Ну, а уж если он и женатый не возьмется за ум, так дай ему пинок под зад и выгони из деревни вон. Это самое последнее средство. Но стоит выгнать такого олуха из родительского дома, так в соседнюю деревню он придет совсем другим человеком. Откуда что возьмется!

Верно говорили наши отцы и деды: «Нет пророка в родной деревне». Мудрые слова. Ты когда-нибудь слышал, братец, чтобы когда-нибудь кого-нибудь признали святым его же земляки? Не было такого и не будет. Вспомни хоть святого Ноя. Односельчане его праведником не признали. Так прямо ему и сказали: «Ной-то ты Ной, а только никакой не пророк». А ведь Ной, братец, был великий праведник.

Я тебе еще раз повторяю: если слова и увещевания не наставят оболтуса на путь истинный, возьми в руки палку и отделай его как следует. Взбучка не помогла — отдай в солдаты. Зуботычины ефрейтора способны сделать покорного пса из самого матерого волка. Если же и

кулак ефрейтора окажется бессилен — жени дурака. Норовистого коня обуздает голод, а строптивого парня — жена. Но уж если и у нее ничего не получится, то проводи негодника коленкой на все четыре стороны.

Жил когда-то у нас в деревне Мурад по кличке Свинья, негодяй, каких свет не видывал. Твой парень, братец, рядом с ним — сущий ангел. Мураду еще и десяти не исполнилось, а он уже лупил палкой свою старшую сестру Фатьму и старуху мать. Из-за него жить в деревне стало невозможно.

Пробовали мы уговорить мальца:

— Мурад, сынок, уймись, не балуйся!..

Куда там! И слушать никого не желает. Собакам хвосты рубит, разоряет сады, опустошает огороды, лазит по крышам, льет воду в дымовые трубы. Словом, выделывает такое, что и шайтану не придет в голову.

Вот как-то в пятницу пошли мы в мечеть. Уже вся деревня собралась, а имама что-то нет. Мы ждем. Наконец приходит наш имам. Кто ни посмотрит на него, хватается за живот. Лицо у служителя божьего что твоя радуга: все в цветных полосках — зеленых, желтых, голубых, красных. Переступив порог мечети, имам с нами поздоровался:

— Селям алейкюм!

А все хохочут и толком не могут слова сказать.

И что же оказалось? Имам прилег у источника и задремал, а Свинья Мурад потихоньку расписал его физиономию всякими красками. Ну, мы его изловили, выдрали как следует и спрашиваем:

— Зачем ты, Свинья, надсмеялся над служителем божьим?

— Я,— отвечает,— сделал это для того, чтобы вы знали: имам приходит в мечеть, пренебрегая омовением. Будь он благочестивым мусульманином, то совершил бы омовение перед тем, как идти в мечеть, и заметил бы, что лицо у него в краске.

Тут мы поняли, что наш имам вероотступник и нарушает заповеди корана. Но Свинью Мурада это от трепки не спасло. Повалили мы сорванца на землю и как следует его отделали.

А ему хоть бы что!

Ах, братец, чего только не вытворял наш Свинья Мурад! О всех его проделках не расскажешь. Когда паршивцу сравнялось четырнадцать, он похитил и увез из деревни семидесятилетнюю вдову, бабушку Фадик. Три дня бесстыдник развлекался с ней в горах. Мы всей деревней бросились на поиски. Нашли их в медвежьей пещере у вершины Лысой горы. Видим: Свинья Мурад полулежит на земле, рядом с ним бутылка водки, он хлопает в ладоши, а бабушка Фадик танцует перед ним в чем мать родила.

Обесчестил, стервец, нашу деревню! Мы схватили палки и задали ему перцу. И каждый постарался плюнуть Свинье Мураду в лицо.

— Я ведь хотел сделать как лучше,— оправдывался Мурад.— Никто из вас даже не здоровался с бедной бабушкой Фадик. А я пожалел старушку, приласкал...

Ну, мы ему еще добавили.

Тут бабушка Фадик как бросится к нам в ноги.

— Пожалейте паренька,— умоляет она,— я его прощаю. Ведь он мне в правнуки годится. Я на него не в обиде. За такого молодца да будут жертвой тысячи старух! Отпустите его!

Этот сукин сын вырвался от нас и дал деру. А издали как закричит:

— Чего суете носы не в свое дело, старые дураки? Бабушка Фадик не против, я не против — вы-то чего лезете?

Да, братец, такого негодяя, как наш Свинья Мурад, свет еще не видывал. Всех его проделок и не перескажешь.

Как-то просыпаемся мы ночью — над деревней зарево, улицы полны дыма. Пожар! Глядим: горит сарай Исмаила, где он держал солому. Сбежалась вся деревня. Сам-то Исмаил второй год тянул солдатскую лямку, и его молодая жена оставалась дома одна. Сарай полыхает со всех четырех углов.

Мы тотчас догадались: это дело рук нашего Мурада. Хватайте паршивца! Схватили и спрашиваем:

— Говори, Свинья, зачем поджег сарай?

— А вы погодите,— отвечает,— сейчас все сами поймете.

И вдруг, братец, в сарае раздаются два голоса — мужской и женский:

— Спасите! Помогите! Горим! Пожар! Пожар!

А потом из окошка высовываются наш староста и жена Исмаила.

— Эй, староста,— кричим мы,— зачем это ты влез в сарай к женщине, у которой муж в солдатах?

— Беда, соседи! — кричит он в ответ.— Побежал спасать несчастную солдатку. Ведь пожар! Спасите, горим!

От окошка до земли рукой подать.

— Ну, так прыгай, староста! — кричим мы.

— Не могу,— отвечает,— я голый. Пошлите кого-нибудь ко мне домой за штанами.

Эх, староста, староста, кто же бежит без порток тушить пожар?

Жена Исмаила просит в слезах:

— Помогите, соседи, горим! Принесите мне платье и платок!

Что же это такое? Неужто она, увидев пожар, выскочила из дому в чем была?

А Свинья Мурад грозит:

— Эй, люди, не давайте бесстыдникам одежду! А не то подожгу все ваши дома и сараи, и останутся от деревни одни головешки.

И все знали, что он свое слово сдержит.

Подстерег шельма ночью старосту и жену Исмаила, стащил их одежду, а сарай поджег.

Староста чуть не плачет, не прыгать же из сарая в костюме Адама на глазах у всей деревни. Солдатка тоже совсем голову потеряла — во дворе народ толпится: и парни, и мужчины, и женщины, и старики, и дети.

В сарае началась драка. Любовники нашли ослиное седло и попону, а поделить их никак не могут.

Он кричит:

— Дай я надену!

А она не уступает:

— Нет, я надену! Если ты настоящий мужчина, прыгай из окна как есть!

Староста совсем осатанел:

— Распутница! Ведь я глава деревни! Мне не пристало показываться крестьянам в таком виде! Отдай хоть попону!

А у солдатки уже волосы задымились.

— Мусульмане! — завопила она.— Мужчины! Отвернитесь! Великий грех смотреть на наготу жены ближнего твоего!

Солдатка выпрыгнула из окна и, загораживаясь руками сзади и спереди, убежала в дом.

Вслед за ней из сарая выскочил староста. Чресла его были обмотаны ослиной попоной, седло прикрывало голые плечи. Он со всех ног помчался к своему дому.

Крестьяне, забыв про пожар, так и покатились со смеху.

Ах, братец, да разве перескажешь все проделки этого пакостника! Он был хуже чумы.

Наконец мы дали взятку судье, накинули Свинье Мураду пару годков и сдали нашего мучителя в солдаты.

Деревня облегченно вздохнула. Всем известно: зуботычины ефрейтора самого сатану превратят в кроткую овечку. Пусть, думаем, Свинья Мурад пройдет нелегкую солдатскую школу и станет человеком.

И вдруг через полгода приходит весть: наш Мурад произведен в ефрейторы. Вот так так! Кто же теперь будет его учить? Спустя несколько месяцев новое известие: Мурад уже сержант. Деревня так и ахнула. Мы схватились за головы: ведь если дело и дальше пойдет так, быть негодяю капитаном или майором. Так бы оно и случилось, братец, если бы срок военной службы был не два года, а, скажем, пять.

Отслужив положенный срок, Мурад вернулся в деревню. Ходит важный, нос задирает — не подступись. Видим, худо наше дело! Если мы с ним не справлялись, когда он был Свиньей Мурадом, то теперь, когда стал сержантом, с ним и вовсе сладу не будет.

А Мурад бесчинствует пуще прежнего. И нет на него никакой управы.

Мы, крестьяне, собрались в кофейне и решили: «Надо женить безобразника. Авось баба сумеет его обуздать. Может, поубавится прыти у жеребца!»

Мурад объявил нам:

— Я теперь — сержант Мурад и буду делать, что захочу. Жениться я согласен, но только на девушке, которая мне по душе. А ее родители о калыме пусть и не мечтают. Так и быть: я согласен жениться на дочери лавочника Шюкрю!

Шюкрю видный человек в округе, а дочь у него единственная и редкой красоты девушка. Мы всей деревней пошли к нему на поклон:

— Не погуби, Шюкрю-ага! Все в твоей власти. Если мы сообща не приструним безумца Мурада, нам придется бежать из деревни куда глаза глядят — не даст он нам жить спокойно. Говори, какой калым хочешь за свою дочь? Мы соберем деньги и отдадим тебе.

Женили-таки стервеца. Только после свадьбы он совсем уж распоясался. Крестьяне в поте лица трудятся на поле, а он пьянствует дома с утра до вечера, да еще грозится:

— Вы ответите за то, что обманом отдали меня в солдаты! Я сообщу властям про все ваши штучки. Умирает крестьянин-бобыль, а вы это скрываете и продаете его землю от имени покойника. Умирает одинокая вдова, и кто-нибудь из вас спешит выправить брачное свидетельство — дескать, вы поженились — и забирает ее имущество. Мошенники! Я вас выведу на чистую воду! Будете кормить и поить меня даром!

— Тише, тише, сержант Мурад,— упрашиваем мы.— Будем кормить тебя, будем поить, только молчи!

Куда там! Разве такой негодяй замолчит? Хлещет нашу водку и нас же ругает на все корки.

Как-то вечером мы собрались в кофейне и спрашиваем его:

— Сынок Мурад, господин сержант! Скажи нам, чего ты хочешь?

— Сделайте меня старостой! — говорит он.

Каков наглец! Выбрать его старостой, совсем опозорить деревню?

Наш отказ его разозлил.

— Ну, если не хотите, чтобы я был вашим старостой, сделайте меня имамом!

Аллах заступник, этого еще не хватало! Да как же мы будем молиться в мечети, если там будет служить такой безбожник!

А Мурад все больше и больше наглеет. Умыкает в горы женщин, грабит дома, ворует овец, поджигает амбары.

— Сделайте меня имамом!—твердит он.—Не то я вам житья не дам.

И не дает.

Мы опять собрались и решили: лучше уж мы с ним покончим, чем он с нами.

Ночью, когда Мурад спал, мы вломились к нему, связали, уволокли в горы да так отдубасили кольями, что он едва не помер.

Бьем и приговариваем:

— Вот тебе староста! Вот тебе имам!

И как только ему удалось вырваться из наших рук? Живучий оказался, пес!

Отбежал от нас и прохрипел:

— Все равно я буду имамом, старые ослы! Вот увидите! — и, шатаясь, заковылял прочь.

А мы кричим ему вслед:

— Становись хоть не имамом, хоть самим шейхулисламом, только не в нашей деревне!

Вот так, братец, мы избавились от этого мерзавца. Все вздохнули с облегчением.

Прошло несколько месяцев, и проделки Свиньи Мурада начали постепенно забываться.

Подошел праздник рамазан. Мы пригласили на дни поста имама. Святой попался человек! Мы сразу прониклись к нему любовью и почтением. Это был не простой имам, а праведник из праведников. Что ни слово — то жемчужина мудрости.

Кончился пост, и мы начали его уговаривать:

— Не покидай нас, дадим что пожелаешь. Останься у нас в деревне! Будь нашим имамом!

Он согласился.

Прошел месяц. И вот как-то явился к нам гость из соседней деревни. От них до нас час ходьбы. В полдень пошел он в мечеть совершить намаз. И вдруг послышались из мечети громкие крики. Мы бросились туда и видим: гость повалил на землю нашего имама и топчет беднягу ногами. Не подоспей мы, пришел бы ему конец. Ну, мы намяли бока дерзкому гостю.

— Да как у тебя рука поднялась бить такого святого человека? — возмущаемся мы.

— Какой он святой?! — отвечает он сердито.— Сколько лет этот безбожник житья никому не давал в нашей деревне. Отрастил, обманщик, бороду и одурачил вас, назвавшись имамом. Мне ли его не знать? Прошлым летом он похитил мою жену, увез в горы и развлекался с нею целую неделю. Пустите меня! Я его убью, мерзавца!

Поколотили мы гостя еще раз и отпустили с миром. А у имама всей деревней просили прощения.

Вскоре из той же деревни к нам опять приехал крестьянин. Увидел он в кофейне нашего имама, схватил палку с гвоздем, какой погоняют ослов, и набросился на святого человека. Мы едва спасли несчастного.

— Пустите меня! — кричит крестьянин.— Дайте задушить эту змею! Он украл у меня стадо овец и продал в городе. Собачий сын родом из нашей деревни, там все знают, какой он отпетый негодяй. А теперь отпустил бороду и водит вас за нос, выдавая себя за имама.

Темный народ наши крестьяне, братец. Не хотят взять в толк, что есть люди, похожие друг на друга, как две капли воды. Ведь аллах создавал людей парами. И кто бы ни приходил к нам из соседней деревни, все в ярости набрасывались на нашего имама. В конце концов мы начали прятать святого мученика, иначе соседи его убили бы.

Вот, братец, в какую беду может попасть хороший человек, если он похож на другого.

Как-то утром нас разбудили дикие вопли. Глядим: наши соседи скачут на лошадях, размахивая дубинками:

— Или вы немедленно выдадите нам Волка Махмуда, или мы объявим вам войну! — кричат.

— Да кто он такой, этот Волк Махмуд? — спрашиваем мы.

— Негодяй, которого вы взяли к себе имамом.

— Погодите,— просим мы,— давайте потолкуем мирно!

А всадники со всех сторон окружили нашу деревню. Видно, боялись, как бы наш имам не ушел от них. Но они выбрали послов и отправили их к нам. Мы тоже выбрали от себя стариков поумнее. Переговоры начались.

— Друзья,— говорим мы послам,— вы можете сжечь и сровнять с землей нашу деревню, но, пока жив хоть один из нас, имама мы вам не отдадим. Тут какая-то ошибка. Вы спутали святого человека с тем, кого называете Волком Махмудом. Бывают же похожие люди! Выдать вам на расправу нашего имама — великий грех! Упаси нас от этого бог! В наши времена таких набожных, благочестивых людей днем с огнем не сыскать. А ведь на таких праведных душах только и держится наш грешный мир.

В ответ на это один из послов сказал:

— Вы и не видели настоящих праведников. Вот наш имам ходжа Мурад — тот действительно святой человек. Каждое его слово — сама мудрость. Борода до пояса, шагу не ступит без молитвы и омовения. Если на свете есть хоть один святой, так это наш ходжа Мурад.

— Постойте, постойте,— говорим мы.— О каком Мураде вы толкуете? Не наш ли это Свинья Мурад? Глаза у него голубые?

— Да.

— На левой руке нет мизинца?

— Верно.

— На кончике носа бородавка?

— Все так.

Тут наши крестьяне закричали:

— Что же мы стоим, правоверные?! Чего ждем? Идем ловить обманщика! Смерть собаке! Значит, он ушел в соседнюю деревню и выдает себя за имама!

Настал черед наших соседей уговаривать нас:

— Сами же говорите, что бывают похожие люди. Вы ошибаетесь. Ходжа Мурад истинный святой.

— Это наш-то плут Свинья Мурад святой?! Как бы не так!

Вот-вот две деревни возьмутся за ножи.

Тут заговорил лавочник Шюкрю:

— Постойте-ка! Теперь мне все ясно. Наш Свинья Мурад отпустил бороду и стал имамом у соседей. А их Волк Махмуд стал имамом у нас. Зачем нам ссориться? Все хорошо. Они довольны Свиньей Мурадом, мы — Волком Махмудом. Если мы сейчас прогоним наших имамов, они пойдут дурачить другие деревни. А какие святые явятся к нам после этих — еще неизвестно. Поэтому давайте заключим мир. Будем считать, что ничего не произошло. Пусть ваш святой имам живет у вас, наш — у нас.

Мы угостили послов чаем и кофе. Напоили всадников айраном и проводили соседей с миром.

Прощаясь с нами, они не переставали удивляться:

— Значит, мы не оценили по достоинству нашего Волка Махмуда?!

Мы, в свою очередь, тоже сожалеем:

— Как можно было изгнать из деревни такого благочестивого человека, как наш Свинья Мурад? Видно, мы ошиблись!

И по сей день Мурад — имам в соседней деревне. Тамошние крестьяне им не нахвалятся. А мы не можем нарадоваться на своего имама.

Так-то, братец. Не тужи, если твой сын сбился с пути. Еще не все потеряно. Ведь не хуже он нашего Свиньи Мурада. Отругай, побей. Не поможет — отдай в солдаты. Опять не поможет — жени. Если и от этого толку не будет — отколоти до полусмерти и выгони из дому. В соседней деревне его примут с распростертыми объятиями и назовут благочестивым угодником.

КАК СВЕРГНУТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Может статься, в один прекрасный день захочется вам свергнуть правительство. А известно ли вам, как это сделать? А если вы не станете никого свергать — что ж, и не надо,— все равно полезно узнать, как это делается. Лишнее знание — не ноша в пути.

Сейчас я расскажу вам, как свергают правительства.

Вы спросите: «Откуда у тебя такие познания? Сам-то ты свергал кого-нибудь?»

Отвечаю:

— Нет, сам я в переворотах не участвовал, но видел, как это делается — на книжных страницах. Иначе говоря, читал.

Недавно в мои руки попала любопытная книжица. Запрещенная! Называется: «Искусство свергать правительства». Книгу эту мне прислали по почте из-за границы. Кто прислал, не знаю. Я только диву давался: как это она попала ко мне, миновав лапы цензуры? Издана книга в городе Патшджоскйлмес. Пытаясь прочесть это слово, я чуть не сломал язык. Заглянул в атлас — такого названия не нашел. Наверно, книга печаталась тайно, и ее авторы решили не выдавать места своего пребывания. Города Патшджоскйлмес на земле нет.

В предисловии говорится:

«Мы издали книгу на английском языке, учитывая, что это самый распространенный в мире язык. Она будет тайно рассылаться лицам, которые, по нашему мнению, наделены ниспровергательским талантом. Вы же, в свою очередь, давайте читать ее тем своим знакомым, которые проявляют склонность к антиправительственной деятельности и могут, по вашему мнению, достичь на этом поприще успехов. Рекомендуем также открывать подпольные курсы для желающих изучить эту сложную науку. Тем же, кому вы не доверяете полностью, посылайте только наиболее важные разделы книги, перепечатанные на машинке.

Свержение правительства должно стать вашей заветной целью. Желаем нашим читателям успеха в их деятельности.

Ни одно правительство, даже самое прочное, не в состоянии противостоять методам, изложенным в нашей книге.

С искренним уважением!»

Мне кажется, эта книга издана организацией анархистов, которая ведет тайную подрывную деятельность.

Вначале я страшно испугался. Как поступить? У меня голова просто кругом пошла. Затем я опомнился и решил отнести книгу в полицию, как того требует долг благонадежного гражданина, всей душой преданного родному правительству. Потом я передумал: а вдруг у нас есть люди, жаждущие свергать правительства? Так почему бы не дать им возможность овладеть этим ремеслом?

Книга «Искусство свергать правительства» написана в стиле руководств вроде «Правил хорошего тона», «Как пользоваться косметикой?», «О вкусной и здоровой пище».

Книга разделена на главы, посвященные тому, как свергать правительство в зависимости от его особенностей, специфики страны, методов заговорщиков; написана она живым, образным языком, одновременно точным и конкретным, будто вам объясняют, как приготовить то или иное блюдо,— например, гуляш по-венски. И в этом ее особая прелесть.

По правде говоря, ее авторы недурные психологи. Каждого, кто ее прочтет, охватывает необоримое желание свергнуть какое-нибудь правительство. Вами овладевает мечта: «Ах, как бы и мне совершить государственный переворот!»

Вот заглавия некоторых глав:

«Как свергнуть антинародное правительство»,

«Как уничтожить диктаторскую власть»,

«Применение трýсов для свержения правительства»,

«Как поднять восстание против власти узурпаторов. Как подстрекать народ»,

«Место малодушных в процессе свержения правительства»,

«Способы свержения правительства, не выполняющего свои обещания»,

«Когда революция является законным средством для свержения правительства»,

«Свержение тирании, объявившей себя законной властью»,

«Свержение правительства в отсталых и слаборазвитых странах»,

«На что следует обращать внимание, свергая правительства в жарких странах»,

«Государственный переворот в цивилизованной стране»,

«Как свергать правительства в лесистых и горных странах».

Кроме этих глав, имеются и другие, в которых проблема свержения власти рассматривается с иных точек зрения. В последней главе, заключающей это перечисление и подробное изложение всевозможных способов свержения правительства, написано следующее:

«Если, применив все средства, описанные выше, вы тем не менее не смогли свергнуть свое правительство, не падайте духом. Мы гарантируем, что власть, не свергнутая с помощью вышеупомянутых средств, не устоит против способа, о котором мы расскажем в последней главе нашей книги. Ни одно правительство этого средства не выдержит. Испытайте его. Ну что вам стоит! Ведь вы ничего не теряете. Еще раз желаем успеха!»

Далее следует описание этого самого действенного способа.

Надо отметить, что изложение тех или иных способов свержения правительства сопровождается конкретными примерами, почерпнутыми из истории государств, в которых применялся разбираемый способ. Указывается точное место и время, приводятся соответствующие документы, дается подробная инструкция условий применения данного способа, чтобы он дал оптимальные результаты. Приведенные в книге исторические факты очень любопытны, порой весьма прискорбны, могут взволновать читателя до глубины души или заставить содрогнуться от ужаса.

Сейчас я предложу вашему вниманию точный перевод исторического примера, который приводится в последней главе. Рекомендую вам прочесть его внимательно. Свергать правительство по прочтении не обязательно. Однако я убежден, что вы не выдержите и захотите испытать свои возможности.

Особо важно следующее: свергать правительство этим способом абсолютно безопасно. Не бойтесь, вам не грозят ни виселица, ни тюрьма. Неужели я стал бы рекомендовать метод, будь он чреват чем-либо подобным? Воспользуйтесь им — правительство будет свергнуто, и никто не узнает, что это сделали вы.

Итак, начинаю.

В 19.. году в юго-западной части материка Хапариа, между горами Джаперос и рекой Верназут, в горной, пересеченной местности существовало государство Туштукия. Туштукийцы слыли большими бахвалами и шутниками, а вообще это были очень простодушные люди, мнившие себя самыми хитрыми на свете.

До февраля 19.. года в Туштукии у власти находилась Да-здравствует-государственная партия. На выборах в феврале этого года Да-здравствует-государственная партия потерпела поражение. К власти пришла партия «Сыны отчизны». Эта смена правительства была большим событием в истории Туштукии.

Партию «Сыны отчизны» возглавлял господин Кафакан, человек весьма достойный. Его нельзя было ни в чем упрекнуть, если не считать того, что на всех международных конференциях он крепко спал, а просыпаясь, начинал ковырять пальцем в носу.

Кафакан стал премьер-министром. Лидеры оппозиции, которой теперь стала Да-здравствует-государственная партия, были до глубины души возмущены тем, что Кафакан занял пост главы государства. Они решили во что бы то ни стало отстранить от власти партию «Сыны отчизны». Пребывание на посту премьер-министра человека, который не вынимает пальца из носа, задевало их гражданское достоинство.

Газеты сообщили, что Кафакан и его ближайшие сотрудники — воры. Туштукийцы не придали этому значения.

«Пусть воры,— решили они,— лишь бы страной управляли хорошо!»

Народ был прав, ведь и Да-здравствует-государственная партия, находясь у власти, порядком воровала.

Оппозиционеры, видя, что их пропаганда не принесла результатов, объявили, что Кафакан диктатор и враг демократических свобод.

Народ и на это не обратил внимания.

Короче говоря, Да-здравствует-государственная партия, стремясь вновь вернуться к власти, испробовала все демократические методы, но своего не добилась. Стремясь свергнуть правительство Кафакана любой ценой, она начала подстрекать народ к восстанию.

Это был в корне неверный путь, ибо лидеры оппозиции, не считаясь с особенностями страны и спецификой ее исторического развития, рабски копировали революционные методы, которые применялись в других странах. Народ Туштукии не мог взбунтоваться и пойти против своего правительства. У него просто не было такой традиции. Для восстания туштукийцев требовался правительственный указ: «Каждый гражданин нашей страны обязан восстать! Уклонение от бунта будет караться по всей строгости закона!» Словом, без приказа правительства и его руководства туштукийцы были не способны совершить революцию.

После того как Да-здравствует-государственная партия тщетно испробовала все известные ей средства для свержения правительства Кафакана, председатель этой партии Волк Сантор созвал совещание лидеров и обратился к ним с такой речью:

— Друзья! Я много думал о том, почему все наши попытки свергнуть существующее правительство окончились неудачей. Мы упорно берем за образец революционные методы, которые применялись в других странах. А между тем нам не следует забывать о наших национальных особенностях, мы не должны пренебрегать национальным духом. Каждая страна имеет свою особую специфику, и мы обязаны искать и найти свой собственный путь свержения правительства Кафакана, единственно верный путь, соответствующий нашему национальному духу. Размышляя обо всем этом, я изучил историю нашего отечества и нашел метод, отвечающий нашим национальным особенностям, с помощью которого мы легко свергнем неугодную нам власть. Это будет государственный переворот, какого еще не знала история человечества. Если вы точно выпол-

ните мои указания, Кафакан не продержится у власти и двух месяцев. Загремит он к чертовой бабушке!

Ответом на слова председателя было общее ликование.

— Поскорее расскажите про ваш метод свержения правительства Кафакана! — просили остальные.

Волк Сантор ответил:

— Вспомним, каким образом лишилась власти наша партия. Тем же способом мы и должны свергнуть нынешнее правительство. Забыв о том, что случилось с нами самими, мы пытаемся воспользоваться готовыми рецептами, которые годны для свержения правительств в других странах. Это наш большой просчет. Так давайте же вспомним, почему мы потеряли власть. Наша партия потерпела поражение на выборах по вине членов нашей же партии. Народ отвернулся от нас, не захотел, чтобы мы руководили им, лишил нас власти. Разве не так?

— Да!..— закричали остальные в один голос.— Именно так!

— А раз так,— продолжал Волк Сантор,— мы должны выйти из нашей партии и вступить в партию «Сыны отчизны». Мы наводним собой партию Кафакана, и тогда народ отвернется от нее и лишит ее власти. Что вы скажете на это?

— Гениальная мысль!

— Как нам раньше не пришло это в голову!

— Хвала твоему светлому разуму!

Кто-то спросил:

— Хорошо, а что мы будем делать, вступив в партию «Сыны отчизны»?

Волк Сантор из Да-здравствует-государственной партии усмехнулся:

— Ничего не будем делать. Разве мы потеряли власть не потому, что ничего не делали? Вступив в партию «Сыны отчизны», мы будем вести себя точно так же. Итак, давайте постепенно выходить из нашей Да-здравствует-государственной партии и вступать в партию Кафакана. Делать будем то же, что делали, когда наша партия была у власти, то есть — ничего.

Решение этого совещания было доведено до сведения низовых организаций Да-здравствует-государственной партии. Члены Да-здравствует-государственной партии начали покидать ряды своей партии и вступать в партию «Сыны отчизны».

Премьер-министр Кафакан был на седьмом небе, видя, как стремительно растет число его приверженцев. Партия «Сыны отчизны» крепла, а лагерь оппозиции хирел.

Была созвана конференция партии «Сыны отчизны». Премьер-министр Кафакан поднялся на трибуну.

— Дру...— сказал он в микрофон.

Раздались бурные аплодисменты.

— Дру...— повторил господин Кафакан.

Он хотел сказать: «Друзья!» — но овация была столь бурной, что ему удавалось произнести только первый слог.

Бывшие члены Да-здравствует-государственной партии, а ныне члены партии «Сыны отчизны» вели себя как в те времена, когда их прежняя партия находилась у власти, то есть без устали аплодировали своему председателю.

— Дру... дру... дру...— твердил господин Кафакан.

Гром аплодисментов.

— Друзья, прошу вас...

Аплодисменты нарастают.

— Вы перебарщиваете!..

Овации не смолкают.

— Довольно же наконец!... Дру...

Бурные продолжительные аплодисменты.
Кафакан покраснел как рак.
— Хватит, говорю! Перестаньте же!
Зал продолжал аплодировать.
Гнев премьер-министра сменился растерянностью.
— Да перестаньте же вы! Довольно безобразничать! Дру...
Аплодисменты не прекращались.

Премьер-министр Кафакан начал говорить, не обращая внимания на бурю оваций, которая все нарастала. Однако он и сам себя не слышал. Кое-как окончив речь, он сошел с трибуны.

И после конференции, где бы партийцы-перебежчики ни встретили премьер-министра, они тотчас принимались бурно аплодировать ему. Кафакан кашлянет — аплодисменты, чихнет — аплодисменты, зевнет — аплодисменты, задремлет — аплодисменты, ковырнет пальцем в носу — аплодисменты.

В первое время эти приветствия сердили премьер-министра, он пытался протестовать:

— Да перестаньте же! Прошу вас! Что за безобразие!

Однако постепенно Кафакана перестали возмущать аплодисменты. Затем он привык к ним и, наконец, начал их ждать. Бывало, мигнет — и если окружающие забудут поаплодировать, он сердился и обводил всех гневным взглядом: почему не хлопаете?!

Дальше — больше.

По стране поползли слухи. Пошли разговоры, что премьер-министр Кафакан свихнулся.

А чего ждать от сумасшедшего? Так бесславно закончилась деятельность премьера Кафакана и возглавляемой им партии. Вскоре правительство было свергнуто, и партия «Сыны отчизны» лишилась власти.

Этот невиданный в истории государственный переворот — назидательный урок всем нам.

Итак, если все вышеупомянутые способы будут перепробованы и ни один из них не поможет вам свергнуть правительство, прибегните к этому последнему средству. Самое устойчивое правительство не удержится у власти и полетит в тартарары.

Еще и еще раз желаем вам успеха в вашей деятельности.

КАТЕБ ЯСИН

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
(Фрагмент)

Перевод с французского
МОРИСА ВАКСМАХЕРА

Наша кровь
Опять
Обретает корни.
Казалось,
Мы все забыли,
Но земля наша,
Впавшая в детство,
Снова прежним клокочет огнем.

Даже расстрелянный,
Человек ногтями впивается в землю,
Даже расстрелянный,
Он старается землю
На себя натянуть,
Как одеяло,—
Скоро живым
Не останется места для сна.

А под одеялом земли
В глубоких, как звезды, могилах,
Мертвецы, с пробитым сердцем в зубах,
Крепко держатся за корни деревьев,
Мертвецы
Выдыхают своими пробитыми легкими
Землю —
Это она
Раскаленною пылью
Вливается в горло живым,

Это убитые предки
Бьют по памяти нашей
Раскаленными
Красными
Ядрами.

Б. РЮРИКОВ

ЧЕЛОВЕК — ОДИНОЧЕСТВО И СВОБОДА

Страницы из литературного дневника

Вы стоите у книжной полки, просматривая корешки книг. Вот несколько названий, бросившихся в глаза потому, что в них повторяется одно и то же слово.

«Одиночество на площади» — повесть японца Иосиэ Хотта.

«Одиночество в Вавилоне» — книга рассказов Иозефа Рединга (ФРГ).

«Забавное одиночество» — роман французского писателя Филиппа Соллерса.

«Сто лет одиночества» — роман колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса.

«Одиночество бегуна на дальние дистанции» — англичанина Алана Силлитоу.

Тут же стоят поучительная книга «Одинокий человек» — вышедший в США сборник статей об отчуждении в современном обществе * — и книга трагической публицистики, созданная Дэвидом Рисменом и его соавторами, «Одинокая толпа»**.

И не в названии дело, не в слове «одиночество», вынесенном на обложку. Сколько можно назвать романов, повестей, поэм и притч и т. п., посвященных человеку, оказавшемуся в состоянии одиночества, человеку, отделенному от общества или отделившемуся от него и так или иначе противопоставленному миру? Сколько философских трудов анализирует это *состояние человека* и возможности выхода из него...

Река литературы широка. Бывает одиночество самовлюбленное, охорашивающееся, кокетничающее, любующееся собой. Одиночество иногда становится позой, модной манерой привлечь внимание. Но это не из области серьезной литературы.

Трагедии человека, оказавшегося одиноким, посвящены сотни и тысячи книг; она — из тех явлений, о которых говорят: это не то, что *можно увидеть,* это то, чего нельзя *не увидеть.*

Иосиэ Хотта советский читатель знает по отличному роману «Памятник», вышедшему у нас несколько лет назад. В этой книге со всей полнотой убедительности слились картины жизни Японии последних лет второй мировой войны с философскими размышлениями о японском национальном духе, будущем страны, месте интеллигенции в жизни общества. Роман был весь проникнут ненавистью к чужой для народа войне; автору казалось, что хуже, чем эта стихия постоянной опасности, жизнь в полуразрушенном американскими бомбежками городе, отравляющая дух атмосфера всеобщей подозрительности и недоверия, ничего не может быть. За военным поражением должна прийти какая-то иная жизнь, пусть трудная, но более достойная человека.

И вот повесть об «иной», послевоенной жизни. Журналистская среда с разнообразием и противоречивостью испытываемых ею влияний. Старые газетные волки, хваткие и циничные; молодые журналисты, только оперяющиеся; циничные конкистадоры от политики и коммерции — весь этот пестрый мир дан в беспокойном движении, в тревоге, лихорадочном стремлении угадать, что будет завтра со страной и с их газетой, как строить свое поведение, на что ориентироваться. И если нет «большой войны» — рядом развертывается война в Корее, обо-

---

* Man Alone: Alienation on Modern Society. N.Y. 1962. p. 387.

** D. Riesman. N. Glaser, R. Denney. The Lonely Crowd. London and New Haven. 1963.

стряются внутренние отношения, механизм общественного воздействия, изображенный автором, все яснее ориентируется на реакцию и антисоветизм, и перспектива новых потрясений становится все реальнее. Тем острее встает и проблема ориентации, самоопределения.

Главное действующее лицо повести — молодой журналист — хотел бы сохранять позицию «интеллектуальной порядочности». Но к нему тянутся цепкие руки газетных циников, международных авантюристов, которые чувствуют в нем полезное орудие. После ряда перипетий в герое разгорается, подавляя все остальное, стремление остаться одному, сбросить зависимость от газетных и иных дельцов и заправил. И тогда возникает замысел и заглавие книги: «Одиночество на площади».

Одиночество на площади значит: быть с людьми в мире, но оставаться отдельным, пребывать чужим для них. Состояние одиночества выражает отношение личности к окружающему миру, отталкивание от него, неприятие его. Одиночество для героя Хотта, журналиста Кигака, означает, в частности, творческую свободу. Но во имя чего стремится Кигака к такой свободе? Он мечтает написать книгу — не такую бульварную книгу с необычными приключениями и острым сюжетом, каких много издается в Японии. Ему хочется написать о людях и их душах, об изменяющемся и обновляющемся в них.

Отталкивание от мира циничной продажности — такова линия поведения героя. Но он отталкивается и ищет одиночества не для того, чтобы замкнуться в этом одиночестве; ему важно собраться с мыслями, с чувствами, чтобы сказать то, что наболело в его душе о человеке и мире.

Часто одиночество возникает как несчастье на пути человека — это одна из трагедийных тем, с большой силой разрабатываемых Джоном Чивером. И у И. Рединга одиночество человека в большом западном городе — выражение равнодушия к человеку этого Вавилона роскоши и разврата. Человек одинок потому, что людям, живущим своими эгоистическими заботами, нет дела до него. Герой новеллы И. Рединга, давшей заголовок одноименному сборнику, жалуется, что литература не замечает таких, как он. Герои Хемингуэя, сетует он,— «мужчины из мужчин. Охотники на львов, офицеры, покорители джунглей и вискоглотатели. А вот найдется ли у него невыспавшийся геморроидальный бухгалтер?» Бухгалтер чувствует себя обделенным вниманием, одиноким, с окружающими ему не о чем говорить, они неинтересны ему, и он неинтересен для них.

Проблема одиночества — проблема нарушенных, порванных связей человека и общества.

Одиночество может быть трагическим, как у Маяковского: «Я одинок, как последний глаз у идущего к слепым человека». Это состояние, когда теряются жизненные ценности, угасает солнечный свет и жизнь становится горестным мучением. Но мы знаем и книги, идеализирующие одиночество. Для авторов их общественные связи, нити, соединяющие действующее лицо с другими,— нечто, лишающее личность ее своеобразия. «Я вижу каждого моего героя сиротой, единственным сыном, холостяком и бездетным»,— писал Андре Жид. Если бы все герои были такими, племя индивидуалистов давно бы вымерло... Но оно существует. На страницах книг появляются персонажи, не нуждающиеся в других людях, видящие силу в своей одинокости, считающие, что общественные связи мешают личности осуществить свои возможности.

Одиночество для них — это независимость, это свобода...

Тот, кто следит за философской и социологической литературой, за расхожей публицистикой западного мира, не может не заметить, что благородное слово «свобода» стало одним из самых затасканных, толкуемых вкривь и вкось, употребляемых для приукрашивания самых непочтенных дел. О свободе кричат спекулянты наркотиками, продавцы винтовок с оптическими прицелами в Соединенных Штатах, гомосексуалисты, фабриканты порнографических книг и т. д.— самые нечеловеческие формы разврата прикрываются разговорами о «сексуальной свободе». Свобода значит не мешать делать то, что *мне* приятно и выгодно.

Да, из всех светлых и чистых слов «свобода» едва ли не больше всех захватана нечистыми руками. Величайшей ложью нашего времени является то, что мир, несущий огонь и смерть во Вьетнаме, порабощение и голод неграм в Соединенных Штатах, безжалостную эксплуатацию во всех странах, куда распространяется его власть, угрозу войны и уничтожения,— именует себя *свободным миром*. С такой «свободой» связано расчеловечивание человека, культ жестокости, утрата моральных ценностей. И разве не оскорблением истины является то, что эгоизм, мелкое и грязное себялюбие тоже называют «стремлением к свободе»?

В годы безвременья после поражения революции 1905 года кадетский идеолог М. Гершензон писал: «Гипноз общественности, под которым столько лет жила интеллигенция, вдруг исчез, и личность очутилась на свободе». Вот концепция: общественность — ограничение свободы. «Свобода личности» — в разгуле низкопробного эгоизма, в отказе от идеалов и нравственных целей, в сексуальной анархии — свобода Санина, заявлявшего, что между человеком и его желанием не должно стоять ничего. За этими эффектными словами следовали вполне пошлые дела, показывавшие, что у героя было жеребячье понимание свободы...

В «Бесах» у Достоевского есть интереснейший эпизод. Маленький чиновник, плут и циник Лямшин исполняет на фортепьяно «Марсельезу». Тема французской революции звучит грозно и торжествующе, слышится упоение победой — и вдруг где-то сбоку, внизу возникает мотив пошлой мещанской песенки «Mein lieber Augustin». «Марсельеза» гремит, негодует, и пошлая мелодия отступает, теряется, но затем снова возвра-

щается, звучит громче, опять отступает — чтобы через минуту зазвучать громче и громче... В конце «Марсельеза» заглушена, теряется, а пошлая песенка победоносно заполняет воздух, и уже мелодия «Марсельезы» как-то совпадает с мелодией «Августина»...

В эпизоде этом великолепно выражена судьба великих идей в буржуазном обществе. Понятия личности и свободы были полны безусловного прогрессивного значения. В содержание понятия «личность» была вложена огромная освободительная сила борьбы против узкой и мертвенной феодальной идеологии, подавляющей человека. И вот — последняя треть двадцатого века,— слова «личность» и «свобода» произносятся часто, чтоб оправдать самый дурной и вульгарный произвол.

М. Горький больше полувека назад писал о некоем литераторе: «Он очень громогласно объявил городу и миру о своем безграничном свободолюбии, но каждый раз, когда я слышу такие объявления, мне хочется спросить объявителя:

«А вы от чего желаете освободиться? Не от всех ли обязанностей человека и гражданина?..»

Горькому было ясно, что дикость и варварство нашего времени охотно прикрываются плащом свободы. Когда свободу понимают только как *отсутствие* любых помех, когда думают, что свобода личности в том, чтоб не мешать человеку делаться скотиной,— в этом нельзя не видеть циничнейшего искажения дорогих для общества понятий. Индивидуализм, себялюбие, разгул субъективизма — это силы, деформирующие человеческое сознание. Общество не рассыпной строй одиноких личностей. Субъективистская гипертрофия личности, отделяющая ее от общества и разрывающая ее общественные связи, лишает личность здорового развития, нормального роста. Она угрожает и развитию общества. Коммунизм, знаменующий возрождение человека, реальный гуманизм, естественно, выступает против этого искажения.

Анри Барбюс говорил о французских коммунистах: наша партия «неизмеримо выше не только всех остальных партий, но и всякого горделивого индивидуалистического одиночества».

Вспоминается, как на первом съезде советских писателей докладчик о зарубежной литературе энергично проехался по индивидуализму Жан-Ришара Блока. Блок присутствовал на съезде; он уже выступал с речью по докладу А. М. Горького о задачах советской литературы, но после того как его «разъяснили», еще раз попросил слова.

Поднявшись на трибуну Колонного зала, Ж.-Р. Блок говорил, как неправильно легко и огульно осуждать «старые» слова, говорил о свободе и равенстве, за которые французский народ боролся столетиями. Буржуазия исказила смысл этих слов, присвоила их и сделала фальшивыми, «из слов освобождения она создала слова рабства». Надо вернуть этим словам их освобождающую силу. «Нам необходимо аннексировать старые лозунги западных революций и ввести их в круг революций коммунистических».

Волнуясь, но внимательно глядя в зал, писатель говорил, что индивидуум может пойти путем индивидуализма, «то есть, иначе говоря, к порабощению капиталом и уничтожению личности... Другая дорога ведет нас к коммунизму, то есть к новому образу человеческого достоинства».

В зале гремели аплодисменты, когда Блок бросил сжатую, энергичную формулу: «Индивидуум — да. Индивидуализм — нет».

Позднее, как-то в разговоре с И. Г. Эренбургом, переводившим эту речь и стоявшим на трибуне рядом с Блоком, я вспомнил, как волновался в эти минуты наш гость. Эренбург улыбнулся.

— Знаете, что он сказал, когда мы шли к трибуне? «Выскажу сейчас свое мнение, и пусть со мной спорят».

Ж.-Р. Блок ждал возражений, полемики, он думал, что его будут «поправлять» за переоценку роли личности, но взволнованную речь его приняли горячими рукоплесканиями. Пафос высокой человечности, донесенный нашим другом из Парижа, слился с гуманистическим пафосом советских писателей, сердца которых никогда не были расположены к сухому сектантству и догматической узости.

Революционный гуманизм отвергает противопоставление личности обществу; развитие общества создает основу для всестороннего развития личности. И наоборот; полно и широко развивающаяся личность является условием развития общества в целом. Свобода личности есть способ и средство реализации общественной свободы. Все это кажется ясным и даже элементарным; но в замкнутой и противоречивой жизни буржуазного общества к этой реальной диалектике общества и личности идет трудный, часто мучительный путь. На этом пути возникают миражи соблазнительных обманов, легких и «категорических» решений. И больше всего мешает видеть путь вперед субъективистский туман.

Спор о роли личности становится, в сущности говоря, спором об общественной ориентации писателя. Филипп Соллерс, один из представителей французского «антиромана», писал в журнале «Тель кель»:

«Литература ныне обращается не к публике, не к определенным общественным кругам, но к индивидууму, самому изолированному и самому анонимному... то есть она стремится установить прямую связь на наименее обманчивом уровне. Литература, показавшая себя как такая связь, выходит за пределы социальной обусловленности, идеологий и мифов, убеждающих в поверхностной связи общества».

Связь с обществом — обманчивая. Связь с изолированным индивидуумом — прямая, не поверхностная: она помогает вырваться за рамки социальной обусловленности — считает Соллерс. Короче говоря, изолиро-

---

ванный индивидуум — это и есть та ценность, обращение к которой наиболее плодотворно для литературы.

Но этот «наименее обманчивый» уровень и оказывается самым большим обманом. Искать за пределами общественной обусловленности — значит искать за пределами истории, за пределами реальности. Обращаться к изолированной личности — значит обращаться к тому, чего нет в жизни, ибо человек, даже находящийся во власти самого яростного индивидуализма, продолжает оставаться частью реальности, и образ его мыслей порожден определенными реальными отношениями. Все понятия — свобода, индивидуальность, человек, гуманизм — существуют не как отвлеченные, живущие сами по себе; они включены в сложную сеть понятий, выражающих реальные отношения людей, их социальные отношения. Они напоены воздухом времени, окрашены его неповторимыми цветами.

Проблема личности сегодня — это не отвлеченная философическая проблема, это вопрос о развитии личности в определенных социально-исторических условиях, в связи с задачами развития общества в XX веке. И если буржуазная философия и эстетика атомизируют личность, изображают ее ничтожным элементом в циклотроне истории, то это связано с тенденцией разобществления человека, присущей этой философии. И наоборот, гуманистическая, демократическая философия исходит из представления о человеке как активной, творческой силе, вливающейся в динамическую мощь современного общества. А Ленин писал об общественных переменах: *«Единственной действительной силой,* вынуждающей перемены, является лишь революционная энергия масс». *

Свобода — самое драгоценное достояние личности, возможность ее проявления и развертывания. В наш век социальных и идейных битв закономерно, что и вокруг самого понимания свободы развертываются напряженные идейные столкновения.

У экзистенциалистов, как известно, слово «свобода» — одно из самых любимых. «Человек — это свобода»,— восклицает Сартр. Но именно опыт Сартра, философа, чуткого к требованиям времени, показывает уязвимость и ограниченность экзистенциалистской свободы.

«Человек не таков, каким он себя представляет, но таков, каким он проявит волю стать».

«Человек есть лишь то, что он сам из себя делает».

Это обращение к воле и решимости человека, естественно, привлекало к философу симпатии людей, стремящихся к жизненной активности.

«Человек — это прежде всего замысел, который живет своей собственной жизнью, вместо того чтоб быть мхом, плесенью или цветной капустой». А так как мхом или плесенью ни одному существу с живой душой быть не хочется, экзистенциализм и мог казаться философией, дающей перспективу живым силам.

Но свобода здесь принимала субъективистский, индивидуалистический характер, она противостояла миру, закономерностям, человеческим связям. Сартр пытался оправдать любимое словечко Хейдеггера «покинутость», он писал, что бога не существует и отсюда надо сделать все выводы. Ссылаясь на Хейдеггера и Достоевского, Сартр утверждал: «Человек покинут, беспомощен, потому что ни в себе, ни вне ему не на что опереться... Иначе говоря — нет детерминизма, человек свободен, человек — это свобода».

И дальше:

«Ни позади, ни впереди нас, в светлом царстве ценностей, мы не имеем ни оправдания, ни извинений. Мы одиноки, и нет нам извинений. Это и есть то, что я выражаю словами: человек осужден быть свободным».

Если бы Сартр воевал против фатализма, его можно было бы понять. Но, отрицая детерминизм, он пришел к фатализму наоборот: к фатальному отрицанию закономерностей и общественных связей. Но тогда какой же узкой и мелкой оказывается и воля человека, и его свобода... Человек остался в непонятном мире на произвол непонятной судьбы, он одинок и должен решать только сам, только для себя.

Здоровая мысль стремится проникнуть в сферу личности не затем, чтобы замуроваться в ней, а чтобы лучше понять и своеобразие этой сферы, и ее связи со всем миром.

Попытки экзистенциализма наметить новые пути личности потому и оказались несостоятельны, что в основу была взята личность, отделенная, изолированная, отрешенная от людей,— то есть личность придуманная, не существующая в мире. Ее свобода, ее воля, ее выбор оказались пустыми абстракциями; экзистенциализм потому и распадается, теряет свое влияние, что оказался неспособным сказать слово истины о жизни и месте человека в ней. Хейдеггер, Сартр, Камю представляли атеистическое крыло экзистенциализма. На другом крыле, религиозном, стоят фигуры К. Ясперса, Марселя, Бердяева (которого совсем недавно Ф. Мориак счел нужным назвать духовным отцом французских интеллектуалов).

Бердяев тоже подчеркивал свою заботу о личности, о духовности. Он видел в мире закономерность и смысл — но все это, по его мнению, дает... бог.

В отношениях мировой (то есть общественной) необходимости «все разорвано, враждебно одно другому, выпало из глубины, то есть не духовно»,— писал он в своей работе «Царство духа и царство Кесаря». Для Бердяева познание включает в себя момент теургический, то есть помогает вступить в отношения с богом и божественными силами. Личность ориентируется не на действительность, а на бога: «Мир без бога... лишен смысла и случаен». Человек — это существо, преодолевающее свою ограниченность в стремлении к богу, в этом стремле-

* В. И Ленин. Полное собрание сочинений, т. 30. стр. 282.

нии он трансцендирует к высшему. «Если нет Бога как Истины и Смысла, все делается плоским, нет, к чему и к кому подыматься».

Это философия мрачная, мизантропическая, проникнутая неверием в реальный мир и осуждением его. Если нет бога — у человека нет смысла и цели, ему некуда идти... Как будто в реальном, посюстороннем мире, в отношениях живых людей, в их сегодняшних свершениях, в возможностях развития общества нет перспектив развития и возвышения человека. Эдакая философская смердяковщина! Но она имеет хождение в некоторых философских кругах на Западе. она помогает окутывать в священные одежды идею отъединения от мира — одну из самых бесчеловечных, деморализующих, унижающих человека идеек собственнического общества.

И если Бердяев говорит, что без бога человек — двухмерное существо, не способное всходить на гору, то следует сказать, что именно человек, умеющий видеть и оценивать ориентиры и перспективу реального мира, способен преодолеть и спуск, и подъем на вершину.

В бердяевском «воспарении» — такое унижение личности, отрицание ее самоценности, ее внутреннего значения, ее внутреннего достоинства и творческих возможностей, что нельзя не назвать это обращение к боженьке *антигуманизмом* в самом точном значении слова. В подобных тирадах о «возрождении духа» сквозит глубочайшее декадентство мысли о личности.

Сторонникам идеалистических концепций кажется, что признание объективной необходимости в развитии общества ограничивает значение личности, активной деятельности человека. Но ведь необходимость реализуется в деятельности людей. В определение человеческой свободы включается практика. Свобода человека — это и познание, осмысление им всех элементов и сторон объективных закономерностей, и сознательная деятельность для осуществления необходимости. Человек может быть свободен только в обществе и благодаря обществу. С точки зрения социализма, именно общество создает реальные условия для реализации свободы.

Только поставив на земную почву, связав с решающими процессами общественного развития проблемы личности, ее свободы и форм ее деятельности, можно ответить на вопрос о реальных условиях ее развития. Можно сколько угодно говорить о «фонтанировании свободы», как это делает экзистенциализм, но это будет только фонтанирование общих слов.

Ленин писал о народной революции как высшем проявлении свободы. Свержение устаревших форм общественной жизни; установление волей народных масс новых социально-экономических основ; упорная, длительная борьба, требующая усилий ряда поколений, за укрепление социалистических отношений — это все борьба за свободу. Свобода включает и господство над стихийными силами природы, и господство сознательных и организованных индивидов над своими отношениями. Свобода — и об этом много писала марксистская критика — подразумевает также господство человека над самим собой. Тот, кто находится во власти случайных капризов, минутных произвольных влечений, не властен над своими поступками,— несвободен. Подлинно свободная, сознательная деятельность человека озарена светом гуманной цели.

Жизнь ежедневно показывает нам, как сложна диалектика свободы и необходимости; эту диалектическую связь нельзя игнорировать, нельзя нарушать. Анархо-идеалистические философы бросают марксистам обвинения в недооценке свободы и невнимании к личности. Но именно научная теория марксизма указывает условия для полного торжества свободы и всестороннего развития личности.

Патриарх современного неотомизма Ж. Маритен утверждает в своей книге «Философия морали», что марксистский гуманизм ограничивается *общим,* являясь «гуманизмом родовой сущности человека, гуманизмом человеческой природы, расцветающей и находящей завершение в обществе; он ничего не знает о личности, как таковой».

Вернее будет сказать наоборот: не обращая внимания на общественную природу человека, не ставя проблему человека как проблему общественную, социальную, историческую, нельзя сказать *ничего* и о личности, как таковой.

Подход отвлеченный, умозрительный — это преодоленный этап мысли о человеке. Научный коммунизм явился «наукой о действительных людях и их историческом развитии»*. Сегодня под флагом философской абстрактности выступают часто те, кто хочет отказаться от конкретно-исторических, социальных определений и подменить их буржуазно-либеральной расплывчатостью. Говорят о желательности «либерализовать» марксистские понятия об обществе и человеке. Пошлая «либерализация» взглядов и понятий, сложившихся в ходе длительной и упорной идейной борьбы, в ходе осмысления исторического опыта социального развития, представляет собой отказ от революционных социалистических ценностей, пример попятного движения в общественной мысли. Великое освободительное учение марксизма, непримиримое к любому угнетению, несправедливости, фальши, бесконечно выше и благороднее куцых взглядов новоявленных «либерализаторов».

Марксизм, исследуя диалектику общего и личного, дает реальную основу для постижения самых сложных явлений жизни общества и человека, а также отражения ее в образах искусства.

Одним из непростых явлений литературы 40—50-х годов было творчество Альбера

* К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. 21, стр. 299.

Камю. Путь его был трудным. В тридцатые годы Камю, живший в Алжире, входил в Компартию Франции, затем покинул ее ряды. В годы второй мировой войны он участвовал в Сопротивлении, правда, не на левом фланге этого движения. В 1951 году опубликовал книгу «Восставший человек», проникнутую неприятием идеи революции. Камю отвергает революцию, так как она несет-де угрозу личной свободе. Книга эта вызвала бурю негодования; она была, в частности, причиной разрыва Камю с Сартром, энергично осудившим «Восставшего человека». Камю неоднократно выступал против идей коммунизма, против социалистического мира, а получив в 1957 году Нобелевскую премию, свои выступления по этому поводу использовал для нападок на непонятый им социалистический реализм. (Об этом в журнале «Иностранная литература» не раз писалось.) В 1960 году Альбер Камю погиб в автомобильной катастрофе.

Общественные позиции Камю не способствовали контактам его с советским читателем. Но прошли годы со дня гибели писателя. Четверть века отделяет нас от выхода его повести «Посторонний», немного меньше от публикации его наиболее известного произведения — «Чума». Место А. Камю в литературе XX века объективно и спокойно анализируется в книгах и статьях советских исследователей *. Естественно, что наиболее интересные художественные произведения Камю становятся известными советскому читателю. Так, в этом номере «Иностранной литературы» опубликованы рассказ «Гость» и повесть «Посторонний».

«Посторонний» — повесть страшной и горькой судьбы. На ярком и знойном фоне Алжира, с палящим солнцем, голубым морем, рассказывается история молодого человека, который тускло и одиноко жил, бессмысленно убил человека и так же бессмысленно умирает сам. Герой рассказывает о себе спокойным и усталым голосом и не навязывает своих выводов. Жизнь, пожалуй, идет нормально, с неизбежной повседневной скукой, с мелкими заботами, без радостей и ярких красок — и лишь постепенно раскрывается страшное и бездумное содержание этой обыденности.

С. Великовский, автор талантливой работы о Камю, полагает, что алжирский клерк Мерсо, рассказывающий свою нелепую историю,— «перенесенный в XX столетие вольтеровский простак» **. Это сопоставление поверхностно и формально. Вольтеровский Гурон—цельный, сильный и справедливый человек, столкнувшийся с миром себялюбия, разврата, фальшивых условностей и погибший от рук неправедного мира. Но образ Мерсо показывает, что бессмысленность абсурдного мира, который изображает Камю, проникла в его сознание, разрушая и деформируя личность молодого человека.

В Мерсо редко просыпается свежесть и энергия молодости — это человек усталый и равнодушный. Писали о приверженности Камю к традиционной структуре. Рисунок его рационалистически точен, и в образе Мерсо есть определенная заданность и условность. Камю показывает разные стороны личной жизни героя. Любовь к матери? Он, конечно, любил мать, но спокойно отправил ее доживать в дом призрения; дома ему не о чем было с ней говорить, и смерть старухи не очень его огорчила. Любовь? Ему приятно встретиться с Мари, но тут же он прибавляет: впрочем, это все не важно. Работа? Это отбывание скучной повинности, и даже предложение переехать в Париж, перспектива повышения не выводят Мерсо из состояния вялости. Дружба? Но у Мерсо нет друзей, он одинок, ему не с кем поделиться мыслями, хотя старик сосед Саламано и хозяин бистро Селест хорошо относятся к нему.

Апатия, отсутствие стремлений, скука, всеохватывающая усталость, не согласующаяся с молодостью героя,— это не случайные черты. Чтобы понять Мерсо, надо понять мир, в котором он живет. Личность растет и развивается, когда встречает отзывчивое отношение, когда создается контакт между ней и другими или когда ей приходится напрягать силы, преодолевая сопротивление среды. Мерсо ходит по миру как бы отделенный от него какой-то прозрачной завесой. Хозяин, которому он докладывает, что должен поехать на похороны матери, директор дома призрения, товарищи по службе, примитивный хищник сутенер Раймон, а потом — следователь, адвокат, прокурор, судья, священник — все они, в сущности, глубоко безразличны к молодому человеку, к его внутреннему содержанию, к его возможностям. Мерсо не хочется разговаривать с дружелюбным соседом по автобусу: замкнутость стала его *привычкой*. Не случайно он говорит: все зависит от привычки. Общество формирует состояние отъединенности, отчужденности как привычное и естественное. «Я почувствовал себя затерянным между белесой выгоревшей синевой неба и навязчивой чернотой вокруг: липко чернел развернувшийся гудрон, тускло чернела наша одежда, черным лаком блестел катафалк».

Это чувство затерянности приглушает человеческие чувства; сцена похорон матери примечательна тем, что в сознании героя не пробуждается чувство скорби, а в сцене убийства араба нет ни гнева, ни ярости.

В критике детально прослежено влияние идей экзистенциализма на творчество Камю. И действительно, представления о мире антигуманных собственнических отношений как мире отчуждения и абсурда, о потерянности человека, о принципиальной разобщенности людей, которым не дано понять

---

* Например: Е. Евнина. Современный французский роман. Т. Мотылева. Зарубежный роман сегодня. И. Шкунаева. Современная французская литература. С. Великовский. Альбер Камю перед лицом истории, и др.

** С. Великовский. Альбер Камю перед лицом истории. Сборник «О современной буржуазной эстетике», выпуск второй, стр. 110. Москва. Изд-во «Искусство», 1965.

друг друга, и ряд других положений экзистенциализма приходят на ум при чтении прозы Альбера Камю.

И все же — разве не имеют жизненных оснований некоторые из представлений, отразившихся в «Постороннем», «Чуме», рассказах Камю? Ложная философия искажает восприятие реальности; мы можем со многим не соглашаться в мировосприятии писателя — но разве не стоит задуматься, какие черты реальной жизни, реальных общественных отношений — пусть искаженно, неточно — отразились в образах произведений. Глубокая подавленность чувств, эмоций, стремлений — это черты поведения людей, которые отмечаются в социологии разных стран собственнического мира. Ганс Фрейер (ФРГ) говорит о типе человека, который не живет, *которого живут*. В книге Д. Рисмена анализируется массовое изменение характеров: на смену самостоятельного, изнутри направляемого человека пришел извне направляемый человек (from outside directed man), или человек, управляемый другими (other directed man).

Эрих Фромм, американский социолог и психолог, справедливо писал, что в великой литературе прошлого «мы всегда имеем дело с драматизацией главнейших сторон человеческого бытия», и человек современного буржуазного мира ощущает глубокую *потребность* в такой драматизации. Жизнь и смерть, преступление и наказание, борьба человека с природой — вот явления, на которые указывает Фромм. И дело не только в том, что «человек рвется за пределы обыденного», но прежде всего в том, что в драматизированных явлениях концентрированно выражены существенные стороны этой обыденности. На истории Мерсо лежит не только отблеск философских концепций экзистенциализма, на нее также падает свет повседневных отношений мира, в котором жил Камю и который он отвергал как неразумный, абсурдный, отчужденный *. Мерсо — и *жертва* буржуазного общества, и, вместе с тем, *носитель* его жестокости, разрушительных тенденций.

Повесть Камю четко построена, последовательно развивается, встреча Мерсо с каждым персонажем что-то прибавляет в характеристику отношений героя и мира. И чем больше нагнетается чувство отрешенности, отчужденности, пребывания *в ином измерении* — тем больше нарастает ощущение тревожной трагедийности ситуации. Убийство и суд — кульминация и финал, но сцены эти мастерски подготовлены предшествующим развитием действия.

Сцены в суде, в частности, достойны занять почетное место в литературе критического реализма. Судье, адвокату, прокурору нет дела до Мерсо *как личности*. Прокурор сочинил свою версию. По его словам, это было хладнокровное убийство, совершенное гнусным злодеем, у которого нет души и вообще нет ничего человеческого. Явления выстраиваются в стройный ряд, и никому нет дела, что это — произвольное построение. У адвоката своя, не менее ложная, *антисхема,* глупенькая и сентиментальная. Недаром у Мерсо возникает мысль: «Меня отстраняют от дела, сводят к нулю, в некотором смысле подменяют». За состязанием в красноречии прокурора и адвоката, за поверхностной внимательностью судьи стоит ледяное безразличие к человеку, к мотивам его действий. И здесь невольно вспоминается блестящая сцена суда из «Братьев Карамазовых» — вообще Камю находился под сильным влиянием Достоевского.

С равнодушием судьи и прокурора сталкиваются проблески человеческих чувств в показаниях Селеста, Мари — но все это подавляется потоком холодных, официальных слов.

Мерсо отвергает лицемерные увещевания священника; он уходит из жизни с ощущением несправедливости, допущенной в отношении к нему. Возникают типично экзистенциалистские рассуждения об одиночестве человека, обреченного на неузнавание и непонимание, но живущего по своему выбору:

«Что мне смерть других людей, любовь матери, что мне его бог, другие пути, которые можно бы предпочесть в жизни, другие судьбы, которые можно избрать,— ведь мне предназначена одна-единственная судьба, мне и еще миллиардам избранных...»

Мерсо последних страниц повести преодолел апатию, почувствовал ненависть к чужим и равнодушным ханжам и лицемерам и готов радостно встретить и их ненависть. В сознании человека, мысли и чувства которого дремали, хотя и шла постоянная подспудная работа, произошел в последние часы его бытия *взрыв:* пробудилась активность неприятия несправедливого мира. Но это неприятие мира человеком, уверенным, что каждый идет своим путем, не приближаясь к путям других: линии людских судеб не сходятся. Изуродованная индивидуалистская психика остается неизменной.

Трагедия Мерсо — крик боли, но замкнутая и изолированная, она не несет в себе зерна возрождения и развития. Повесть Камю создавалась в годы Сопротивления, когда прогрессивные писатели Франции отстаивали честь своей страны, участвуя в общенародной борьбе. Камю остался в стороне от пути, ведущего «от горизонта одного к горизонту всех», выражаясь прекрасными словами Элюара. Писатель не смог до конца осмыслить намеченный им конфликт.

Сразу после «Постороннего» Камю написал философский трактат «Миф о Сизифе» — эссе об абсурдности мира и мужестве сильного характера, обреченного на муки

---

* Видимо, с этим связан успех повести у читателя. Во Франции «Посторонний» издан тиражом более полутора миллионов экземпляров. Недавно Лукино Висконти поставил фильм по этой повести. Роль Мерсо исполняет Марчелло Мастройянни, в фильме участвуют Анна Карина, Пьер Вертен и другие известные актеры.

и ставшего выше своих мучений. Несправедливые боги обрекли Сизифа на страшные своей бесцельностью страдания. Он вкатывал на гору камень, но едва поднимался на вершину — камень срывался, и нужно было спускаться, чтобы снова и снова проделывать тот же труд... Сизиф не мог избавиться от наказания богов, но он находит выход в том, чтобы презирать в глубине души это мучение, стоически переносить бессмысленность его.

Камю писал свой трактат, когда Франция и почти вся Европа находились под властью фашистов. В этих условиях призыв презирать поработителей нес какие-то зерна положительного. И все же этот протест оставался абстрактным и бездейственным. Колорит безжизненной отвлеченности лежал на образе Сизифа и на всей ситуации. Писателя интересовала *схема* столкновения героя с богами. Ему неинтересно было, почему прогневались боги, в чем была вина Сизифа — в основе трактата лежала абстрактная вина и последующее наказание.

По контрасту вспоминается драма Робера Мерля «Сизиф и смерть»*, полемичная в отношении к Камю. У Мерля Богоборец Сизиф похищает золотое перо, которым смерть ведет списки уходящих в иной мир. Раз нет списков, люди не будут умирать... Тогда сильные мира сего, в заговоре со смертью, находят и выкрадывают перо и обрекают Сизифа на наказание. Он поплатился за то, что восстал против смерти, пришел на помощь людям. Гуманизм Мерля оказался живее и человечнее, чем трагический и абстрактный гуманизм Камю.

В те же годы Сопротивления, когда Альбер Камю писал «Постороннего» и «Миф о Сизифе», Антуан де Сент-Экзюпери работал над повестью «Военный летчик». Камю и Сент-Экзюпери в чем-то перекликаются; вопрос о смысле жизни, о месте личности в мире волнует и того, и другого. Но как по-разному понимают они эти проблемы бытия!

Сент-Экзюпери пишет, что мог бы оставить тяжелую и опасную работу военного летчика,— но «это только свобода не быть». Свобода, которая ничего не утверждает, ни к чему не стремится,— в лучшем случае самообман. «Только выполнение своего долга позволяет человеку чем-то стать». «Бегство никого никуда не приводило».

Противоречия мира, его несовершенство Сент-Экзюпери видит ничуть не менее остро, чем Камю. С горечью он замечает: «Наш мир состоит из множества не пригнанных друг к другу шестеренок. И дело здесь не в механизмах а в часовщике. Не хватает Часовщика». И безумие фашизма, и предательство правителей Франции, и бестолковщину администрации писатель оценивает беспощадно. Но превосходство его позиции в том, что герой его — не столкнувшийся с абсурдом одиночка, а нормальный, нравственно здоровый, общественный человек.

В книгах Сент-Экзюпери привлекает нравственная высота, ясность и чистота стремлений. Летая над полями Франции, где движутся гитлеровские войска и толпы беженцев текут в неведомое, ища спасения, он чувствует свою ответственность за все, полноту связей — и с несчастными согражданами, и с боевыми товарищами. Он включен в эту жизнь не как наблюдатель, он отдает войне все силы, рискуя жизнью. «Я погружен в хаос разгрома, и все-таки я чувствую себя победителем»... «Сети связей делают тебя человеком». «Нас согревает тепло наших связей — поэтому мы победители».

Летчик летит над вражескими позициями, зная, что каждую секунду зенитный снаряд может разнести его самолет, и философствует — не правда ли, такая философия в самый момент своего рождения проходит суровую проверку? Он размышляет о человеке и свободе.

«Легко воспитать слепца, который, не протестуя, подчинялся бы поводырю или Корану. Насколько же труднее освободить человека, научив его властвовать над собой.

...Если в пустыне я освобожу человека, который никуда не стремится, чего будет стоить его свобода? Свобода существует лишь для *кого-то,* кто стремится куда-то. Освободить человека в пустыне — значит возбудить в нем жажду и указать ему путь к колодцу. Тогда его действия обретут смысл».

Свобода — для стремления, для действия. Свобода не может быть неподвижной, узкой, замкнутой. Что значит свобода? — спрашивает Сент-Экзюпери. «Это свобода дерева расти в силовом поле своего зрения. Она — совокупность условий восхождения человека. Она подобна попутному ветру. Только благодаря ветру свободен парусник в открытом море».

Сент-Экзюпери не был марксистом, коммунистом, он был честным патриотом, демократом, хотя гуманизм его не был свободен от расплывчатости и наивности. Он понимал, что личность вне общего, вне подлинно человеческой духовной атмосферы, вне общих забот, общей ответственности, общей радости тускнеет и хиреет. И писатель с горечью говорит: «Постепенно, забывая о Человеке, мы ограничили нашу мораль проблемами отдельной личности... Так мы потеряли Человека».

Только общее «возвышает и связывает воедино духовные богатства отдельных личностей и основывает единственно подлинную гармонию, которая есть гармония жизни».

Повесть «Военный летчик» — это рассказ об одном дне авиатора, выполняющего боевое задание. Напряженность боевой обстановки придает особое значение мыслям героя; очень важно и очень дорого, что светлые и сердечные мысли о человеческой Общности, о долге Человека (слова «Человек», «Общее» автор пишет с большой буквы) возникли в этой обстановке и под ее влиянием. Суровые законы антифашистской борьбы определили высоту и непререкае-

* «Иностранная литература» № 4, 1955 г.

мость этих нравственных требований, их действенную силу и суровый пафос.

Пример Элюара, Сент-Экзюпери и еще целого ряда писателей Сопротивления помогает и книгу Камю видеть в определенной, перспективе, в живой связи с другими звеньями духовной и литературной жизни. В конце концов каждый заслужил то, что заслужил... Камю с большой силой таланта выразил трагическую дисгармоничность жизни, ужас одиночества, беспомощность слабого, бессилие и *кризис буржуазного индивидуализма;* он осудил этот мир, не зная другого и не веря ни в общность, ни в гармонию, ни в свободу.

Выступая по поводу вручения ему Нобелевской премии, Альбер Камю говорил о месте художника в жизни. Он полемизировал с призывом к «завербованности», ему казалось более подходящим выражение «взятый на борт».

«Ведь в самом деле,— говорил Камю,— здесь нет речи о том, чтобы художник добровольно поступил на службу; скорее, это обязательная воинская повинность. Ныне каждый художник взят на борт галеры своего времени. Ему приходится с этим примириться, даже если он чувствует, что галера пахнет селедкой, и если он считает, что стража на ней слишком многочисленна, да к тому же курс взят неправильно. Мы в открытом море. Подобно другим, художник должен грести, не умирая, если у него хватит сил, то есть он должен жить и творить».

Это весьма безотрадные признания... И слова о подневольном гребце-рабе заставляют вспомнить слова Брюсова из «Гребцов триремы»:

Цепи жестоки. Навек
К месту прикованы все мы.
Где теперь радостный бег
Нами влекомой триремы:

Режем ли медленный Нил,
Месим ли фризскую тину?

Рабы не знают, плывут ли они по Нилу, или по Северному морю, с кем придется биться их кораблю, им —

все равно —
Цезаря влечь или пирата,

но они движут трирему навстречу судьбе.

Чувство фаталистической равнодушной и усталой обреченности противоречит духу и опыту нашего времени. Время наше заставляет с невиданной еще силой и страстностью думать о *судьбах* человека, его *ответственности,* путях борьбы его за *свободу.* Позиция прогрессивных писателей разных стран убеждает, что в «открытом море» времени писатель с живой душой проверяет курс, учится не бояться стражи, охраняющей старый мир, короче говоря, видит свой долг не в том, чтоб покорно страдать (пусть даже позволяя себе внутренне не соглашаться с миром), а в активном, гуманистическом действии, в праве ориентироваться на карте мира и следовать по маршруту, достойному Человека.

И. ТЕРТЕРЯН

НАЦИОНАЛЬНОЕ, НО НЕ ТРАДИЦИОННОЕ

Национальное своеобразие поэтики литературного произведения всегда было трудным и ускользающим из-под рук объектом исследования. В наш век, когда писатель любой страны подвергается воздействию всей мировой литературы, да и сам, работая над своей книгой, зачастую имеет в виду мирового читателя, национальное своеобразие становится понятием все более сложным. Конечно, мы легко улавливаем местную своеобычность того, что изображено в книге,— быта, психологических типов и конфликтов. Именно эту национальную самобытность характеров и житейского уклада мы часто отождествляем с национальным своеобразием произведения. Однако, чтобы почувствовать и понять его в полной мере, нужно еще найти ту точку, где пересекаются особенности национальной жизни и художественного стиля автора, где первые формируют и определяют вторые. Уже преимущественное внимание художника к одним сторонам жизни и равнодушие к другим входит в национальные признаки стиля. А где-то в более глубоких пластах художественного целого спрятаны нити, ведущие от действительности, воссозданной в книге, к манере автора рассказывать, характеризовать своих героев, оценивать их. Конечно, национальная специфичность формы очевиднее, когда она является следствием традиции, длящимся еще детством художественного выражения нации. Сложнее (а, может быть, поэтому и интереснее) те случаи, когда писатель, давно преодолевший такую первоначальную зависимость от традиции, открытый всем влияниям, находит свой, новый и оригинальный путь воплощения идеи, представляющейся ему вкладом его нации в духовное развитие человечества.

В этом смысле поучителен творческий путь Жоржи Амаду. Сейчас, после выхода в свет нового его романа «Дона Флор и два ее мужа», мы можем воспринять и оценить последние четыре книги Амаду («Габриэла», 1958, «Старые моряки», 1961, «Пастыри ночи», 1964 *, «Дона Флор и два ее мужа», 1966) как нечто единое. В «Доне Флор» поэтическая система предстает завершенной, конструктивно четкой и осознанной. Конечно, мы не можем ни пророчествовать, ни выносить окончательных суждений относительно будущего. Нам не дано знать, останется ли Амаду и в дальнейшем верен этой повествовательной манере. Пока бесспорно лишь то, что четыре последние его книги составляют единый цикл, или, вернее (поскольку цикл предусматривает известное фабульное единство), особый «этап творческого пути» художника.

Первое, что замечает читатель этих четырех книг, разумеется, не есть общность их поэтики, но общность мира, в них изображенного. Баия, один из самых старинных бразильских городов, где в уникальной и кажущейся нам столь экзотической необычности быта сталкиваются крайности современного мира: небоскребы — и негритянские хижины, утонченная капиталистическая элита, бойкость всезнающих журналистов из желтой прессы, сложные политические махинации — и негритянские радения-кандомбле. Здесь люди, выходя из современнейших контор, банков, аэропортов, попадают в иступленную карнавальную толпу, католические священники вынуждены мириться с языческими процессиями и играми в дни святых. Здесь вовсе не только неграмотные

* Роман публиковался в «Иностранной литературе» в №№ 2, 3 за 1966 г. под названием «Мы пасли ночь».

негры-бедняки, но и белые, и вполне образованные люди зачастую верят (или хотя бы «допускают возможность») в колдовство, в мудрость старых жрецов и жриц, в обряд купания в пальмовых листьях, защищающий от ворожбы. Здесь на одной улице, в одном квартале уживается все, что мы называем духовным мещанством, все, что внес буржуазный мир в отношения людей друг к другу,— и (тут же, рядом!) патриархальная простота, доверчивость и дружелюбность, коллективность быта, присущая только народной общинности, еще не разрушенной собственничеством и классовой иерархией. И соединяется все это в таких причудливых, живописных житейских формах: праздниках, обычаях, обрядах (из четырех последних книг Амаду только в одной, в «Габриэле», действие развертывается не в самой Баие, но в небольшом провинциальном городке Ильеусе, того же штата Баия).

Конечно, изображение этой жизни само по себе уже создает густую национальную окрашенность произведений. Но Амаду вовсе не ограничивается бытописанием — хотя умеет писать быт упоенно, с какой-то алчностью к материальным подробностям. Он умеет добиваться удивительного эффекта присутствия, люди и места, описанные им, кажутся нам потом знакомыми, как будто мы сами бывали там и встречались с ними (об этом говорил Илья Эренбург в предисловии к одному из романов Амаду). Но книги Амаду вовсе не «физиологические очерки». Как ни реальны, безусловно достоверны все детали рассказа, мы все же ощущаем, что находимся в особом, претворенном мире, где все несколько сдвинуто и сгущено. Ну, вот совсем как во время карнавала, когда несколько дней самые обычные, бесспорно реальные люди живут необычной жизнью, обнаруживают невероятные, неиссякающие в течение этих дней силы, темперамент, энергию, тратят столько веселья, сколько нормальному городу хватило бы на несколько лет. Вот так же и в книгах Амаду — все живут вроде бы неспешной естественной жизнью (особенно в толстых романах, «Габриэле» и «Доне Флор», обо всем рассказывается чуть ли не день за днем, с возвращениями и предысториями), но в то же время все напряжено, даже утрировано. Что-то должно нам открыться, или произойти, или вырваться наружу из скрывающей его дотоле будничной бытовой оболочки.

Амаду как-то назвал роман о доне Флор сатирой на мелкую буржуазию. И, конечно, сатиры там предостаточно, то более, то менее добродушной. Жадность, трусость, себялюбивая мнительность, душевная и умственная рутина, смешные претензии и предрассудки — все это представлено во множестве фигур и зачастую в гротескной заостренности. Но не для сатирического осмеяния написана эта книга. Не только не исчерпывается сатирой содержание романа, но она даже не главное в нем.

До поры до времени нам может казаться, что весь смысл рассказа — в этих смешных или даже будничных происшествиях и фигурках, в высмеивании их муравьиного копошения. Но каждый раз, в каждой книге «что-то» происходит, взрывает бытовую обыденность. «Это» может быть совершенно фантастическим: бог Огун является на крестины сына бедного негра («Пастыри ночи»), мертвецы воскресают, чтобы повидаться с друзьями или с любимой женой («Старые моряки» или «Дона Флор и два ее мужа»). А иногда происходят и не фантастические, но не менее невероятные для их очевидцев и участников события. Кухарка Габриэла, на которой женился ее хозяин, сделав ее тем самым богатой и уважаемой в городе дамой, демонстративно изменяет ему и охотно возвращается к своему прежнему нищенскому положению. Капрал Мартин выгоняет свою красавицу жену и влюбляется в тихую, невидную проститутку Оталию. Наконец, все жители трущоб на холме Мата-Гато вступают в бой с полицией и городскими властями («Пастыри ночи»). Так или иначе, в сказочной или реальной, в массовой или индивидуальной, психологической ситуации, но происходит схватка. Столкновение между двумя силами. Между корыстью и бескорыстием, двоедушием и искренностью, манерностью и простотой, дружбой и эгоизмом. Между народными представлениями о жизни и действительной жизнью буржуазного общества. И тем самым — между национальной средой и вненациональным духовным стереотипом, выработанным современным обществом и распространяющимся повсюду, в том числе и в Бразилии.

Для воплощения этого столкновения, для характеристики участвующих в нем антагонистов писатель разработал оригинальную и органичную поэтическую систему. Чтобы понять ее, вернее всего будет сопоставить последние книги Амаду с произведениями двух (тоже вполне четко отграниченных) предыдущих этапов его пути. Тогда обретение национальной специфики предстанет не как изначальное качество, которым писатель обязан факту своего рождения в этой, а не в какой-либо другой стране, но как результат сложного внутреннего процесса. Традиция, разнообразные влияния, высокая и весьма современная литературная культура писателя, общественный опыт, корректирующий традиционное восприятие национальной стихии,— все это сплавляется воедино.

В тридцатые годы Амаду написал свой первый цикл романов о родном городе Баие («Жубиаба́», 1935, «Мертвое море», 1936, «Капитаны песка», 1937). Герои этих романов — негры-бедняки, моряки, рыбаки — не обычные герои реалистического повествования. Они как будто вырваны из всех, непреложных в наше время, социальных связей. Их характеры не детерминированы ни средой, ни перипетиями жизненного пути. Все они похожи на излюбленных персонажей народных песен или баллад: переживая

многочисленные превращения, они сохраняют нетронутой свою изначальную цельность. Это, собственно говоря, не характеры, а поэтические темы. Каждый из них воплощает одну из сторон народного сознания.

Так, старый жрец Жубиаба (из одноименного романа) — это прошлое негритянского народа, его память об африканской родине и о веках рабства, смутные сны о подвигах восставших рабов и горькая мудрость терпения. Амаду заставляет Жубиабу склониться в конце романа перед стачечником Антонио Балдуино как перед богом — жест чисто песенный и заканчивающий развитие поэтической темы символом: прошлое склоняется перед новой мудростью — мудростью не смирения, а борьбы.

Негр Толстяк (из того же романа «Жубиаба») — несравненный во всей Баие рассказчик сказок и легенд — тоже воплощает одну из сторон народного сознания, ту, что среди ужаса жизни ищет выход в мечтательной религиозности и в грезах фантазии. И эта тема завершается символом: Толстяк сходит с ума, когда на его глазах полицейские убивают ребенка: «...потому что даже око доброты самого бога, которое так же велико, как целый мир, иссохло».

Наконец, герой «Жубиабы» Антонио Балдуино олицетворяет самое творческое, самое активное начало народного сознания. Доминантами его образа становятся музыка и море: музыка, которую он сочиняет, чтобы потом беспечно подарить белому человеку, и море, к которому тянется Антонио и которое в песне всегда означает свободу, странствия, перемены.

Весь роман «Жубиаба» построен на фольклорных символах и формулах, на параллелизме ситуаций, характерном для фольклора, на отождествлении персонажей с фольклорными героями (например, писатель, приходящий на негритянское радение макумбу, немедленно отождествляется в восприятии Антонио с героем сказок — веселым бродягой Педро Малазарте). Амаду пытается наполнить образные схемы фольклора новым содержанием. Так, переосмысляется параллелизм зачина и концовки рассказа: роман начинается боем между Антонио и белым боксером, роман кончается привегом, который посылает Антонио белому моряку Гансу.

«Мертвое море» — другой вариант «фольклорного» романа (так можно условно назвать жанр, создаваемый в те годы Жоржи Амаду). Здесь Амаду сплавляет воедино два плана повествования: житейское и поэтическое, реальное и легендарное. Каждая ситуация. каждый поступок героев имеет как бы два толкования, два смысла — обыденный и сказочный. В реальном плане герои романа живут убогой, нищенской жизнью рыбацкой деревушки, погибают в море, оставив вдов и сирот. В легендарном плане — они соперничают с богами, моряк не возвращается из плавания, потому что становится любовником богини моря Йеманжи, а его вдова, став на его место к рулю баркаса, бросает вызов грозной богине. «Люди как боги» — так мы бы обозначили идею того поэтического претворения действительности в легенду, которое совершается в этом романе. Принцип строения романа — соединение быта и фольклорной поэтизации — пожалуй, наиболее отчетливо сказывается в языке. В диалоге Амаду воспроизводит многочисленные неправильности и грамматические искажения, характерные для простонародной разговорной речи. В авторской речи и, что особенно важно, в косвенной передаче мыслей героев, в их внутреннем монологе все неправильности исчезают. Герои мыслят совсем не так, как говорят. Во внутреннем монологе появляются языковые особенности, характерные для фольклора: повторы слов и целых фраз, фразы-лейтмотивы, звучат прямые цитаты из народных песен. Рядом с диалогом язык внутренних монологов кажется несколько искусственным, приближенным к стихотворению в прозе. Есть разрыв между повседневной жизнью героев с навязанными им нищетой, невежеством и грубостью — и высоким поэтическим строем их чувств. Это и выявлено языком.

Первые книги Амаду кажутся продолжением бразильского романтического индианизма. Только, в отличие от романтиков XIX в., Амаду вводит в литературу другой элемент национальной культуры — негритянский. Амаду объединяет с романтиками признание за легендой не только живописных качеств, но и духовного содержания, созвучного и нужного современному человеку. Из этого признания вырастает принцип поэтики, общий для романтиков и Амаду,— воспроизведение народной легенды как реальности.

Есть, однако, коренная черта, позволяющая нам считать Амаду оригинальным художником, а не реставратором, пусть и очень талантливым, романгической прозы.

Бразильские романтики рассматривали фольклор как область прошедшего — и поэтому отъединенного от современности. Этический идеал, утверждаемый ими в возвышенных образах индейцев, был ответом на вопросы времени, но ответом превращенным, «доказательством от противного». Эстетическое сознание романтиков не допускало соединения фольклора и сегодняшней реальности, идеального индейца и современного человека. Индианистский роман был не исследованием настоящего, а уроком настоящему, ответом ему.

Амаду смело соединил фольклор и быт, попытался использовать фольклор для анализа сознания современного бразильца, его возможностей, его духовных перспектив. Это было открытием Амаду. Конечно, в баиянском цикле 30-х годов это открытие только еще намечалось. Амаду нащупывал свой путь. Этот путь оказался не прямым и не бесспорным.

Известную, может быть, даже очень существенную роль сыграли внешние обстоятельства жизни и творчества Амаду. В 1937 году он вынужден был эмигрировать. В 1942 году он возвращается на родину, но уже в 1947 году эмигрирует вновь и до 1952

года живет сначала во Франции, потом в Чехословакии. В годы эмиграции Амаду стал общественным деятелем международного масштаба, представляющим для всего мира демократическую Бразилию. Здесь Амаду сблизился с писателями разных стран, вошел в европейскую литературную жизнь, оказался захваченным ее потоками и водоворотами. И в произведениях этих лет постепенно нарастают элементы, идущие от систем, казавшихся писателю более высокими и более соответствующими идейным задачам дня. Сама потребность в трезвом и историческом взгляде на жизнь, в осмыслении хода истории вполне понятна и закономерна у бразильского писателя, родина которого переживала острые и мучительные потрясения: после бурного подъема демократического движения в 1933—1935 годах—установление диктатуры, затем краткое демократическое обновление, либерализация режима в 1944—1945 годах и поворот к новой диктатуре. Эпический взгляд на мир требовал перестройки поэтики, обаятельный песенный колорит его романов не позволял прорисовывать реальные события, исследовать движение общества во всех его слоях. Так писатель пришел к освоению уже сложившейся и хорошо разработанной в европейской литературе формы многопланового романа-эпопеи. Такой принцип строения сюжета — исследование исторического события на судьбах людей из разных классов общества, скрупулезно прослеженных на протяжении нескольких лет,— влечет за собой и соответствующие способы характеристики персонажа, весьма отличные от поэтизации при помощи фольклорных символов. Перелом не был мгновенным — поэтика фольклорного романа еще долго вторгалась в новую структуру: книги Амаду 40-х годов представляют собой достаточно неоднородные образования. Так, в «Красных всходах» (1946) фольклорная символика определяет распад книги на три части — повести о судьбах трех братьев (извечный мотив сказки, в том числе и бразильской), воплощающих три варианта крестьянского бунта. В «Бескрайних землях» (1942) и «Городе Ильеусе» (1944) сохраняется противоположность между репликой и внутренним монологом: языковой неправильности диалога противостоит очищенная, приподнятая, даже ритмизованная внутренняя речь.

В «Подполье свободы» (1952) следы фольклорного романа уже вовсе исчезают, зато усиливается влияние романа-эпопеи (разительно сходство с романом Арагона «Коммунисты»). События, о которых рассказывается в «Подполье свободы», достаточно своеобычны. Амаду и здесь не изменяет его живописное мастерство, и во многих эпизодах он блестяще рисует быт или воссоздает напряженную атмосферу надвигающегося государственного переворота. Однако новый и очень сложный жизненный материал захлестнул художника. Не предместья Баии и даже не «бескрайние земли» одного района с их жестокими, однородными аграрными конфликтами — но вся Бразилия с ее верхами и низами, многообразными политическими, социальными и психологическими коллизиями в один из самых острых моментов ее новейшей истории. Не находя еще органичной — другой, но столь же органичной, как в его фольклорных романах,— художественной системы, вмещающей весь этот материал, Амаду пытается на первых порах его освоить рационалистически, использовав уже сложившуюся и известную художественную модель. И психологическое развитие характеров, и развитие бразильской действительности в целом оказались выпрямлены и схематизированы. Фабульные линии этого многопланового романа построены по одной схеме — они показывают, как представители разных классов (крестьянин, грузчик, балерина, архитектор, офицер и т. д.), переживая разные драматические ситуации и находя в трудные минуты поддержку у коммунистов, признают правду коммунистических идей (что завершается в большинстве случаев вступлением в партию). Парадоксальным образом национальная специфика именно тут (а не только, как мы к этому привыкли, в случае употребления традиционных, обветшалых формальных приемов) становится декоративной, внешней. Национальное своеобразие превращается в декорацию, в ярко и экзотично расписанные задник и кулисы, на фоне которых разыгрывается действие.

Амаду в 1955—1956 годах пережил глубокий творческий кризис. Он прекратил работу над трилогией, первой частью которой должно было стать «Подполье свободы». После нескольких лет молчания одна за другой выходят новые книги Амаду, которые уже были названы нами.

Во многом Амаду возвращается к манере первого баиянского цикла. Проще и быстрее всего сказать, что фольклор возвращается на страницы книг Амаду. Вновь появляется фольклорный герой: вместо бродяги Антонио Балдуино теперь поет, пляшет, любит мулатка Габриэла, как и Антонио, сохраняющая посреди деловой суматохи буржуазного города цельным и неразрушенным свой характер, вышедший прямо из народной песни. В новеллах из книг «Старые моряки» и «Пастыри ночи» — то же равноправие легенды и реальности, та же двойственность мотивировок, предоставленных на выбор читателю, что и в старом романе «Мертвое море». Мы можем одновременно смотреть на события глазами обычного сегодняшнего человека и глазами народного коллектива. Но кроме того, что новые книги написаны ярче, увереннее, решительнее, нежели довоенные романы, есть между ними и существенные структурные различия.

Прежде всего, эти книги лишены завершенности. То, что в них рассказано, не приходит ни к какому окончательному решению. Герои не перерождаются, не начинают новую жизнь (подобно Антонио в «Жубиабе»). Босяк остается босяком, проститутка—

проституткой. Книга выхватывает эпизод из их жизни. Характеры их статичны. Свойство это фольклорное — какой-нибудь Педро Малазарте переходит из сказки в сказку все тем же веселым и сметливым проказником. «Пастыри ночи» похожи на сказочные циклы такого рода — герои переходят из одной новеллы в другую, ничуть не меняясь. Подражание сказке не случайно в этой книге Амаду. Народная среда представляется ему теперь куда более традиционной, устойчивой, ни люди, ни формы жизни не меняются так быстро и прямолинейно, как это можно было бы полагать по его старым книгам. Не иллюзорно легкое движение, но какие-то внутренне присущие этой, кажущейся даже косной, среде черты исследует теперь писатель.

Как уже было сказано, и старые и новые книги Амаду построены на сопоставлении двух планов повествования: реального, бытового — и символического (или поэтического, по обозначению самого писателя). Соотношение этих двух планов стало теперь совсем иным. В довоенных книгах они развивались параллельно — фольклорное восприятие преображало события, как бы освящая, вознося к некоей величественности то, что на самом деле происходило. Ливия («Мертвое море») встала к рулю на место погибшего мужа — и она кажется морякам богиней, вступившей в спор с Йеманжой, владычицей моря. Сказочность нужна как средство идеализации.

В «Старых моряках» или особенно «Доне Флор» быт и фантастика сталкиваются в непримиримой схватке. Они насквозь враждебны, противоположны, и только юмор может создать шаткое равновесие между ними. Таков финал романа «Дона Флор и два ее мужа».

Дона Флор, простенькая и добрая мещаночка, живет двойной жизнью — в спокойном, скучном, добропорядочном втором браке с аптекарем и в странном сожительстве с призраком своего первого мужа, веселого повесы и карточного игрока, умершего от неумеренного пьянства и пляса во время карнавала и даже после смерти ухитряющегося удрать из царства теней, чтобы побыть со своей красоткой женой. Дона Флор вполне довольна буржуазным комильфо своей новой жизни — и одновременно с тем глубоко несчастна, потому что в юности, замученная (как казалось ее родным и соседям) пьянством, шлянием и даже побоями своего беспутного мужа, она на самом деле узнала с ним такую радость и щедрость вольной любви, без которой ей тошны теперь и благополучие, и общественное положение, и все остальное. И вот то ли негритянские боги устраивают в небе над Баией грандиозный бой из-за непокорного бродяги, удравшего с того света, то ли просто дона Флор воображением своим воскрешает ласки покойного мужа... Жоржи Амаду рассказывает, что по первоначальному плану дело должно было кончиться безумием доны Флор. Однако в ходе работы над романом он почувствовал неестественность трагической развязки. Героиня и весь социальный мир, сконцентрированный вокруг нее, не «дотягивают» до разлома, до трагического разрешения конфликта. И житейская устойчивость мещанской стихии пока одерживает победу: дона Флор справляется с угрызениями совести, а грезы помогают ей заглушить тоску. Вот идет она по улице под руку с важным и самодовольным мужем, и никто не знает, что блаженная улыбка ее обращена к призраку, который вьется вокруг и нежно касается ее тела. В этой последней сцене пропадает двойственность в отношении к героине (на которой держалось все раздвоение романа на сатирический и поэтический планы), и ирония становится единственной экспрессивной стихией рассказа.

Во всех четырех новых книгах Амаду сталкиваются два потока. Поэтический, легендарный план повествования постепенно обрастает мясом, тонкие нити протягиваются от него в обыденную жизнь, отмечая в ней то, что соприкасается или может соприкоснуться с глубинным движением народного сознания.

Все сверхъестественное, что происходит в этих книгах, связано с верованиями бразильских негров, с ритуалами их, сохранившихся и по сей день, культов *. Обряды эти сопровождаются едой, и Амаду всегда отмечает это и точно называет кушанья. На крестинах сына Массу будет потрясающее каруру. Чтобы узнать волю бога Огуна, нужно приготовить побольше акараже и абара и напитка алуа. Принесенные в жертву перед алтарем Огуна петухи и голуби тут же превращаются его жрицами во всевозможные блюда, которые и поедаются всеми присутствующими на молении («Интермедия для крещения Фелисио, сына Массу и Бенедиты, или Кум Огуна» из книги «Пастыри ночи»). Но еда, пряные и острые блюда, которые умеют готовить только женщины Баии, как бы участвует во всех сюжетных перипетиях, во всех событиях жизни героев. Кошмарные приключения ожившего трупа Кинкаса Сгинь Вода развертываются в то время, когда друзья волокут его в порт, чтобы он, хоть и мертвый, попробовал бы вкуснейшую мокеку, приготовленную рулевым Мануэлем («Старые моряки»). Любовь Насиба и Габриэлы не может оборваться еще и потому, что Насиб и дня не может прожить без кушаний, которые только Габриэла умеет готовить. Наконец, в книгу о доне Флор включены подробные рецепты баиянских блюд — на равных правах с переживаниями несчастной вдовы, да еще и вперемежку с переживаниями, потому что каждое блюдо, секрету которого дона Флор, руководительница кулинарной школы «Вкус и искусство», обучает своих учениц, напоминает ей сладкие или горькие минуты, пережитые с покойным мужем.

Баиянская кухня — одна из важных составных частей негритянской народной куль-

* Я сейчас не касаюсь самой этой проблемы сверхъестественного в повествовании о современной жизни, так как об этом мне уже приходилось писать («Существует ли галлюцинирующий реализм?», «Иностранная литература» № 7, 1965).

туры. Вывезенная неграми-рабами из Африки, она была обогащена в соответствии с теми возможностями, которые предоставляет бразильская природа. Бразильские историки и этнографы неоднократно и тщательно изучали негритянскую кулинарию. Баиянская кухня интересовала их главным образом как форма и сфера проявления расового смешения. Известный этнограф Жилберто Фрейре указал на то, что негритянские блюда, введенные рабынями-кухарками в рацион белых колонизаторов, помогли португальцам адаптироваться к условиям тропиков. Баиянская кухня участвовала, таким образом, в процессе становления нации. Историки, естественно, не обращали внимания на другой, духовный, аспект дела — на отношение народного сознания к наслаждению от еды. Народное сознание не только не стыдится этого наслаждения, но наоборот, обожествляет его, включая в ритуал, в культ. Как мы знаем, христианство, напротив, поэтизирует умеренность, воздержание. Русское православие явно пыталось примирить христианское возвеличение поста с народным, более древним, отношением к еде, соединив великий пост с разговлением и неофициально включив в православный календарь старинные масленичные обряды. Но это паллиативы, в которых не нуждаются герои Амаду. Здесь еда не терпит никакого ущемления в своих правах. Она входит в культ рядом с искусством, с изощренной дробью барабанов атабаке, старинной кантигой, сложными движениями ритуальной самбы.

Так же открыто и откровенно царствует в художественном мире Амаду чувственное наслаждение. Иногда читателей и критиков смущает эротизм последних книг Амаду: незавуалированность сцен, подчеркнутость некоторых деталей женского портрета, безмятежная чувственность, которая разлита и в поведении героев, и — соответственно — в речи рассказчика. Конечно, шокирующая новизна этой чувственности возникает именно из-за столкновения двух планов: современного, бытового,— и фольклорного, языческого. Самым строгим судьям показалась бы натуральной эта простота, если бы персонажами были не жители большого современного города, а дикари из амазонской сельвы. Цивилизованное сознание прощает нарушение своих норм лишь детям, еще не достигшим совершеннолетия. К тому же, в романах и новеллах Амаду нет никакого нарочитого «обнажения тайн» (как в книгах, основывающихся на фрейдистской теории), к чему уже привыкли все, кто знаком с западной литературой. Нет здесь и реабилитации чувственной стороны любви (тоже достаточно распространенной в литературе). Амаду не стремится облагородить чувственность и увидеть в ней проявление духовной близости. Его герои как-то не думают, духовны или бездуховны их плотские связи, и это кажется более циничным, нежели вызывающее бесстыдство. Физическое наслаждение для них столь же естественно и необходимо, как наслаждение от еды. Женщина, занимающаяся проституцией, вызывает жалость — так как работа эта тяжелая, утомительная и даже опасная,— но никак не презрение или осуждение. Интересно сравнить «эмоциональный уровень» в описании заведения Тиберии («Пастыри ночи») и знаменитого дома Телье. Контраст внешнего и внутреннего в рассказе Мопассана открывается тогда, когда проститутки вырываются из обыденности. Показавшись в эту случайную и вряд ли повторимую минуту, человеческое вновь уходит куда-то вовнутрь, и дверцы ежедневной пошлости смыкаются за ним. Мамочка Тиберия в книге Амаду всегда остается равно доброй, справедливой и человечной. Ее профессия никак не мешает ее человечности, не вопиет против нее. У проституток из заведения Тиберии тоже случается свой праздник — крестины,— но он не противопоставлен остальной их жизни, он вырастает из нее, из их отношений к хозяйке, к ее друзьям, к соседям по кварталу. Если у Мопассана подчеркнута парадоксальность (разумеется, глубоко для него значительная) ситуации, когда женщины, торгующие своим телом, оказываются наиболее чувствительными к воспоминаниям о детстве, пробужденным первым причастием, то у Амаду Тиберия и ее девушки просто ничем не отличаются от других участников крестин. Все тут одинаково волнуются, радуются и восторгаются. Никакой грани не прочерчивает автор между проститутками и толпой. В «Доне Флор» почтительным восхищением окружена проститутка Дионисия. Не только ее соседи по трущобе, но даже сама Флор и некоторые ее подруги, принадлежащие к зажиточным и благопристойным кругам, отдают должное красоте, спокойному достоинству и величавости мулатки. Ее профессия ничуть не мешает ей стать подругой и наперсницей доны Флор, женщины вполне «порядочной», по понятиям ее круга.

С той же естественностью, с какой относятся герои Амаду к профессиональной жизни заведения Тиберии, Габриэла меняет своего первого возлюбленного на Насиба, капрал Мартин, Курио и Ветрогон переходят от одной мулатки к другой, и даже дона Флор принимает свою, пусть полуфантастическую, полиандрию.

Сексуальное наслаждение в их жизни идет рука об руку с наслаждением от еды. Габриэла — несравненная кухарка и самая пылкая в мире женщина. А дона Флор с ее кулинарной школой, ее изумительным умением готовить баиянские блюда и в любви поднимается над той мещанской посредственностью, которая ее окружает и которой она сама принадлежит многими сторонами своей натуры. Второй ее муж ненавидит кулинарную школу — первый же обожал вертеться среди хорошеньких масгериц и вдыхать острые запахи кухни. Зато пресна, отмерена крошечными порциями любовь второго мужа доны Флор, а объятия первого дают ей познать радость и полноту сущест-

---

вования. Жгучий его поцелуй вспоминает дона Флор как жжение лука и перца на губах.

Вплоть до самых клеточек изобразительности проникает эта связь телесных удовольствий. Женское гело часто сравнивается с едой. «Он знал в свое время одну женщину, поцелуи которой пахли мокекой из креветок. Поразительно!» Вадиньо называл жену «моя кукурузная лепешечка, мое душистое акараже, моя жирненькая жареная курочка».

Танец для героев Амаду — не развлечение и даже не искусство. Это самовыражение. Это физическая потребность, притом необоримая. Это естественная жизнь тела. Апофеоз танца — в ритуале, в радении кандомбле. Самый отчаянный или самый красивый танец становится знаком присутствия божества, благоволения божества. Бог выражает свою милость не иначе, как даровав своему избраннику свободу и красоту движений. И это отношение к танцу как к прекрасному и счастливому дару проникает в обыденную жизнь. Танец становится средством характеристики и оценки, разводя людей по разным лагерям, утверждая их принадлежность к тому или иному из сталкивающихся потоков. Так, кульминация «Подлинной и подробной истории женитьбы капрала Мартина» из сборника новелл «Пастыри ночи» приходится на сцену вечеринки в доме Тиберии. Мариалва, жена Мартина, танцует лишь для того, чтобы принимать соблазнительные позы, она занята только собой, только производимым ею эффектом. Оталия же отдается танцу безраздельно, кажется, что она рождена музыкой. И победа в их соперничестве остается за Оталией, несмотря на признанную красоту Мариалвы и ее женскую опытность. Точно так же Габриэла готова плясать в пустом дворе в паре с босоногим негритенком, ей не нужны ни зрители, ни партнер. Тело ее жаждет движения, и она скорее согласится потерять все нажитое, лишь бы не пропустить карнавальную процессию.

Высшая, самая сладостная и мучительная точка воспоминаний доны Флор о ее первой любви — вечер в ресторане, когда Вадиньо вытаскивает ее, смущающуюся и застенчивую, ганцевать и оба они танцуют так упоенно, что затмевают всех, и пара за парой останавливаются, уступая им место... А потом ночью, вернувшись домой, любят друг друга так, как никогда еще не любили. Мы не можем даже представить себе танцующим на улице второго мужа доны Флор, хотя он вовсе не чужд искусству. Но его искусство — партия фагота в любительском камерном оркестрике — так же размерено на еженедельные репетиции, введено в благопристойные (темный костюм, порядочное общество) рамки, как и его денежные дела, и его супружеская любовь. Зато первый муж доны Флор даже умер во время карнавала, прямо на мостовой, тут же после того, как вызвал всеобщий восторг невероятно разнузданными телодвижениями.

Танцем выражаются любовь и радость, облегчение и удовлетворение — все чувства человека. Когда мулатка Дионисия узнает, что ее возлюбленный и отец ее ребенка не был мужем другой женщины, она бросается танцевать тут же, посреди комнаты в присутствии чужих белых женщин: «...она танцевала как яво в хороводе жриц, увлекая за собой негра Жоана Алвеса, чтобы и он приветствовал и благодарил Ошосси — Оке, мой отец, аро оке!»

Танец, еда, любовь сливаются в единый образ свободной, веселой плоти.

Итак, четыре последние книги Жоржи Амаду обладают сходной, более (как в «Старых моряках» или «Доне Флор») или менее (как в «Габриэле») ясно выраженной структурой. Параллельно развиваются два сюжетных плана: фантастический и реальный. Им соответствует противопоставление двух жизненных потоков: наличного общественного, то есть буржуазного, бытия и глубинной народной жизни. Эти потоки вроде бы текут рядом, в те же годы и дни, по тем же улицам, то соприкасаясь, то даже смешиваясь. На самом деле они непримиримо враждебны, не сводимы воедино, как легенда и реальность, поэзия и пошлость. Поэтому из фантастического пласта протягиваются как будто щупальца, выхватывающие из обыденной жизни то, что не принадлежит пошлости буржуазного мира, что противоречит ей самой независимостью своего существования. Плотская радость, естественная жизнь тела чужда всякой исторической и социальной ограниченности, она рождена закономерностями куда более всеобъемлющими и коренными в человеческой природе, нежели установления сегодняшней, преходящей, формы общества. Эта физическая естественность легко и непосредственно переходит в естественность душевную, в щедрость и бескорыстность чувств. Таким образом, на всех «уровнях» повествования атрибутом народной стихии становится свобода и ничем не скованная естественность: телесная свобода как средство образной характеристики, свобода чувства от всякого эгоистического расчета как основная тема психологических конфликтов между персонажами и, наконец, безудержная свобода фантазии, создающая возможность появления второго, фантастического сюжета.

Разумеется, поэтизация свободы «вообще» в условиях современного мира — путь скользкий и опасный для художника. Апология «натуральной свободы» для индивидуума может привести к последствиям, еще более разрушительным для личности, нежели давление «организованного общества». Одно дело — художественный образ, воплощающий некоторые идеальные черты состояния мира, и совсем другое дело — анализ реального бытия и практическая этика, которая строится многими западными писателями на основе такого анализа. Образ народной стихии в книгах Амаду — это именно художественный образ, своей идеальной гармоничностью плотского и духовного отрицающий реальный буржуазный мир, снижающий его до жалкого и смешного ничто-

жества. Между реальностью и этим образом должна соблюдаться определенная дистанция — и Жоржи Амаду создает ее, вводя в свои новые книги еще одну действующую величину. Это рассказчик.

Сказовая манера складывалась постепенно. В «Габриэле» ее еще, собственно говоря, нет. Вернее, рассказчик здесь то и дело срывается с голоса, то переходя к безликому повествованию, то настолько взрываясь эмоционально, что дистанция между ним и героями исчезает. В повести о Васко Москозо до Арагоне («Старые моряки») рассказчик уже совсем отделяется от персонажа. Но тут используются внесказовые средства: отступления, сообщающие какие-то факты из вымышленной биографии рассказчика. И, наконец, в новеллах из «Пастырей ночи» и в романе «Дона Флор и два ее мужа» уже безраздельно господствует сказ — рассказчик становится только голосом, только манерой речи. Сказ обволакивает все, интонация рассказчика, его замечания «à parte», экспрессивная окраска фразы и отдельного слова создают ступенчатую систему, определяющую наше восприятие нехитрых историй, происходящих с героями.

Сам по себе сказовый способ повествования генетически связан с устной литературой, с фольклором. В Бразилии и сейчас распространена и продается на любой провинциальной ярмарке лубочная литература. На этих же ярмарках собирают вокруг себя толпу слепые сказители, нараспев рассказывающие легендарные и полулегендарные истории о знаменитых разбойниках, жестоких плантаторах, мятежных рабах. Друг Жоржи Амаду, бразильский писатель Жозе Линс до Рего, в беседе с журналистами сказал однажды, что слепые ярмарочные певцы повлияли на его творчество больше, чем вся западная литература. Сам Линс до Рего действительно пытался в своих романах передать безыскусную, внешне даже примитивную манеру народного сказа, не боящегося повторений, интонационной монотонности. Амаду довольно далеко отошел от простого подражания фольклорному сказу. Витиеватость заглавий, имитирующих названия лубочных повестей, как бы отсылает нас к истокам, напоминает о родстве с народным рассказом («Подлинная и подробная история женитьбы капрала Мартина, богатая событиями и неожиданностями, или Романтик Курио и разочарования вероломной любви» и т. п.).

Между героями и читателем стоит рассказчик — и это не безликий повествователь. Хотя в последних книгах Амаду нет никаких автобиографических экскурсов, личность рассказчика выступает отчетливо. Частенько он отождествляет себя с героями — не с кем-нибудь одним из них, а со всеми вместе, как целым («...мы, подозрительные бродяги с Рыночного холма», «...мы, гуляки-полуночники» и т. п.). Однако сразу же мы улавливаем игру и легкую иронию в этом причислении себя к братству босяков. Слишком привычно и естественно употребляет рассказчик термины и факты, которых явно не может знать даже самый образованный среди баиянских бродяг. Нет, рассказчик — человек, способный извне смотреть на своих героев, не растворяясь в течении их жизни, а все время оценивая ее со стороны, в сопоставлении с чем-то более широким.

«Пришла и Агриппина, жрица Ошумаре, торговка кашей на Ладейра да Прасе, крупная, красивая, великолепно сложенная женщина с кожей медно-красного цвета. Агриппина отлично танцевала, особенно удачно имитируя движения змеи, ползущей по земле. Какая-то балерина из театра в Рио-де-Жанейро научилась ее танцам и имела большой успех у зрителей и критиков». Тут буквально в одной фразе соединилось все: языческий культ, танец, красота женского тела, еда — да еще мимолетное соотнесение с иным миром, суетящимся где-то совсем рядом с культом Ошумаре и даже паразитирующим на чувственном богатстве народной жизни.

Ирония рассказчика все время начеку и не позволяет ему поднять голос до восторженного пафоса или умиления. «Доминья держала в руках орудия Огуна и легонько касалась ими затылка Артура. А когда она дотронулась до его темени, Артура да Гиму словно потряс сильный порыв ветра... Танец его был прекрасен, воинственный и торжественный, хотя и несколько плутоватый. Словно освободившись от бремени лет и бессонных ночей, проведенных за игрой в кости, Артур да Гима снова стал юношей в расцвете сил и быстро кружился в пляске». «Игра в кости» сразу снимает оттенок неправдоподобного доверия к ритуалу воплощения бога Огуна, не мешая нам тем не менее любоваться экстазом этого ритуала.

Жоржи Амаду не так наивен, чтобы выдавать братство бродяг за подлинный коммунистический коллектив. Ирония становится профилактикой слишком прямого, примитивно-серьезного понимания его произведений. Коллективизм его героев — только поэтический образ идеального состояния мира. Амаду хочет увидеть те свойства национального характера, которые нужно сохранить, из которых нужно исходить, формируя наши представления о подлинно человечном обществе. Эти свойства часто смешно или даже недостойно трансформируются в современном мире (двоемужество доны Флор); они загнаны, по большей мере, в сферу так называемой частной жизни, они могут даже принимать гротескную форму, но они все же существуют — и тем очевиднее, чем более сохраняет среда черты народного коллектива. Поэтическая система последних произведений Жоржи Амаду представляется нам попыткой передать эти черты народного коллектива в их исторической, местной и национальной конкретности, сохраняя при этом внутри той же системы оценивающий и воспринимающий взгляд — взгляд писателя, человека нашего времени и нашего социального опыта.

Художественная система новых книг Ама-

И. ТЕРТЕРЯН

НАЦИОНАЛЬНОЕ, НО НЕ ТРАДИЦИОННОЕ

ду — неоспоримо и ярко индивидуальна она сложилась как результат очень непростого личного пути в искусстве и, как мы видели, скрещения разнородных сил. Конечно традиция участвовала в ее формировании но отбор традиционных элементов продиктован своим, особым, взглядом и на традицию, и на современное состояние народной среды. Так, для Амаду ближе всего, пожалуй, традиция романтическая с ее увлечением фольклором, легендой. Однако он вовсе не беспрекословно ей подчиняется, а решительно переосмысливает, переводит в иронический план традиционно-романтическое отношение к легенде.

Конечно, не личный каприз правит в художественном мире Амаду. Структурная четкость строения его книг, скрывающаяся за весело льющимся рассказом, за кажущейся непреднамеренностью всего, что в них происходит, указывает на осознанную целенаправленность его творческих усилий. Амаду бесконечно любит своих земляков, любуется их самобытностью — и оттого хочет всех нас заразить этой любовью. Но он еще и потому ищет новые, воздействующие на сегодняшнего читателя и убеждающие его средства раскрыть эту самобытность, что уверен в ее значении для современного человечества. Объяснимая исторически (общественными, географическими, расовыми факторами), национальная самобытность бразильского народа — не только одна нота в общей симфонии, где важно не утратить ни одной ноты. Воплотившись в искусство пластичное и необыкновенно привлекательное, она существенно дополняет и поправляет духовную жизнь тех стран, где утончение и напряжение интеллектуальных сил общества приводит к отрыву, к истощению естественной связи с телесной природой человека, к разрушению гармонии. Искусство становится мудрым напоминанием о том, какое безграничное богатство лежит за пределами негармоничной социальной повседневности.

Н. ПАВЛОВА

«ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ШИРОКА, МНОГООБРАЗНА, ПРОТИВОРЕЧИВА...»

(Заметки о поэзии Бертольта Брехта)

Значение поэзии Брехта все яснее с течением времени. Впервые сейчас выходят в свет многотомные собрания его стихов *. Стихотворца Брехта все чаще называют в одном ряду с крупнейшими современными поэтами — Элюаром и Арагоном, Бехером и Нерудой. Очевиднее стало и огромное влияние лирики Брехта на молодых поэтов ГДР и многих поэтов Западной Германии. Признание Брехта-поэта, как когда-то слава великого драматурга, утверждается постепенно. Причина этого не только в запоздалых публикациях и отсутствии хороших переводов на иностранные языки (русский читатель знает пока лишь небольшую часть его стихотворного наследия), но и, несомненно, в «непривычности» поэтической манеры Брехта.

Действительно, в творческом облике Брехта есть качества, которые трудно соединить с традиционным представлением о поэте. Какими бы оговорками ни сопровождать его рационализм и скептический ум — это все-таки несомненные свойства его таланта. Через все произведения Брехта, постоянно усложняясь и уточняясь, прошло чрезвычайно важное для него понятие «продуктивности», полезности как главного критерия всякой человеческой деятельности, в том числе и художественного творчества. В молодые годы Брехт был одержим идеей «практического употребления» лирики. Теоретически он ограничивал тогда задачи поэзии функцией информации, общеинтересного и общеполезного сообщения. Однако и в 40-е годы в стихотворении, задуманном как эпитафия самому себе, Брехт написал о значении своего творчества: «Он вносил предложения. Мы их принимали».

А самый характер и темы его поэзии? Стихи Брехта не могут удовлетворить читателя как раз в той сфере, которая всегда была важной для лирики. В этой поэзии нет (или скажем для большей точности — почти нет) сферы интимно-личного, вернее, личное властно подчинено здесь всеобщему, просвечено им.

Поэзия Брехта подымает вопросы важные и существенные. Брехт пытается постичь смысл вечной изменчивости вещей, текущего времени, преходящей жизни. Его интересует противоречивая натура человека, рассмотренная не сама по себе, а в ее общественных, социальных потенциях. Взаимодействие человека и общества — постоянная тема этой поэзии. В молодости, а потом на склоне лет Брехт писал много стихов о природе. О деревьях он говорил как о живых существах, красивых и стойких или измученных, исковерканных, безобразных («Горящее дерево», «Утренняя речь к дереву Грину»). Но и в этих стихах, полных затягивающего очарования, Брехт в то же время упрямо занят исследованием: он будто берет природу «на зубок» — ищет законы, по которым существует мир.

Можно говорить о существеннейших различиях поэзии Брехта на разных этапах его творчества. Можно писать отдельно о своеобразии его стихов в духе старой китайской поэзии, о совсем ином ладе его суровых революционных песен или о последнем замечательном цикле «Буковские элегии». Но всегда при самых существенных изменениях (а Брехт менялся очень радикально) в его поэзии не спадает пафос высокой тенденциозности, не исчезает стремление понять и афористически выразить существо вещей.

Как-то в одном из своих стихотворений Брехт сказал: то, что понято (постигнуто, выяснено), уже тем самым хорошо. Правда, он имел здесь в виду не задачи своей поэзии: проникновение в суть поли-

* В западногерманском издательстве Зуркамп вышло девять томов стихотворений Брехта. Идентичное издание осуществляет в ГДР издательство «Ауфбау».

тики Брехт считал непременным правом народа в каждом государстве. Но политика и поэзия, как и всякое активное отношение человека к миру, имели для Брехта нечто общее.

Что же такое поэзия Брехта? Высокая философская лирика (пожалуй, абстрактная, раз она обращена к общим законам, правящим миром)? Дидактическая поэзия, коль скоро она одержима такой страстью постижения и объяснения?

■

Есть у поэзии Брехта особенность, которая «предохраняет» его философские стихи от опасной отвлеченности, его политическую лирику — от общих мест и высокопарных деклараций, его афоризмы — от докучливой назидательности. Эта особенность может быть названа высокой концентрацией жизни в его стихах.

Молодой поэт писал в начале двадцатых годов баллады и легенды, очень необычные по своему содержанию. В них говорилось о подростке, убившем по неясным для него причинам своих родителей («Апфельбек, или Лилия в поле»). Девчонка-работница забивает до смерти своего новорожденного ребенка («Детоубийца Мария Фаррар»). Высокие стихотворные жанры, излюбленные в немецкой поэзии романтиками и молодыми штюрмерами, наполнялись под пером Брехта грубым «бытовым» или дерзким сатирическим содержанием. В балладу врывалась стихия «жестокого» городского романса, характерная интонация эстрадных сатирических песенок, звучавших в начале века с подмостков немецких кабаре. Критики отмечали также в этой поэзии влияние бунтарской лирики Рембо и стихов Киплинга.

Однако в одном отношении Брехт вполне традиционен: баллада для него, как и для старых немецких поэтов,— это рассказ об особенном происшествии, о какой-то «истории». Интерес к случаям, перенесенным в поэзию как будто «прямо из жизни», характерен для Брехта. Позже в бессюжетных лирических стихотворениях он тоже часто оставляет нас будто наедине с действительностью:

Вечер. Мимо меня
Скользят две байдарки, в них
Двое обнаженных юношей. Гребя рядом,
Они разговаривают. Разговаривая.
Они гребут рядом.

(Перев. И. Фрадкина)

Это позднее стихотворение Брехта «Гребля, разговоры» (1953).

Но даже там, где стихи передают размышления поэта, для читателя Брехта всегда ощутима стоящая за ними реальность.

В 1939 г., находясь в эмиграции, Брехт написал серию коротких стихотворений, предназначавшихся для передачи по радио на Германию («Немецкий военный букварь»). Единственной целью этих стихотворений был призыв к сопротивлению фашизму. Однако строчки Брехта богаче воззвания. Эти агитационные стихи заставляют прежде всего заново обдумать жизнь Германии последних предвоенных лет:

Когда по радио маляр* говорит о мире,
Рабочие-дорожники смотрят на автострады
И видят бетон толщиной до колена,
Предназначенный для тяжелых танков...
Маляр говорит о мире.
Разогнув с трудом спины,
Положив большие руки на стволы пушек,
Слушают литейщики.
Летчики-бомбардировщики глушат моторы
И слушают, как маляр говорит о мире.
Дровосеки стоят и слушают в тихих лесах;
Крестьяне бросили плуги, стоят и держат руку у уха:
Остановились женщины, несшие в поле еду:
На невспаханном поле стоит машина
и в ней репродуктор,
Оттуда слышно, как маляр требует мира.**

Быть может, один из главных секретов поэзии Брехта — в этой его способности ставить большие вопросы, исходя из самой гущи конкретной жизни. Политический поэт, дидакт и мыслитель, он вновь и вновь обращается к первооснове — действительности, толкает к ней читателя. Стремящийся к постижению существа и сути, так или иначе всегда занятый в своем творчестве одним вопросом «что может и должен совершить человек?», Брехт в то же время не любит пустой патетики, с подозрением относится к абстрактным истинам. Стихотворение выйдет плоским, пустым, пошлым, писал он, если предмет, о котором в нем говорится, не будет схвачен в его живой, то есть всесторонней форме. «Коль скоро при этом дело касается политики, возникает плохая, тенденциозная поэзия. Получается «тенденциозное изображение», то есть такое изображение, которое многое опускает, насилует реальность, создает иллюзии» (статья «О диалектике»).

Брехт любил начинать с истоков, с корней, с самого начала. По воспоминаниям швейцарского писателя Макса Фриша, он обладал детским даром задавать вопросы, с поистине крестьянским терпением и подозрительностью вновь и вновь отодвигать от себя «общеизвестные истины», чтобы снова и снова оставаться посреди чистого поля ***.

Брехт шел от действительности, расчлененной его анализом и предложенной — на равных с поэтом правах — суду читателей. Этой поэзии свойственна чрезвычайная экономность средств: ракурс, в котором был подан предмет, уже подсказывал мысль, сопоставление, предполагал вывод. Преследуя цели самые широкие, Брехт пользовался часто самым необходимым: он лишь монтировал, поворачивал, освещал «предмет». Вот пример из стихов военных лет:

Из читальных зал
Выходят убийцы.
Матери, прижимая детей
И холодея от ужаса, видят
В небе изобретения ученых.

(Перев. К. Богатырева)

Эта «простая» поэзия была продуктом высокого, изощренного мастерства. Понят-

---

* Так обычно называл Брехт Гитлера.

** Там, где переводчик не указан, подстрочный перевод мой.— *Н. П.*

*** Max Frisch. Ausgewählte Prosa. Fr./M., 1965, S. 32.

ная, она в то же время требовала усилия мысли. Хотя идея выражена с чрезвычайной определенностью, она в то же время как будто неуловима: все пространство стихотворения занято без остатков «жизнью». Вывод поэта о преступности в фашистском государстве самой, казалось бы, абстрактной науки следует из фактов неоспоримых, из картин, слишком хорошо известных, чтобы в них усомниться: прижав к себе детей, стоят матери... Поэзии Брехта свойствен особый демократизм (читатель, не оторванный от реальности, проверяет сказанное поэтом) и своя особая надежная достоверность. Большое целое выверяется здесь малым, сложное — простым, идеология, государственный строй соотносится с народной жизнью и жизнью одного человека. (Надо сказать, что эта же особенность в сходной функции, но разном осуществлении отличает сегодня творчество многих выдающихся поэтов. Вспомним поэзию П. Неруды, Н. Хикмета, Л. Арагона.)

У этой надежной достоверности была своя дорогая цена. За нее приходилось платить утратой многих простых «незыблемых» представлений. Познание ведет у Брехта к большей точности, точность — к выявлению несоответствий.

Бертольт Брехт неоднократно утверждал, что многому учился у народной поэзии. Писать для народа — не значит, как он говорил, приспосабливаться к бытующим художественным вкусам и распространенным в массах представлениям (это, в конечном счете, не в интересах народа); писать для народа — не значит и писать просто, как полагают многие. Скорее всего это значит писать ясно, не преуменьшая сложностей. В народном творчестве Брехта привлекало смелое и глубокое понимание цены и значения вещей. Каждый новый куплет, строфа (или каждая пара строчек) подключают в народной поэзии новый угол зрения, новый пласт реальности, контрастный и неожиданный по отношению к предыдущему.

В поэзии самого Брехта контраст, как и в народной поэзии,— не просто прием среди многих других, а принцип восприятия, тип художественного видения. Стихи Брехта обычно распадаются на две четко разделенные части: это «за» и «против», противоречащие друг другу грани истины, ее простейшие «составляющие элементы». Потом отсюда, от этого «начала» стихотворение развивается ко все более сложным выводам, сложным ассоциациям, парадоксальным, но точным предположениям. Поэтическое постижение эпохи, то «высшее целое», о котором как о главной задаче поэзии писал Пабло Неруда, возникало здесь с учетом отдельных «частных», но в то же время «первичных» и основополагающих явлений действительности, возникало, исходя из них.

Молодой Брехт в стихах из первого сборника «Домашние проповеди» (вышел в 1927 г., включал стихи, писавшиеся с конца десятых годов) соединял в едином образе красоту и тление, жизнь и смерть. В мире, который отразился здесь, как будто «затерялись и перепутались все концы и начала»*. Жизнь переходит, переливается у Брехта в смерть. В умерших лишь постепенно затихает инерция не исчерпавшей себя жизни. Схема гармонического развития, где все распределено во времени, где смерть — конец и завершение жизни, нарушалась и ломалась поэтом как ложь по отношению к действительности (особенно той, которую принесло с собой его время).

Да и что такое вообще человек? — задавал молодой автор вопрос, на который в тогдашней литературе был дан очень определенный и страстный, хотя, с точки зрения Брехта, несомненно односторонний ответ.

В произведениях экспрессионистов периода войны и революции в Германии прозвучал восторженный гимн «доброте» Человека, способного (так хотели и верили эти писатели) противостоять жестокой, бездушной реальности буржуазного мира. Вступив в полемику с экспрессионизмом, Брехт высказал сомнение в реальности и жизнестойкости идеальной самоотверженности. По мнению Брехта, человек по своим природным задаткам и вполне естественным потребностям отнюдь не только «добр». Вот, например, одно из самых характерных его стихотворений 20-х гг.— «Об уступчивости природы».

Кружка с пенящимся молоком — пишет Брехт — белеет и у беззубого, старого рта. Человек, изнасиловавший за деревней ребенка, по-прежнему находит приют в тени вязов. Мир — пуст. В нем нет бога. И не действуют никакие нравственные законы.

Но на констатации этой истины, слишком бессодержательной, как считает Брехт, чтобы объяснить все творящееся на земле, он не останавливается. В стихотворении есть еще несколько строф — строф о природе человека: «Ах, как блестят глаза ребенка, когда отец пригибает к земле шею быка и сверкает нож. И как вздымаются груди женщин, которые когда-то сосали дети, когда по селу хрипит воинственный марш войскового оркестра». Страшные стихи. Они, конечно, не выражают всю истину о человеке. Но добавим еще: стихи правдивые. Как сказал потом Брехт в одном из стихотворений: «Бывает по-другому, но бывает и так».

Позже Брехт постепенно изживает свое недоверие к возможности героизма и самоотверженности людей. Однако многие истины, открытые в молодые годы, остаются важными для поэта и впоследствии. Брехт по-прежнему стремится отразить в стихах жизнь без упрощающих дело «опущений»; он предлагает постичь истину в ее неудобной всесторонности.

Трезвый суровый Брехт был непримиримым разоблачителем всякого рода классовой лжи, националистических легенд, со-

---

* И. М. Фрадкин. Бертольт Брехт. Путь и метод. Москва. 1965, стр. 46.

циальной демагогии, фашистской пропаганды. Брехт не считал зазорным повторить в поэзии простые истины: голодный и сытый не могут быть довольны одним и тем же (а если это по видимости так, то такая видимость ненадежна); кому обещают хлеба, в тех потом обычно стреляют; если кого-то проносят быстро ночью в цинковом гробу — это тот, кто сказал правду. Так писал Брехт в 1933 году («Песня о классовом враге»), когда нацистская пропаганда провозгласила «бесклассовость» фашистского государства.

В немецкой революционной поэзии Брехт был одним из самых придирчивых толкователей, казалось бы, совершенно простых, не вызывавших сомнения истин.

В годы, когда понимание героизма в революционной немецкой поэзии не лишено было абстрактности, «скептик» Брехт подчеркивал в классовой борьбе прежде всего ее естественную обоснованность:

У одних был вкусный завтрак,
Другие кусали кулак.
Вот так я впервые усвоил
Понятие «классовый враг».

(Перев. Е. Эткинда)

Все большие социально-политические вопросы Брехт всегда «низводил» до человека. О хлебе и голоде он, не боясь низменности предмета, не забывал никогда. «И так как все мы люди, то должны мы — извините! — что-то есть»,— поется в его знаменитой «Песне единого фронта», сумрачной, сильной, неотразимо впечатляющей. В стихах этих и более поздних лет («Уголь для Майка», «Непобедимая надпись») поэт отнюдь не умаляет значения бескорыстной самоотверженности и героизма революционных рабочих. Брехт высоко ценил новую революционную мораль. Однако можно ли было рассчитывать на нее как на достояние всего класса? Как говорит рабочий-пролетарий в одной из пьес Брехта («Господин Пунтила и его слуга Матти», 1940): «Такие люди есть, но их не так много».

Рационалист и «дидакт» Брехт обладал удивительной способностью непредвзятого видения жизни.

В годы фашизма Брехт написал стихотворение о расстреле подпольщика-антифашиста («Известие о смерти товарища»). Даже стенка, к которой его поставили, пишет Брехт, была сделана руками таких же, как он, рабочих. Даже винтовки, направленные теперь на него, были все-таки изделием их рук. Все это в трагической ситуации дает опору и силы. Так могло бы закончиться стихотворение. Только автором его был бы в этом случае не Брехт. Оптимистические доводы кажутся Брехту обоснованными только тогда, когда они проведены сквозь строй всех возможных возражений. И поэт добавляет: люди, которые в него стреляли, тоже были такими же, как он.

А образ революционера-борца? Одновременно со знаменитыми революционными стихами «Песней солидарности», «Песней единого фронта» Брехт написал ряд стихотворений, посвященных, условно говоря, вопросу о надежности, «проверке на прочность» участника общей борьбы. Он не считал, будто уже сам вопрос о мере человеческих сил оскорбителен для борца. Будто силы каждого действительно беспредельны и на человека можно рассчитывать просто как на безотказно работающую безымянную единицу.

Нет, Брехт никогда не был релятивистом. Всяким сомнениям, говорил он, должен быть в конце концов положен предел. Иначе они обезоруживают, ведут к бездействию, уничтожают истину. Однако сомнение («Похвала сомнению» называет он одно из своих стихотворений) необходимо для того, чтобы трезво оценить все возможности, в том числе и силы человека.

Среди стихов Брехта, написанных уже в годы второй мировой войны, есть притча, о пределах сил человека. Тема толкуется в некотором отвлечении — как некий общий закон. Страннику, много раз проходившему мимо одних и тех же далеких мест, люди задают нетерпеливый вопрос: что ты видел? И он точно рассказывает о страшных разрушениях, которым постепенно подвергалась местность — холм и стоявший под ним дом, когда-то полный жизни. Однако на тот же вопрос — что ты видел? — заданный в последний раз, он отвечает несколько неожиданно: «Я устал. Там не было скамьи!» Круг восприятия сузился вместе с исходом сил. Человек уже больше ничего не замечает, кроме одного: ему негде отдохнуть... Такова реальная правда жизни. И все-таки в заглавие стихотворения Брехт вынес требование: «Повсюду много видеть!»

В 30-е гг., горькую пору эмиграции, Брехт неоднократно писал о людях, которые покинули или могут покинуть лагерь бойцов — о людях, «которые могут уйти»:

На что мы можем рассчитывать, имея
друзей?
Не на их поступки.
Ведь не знаешь, что они сделают. Не на их
привычки, они
Могут измениться. Только на одно: что они
не уйдут...
У кого в кармане оформленный отпуск —
Останется он, если на нас нападут?
Может быть, он не останется.
Если придется плохо мне, он, может,
останется.
Но если плохо придется ему,
Он может уйти...

Брехт считал страшным преступлением покинуть ряды борцов. В этом отношении его приговор непреклонен и абсолютен. Так он и называет цитировавшееся стихотворение: «Нет большего преступления, чем уйти». Но как по достоинству оценить твердость каждого оставшегося в строю? Брехт настаивает, что она может иметь только одно основание — добровольный выбор:

Те, кто может уйти, пусть идут.
Их не нужно просить, чтоб они остались.
Остаться должны, кто уйти не может.

(«Те, кто может уйти»)

Правда, надо сказать, что принцип добровольного согласия человека не всегда безоговорочно принимался Брехтом. В пьесе «Мероприятие» (1930) и стихотворном зонге из пьесы, озаглавленном «Измени мир:

он в этом нуждается», идея солидарности доведена до ее противоположности. Жизнь одного человека теряла значение перед лицом общих целей. Единица, входящая в целое, сбрасывалась со счетов, но это почему-то не должно было изменить состав целого.

Несомненно, Брехт сам стал здесь жертвой той односторонности, оспорить которую считал призванным свое творчество. Абсолютное подчинение личности коллективу рассматривалось им лишь с одной стороны — как героическая норма революционной борьбы. (Не раз и стихи Брехта — в разрез с самой сутью его поэзии — бывали однолинейными, плоскими, жестко-декларативными.) Однако уже в конце 20-х гг. Брехт чувствовал и опасность такой односторонности. «Кричите о судьбе одного человека!» — написал он в одном из стихотворений тех же 20-х гг. («Хорошо! Плохо!»). В середине 30-х гг. именно Брехт написал полные горьких сомнений стихи, посвященные незаконному аресту и гибели своего друга советского писателя Третьякова. Стихотворение кончалось вопросом: «А что, если он невиновен?»

Мысль развивается, вбирая в себя противоречия. Там, где читатель готов остановиться, ожидая, наконец, ответа, надеясь на гармоническое разрешение, автор находит новый неожиданный поворот, сталкивает с непредвиденными возражениями.

Враждебный всяким поэтическим туманностям, Брехт кажется иногда мастером выводить «последние истины». Во многих его сжатых и ясных строчках слышится интонация афоризма («Дождь может лишь книзу литься, а вверх не идет никогда»). Разъяснения поэта терпеливы и настойчивы. Но есть ли при этом в его выводах закругленность, высокомерная окончательность, абсолютность? Брехт не любил сглаживать реальность. В видимости, не подлежащей сомнению, он подозревал противоречия. В совершенной устойчивости, статике — скрытое движение.

Одно из самых трагических стихотворений Брехта о Германии в пору фашизма — пятистишье, где эта устойчивость почти непоколебима:

Маляр говорит о грядущих великих
временах.
Леса еще растут.
Поля еще плодородят.
Города еще стоят.
Люди еще дышат.

Спокойствие в стране, где должен был бы произойти взрыв. Однако и эта неподвижность очень напряженна. Каждая строчка как будто отмеряет ей срок. Каждое «еще» («все еще») читается как «пока»... Абсолютная прикованность к данному моменту соединяется с парадоксальным присутствием будущего

Если признать, что поэзия — это всегда сравнение, ибо она постоянно сравнивает, сопоставляет, то в поэзии Брехта все соотнесено с движением времени. То, о чем он писал в стихах, повернуто к читателю своей временной гранью, измерено на длительность, протяженность, показано в изменении, переходе, преходящести, «ходе вещей». Брехт писал о менявшихся чувствах, изменявшемся человеке, человеке в непрестанном движении. Начиная с ранних стихов, поэзии Брехта было свойственно острое ощущение текучести жизни. Он видел мир в смене рождения и смерти, роста и разложения. Жизнь лилась, увлекая с собой человека. Белое облако высоко в небе, само такое летучее, одно сохранялось в памяти, убеждая в реальности давно прошедшей любви («Воспоминание о некоей Марии А.» из «Домашних проповедей»). Однако это движение совершается в очень сгущенном пространстве. В потоке жизни, несущем человека, он плывет, напрягая все силы, против ее течения. Человек и жизнь как будто движутся навстречу друг другу. В стихах Брехта все время чувствуется напряжение противоположно направленных сил, взаимное «сопротивление материалов».

В одном из своих стихотворений Брехт передает рассказ борца-антифашиста о томящемся в гитлеровском застенке товарище. «Его видели в тюрьме, он выглядит мужественным и смелым, у него совсем черные волосы» («Весть»). Повторяя интонацию рассказчика — восхищение, удивление,— Брехт выдал нам вместе с тем характерную особенность своего поэтического мышления. Внешней детали (черные волосы!) он придал принципиальное значение: для него это некий показатель приостановленного духом человека процесса уничтожения личности.

В мрачные времена фашизма столкновения людей и «обстоятельств» особенно трагичны и трагически неизбежны. Устойчивое положение человека почти невозможно. Если беды еще не произошло, она все равно уже есть, скрыта впереди, где-то в ближайшем будущем, уже предрешенном вчера и двигающемся на человека. «Тот, кто смеется, еще не настигнут страшной вестью»,— писал Брехт в стихотворении «К потомкам». Как иногда в фотографии на одном снимке накладываются два различных кадра, так и в стихах Брехта через одно постоянно проступает что-то совсем другое.

Только большому поэту свойственно такое двойное зрение. В едином и цельном он умеет схватить начала, как будто бы несоединимые. Поэтическое видение Брехта особенно содержательно: оно открывает само движение времени — «еще» и «уже», взаимопроникающие друг в друга.

В изолированности изгнания, в годы, когда фашистский рейх, казалось бы, процветал, Брехт все же воспринимал его существование как трагический парадокс, как лишь по страшному недоразумению удерживающуюся реальность. Будущее, утверждал Брехт, не только в будущем, оно уже есть в настоящем.

Стихам Брехта отнюдь не свойствен поверхностный оптимизм. Зло невечно. Но ведь и люди невечны, писал он в стихо-

творении «Читая Горация». И все-таки те же трезвые размышления приводили Брехта еще и к иным выводам. Интересы простых людей рано или поздно должны прийти в такое противоречие с антинародным режимом, которое уже не в силах будет прикрыть никакая демагогия. И в стихотворении «Хвала диалектике», написанном накануне прихода фашистов к власти, Брехт сталкивал две строфы:

1

У зла сегодня уверенный шаг.
Угнетатели устраиваются на тысячи лет.
Насилие заверяет: все останется так, как есть.
Не слышно ни одного голоса, кроме
голоса правящих...

2

Тот, кто жив еще, не говори: «Никогда!»
Самое надежное ненадежно.
Так, как есть, не останется.
Когда скажут угнетатели,
Будут говорить угнетенные.
Кто решится сказать: «Никогда»?..

Когда-то в песенку к кинофильму «Куле Вампе» Брехт вставил строчки, характерные для него: «А земля родит новое без всякой осторожности». Ощущение неодолимо «прущей» жизни важно для Брехта. В его поэзии, начиная от самых ранних и кончая последними мудрыми и грустными стихами, с ним связано живое, неиссякающее нетерпение, неистребимый интерес к тому, что случится завтра:

Я сижу на обочине дороги.
Шофер меняет колесо.
Мне худо там, откуда я еду.
Мне худо там, куда я еду.
Почему же слежу за работой шофера
С таким нетерпением?

(Перев. К. Богатырева)

Радостное чувство начала отчетливо выражено в первых послевоенных стихах Брехта. «Мы строим новый дом»,— писал он еще в 1947 г. («Песня стройки»). В одном из стихотворений для детей (Брехт писал детские стихи и раньше) возвращение народа к миру, возможность созидательного свободного труда передана с той остротой, с которой воспринимается новое.

Только в стихах последнего брехтовского цикла «Буковские элегии» постепенно замирает постоянно ощущавшееся раньше движение. Некоторые из этих стихов полны тишины:

Маленький дом среди деревьев у озера,
Из трубы идет дым.
Без него
Как безотрадны бы были
Дом, деревья и озеро.

(«Дым»)

Как всегда у Брехта, это стихотворение меньше всего описательно. Лаконичный и четкий рисунок, как будто замкнутый в себе, дает импульсы для далеко уводящих мыслей о возможной гармонии человека и мира... И все-таки главное тут — это удивительная полнота жизни, ощутимая почти чувственно. Последнее определение может показаться неожиданным применительно к поэзии Брехта. Однако восприятие жизни в ее стихийном потоке, человека — в противоборстве инстинктов и разума, чувственности и сознания очень характерно для Брехта В сущности, и раньше его стихи часто несли в себе эту удивительную полноту, правда, она присутствовала, так сказать, с обратным знаком — как недостаточность, суровая скупость жизни:

В города я пришел в годину смуты...
Я не чтил любовь.
И на природу смотрел без терпения.
Так прошли мои дни, данные мне на земле.

(«К потомкам»)

Читая стихи Брехта, мы все время чувствуем, как сильно и мучительно бьется в них мысль. Многие из них производят впечатление сиюминутных размышлений, происходящих здесь, сейчас, с вашим участием. Большинство стихов написано без рифмы и вне упорядоченного ритма (рифма и ритм сохраняются Брехтом обычно лишь в революционных маршевых песнях). Рифмы, по мнению Брехта, часто создают ложное впечатление «закругленности» там, где на самом деле должен идти процесс размышления. Что касается отказа от упорядоченного ритма, то сам автор объяснял это не столько сложностью современного содержания («втискивать» современность в гладкие ритмы было бы иронией по отношению к ней), сколько задачами принципиально новой выразительности. Мелодика правильного ритма часто несет уже в самой себе ощущение гармонии: мысль незаметно слабеет, раскачиваясь на волнах равномерно перемежающихся ударных и безударных слогов. Чересчур гладкий стих, утверждал Брехт, всегда сглаживает, смазывает мысль. Сочиняя стихи «с нерегулярным ритмом и без рифмы», Брехт пытался передать в них «противоречивые чувства говорящего человека» (статья «О поэзии без рифм с нерегулярными ритмами»). Противоречие — одна из главных субстанций брехтовской поэзии — ощутимо во всем вплоть до формы: нелегко произносимый, «скачущий» синкопированный стих адекватно выражает противоборство мысли и жизненного материала. Мысль ощутима в неприкрашенности своего формирования. Это была поэтическая форма собственных размышлений о мире, весьма далеких от всяческих стереотипов.

Поэзия Брехта — страстная, увлеченная и увлекающая. Мы говорили об ответственной точности этой поэзии, о ее насыщенности жизнью. Однако брехтовские стихи, так прочно привязанные к реальности, так часто говорящие «ее языком» (ракурсом, поворотом самого «предмета»), переполнены сильными страстями. Лирическая поэзия Брехта поражает сочетанием эмоциональности и стремления к объективности, страсти и рационализма, непосредственности и тенденциозности. Эта — такая ясная — поэзия, где все как будто бы «под рукой», парадоксально содержала в себе много утаенного. У стихов Брехта суровый, будничный тон. У них поэтичный подтекст. Кто откажет в

глубоких и сильных чувствах такому стихотворению, как «1940 год»?

Сын задает мне вопрос:
«Учить ли мне математику?»
Зачем? — хочу я ответить ему. То, что два
куска хлеба
Больше, чем один кусок, ты заметишь и так.
Сын задает мне вопрос:
«Учить ли мне французский?»
Зачем? — хочу я ответить ему. Эта страна
погибает.
А если
Ты просто потрешь себе брюхо рукой
и будешь стонать,
Тебя и так все поймут.
Сын задает мне вопрос:
«Учить ли мне историю?»
Зачем? — хочу я ответить ему. Лучше учись
голову прятать в канаве,
И тогда ты, может быть, уцелеешь.
— Да, учи математику,— говорю я ему,—
Учи французский, учи историю!

(Перев. Е. Эткинда)

И все-таки это были эмоции особого рода. Дело даже не только в том, что чувство, «лирическое переживание» котируются у Брехта только тогда, когда оно сможет быть воспринято на уровне сознания. (Расплывчатые, смутные чувства для Брехта — за пределами поэзии. Однако уже и Рильке писал: «Ведь стихи это не чувства, как думают люди... Это — опыт». И для Элюара не было в его поэзии, например, неосознанных воспоминаний.)

Своеобразие брехтовской поэзии в том, что чувства и эмоции, неоспоримо личные, воспринимаются в его стихах в то же время в некотором отстранении — как объективное «сообщение» о важных чертах эпохи.

Как Брехту-драматургу не хватало традиционных возможностей драмы, что привело к созданию «эпического театра», так и лирические стихи Брехта обнаруживают тенденцию к «эпизации». Вместе с автором и лирическим героем (образ уже не адекватный самому поэту) в его стихах часто незаметно появляется третье, еще более «постороннее» лицо — некто, ведущий рассказ. «Отделение» и «самостоятельная жизнь» этого лица очевидны тогда, когда его позиция резко расходится с позицией автора. (Правда, и тогда стихи Брехта отличаются удивительным «вживанием» в жизнь далекого ему человека.) В тех случаях, когда автор близок своему герою, их голоса часто как бы взаимозаменяют друг друга. Некоторые исследователи утверждали в данной связи, что так как автор — прежде всего драматург, многие его стихи надо воспринимать как высказывания сценических персонажей. Такое объяснение поверхностно и локально: оно толкует характер отдельных стихов Брехта в отрыве от остальных. Названная особенность стихов Брехта глубже и органичнее связана с существом его поэзии. В лирическом стихотворении, полном волнующей непосредственности, Брехту все-таки важно в какой-то мере отстраниться, встать рядом, привлечь «соучастника», сохраняя ту высокую объективность, которую он считал обязательной.

Лирические стихи Брехта отличаются, с одной стороны, несомненной достоверностью личной интонации. С другой стороны, в них все время ощутима множественность опыта. Помимо непосредственного импульса, который они дают читателю, в них скрыта еще важная «информация» — о реальных возможностях современника.

Начиная с 30-х годов Брехт писал много стихов как будто бы автобиографических. «Скромные» «частные» детали снимают всякий широковещательный пафос. Повод для таких стихов очень локальный. Одно из них «Весна 1938 года» написано в эмиграции:

Сегодня в пасхальное раннее утро
Внезапно на остров обрушилась снежная
буря.
Кусты, уж начавшие зеленеть, покрылись
снегом.
Мой маленький сын
Привел меня к абрикосовому деревцу у стен
нашего дома,
Оторвав от стиха, в котором я обличал тех,
Кто вынашивал войну, которая
Должна уничтожить
И материк, и остров, и мой народ, мою
семью и меня.
Молча укутали мы мешком
Мерзнущее деревце.

О чем, в самом деле, говорится в этом стихотворении? О частном случае, которому наверняка не придают значения в жизни. И все-таки эпизод, незначительный перед лицом истории, несомненно был отражен в поэзии Брехта не как случайный и личный. В стихотворении он получил безусловное отношение к общественному сознанию эпохи. «Личные» детали в стихотворении приобретают особый вес от соседства с упоминанием об угрозе войны. Изгнанник, неуверенный в своем завтрашнем дне, с отчаянием думающий о судьбе своего народа и, больше того, мира, совершает поступок, полный нерастраченной человечности и спокойной мудрости.

В стихотворении, полном живого чувства, осуществлена высшая из возможных в лирике мера объективизации. Порывы, движения души, ощутимые так отчетливо, «переведены» в поступки, действия, отстранены, зафиксированы, «отсняты». Это почти документ, свидетельство. С таким напряженным вниманием не рассказывают о себе. Способность радоваться и сострадать, восприимчивость к красоте и готовность к помощи (так же, как стойкость, убежденность, твердость) отчетливо подняты над своим бытовым, личным и даже общеморальным значением — оценены как качества общественные, немаловажные для путей истории.

Брехта трудно подозревать в сентиментальности. В написанном твердой рукой стихотворении «Весна 1938 года» звучит не умиление, а горечь от несоразмерности потенций и реальных возможностей человека. Однако, кроме того, здесь есть еще и уверенность в парадоксальной силе именно такого человека и такой жизненной позиции. Впоследствии от лица людей, подобных своему герою, Брехт имел право

сказать с высоты их нравственного, общественного превосходства:

Палачи свирепствуют все больше,
Жертвы говорят:
Жаль их.

Откуда у трезвого, несентиментального поэта такая уверенность в общественной роли людей, убеждений, душевных порывов, за которыми в стране отнюдь не было тогда «весомой политической силы»? Ведь еще накануне прихода фашистов к власти Брехт ясно видел, как корысть, а кроме того уже начавшие действовать новые факторы — соображения собственной безопасности, страх перед фашистской расправой — приводят людей к массовой капитуляции перед тем, чего принимать нельзя. С миллионами совершается процесс насильственного «переворота» сознания. Неотразимо действует довод: лучше быть трусом, чем мертвецом.

Однако тот самый Брехт, который сейчас, как и всегда, безусловно признавал естественное право каждого на хлеб, на дом, на счастье, теперь призывает не принимать, несмотря ни на что, ни хлеба, ни такой жизни. Не обнаруживается ли здесь некоторое противоречие в поэзии да и во всем мировоззерцании Брехта? Рационалист и «скептик», недоверчиво относившийся ко всякому «незаземленному» воодушевлению, поэт приветствует теперь как будто бы именно эти высокие «идеальные» качества людей.

На самом деле Брехт верен себе. Его «идеализм» обоснован весьма реальными соображениями. Стихи, как и многие его знаменитые пьесы, раскрывали несоответствие между сиюминутными, «ближними» интересами человека (иллюзорный расчет на собственную безопасность в диктаторском государстве, купленную ценой покорности) и его «дальними», действительными интересами. Рано или поздно, верил Брехт, люди должны преодолеть свою трагическую близорукость, должны понять свою конечную «выгоду». Больше того: поэзия Брехта убеждала в том, что протест, борьба за свободу, человеколюбие столь же естественны для людей (и поэтому неистребимы в них), как стремление к жизни, благополучию, счастью.

Брехт противопоставлял фашизму не просто идеи гуманности и справедливости. В своих антифашистских стихах он говорил от лица реального человека. «Частная жизнь» героя и история существовали в стихах Брехта вне того насильственного нормативного сопряжения, когда личность, как это порой бывало в литературе, переставала быть личностью, превращаясь в некую высокопарную абстракцию. «Частная ситуация» выполняет в стихах Брехта принципиально важную роль: это помимо прочего способ показать в достоверных «неабстрагированных» проявлениях объект постоянного внимания поэта — общественное сознание человека. Обобщение возникает на особом, характерном для поэзии Брехта уровне — вплотную к «предмету», в пределах его неизменившихся контуров. В поступках, неоспоримо частных и личных (казалось бы — только личных!), видны одновременно их конечные выходы к общему. «Личный план» в его стихах — нечто очень существенное, общезначимое, главное, может быть, самое главное из того, что автор хотел сказать об эпохе.

Брехту не грозили те риторика, выспренний пафос, бессодержательная декларативность, которые он сам считал пороком некоторых произведений социалистической поэзии (статья «Логика и лирика», 1936). Его стихи не о том, какими люди могли бы быть. Он не ставит человека на высокие, якобы неспособные ломаться ходули. Среди многих других упрощений, которые разрушил своим творчеством Брехт, было и упрощенное, поверхностное представление о человеке.

В одной из своих статей Брехт написал о часто раздражающей его в современной литературе «примитивности и беззаботности в отражении человеческого существования». Собственное его творчество, его поэзия были удавшейся попыткой вовлечь людей в подлинное постижение жизни — глубокое, безбоязненное, плодотворное. ■

Мы пытались выделить некоторые главные особенности поэзии Брехта. Но обидно было бы не сказать, хотя бы в заключении, о бесконечном ее разнообразии, особенно привлекательном, когда улавливаешь в нем резко выраженные общие законы.

В стихах Брехта привычно слышать спокойную твердость. Но не ему ли принадлежат почти апокалипсические строчки о «железе, падающем с неба»? Или еще другие (из зонга «Что это за мир?» в пьесе «Добрый человек из Сезуана»):

Там поцелуют, а потом задушат.
Любовный вздох в крик страха переходит.
Ах, почему там коршуны кружатся?
Там на свиданье женщина идет!

(Перев. Б. Слуцкого)

Брехт в существе своем глубоко серьезен. Но как уложить в эту характеристику его блестящее остроумие, его убивающие наповал парадоксы?

По заверениям фюрера, Третья империя
Просуществует тридцать тысяч лет. В этом
у высокого начальства
Никакого сомнения нет. Сомнение
у высокого начальства
В другом — удастся ли Третьей империи
Выдержать предстоящую зиму?

(Перев. В. Дмитриева)

Брехт, как говорилось, обладал особой способностью превращать самые лирические стихи в отстраненные свидетельства эпохи. Однако как задевает и поражает в его стихах именно личная интонация — например, в стихотворении о льве, выточенном из коры чайного куста:

Злых страшат твои когти,
Добрых радует твое изящество.
Мне бы хотелось,
Чтоб так же сказали
О стихе моем.

(Перев. Е. Эткинда)

«Действительность широка, многообразна, противоречива»,— настаивал Брехт. Таким и предстает мир в его поэзии.

И. С. КОН

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР— МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

В современном обществоведении вряд ли существует другая столь же сложная и одновременно столь же острая проблема, как проблема национального характера или, что одно и то же, психического склада нации. Национальные отношения играют важную роль в современном мире. В последние годы мы отчетливо видим их остроту не только в развивающихся странах, где процесс формирования наций еще не завершен, но и в самых, казалось бы, стабильных национально-государственных общностях. Расовая проблема в США, угрожающая расколом американской нации и гражданской войной... Растущая напряженность в отношениях между англо- и франко-язычным населением Канады... Правительственный кризис и раскол политических партий в Бельгии на почве столкновения французского и фламандского языков... Внезапный рост национализма в Шотландии и Уэльсе...

Само собой понятно, что за расовыми, культурными, лингвистическими проблемами стоят социально-экономические противоречия: имущественное неравенство, социальные привилегии одной этнической группы за счет другой и т. п. Но невозможно игнорировать при этом и проблему национального самосознания. Что бы ни говорили по этому поводу теоретики, люди, даже в самых развитых странах, придают очень большое значение своей этнической принадлежности, связывая с ней широкий комплекс психологических и культурных особенностей. Насколько обоснованны эти представления? Действительно ли члены определенной нации обладают известными общими психологическими чертами и если да, то какова природа этой общности?

На первый взгляд кажется, что это проблема чисто социологическая, не имеющая прямого отношения к литературоведению. Но это не так. Во-первых, национальный характер объективируется в культуре; так же, как невозможно изучать психический склад нации, игнорируя ее художественное творчество, невозможно изучать литературу и искусство народа, не учитывая его национальных особенностей. Во-вторых, историк и теоретик литературы сталкивается с оценочно-нормативной проблемой: должны ли современные культура и искусство сохранять какую-то (какую? в чем именно?) национальную специфику или же они все больше становятся «супернациональными», космополитическими? Какова бы ни была эта нормативно-эстетическая позиция, ее обоснование может быть только социологическим: судьбы национального искусства неразрывно связаны с судьбами этнических общностей.

Настоящая статья не претендует осветить эту проблему полностью. Вопрос о путях и способах межнационального общения в современном мире и его отражении в культуре требует самостоятельного исследования, и этим занимаются многие ученые-марксисты. Моя задача гораздо у́же: я хочу обсудить лишь некоторые методологические предпосылки научного исследования национального характера, исходя из общих положений исторического материализма и накопленных к настоящему времени научных фактов.

Как и во всяком другом споре, в трактовке национального характера имеются два полюса, две крайние точки зрения. Одни авторы утверждают, что никакой объективно наблюдаемой общности черт,

которую можно было бы назвать национальным характером, не существует, что представители разных наций психологически не отличаются друг от друга, а национальное самосознание — что-то вроде пережитка, подлежащего скорейшему преодолению. Другие, наоборот, воздвигают между нациями и этническими группами непреодолимый барьер, доказывая, что уникальность психического склада нации жестко ограничивает сферу межнационального общения, что индивид намертво привязан к своей этнической группе и не может выйти за пределы ее культуры. «Национальный характер» при этом становится фатальной, надысторической силой, своего рода роком, которого никто не может избегнуть.

В чем предмет спора?

Трудность существа дела усугубляется терминологической путаницей, в частности, расплывчатостью термина «национальный характер». В своем первоначальном значении греческое слово «характер» обозначало знак или символ, выражающий специфику какого-нибудь явления; характерный — значит специфический. Позже оно стало обозначать определенную черту или совокупность черт, отличающих одного человека от других. В только что вышедшем «Философском словаре» характер определяется как «совокупность устойчивых психических особенностей человека, которые зависят от его деятельности и условий жизни и проявляются в поступках» *. Но сразу же встает вопрос: идет ли речь об особенностях так называемого открытого поведения, которое доступно внешнему наблюдению, или о **внутреннем** свойстве личности, которое может проявляться в ее поведении, а может и не проявляться и, во всяком случае, проявляется по-разному? Кроме того, встает вопрос, какие именно черты составляют характер? Одни психологи подчеркивают значение врожденных задатков человека: древние греки, например, фактически отождествляли характер личности с ее физическим темпераментом. Другие связывают характер с физиологической конституцией организма. Третьи считают, что в основе характера лежат определенные инстинкты или типы нервной системы. Четвертые связывают его главным образом с приобретенными усвоенными чертами и, говоря о характере, имеют в виду направленность интересов, склонностей, установок и т. д.

Если рассматривать характер только как совокупность определенных черт, то даже просто описать его практически невозможно, так как перечисление таких черт уходит в бесконечность. Современная психология поэтому рассматривает характер не как простую сумму черт, а как определенную целостную структуру. Однако вопрос о природе этой структуры остается спорным. В зависимости от своей общетеоретической ориентации одни ученые сводят характер к структуре мотивов, другие — к структуре ценностных ориентаций, третьи — к структуре инстинктивных стремлений. Эта многозначность понятия «характер» отражается и на литературе о национальном характере. Один, говоря о национальном характере, подразумевает темперамент, особенности эмоциональных реакций народа. Другой фиксирует внимание на социальных ориентациях, нравственных принципах, отношении к власти, труду и т. п. А ведь это совершенно разные вещи.

Еще сложнее определить понятие **национального** характера, подразумевающее свойства не отдельного индивида, а целой человеческой группы, часто очень многочисленной. Эта группа имеет общую культуру, символы, обычаи и т. п. Но можно ли из общности культуры делать вывод об общности психического склада составляющих нацию (народность, этническую группу) индивидов? Это исключительно сложный вопрос. Из того, что любая этническая группа состоит из людей, еще вовсе не вытекает, что ее свойства как целого статистически распределены между составляющими ее индивидами. Как писал в одной из своих последних статей покойный Питирим Сорокин, свойства разрозненных частей автомобиля не тождественны свойствам целого автомобиля как организованной системы. Свойства человеческого организма как системы нельзя понять, изучая его отдельные органы или клетки. Точно так же и свойства социально-культурной системы нельзя понять, отправляясь от изучения отдельных членов общества. На этом основании Сорокин считал психологическое исследование национального характера принципиально невозможным.

Эта критика «атомистического» (индивидуально-психологического) подхода к социальным явлениям, включая национальный характер, во многом справедлива; чтобы понять характер народа, нужно изучать прежде всего его историю, общественный строй и культуру; индивидуально-психологические методы здесь недостаточны. Но это не снимает вопроса о том, что свойства целого должны быть так или иначе интегрированы в психике индивида. Аналогии, проводимые Сорокиным, касаются взаимоотношений части и целого, элемента и структуры. Но отдельная личность не является элементом национального характера (элементами его могут быть частные социально-психологические комплексы или синдромы). Отношение индивида к этнической группе есть отношение отдельного к общему, индивида к роду. Каждое дерево, принадлежащее к определенному ви-

---

* «Философский словарь». Под ред. М. М. Розенталя, П. Ф. Юдина. Изд. 2-е. М., 1968, стр. 390.

ду, обладает своими неповторимыми индивидуальными особенностями, но оно вместе с тем несет в себе некоторые основные черты, характеризующие вид как целое. Это относится и к человеку. Разумеется, социально-психологические свойства «заданы» не столь жестко, как биологические, и здесь гораздо больше всякого рода вариаций. Но все-таки, когда мы говорим, например, что советскому человеку (имеется в виду определенный социальный характер) свойственны такие-то и такие-то черты, это значит, что они должны действительно присутствовать, хотя и в разной степени и в разных сочетаниях, у значительного числа индивидов, составляющих советский народ. Иначе какая цена нашему суждению?

Но располагает ли современное обществоведение сколько-нибудь твердо установленными фактами такого рода или хотя бы приемлемыми методами их исследования? И да, и нет. Если принимать за истину только то, что однозначно сформулировано, измерено, количественно выражено, то ответ будет отрицательным. Но социальное знание не ограничивается рамками научных формул. Задолго до того, как та или иная социальная проблема становится предметом научного исследования, она ставится и осмысливается людьми на уровне, так сказать, обыденного сознания. Представления, мнения, образы, существующие в обыденном сознании или по-своему обобщенные средствами искусства, конечно, не отличаются строгостью и при ближайшем рассмотрении многие из них оказываются чистейшими предрассудками, не заслуживающими доверия. Но как бы то ни было, люди исходят из них в своей практической деятельности, они представляют собой своеобразную копилку народного опыта, которым не следует пренебрегать. Как ни велика роль науки, она далеко не покрывает всего богатства и многообразия социального опыта. И сама наука, хочет она того или нет, отправляется, особенно на ранних стадиях своего развития, от проблем практической жизни, поставленных «донаучным» способом. Долг ученых — не отмахиваться от таких фактов, ссылаясь на то, что «этого не может быть, потому что этого вообще не может быть» в свете сегодняшних научных представлений, а тщательно изучать их, постепенно отсеивая недоразумения и вымыслы от реальных фактов и проясняя тем самым сферу и направления будущих исследований.

Этнические стереотипы

В «донаучной» стадии своего мышления каждый «знает», что люди, принадлежащие к разным народам и этническим группам, отличаются друг от друга своим темпераментом, культурой, нравами, обычаями. Пунктуальность, высоко ценимая (и фактически широко распространенная) в Германии или Голландии, сравнительно мало значит в Испании и еще меньше — в странах Латинской Америки. Североамериканцы запросто зовут друг друга просто по имени, но это вовсе не означает дружбы или интимной близости, которые такое поведение предполагает в Западной Европе. Национальные особенности ярко проявляются в искусстве, особенно народном. Не нужно быть тонким ценителем, чтобы отличить русскую мелодию от итальянской или узбекской, украинский орнамент от индийского, английский юмор от французского. «Посмотрите,— писал Н. В. Гоголь,— народные танцы являются в разных углах мира: испанец пляшет не так, как швейцарец, шотландец, как теньеровский немец, русский не так, как француз, как азиат. Даже в провинциях одного и того же государства изменяется танец. Северный русс не так пляшет, как малороссиянин, как славянин южный, как поляк, как финн: у одного танец говорящий — у другого бесчувственный; у одного бешеный, разгульный — у другого спокойный; у одного напряженный, тяжелый — у другого легкий, воздушный. Откуда родилось такое разнообразие танцев? Оно родилось из характера народа, его жизни и образа занятий. Народ, проведший горделивую и бранную жизнь, выражает ту же гордость в своем танце; у народа беспечного и вольного та же безграничная воля и поэтическое самозабвение отражаются в танцах; народ климата пламенного оставил в своем национальном танце ту же негу, страсть и ревность» *.

Люди обычно без особых затруднений перечисляют черты, типичные, по их мнению, для их собственного и для чужих народов, и нередко (хотя далеко не всегда) подобные характеристики и самохарактеристики совпадают, принимаются без возражений. Но, с другой стороны, все или почти все подобные характеристики крайне расплывчаты, субъективны, а то и вовсе произвольны.

Именно эта расплывчатость оценок и описаний вызывает у многих исследователей возражения против самого понятия национального характера. «Как будто сказано что-то конкретное, а по сути ничего не сказано. Какими словами можно определить русский национальный характер? Порывистый, горячий, добродушный, искренний, смелый, вспыльчивый, широкий, прямой?.. На все перечисленные положительные и отрицательные эпитеты имеют право претендовать все

* Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч. Изд. АН СССР, 1962, т. 8, стр. 184—185.

народы. Что, украинцы менее смелы и добродушны, чем русские? Укажут на склонность украинцев к юмору. Но кто станет отнимать склонность к юмору у русских или у казахов, у туркмен?.. И вот можно растратить всю свою выдумку и изобретательность и так и не определить в точных терминах национальный характер ни русского, ни грузина, ни украинца, ни казаха, ни туркмена, ни сотен и сотен других народов-братьев, детей единой человеческой семьи» *.

Трудность подобных характеристик связана не только с терминологической нечеткостью (все народы обладают чувством юмора, однако юмор их качественно различен, эти различия мы интуитивно схватываем, но выразить в строгих понятиях не умеем), но — и это особенно важно — с тем, что они являются частью того самого практического процесса социального взаимодействия, обобщением которого претендуют быть.

Человеческое восприятие вообще сильно зависит от предшествующего опыта или ранее выработанной установки к объекту. Ленинградский психолог А. А. Бодалев предлагал группе из 58 взрослых испытуемых поочередно словесно воссоздать облик человека, фотографию которого им только что показали. Перед показом одной и той же фотографии одной группе испытуемых было сказано: «Сейчас вы увидите портрет героя», а другой — что на снимке изображен преступник. Это существенно сказалось на восприятии. Вот как воспринимается одна и та же фотография: «Этот зверюга понять что-то хочет. Умно смотрит и без отрыва. Стандартный бандитский подбородок, мешки под глазами, фигура массивная, стареющая, брошена вперед» (установка — преступник). «Очень волевое лицо. Ничего не боящиеся глаза смотрят исподлобья. Губы сжаты, чувствуется душевная сила и стойкость. Выражение лица гордое» (установка — герой). Заданная установка целиком определила индивидуальное восприятие в 35,3% случаев.

При оценке качеств другого человека (например, роста) имеет значение то, как оценивает индивид свои собственные качества. Например, среди обследованных А. А. Бодалевым людей был человек, который, согласно принятой в антропологии рубрикации длины тела, относился к низкорослым (158 см). Однако в словесном автопортрете он назвал свой рост средним, и, соответственно, других людей низкого роста он также причислял к средней категории.

Еще сложнее обстоит дело в общественной психологии, где индивид часто вообще не может непосредственно проверить внушенные ему представления и где сказывается различие воспитания, культурной и социальной среды. Еще Мишель Монтень писал по поводу распространенных в его время взглядов на «варварские» народы: «...я нахожу, ...что в этих народах, согласно тому, что мне рассказывали о них, нет ничего варварского и дикого, если только не считать варварством то, что нам непривычно. Ведь, говоря по правде, у нас, по-видимому, нет другого мерила истинного и разумного, как служащие нам примерами и образцами мнения и обычаи нашей страны» *.

Сознаем мы это или нет, мы воспринимаем и оцениваем поведение и образ жизни чужого народа сквозь призму культурных традиций и ценностей своей собственной этнической группы (этноцентризм). Это не значит, что свое непременно кажется лучше, чем чужое. Бывает и обратное. В условиях развитого межнационального обмена преобладает система дифференцированных оценок, когда одни черты собственной этнической группы и ее культуры оцениваются положительно, а другие — отрицательно. Например, в 1959 году Институт общественного мнения Гэллапа проводил обследование в Афинах, Хельсинки, Йоганнесбурге, Копенгагене, Амстердаме, Дели, Нью-Йорке, Осло, Стокгольме, Торонто, Западном Берлине и Вене. Были поставлены вопросы: какой народ имеет самый высокий культурный уровень? у кого самая лучшая кухня? где самые красивые женщины? у какого народа сильнее всего развита национальная гордость? Что касается кухни, все народы предпочли свою собственную. Самые красивые женщины, по мнению берлинцев,— шведки, по мнению венцев — итальянки, по мнению датчан — немки; в остальных странах отдали предпочтение своим собственным женщинам. Греки, голландцы, индийцы, американцы, норвежцы, шведы, немцы и австрийцы сочли наиболее высоким культурным уровнем свой собственный. Финны, отвечая на этот вопрос, отдали предпочтение США и Дании, а жители Южно-Африканской Республики и Канады поставили выше себя Великобританию. Что касается национальной гордости, большинство голосов собрала Англия, только греки, индийцы и американцы назвали самих себя, а финны — шведов. Наиболее высокий жизненный уровень приписывается Соединенным Штатам, только шведы назвали свою собственную страну. Таким образом, люди в принципе способны критически отнестись к своей национальной культуре. Но она все равно остается отправной точкой, эталоном сравнения и оценки. А ведь все приведенные суждения были оценочными: сравнение кухни предполагает определенный вкус, красоты — эстетический критерий и т. п.

Отсюда — множество порой забавных, а иногда и трагических недоразумений,

---

* П. Скосырев. Наследство и поиски. М., 1961, стр. 18. Ср.: Н. М. Рогачев, М. А. Свердлин. Нации — народ — человечество. М. 1967.

* М. Монтень. Опыты. М.—Л., 1954, кн. 1, стр. 265.

связанных с непониманием **символического** значения тех или иных действий чужестранцев. Шведский путешественник Эрик Лундквист рассказывает, как однажды на Новой Гвинее, после удачной охоты, он, обгрызая косточки дичи до половины, бросал их затем старому туземному вождю, который обгладывал их начисто, а затем разгрызал и сами кости. Присутствовавший при этом друг Лундквиста — европеец — возмутился: «Ты обращаешься с ним, как с собакой! Швырять ему кости! Это же унизительно для него! А еще сам постоянно проповедуешь, что мы должны обращаться с чернокожими по-человечески, так, словно они белые» *. Однако у папуасов другие обычаи, чем у европейцев. Поделиться своей едой считается у них высшим проявлением дружеских чувств; поэтому в том, что ему давали, как мы бы выразились, объедки, старый вождь усматривал не обиду, а знак дружеского расположения.

Европейца, впервые попавшего в Японию, поражает и даже шокирует, что японец улыбается не только когда ему весело, но и когда ему делают выговор или когда он сам сообщает вам печальную новость, например, известие о смерти ребенка. Неопытный человек расценивает это как проявление наглости, цинизма или бездушия. На самом же деле улыбка просто имеет здесь иное символическое значение: она призвана смягчить тяжелую ситуацию, подчеркнуть готовность справиться с ней и т. д. Понять это многосбразие символов, жестов, реакций не так-то легко.

Иногда разные этнические группы приписывают друг другу один и тот же обычай. Например, в нашей стране и во Франции, когда человек уходит из гостей не прощаясь, это называется «уходить по-английски». В Соединенных Штатах и Англии тот же самый обычай называется «to take French leave», то есть «уйти по-французски».

Этнические стереотипы, воплощающие присущие обыденному сознанию представления о своем собственном и чужих народах, не просто суммируют определенные сведения, но и выражают эмоциональное отношение к объекту. В них своеобразно сконденсирована вся история межнациональных отношений. Уже простое описание тех или иных черт содержит в себе оценочный элемент **. То, что применительно к собственному народу называется разумной экономией, применительно к другим может именоваться скупостью. То, что «у себя» характеризуется как настойчивость, твердость характера, применительно к «чужаку» называется упрямством. Один и тот же психологический комплекс, в зависимости от отношения к его носителю, может называться и непосредственностью, и беззаботностью, и безответственностью.

Наука о национальном характере (этнопсихология) никак не может основываться на представлениях обыденного сознания. Напротив, одной из главных ее задач является критический анализ этих представлений. Характерна та осторожность, с которой всегда относился к этой проблеме В. И. Ленин. Когда на Третьем конгрессе Коммунистического Интернационала итальянский социалист Лаццари заявил: «Мы знаем психологию итальянского народа», Ленин заметил: «Я лично не решился бы этого утверждать о русском народе» *.

Отсюда — поиски иных, более строгих методов исследования. Тут и непосредственное наблюдение за поведением, бытом, нравами разных народов, их обычаями, воспитанием детей, типичными жестами и т. п., и анализ автобиографических данных, личной переписки, интимных дневников, и психоаналитическая интерпретация снов и фантазий, и всевозможные психологические тесты, и исследование устного народного творчества, и история искусства, и сравнительное языкознание, и психолингвистика. Эти исследования дали к настоящему времени колоссальный фактический материал, и можно только пожалеть, что некоторые наши теоретики, обсуждая проблему национального характера, не принимают их во внимание.

Однако интерпретация этих данных представляет большие трудности. Индивидуально-психологические методы исследования сегодня не позволяют достаточно строго отграничить то, что идет от индивидуально-личностных свойств испытуемых, от того, что «задано» соответствующей культурой. К тому же все личностные тесты предполагают определенную социально-культурную среду, и перенесение их в другой мир (например, применение теста, оправдавшего себя на американских школьниках, в глухой африканской деревне) без существенных изменений невозможно, а изменение теста ставит под вопрос сопоставимость результатов. Историко-культурные же, в том числе искусствоведческие, исследования оперируют весьма расплывчатыми понятиями, и их социально-психологическая интерпретация плохо поддается эмпирической проверке.

Во-первых, как справедливо замечает М. С. Каган, «известный «национальный ореол» может быть свойствен многим элементам формы во всех видах искусства, но **интенсивность** и **определенность**

---

* Эрик Лундквист. Дикари живут на Западе. М., 1958, стр. 340.

** См. об этом подробнее: И. С. Кон. Психология предрассудка. О социально-психологических корнях этнических предубеждений. «Новый мир», № 9, 1966.

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 44, стр. 17.

этого «ореола» далеко не одинакова. Мы прекрасно представляем себе, например, отличие интонационного строя русской песни и итальянской, отличие мотивов украинского орнамента и узбекского, отличие пластических структур в армянском и китайском зодчестве, но мы не знаем, что такое «русский рисунок», «немецкий колорит», «испанская перспектива», «английские пропорции», «итальянская архитектоника», «грузинская композиция», «украинская гармония»; лишь в редких случаях печать национального своеобразия задевает эти грани художественной формы» *.

Во-вторых, очень трудно сказать, какие именно психологические особенности стоят за теми или иными элементами художественной формы. Интерпретация национальных особенностей искусства, как и характеристика психического склада того или иного народа, как правило, сводится к некоторым более или менее общим замечаниям, впечатлениям, образам, не отливаясь в строгие научные понятия.

Но хотя современная наука не имеет общепринятой, научно доказанной теории национального характера, даже ее «отрицательные» выводы имеют большую ценность.

Национальный характер — не биологическое явление

Первый из этих выводов — опровержение традиционного представления о национальном характере как о чем-то прирожденном, генетически обусловленном и передающемся по наследству. Биологическая трактовка национальной психологии всегда была типична для расистских теорий (хотя расизм, разумеется, состоит не в признании факта расовых различий, а в утверждении **превосходства** одних рас или наций над другими). В отличие от общественно-исторических форм общности людей (племя, народность, нация) раса действительно является естественно-историческим образованием. Расой называется большая группа людей, члены которой, хотя и отличаются друг от друга индивидуально, обладают как группа определенным наследуемым сочетанием морфологических и метрических черт, образовавшихся вследствие общего происхождения этой группы и адаптации ее к определенной природной среде. С точки зрения генетики — это популяции, отличающиеся друг от друга относительной общностью некоторого гена или генов. Эти генетические различия проявляются не только в определенных внешних соматических признаках (цвет кожи, форма волос и т. п.), но и в особенностях протекания некоторых физиологических процессов, разумеется, в пределах общечеловеческой нормы. На этом основании некоторые ученые утверждали, что разные расы обладают и генетически обусловленными (и, следовательно, принципиально неустранимыми) психическими особенностями.

Но о чем конкретно идет речь? Если имеется в виду темперамент или типологические особенности высшей нервной деятельности, то они действительно являются прирожденными. Однако классификация индивидов по таким признакам не совпадает с расовым делением, то есть индивидуально-типологические различия не совпадают с расовыми. Если же речь идет не о том, **как** протекают психические процессы, а об их **содержании** (специфическая направленность способностей, структура потребностей и интересов и т. п.), то они даже у отдельного индивида, не говоря уже о целых народах, определяются социально-культурными условиями.

В частности, психологи многократно проверяли при помощи специальных тестов умственные способности представителей различных рас. Так называемое «уравнение интеллекта» (inteiligence quotient — IQ) определяется путем сопоставления умственного возраста (способность решать задачи, которые решает средний ребенок этого возраста) с хронологическим возрастом ребенка по формуле:

$$IQ = \frac{\text{умственный возраст}}{\text{хронологический возраст}} \times 100$$

Если, например, ребенок решает задачи, которые могут решить 50% 9-летних детей, то его умственный возраст будет 9, независимо от его хронологического возраста. Если его хронологический возраст в это время 6 лет, то это, видимо, очень способный ребенок. Его $IQ = {}^{9}/_{6} \times 100 = 150$. Если же ему 12 лет, то он окажется отсталым ($IQ = {}^{9}/_{12} \times 100 = 75$). Задачи, из которых состоят тесты, применяемые и к взрослым, измеряют скорость мыслительных операций, сравнительную легкость обращения с разными типами данных — числами, словами, рисунками и т. п., сравнительное совершенство разных типов умственных процессов — восприятия, памяти, логического мышления и т. д. Кроме того, они включают некоторые неинтеллектуальные компоненты, например, настойчивость.

Я не буду сейчас обсуждать методологические предпосылки и трудности тестирования. Рассмотрим только, имеется ли существенная разница IQ у представителей разных рас и народов? В некоторых американских исследованиях белые обнаруживали в среднем более высокий IQ, чем негры или индейцы. Однако это объясняется не генетическими, а социально-культурными факторами. Негры, живущие на Севере США, где расовая дискриминация меньше, чем на Юге, имеют

---

* М. Каган. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. Л., 1966, часть 3, стр. 103.

более высокий IQ, чем негры из южных штатов. Дети американских индейцев, воспитанные вместе с белыми детьми, имеют значительно более высокий IQ, чем индейские же дети из резерваций (102 против 87,5). Мало того, IQ негритянских детей, рожденных на Юге, заметно улучшается, если они переезжают на Север и получают возможность жить и учиться в более благоприятных условиях. Например, негритянские дети, родившиеся в Филадельфии, имели при поступлении в школу IQ=92,1, тогда как дети из южных штатов — только 86,5. Но уже к 6-му классу эта разница стирается: IQ составляет для первой группы 94,0, для второй — 93,3. Дело, следовательно, не в генетических факторах, а в различии социальных условий и, особенно, в уровне и направленности воспитания и обучения.

Специальный комитет ученых, включавший социологов, антропологов, психологов и генетиков, собранный ЮНЕСКО, категорически заявил по этому вопросу: «Как бы антрополог ни классифицировал людей, он никогда не включает в эти классификации умственных качеств. Сейчас общепризнано, что тесты умственных способностей сами по себе не позволяют нам надежно разграничить то, что обусловлено природными способностями, и то, что является результатом влияний среды, обучения и воспитания. Везде, где удавалось выравнять различия, обусловленные влиянием среды, тесты показывали существенное сходство умственных черт всех человеческих групп. Короче, при равных культурных возможностях для реализации своих потенций средние достижения членов каждой этнической группы приблизительно одинаковы».

Если так обстоит дело с расовыми особенностями, то подавно нет научных данных, которые позволили бы утверждать наличие прирожденных, генетически обусловленных психических различий между представителями разных национальностей (спорной является лишь природа некоторых психофизиологических черт). Индивид не рождается с готовым набором склонностей, интересов, ценностных ориентаций, типичных для его племени или нации, а приобретает, усваивает их в процессе воспитания и общения с окружающими людьми. Ребенок одной расы или племени, с младенчества воспитанный в другой социально-культурной среде, не обнаруживает черт, характерных для его сородичей, но усваивает особенности окружающих его людей. На первый план здесь выступают социальные и культурные факторы. Но какие именно?

Психологическая антропология и «пеленочный детерминизм»

Одной из первых попыток ответить на этот вопрос была распространенная в американской социологии и этнологии теория «культуры и личности», тесно связанная с неофрейдизмом (Рут Бенедикт, Абрам Кардинер, Маргарет Мид и др.). Иногда это течение называют также психологической антропологией.

Основной постулат теории Фрейда — существование в человеческой психике неразрешимого конфликта между сознанием и бессознательным. С точки зрения Фрейда, все люди проходят одни и те же стадии психо-сексуального развития. Однако в зависимости от социальных условий, семейного воспитания и т. д., эти стадии могут протекать по-разному, причем переживания раннего детства накладывают неизгладимый отпечаток на последующую жизнь человека, формируют целостность его личности, его характер. Взаимодействие личности (характера) и культуры (общества) оказывается, таким образом, двусторонним. Общество, культура воздействуют на характер индивида через восприятие ребенком родительских предписаний и образов, а это, в свою очередь, влияет на общество, направляя в ту или иную сторону психическую энергию личности.

Сам Фрейд не занимался проблемами этнопсихологии, его гораздо больше интересовали внутрипсихологические процессы. Но его американские последователи, поставив на место типичного для Фрейда биологизма принцип социального или культурного детерминизма, попытались найти связующие звенья между социальной и психологической структурами и раскрыть механизмы, при посредстве которых одна переходит в другую. Центральным понятием у них стало введенное Абрамом Кардинером и Робертом Линтоном понятие базовой личности (точнее: основной структуры личности).

Основная структура личности, по Кардинеру, это «группа психических и поведенческих характеристик, проистекающих из контакта с одними и теми же учреждениями, такими, как язык, специфические значения и т. п.». Иначе говоря, базовая личность, или, что то же самое, национальный характер,— это «те склонности, представления, способы связи с другими и т. п., которые делают индивида максимально восприимчивым к определенной культуре и идеологии и которые позволяют ему достигать адекватной удовлетворенности и безопасности в рамках существующего порядка». Чтобы раскрыть базовую структуру личности, типичную для данного народа, нужно исследовать господствующие у него способы социализации ребенка, то есть средства его приобщения к культуре, общественным нормам, символам и т. п. Зная же эту структуру, можно с большей или меньшей степенью вероятности предсказать и социальное поведение индивидов

этого типа. Отсюда — пристальное внимание исследователей-этнографов к структуре и функциям семьи, способам ухода за детьми, эмоциональным отношениям между детьми и взрослыми и т. д.

Описанный подход был несомненным шагом вперед по сравнению с прежними биологизаторскими теориями. Он был сознательно заострен против расизма, и любые особенности, свойственные членам той или иной этнической группы, рассматривал не как прирожденные, генетически обусловленные, а как наученные, обусловленные влиянием соответствующей культуры. Однако этот подход имеет и существенные недостатки. *

Во-первых, в теории «культуры и личности» речь идет как бы о взаимодействии двух равных и самостоятельных величин: личность развивается по своим внутренним законам (стадии психо-сексуального развития), культура же понимается как сумма внешних воздействий. Такая концепция страдает дуализмом.

Во-вторых, сосредоточив внимание на влиянии культуры, то есть специфической для данного общества группы знаковой системы, эта теория оставляет в тени социально-экономический строй общества, его социальную структуру. Но ведь и устойчивая общность некоторой системы значений, и наличие определенных вариаций (подкультур) внутри этой общности связаны именно с социальным расчленением общества. Знания существующих в обществе норм, символов, традиций достаточно для понимания нынешних социально-типических черт личности. Но чтобы понять тенденцию их дальнейшей эволюции, нужен более широкий подход, при котором сами нормы, символы и т. п. выступают как производные от общественно-исторической практики.

В-третьих, утверждая существование единого типа основной структуры личности для каждой данной этнической группы, эта концепция абсолютизирует сходство индивидов, принадлежащих к этой группе, недооценивая индивидуальные и особенно социальные вариации. Это стало еще более заметно, когда от изучения социально однородных, бесписьменных и сравнительно малочисленных этнических групп ученые перешли к исследованию больших современных наций. Буржуазная нация социально неоднородна. Индивиды, принадлежащие к разным общественным классам, имеют разные интересы и предрасположены к разным типам идеологии. Дифференцированная и антагонистическая культура «задает» не один, а несколько типов личностных структур, все равно, идет ли речь о статистически преобладающем явлении или об идеально-типической конструкции. Кстати, эти два последних понятия в теории «культуры и личности» не всегда разграничиваются, а ведь наиболее распространенные черты далеко не всегда совпадают с теми, которые теоретически или нормативно желательны.

Наконец, уязвимым местом «психологической антропологии» является жесткая фрейдистская схема психо-сексуального развития и связанное с ней представление, что формирование характера фактически заканчивается в первые годы жизни. Этнографы собрали и обобщили громадный эмпирический материал относительно принятых у разных народов методов ухода за детьми. Эти данные, несомненно, существенны. Каким образом ухаживают за ребенком уже в первые месяцы его жизни, скажем, пеленают его или не пеленают, кормят в строго определенное время или как только он начинает плакать, окружен ли он лаской и заботой или предоставлен самому себе и т. п.— все это бесспорно влияет на формирование будущего характера ребенка. Однако установить прямую причинную связь между методами ухода за младенцем и особенностями характера взрослого человека невозможно, так как при этом не учитывается влияние многих других факторов. Тем более наивно видеть в этих методах ключ к проблеме национального характера. Не случайно эти исследования получили ироническое наименование «пеленочного детерминизма».

Например, английский этнолог Джоффри Горер связывает особенности русского национального характера, в частности свойственное русским уважение к власти, с принятым в русских семьях обычаем туго пеленать младенцев. Горер не утверждает, что именно пеленание младенцев и только оно одно делает русских как нацию «законопослушными». Он считает лишь, что продолжительное тугое пеленание, которому подвергаются младенцы в русской практике ухода за ребенком, является одним из средств, при помощи которых русские, не сознавая этого, передают своим детям чувство необходимости сильной власти. Но и это утверждение невозможно проверить. Во-первых, так ли уж «законопослушен» народ, осуществивший первую в мире социалистическую революцию? Во-вторых, даже формирование индивидуального характера обусловлено целой совокупностью культурно-исторических факторов, из которых никак невозможно выделить отдельный момент, тем более такой сравнительно частный, как способ ухода за младенцем, чтобы определить его удельный вес в общем процессе формирования личности.

Все эти рассуждения ничуть не научнее концепции Монтескье, который выводил факт политического деспотизма в северных и южных странах из особенностей климата: холод сковывает, а жара расслабляет человека, поэтому побудить

---

* См. об этом подробнее: Э. В. Соколов. Современный неофрейдизм и проблема социального характера. Сборник «Философские исследования». Л., 1968 («Ученые записки Ленинградского Госпединститута им. Герцена», т. 365).

его к действию может только насилие. Но у Монтескье за этими рассуждениями стоит попытка, пусть неудачная, нащупать какую-то закономерность общественного развития. Горер же и его единомышленники делают шаг назад от современного обществоведения и лишь запутывают проблему.

Неофрейдистская теория национального характера начала с того, что заменила традиционный биологический детерминизм детерминизмом психо-сексуального развития, в котором социальные условия играли только роль внешней среды. Однако под влиянием критики и внутренних трудностей эта концепция постепенно эволюционировала в сторону все большей «социологизации». Важным шагом вперед была здесь теория социального характера Эриха Фромма. Понятие социального характера у Фромма уже не ограничивается воздействием социальных условий на особенности психо-сексуального формирования ребенка, оно описывает гораздо более сложный процесс функционального приспособления индивида к требованиям общества. «Социальная структура каждого общества или положение различных классов внутри этого общества,— пишет Фромм,— предписывает его членам определенные формы поведения. Функция социального характера и состоит в том, чтобы направить энергию членов общества в общее русло, чтобы люди хотели следовать существующим социальным нормам и чтобы они получали удовлетворение, поступая в соответствии с требованиями своей культуры». Социальный характер, в понимании Фромма, присущ уже не только определенным этническим общностям, но и любой классовой, социальной, экономической группе, и формируется он не только в детском возрасте вследствие специфических способов воспитания, но всей совокупностью социальных условий.

Еще дальше в этом направлении идет американский социолог Дэвид Рисмэн, который в своей знаменитой книге «Одинокая толпа», констатируя определенные сдвиги в национальном характере американцев, прямо связывает их с изменениями в характере общественных отношений и культуры, демографических тенденциях, урбанизации, влиянии средств массовой коммуникации и т. д.* Эта социологическая трактовка национального характера все больше преобладает в новейшей научной литературе, как европейской, так и американской.

Короче говоря, психоаналитический подход к проблеме национального характера, хотя он и по сей день сохраняет некоторую автономию, по сути дела явился лишь этапом перехода от примитивных биологических теорий к теориям социально-историческим, в свете которых общность психических черт той или иной нации есть результат общности ее исторической судьбы и наличия между ее членами специфических каналов коммуникаций. Но именно это всегда утверждали марксисты!

Марксизм и проблема национального характера

Исторический материализм отнюдь не отрицает наличия у различных народов специфических психических особенностей. Принцип равенства всех народов и наций вовсе не означает одинаковости, тождественности их свойств. Наоборот, именно многообразие этнических групп делает их общение друг с другом таким плодотворным и необходимым для общеисторического развития. Развиваясь в неодинаковых природных, социальных, культурных условиях, различные народы аккумулировали большое многообразие типов характера, складов мышления, форм поведения, каждый из которых более или менее соответствовал породившим его условиям. Наука не может отказаться от изучения этих особенностей. Однако, признавая многообразие этнических свойств и признаков, марксистско-ленинская теория нации не допускает их абсолютизации.

Хотя каждая этническая группа, рассматриваемая как целое, представляется уникальной, любая из ее типичных черт присуща не только ей одной, но характеризует также, в большей или меньшей степени, другие народы. Неразбериха и путаница в проблеме национального характера возникает как раз из-за непонимания диалектики общего, особенного и единичного. Раскрыть характер народа — значит раскрыть его наиболее значимые социально-психологические черты. Но ни одна из этих черт, взятая в отдельности, не является и не может быть абсолютно уникальной. Вы говорите, что отличительная особенность русских — терпеливость? Но это качество характеризует также китайцев. Вы говорите, что грузины вспыльчивы? Но это типично также для испанцев. Какое бы качество, будь то темперамент или ценностная ориентация, мы ни взяли, оно никогда не будет уникальным. Уникальна структура характерологических особенностей нации. Но все элементы, входящие в эту структуру, являются общими.

Кстати сказать, это касается не только наций, но и индивидов. Каждый человек, взятый в отдельности, неповторимо своеобразен, уникален. Но попробуйте охарактеризовать его, описать его уникаль-

* См. подробнее: Ю. А. Замошкин. Кризис буржуазного индивидуализма и личности. М., 1966.

ность — вы не можете это сделать иначе как с помощью целого ряда общих понятий, описывающих свойства, которые присущи не только этому человеку, но и другим людям. Невозможно зафиксировать различия, не указывая при этом существенные сходства. Сравнение как индивидов, так и этнических групп проводится главным образом по степени выраженности у них тех или иных общих черт или качеств. Но чтобы сравнение было объективным, нужно постоянно учитывать его масштаб.

Отсюда другое важнейшее методологическое требование: учитывать относительность любых этнических характеристик. В работах, посвященных русскому национальному характеру, часто называется, например, такое качество, как эмоциональная сдержанность. Но по сравнению с кем русские кажутся эмоционально сдержанными? По сравнению с итальянцами? Согласен. Но не по сравнению с финнами или эстонцами. Утверждения относительно черт национального характера, высказанные в абсолютной форме, без указания того, с кем сравнивается данная группа, неизбежно порождают путаницу.

Не будем брать сложные морально-психологические качества, самое определение которых может вызвать споры. Возьмем простейшее суждение: немцы — блондины. Правильно ли это суждение? И да, и нет. Если оно утверждает, что все немцы или хотя бы большинство немецкого народа являются блондинами, то это суждение ложно, блондины составляют меньше половины населения Германии. Однако в нем содержится доля истины в том смысле, что среди немцев блондинов гораздо больше, чем среди французов, итальянцев или испанцев, поэтому **по сравнению** с этими народами немцы кажутся блондинами. Это сравнение (чаще всего только подразумеваемое) присутствует в любых этнических стереотипах.

Американцам, с их быстрым ритмом жизни и отсутствием древних исторических традиций, англичане кажутся консервативными; эта черта почти всегда фигурирует в американском стереотипе англичанина. Но эта черта совершенно отсутствует в образе англичанина, распространенном в Латинской Америке; там подчеркиваются культурность, честность, практичность, интеллигентность англичан, а из отрицательных черт — склонность к господству и эгоизм. Совершенно очевидно, что это различие оценок обусловлено различиями в перспективе, за которой, в свою очередь, стоит неодинаковость исторического опыта, включая сюда и опыт общения с представителями соответствующей этнической группы. Наше национальное самосознание всегда предполагает — осознанное или неосознанное — соотношение собственных качеств с качествами кого-то другого; «мы» имеет смысл только в сопоставлении с какими-то «они», и обратно *.

До сих пор разговор у нас идет, так сказать, на уровне тривиальностей, без четкого осознания которых невозможно, однако, уяснить себе суть проблемы. Значительно сложнее понять другое — **историчность** национальной психологии.

Возьмем, например, оживленно обсуждающуюся сейчас проблему так называемого «африканского мышления» или «африканской личности». Некоторые ученые и писатели, как африканцы, так и европейцы, утверждают, что мышление африканца качественно отличается от европейского мышления. По словам Леопольда Сенгора, африканец не столько «видит» объект, сколько «чувствует» его. «Разум негра... — это не дискурсивный разум Европы, «разум-глаз», а «разум-осязание», симпатизирующий интуитивный разум, который имеет больше общего с **логосом**, чем с **рацио.** Европеец, прообразом которого является «эллин», стремится подчинить, преобразовать природу: «овладевая» ею путем анализа, он убивает ее. Негро-африканец. наоборот, сливается с природой, ощущает ее; его мышление субъективно, поэтично, художественно. Если для Декарта доказательством существования является мышление («Я мыслю, следовательно, я существую»), то для негро-африканца такое доказательство не нужно, он схватывает реальность в непосредственном переживании: «Я танцую, я чувствую «другое», следовательно, я существую». Отсюда — целая серия отрицаний и противопоставлений негритюда **: антирасовый «черный» расизм противопоставляется «белому» расизму колонизаторов, негритянская эмоция — дискурсивному разуму белого, поэтическая экспрессивность — холодному научному мышлению, субъективность — объективности, крестьянство — индустриальному пролетариату, сельско-патриархальный уклад — техницизму индустриального общества, африканский путь развития — европейскому.

Нетрудно понять, что происхождение негритюда связано с антиколониальными настроениями: европейская культура пришла в Африку в обличье колонизаторов, отсюда и глобальный протест против нее, утверждающий торжество каких-то своих, африканских начал. Но это глобальное отрицание не дает ответа на вопрос, куда идти. Ганский поэт Майкл Дэй-Ананг пишет в стихотворении: «Куда ты идешь, Африка?»:

...Африка, ты подняла паруса,
Но куда же твой путь?..
Вперед, но куда же?
К заводам,

---

* См. об этом подробнее: Б. Ф. Поршнев. Социальная психология и история. М., 1966.

** См. подробнее: А. Н. Мосейко. Об одном из идейных направлений в современной Африке. «Вопросы философии», № 3, 1968.

К нечеловеческой мельнице фабрик.
Чтоб в нескончаемой смене
Размалывать годы свои?..
Или назад?
Назад к древним истокам,
Когда человек человеку был братом
И почитал божество
Чистой душой, не знавшей оков? *

Но как бы ни идеализировать древние патриархальные устои, пути назад нет. Это понимают не только политические деятели Африки, но и рядовые африканцы. Французский социолог Пьер Фужейрольяс, работающий в Сенегале, предложил двум группам сенегальских рабочих ответить, что они думают о будущем. Было предложено 3 возможных ответа: 1) африканцы сохранят большинство своих прошлых и нынешних обычаев, 2) их образ жизни станет похож на европейский, 3) появится какой-то новый образ жизни, отличный от обоих этих образцов. В первом смысле ответили только 6% опрошенных, во втором — 49%, в третьем — 30%; 15% не ответили вообще. Но дело не в ответах на вопросы и даже не в самом факте культурных влияний и «модернизации». Ведь «европеизм», о котором идет речь, не есть нечто однородное. Когда Сенгор, к примеру, отвергает «европейский» марксизм, он тем самым открывает дорогу другой, буржуазной философии, а «африканская» идея классового мира значит в Африке то же самое, что и в Европе.

Но оставим в стороне идеологию. Каков **научный** фундамент теории «африканского мышления»? Вообще говоря, из того, что человеческое мышление везде подчинено одним и тем же законам, вовсе не вытекает, что и формы его у всех тождественны. Индивиды отличаются друг от друга не только по уровню, по степени развития своего интеллекта, но и по его направленности. И. П. Павлов, например, считал, что у одних людей («художественный» тип) превалирует первая сигнальная система, а у других («умственный» тип) — вторая. Для людей первого типа характерно живое, ярко эмоциональное восприятие действительности, для второго — отвлеченность, рассудочность. Преобладание того или иного стиля мышления проявляется и в поведении, и в выборе определенных форм жизнедеятельности. Может ли определенная социально-культурная среда благоприятствовать преимущественному развитию и проявлению одного или другого типа мышления? В принципе это не невозможно, хотя и не доказано. Но и это — гипотетическое — преобладание одного типа мышления над другим, и, в особенности, их — реальное — противопоставление друг другу суть **исторические** факты.

По справедливому замечанию французского социолога Пьера Фужейрольяса, «ничто не позволяет нам связывать преобладание эмоциональности или рассудочности в человеческой группе с расовым основанием. Ибо, если африканец мог до такой степени казаться человеком эмоции, как так называемый «негр», и если европеец мог до такой степени казаться человеком разума, как так называемый «грек», то это — следствие отношений между культурами Африки и Европы в первой половине XX века. Африканец, которого механизированный Запад насильственно приобщил к научно-технической деятельности, не имел другого убежища, кроме как в своих чувственно-эмоциональных связях с космической реальностью, а европеец, став жертвой «расколдования мира наукой», не имел другого оправдания, кроме превращенного в верховную норму цивилизации рационализма». Этнический стереотип лишь возводит в абсолют фактическую односторонность жизнедеятельности разных человеческих групп, обусловленную разницей условий существования и мировым разделением труда.

Недаром так называемое «конкретное мышление» (понятие не слишком определенное) приписывается не только африканцам, но и многим другим народностям, стоящим на определенной ступени общественного развития. Это не мешает их представителям, оказавшись в другой среде, успешно адаптироваться к ней. Кстати сказать, само противопоставление эмоциональности дискурсивному разуму первоначально возникло в европейской философии вне всякой связи с этническими проблемами, как ее собственное **внутреннее** противоречие (Ницше, Дильтей), и лишь затем было спроецировано вовне. Идеализация «примитивов» в искусстве и литературе была прямым следствием кризиса «сциентизма» в мировоззрении и фактических диспропорций и уродств буржуазного техницизма и «овеществления» человеческой личности. То есть речь идет опять-таки об **историческом** противоречии, в котором этнические моменты являются производными.

Но оставим вопрос о стиле мышления, где все слишком неопределенно. Возьмем различия ценностных ориентаций разных народов, например, их отношение к труду. Можно ли сказать, что все народы одинаково трудолюбивы или же степень их трудолюбия различна? Такой вопрос часто встает при сравнении достоинств разных этнических групп. Однако при такой абстрактной постановке на него не может быть научного ответа. Трудолюбие, как и леность, — это моральные качества, которые можно понять и объяснить только в соотнесении с общей системой ценностей, принятой данным обществом, народом и завися-

* Сб. «В ритмах тамтама». Изд. «Восточная литература», 1961.

щей от его социально-экономического строя и образа жизни. Народа, который бы не трудился, никогда не было и быть не может. Но так же, как различны виды трудовой деятельности, не одинаково место, занимаемое трудом в системе социальных ценностей.

В одних культурах производство материальных благ мыслится как важнейшая сфера жизнедеятельности, как главный способ самоутверждения и самореализации личности. В других оно занимает гораздо более скромное место. Например, папуасы, живущие в глубине Новой Гвинеи и сравнительно слабо затронутые европейским влиянием, работают только ради удовлетворения своих непосредственных потребностей. Они не делают больших запасов, не стремятся произвести больше, чем это им нужно сегодня, и вообще не особенно заботятся о завтрашнем дне. Отчасти, вероятно, это объясняется природными условиями. Как замечал Маркс, слишком щедрая природа как бы водит человека на помочах. Сравнительно легко удовлетворяя его первичные потребности, она не стимулирует его к дальнейшему развитию собственных усилий. Папуасам не нужно все время заботиться о завтрашнем дне, как это приходится делать народам, живущим в более суровых климатических условиях.

Не менее важны собственно социальные факторы. У папуасов отсутствуют частная собственность, дух соревнования, соперничество, конкуренция. Как пишет Эрик Лундквист, то, что на Западе называют способностями и инициативой, среди папуасов считается плохими качествами. Каждый, кто пытается выделиться, нажиться за счет других или работает слишком усердно, по мнению папуасов — плохой человек. Идеалом здесь служит тот, кто ничуть не старается возвыситься, работает в меру, мягок и сдержан в обращении, в меру услужлив по отношению к другим и доволен своим положением равноправного члена деревенской общины. Таким образом, индивидуальные стимулы трудовой активности, такие как соревнование, конкуренция и т. п., здесь не развиты. Что же касается стимулов коллективных, то они могут быть эффективны, только если соответствующий коллектив, общество динамичны, устремлены вперед, ориентированы на растущие общественные и личные потребности. Папуасская же община застойна, консервативна, ее цели ограничены воспроизводством непосредственной жизни. Отсюда — и специфическое отношение к труду.

Абстрактное понятие «трудолюбие» имеет совершенно разный социальный смысл в зависимости от того, понимается ли труд как простое средство к существованию, или как естественная потребность личности, или как средство обеспечения прогресса общества. Каждое отдельное значение связано с целой системой ценностных ориентаций, за которой, в свою очередь, стоит определенная система общественных отношений. Для древнего грека физический труд — деятельность, не достойная свободного человека. Для средневекового ремесленника — это судьба, не вызывающая ни восторга, ни сожалений, которую надо просто принимать как нечто само собой разумеющееся. Протестантская этика поднимает труд до степени религиозного призвания и т. д. и т. п. То есть все зависит от социально-исторических условий.

Свойственная людям склонность абсолютизировать собственные привычки рождает взаимное непонимание. Латиноамериканец с ужасом смотрит на янки, который только и думает, как бы еще что-то заработать: зачем это ему нужно, ведь он так порабощен своим трудом, что не может даже радоваться его результатам? А этот, в свою очередь, недоумевает: можно ли плясать и петь на карнавале, когда не знаешь, как прожить завтрашний день; не лучше ли в это время что-то подработать? И оба не понимают, что их личный стиль жизни задан системой общественных потребностей и традиций.

Установки и ориентации, сложившиеся в одних исторических условиях, могут оказаться малопригодными в других. Недаром во многих развивающихся странах так остро стоит задача формирования трудовой морали и дисциплины, которых не выработало предшествующее развитие. Те или иные ценностные ориентации могут способствовать или, наоборот, препятствовать социальному успеху, в зависимости от того, насколько они соответствуют объективным потребностям общества. Американские социологи заинтересовались, например, почему, хотя возможности получения образования у представителей большинства национальных меньшинств в Америке, за исключением негров, при прочих равных условиях более или менее одинаковы, процент евреев-иммигрантов, получающих среднее и высшее образование, значительно выше, нежели процент итальянцев. Группе мальчиков, итальянцев и евреев, был задан вопрос: какого рода профессиональные занятия планируют для них родители? Хотя в обеих группах цели были достаточно высокими, итальянские мальчики знали, что их родители будут удовлетворены и в том случае, если их дети не достигнут этих целей. Напротив, еврейские мальчики находились под впечатлением, что их родители будут горько разочарованы, если поставленные цели не будут достигнуты, поэтому большинство еврейских мальчиков чувствовало себя обязанными преуспеть. Там, где индивидуальные способности ребенка не соответствуют этим притязаниям, это психологическое давление рождает напряженность и возможно — невротизм, зато в других случаях оно, несомненно, способ-

ствует успеху. Кроме того, выяснилось, что в этих двух группах по-разному относятся к самому образованию. Итальянские иммигранты были преимущественно крестьяне из южных районов Италии. У себя на родине эти люди были очень далеки от образования, поэтому и в новых условиях они к нему не стремятся. Интеллектуальные интересы в этой среде рассматриваются как проявление изнеженности, женственности. Напротив, в еврейской среде образование традиционно ценится очень высоко.

Приведенные факты, число которых можно было бы увеличить, говорят о том, что те черты, которые мы воспринимаем как специфические особенности национального характера,— это продукт определенных исторических условий и культурных влияний. Они производны от истории и изменяются вместе с нею. А затем, с определенным отставанием меняются и соответствующие стереотипы. Так, в начале XVIII в. в Европе считали, что англичане склонны к революции и перемене, тогда как французы казались весьма консервативным народом; сто лет спустя мнение диаметрально изменилось. В начале XIX в. немцев считали (и они сами разделяли это мнение) непрактичным народом, склонным к философии, музыке и поэзии и мало способным к технике и предпринимательству. Произошел промышленный переворот в Германии — и этот стереотип стал безнадежным анахронизмом.

Но история каждого народа, в особенности история больших современных наций, сложна и противоречива. По образному выражению одного исследователя, национальный характер каждой современной нации представляет собой нечто вроде палимпсеста — пергамента, на котором поверх старого, более древнего текста написан новый; стоит смыть верхний слой, и под ним появляется невидная вначале, часто поврежденная, но все-таки сохранившаяся древняя надпись. Так и в истории народа каждый этап исторического развития оставляет свои неизгладимые следы. Чем длиннее и сложнее путь, пройденный народом, чем больше качественно различных фаз содержит он, тем сложнее и противоречивее будет его национальный характер. Неудачи любых попыток целостного описания характера какой-либо нации отражают не только несовершенство наших понятий и методологические трудности, но также и противоречивость самого исторического развития, запечатленного в психологии народа.

В числе характерных черт русской нации Ленин, как известно, называл революционный размах, а с другой стороны—подчеркивал опасность обломовщины. Противоречие? Да, несомненно... Но противоречие диалектическое. Тяжкий повседневный труд и невозможность улучшить свое положение действительно стимулировали у людей фатализм, апатию, пассивность. И в то же время именно невозможность постепенного, частичного улучшения жизненных условий, несвязанность рамками частной собственности (у крепостного крестьянина ее фактически не было, а помещику его положение досталось не с бою, а по наследству) рождали смелость, бесшабашность, размах как в созидании, так и в разрушении, короче, то, что Герцен называл «широким разгулом богатой натуры» *.

Однако эти противоречивые черты могут не только воплощаться в разных людях (почему и рискованно принимать отдельную личность, даже самую выдающуюся, за воплощение национального характера), но меняющиеся исторические условия могут способствовать преимущественному проявлению, а следовательно, и закреплению одних черт в ущерб другим; качества, которые были традиционными для народа на протяжении ряда поколений, в последующих поколениях могут ослабляться или исчезать. Национальный характер весьма устойчив, его нельзя изменить только с помощью административных мер или просвещения. Но, будучи историческим, он изменяется, трансформируется вместе с общественным строем. Нет ничего более ложного и вредного, чем превращение его в некую фатальную силу, предопределяющую судьбу народа.

Но если национальный характер историчен, то при изучении его нельзя не учитывать социально-классовых различий. Забвение этого принципа составляет важнейший порок буржуазных этнопсихологических исследований. Когда речь идет о социально однородных первобытных общностях или о таких свойствах, как особенности темперамента,— это еще не так существенно. Различия в темпераменте между итальянцем и финном, вероятно, более или менее независимы от социального положения того и другого. Но что касается мировоззрения, отношения к труду, власти, типичных социальных стремлений, то здесь итальянский рабочий имеет гораздо больше общего с финским рабочим, нежели с итальянским капиталистом.

Еще Н. Г. Чернышевский писал: «По образу жизни и по понятиям земледельческий класс всей Западной Европы представляет как будто одно целое; то же должно сказать о ремесленниках, о сословии богатых простолюдинов, о знатном сословии. Португальский вельможа по образу жизни и по понятиям гораздо больше похож на шведского вельможу,

* А. И. Герцен. Избранные философские произведения. М., 1946, т. 2, стр. 14.

чем на земледельца своей нации; португальский земледелец более похож в этих отношениях на шотландского или норвежского земледельца, чем на лиссабонского богатого негоцианта» *. Можно, конечно, возразить, что Чернышевский никогда не был ни в Португалии, ни в Швеции, ни в Шотландии и потому не имел данных для сравнения. Но и специальные (к сожалению, весьма немногочисленные) эмпирические исследования подтверждают вывод о существовании специфической классовой психологии и о том, что эта общность, когда она достаточно осознана, оказывается более значимой, нежели общность этнического происхождения. Социально-классовые различия обнаруживаются и в структуре семьи, и в способах воспитания детей, и в отношении к образованию, и в самом широком спектре ценностных ориентаций. В. И. Ленин недаром говорил о двух культурах в каждой национальной культуре и о двух нациях в каждой буржуазной нации. Выпячивание национальных особенностей при игнорировании их социально-классового содержания всегда влечет за собой искажение фактов и играет реакционную политическую роль.

Но если все те черты и особенности, которые мы наблюдаем у представителей разных наций, являются социально-историческими, то стоит ли называть их национальным характером? Некоторые авторы ставят вопрос так: либо сформулируйте признаки данного национального характера определенно, не соотнося их с историей, либо откажитесь от этого понятия. Это требование было бы логически правомерным, если бы сама национальная общность понималась не как социальное, а как биологическое образование. Но если (а именно такова марксистская точка зрения) национальная общность в целом мыслится социально-исторической, то не приходится удивляться, что все ее специфические свойства, включая национальный характер, тоже являются общественно-историческими, их нельзя понять или описать помимо и вне истории народа.

Другое дело — требование **формально-аналитического** выделения основных элементов понятия, без чего оно неизбежно будет расплывчатым. Это предполагает, в частности, необходимость четко соотнести понятия «национальный характер» и «национальная культура». Здесь возможны разные подходы. Но меня сейчас волнует не терминология, как ни важна она сама по себе, а суть дела. Как ответить на вопрос, поставленный в заглавии статьи: что же такое национальный характер — миф или реальность?

Мне кажется — и то и другое. Если под национальным характером понимается некоторая неизменная сущность, свойственная всем людям определенной нации, отличающая их от всех других этнических групп и незримо определяющая их социальное поведение, это, с научной точки зрения, миф. Но, как всякий социально-психологический миф, он отражает определенную историческую реальность: общность выработанных и усвоенных в ходе совместного исторического развития психических черт и способов действия, закрепленных групповым самосознанием. Чувства и образы обыденного сознания не отличаются, конечно, аналитической строгостью. Но они не становятся от этого менее эффективными. Национальное самосознание было и остается жизненно важным аспектом личной и групповой идентификации. Недаром к нему апеллируют не только консерваторы, для которых историческая традиция служит средством отгородиться от новых веяний, но и самые прогрессивные мыслители. «Национальное прошлое,— писал Д. А. Сикейрос,— служит нам как бы для проверки того, кто мы и что мы собой представляем, и для того, чтобы знать, чем мы будем впоследствии. Я говорю о том, что надо смотреть на себя в зеркало истории нации, для того чтобы изучать себя в этом зеркале, чтобы идти дальше в соответствии с реальностью нашего времени и все время глядя вперед» *.

Затруднительность, а во многих случаях и невозможность непосредственного изучения национального характера делает особенно важными иные, в частности литературоведческие, исследования. Образы художественной литературы охватывают национально-типические черты глубже и многограннее, нежели научные формулы. Исследование этих образов в их динамике и социально-историческом контексте дает исключительно много. Художественная литература показывает и многообразие национальных типов, и их конкретно-классовую природу, и их историческое развитие. Если для понимания русского характера в XIX веке важен Обломов, то ведь не менее важен и национален Базаров. Если, говоря об американце, вспоминаем Бэббита, то нельзя не вспомнить также Мартина Эрроусмита. А возьмите эволюцию образа негра в американской литературе от доброго и покорного дяди Тома к возмущенному, мятежному и страдающему десятком различных комплексов негру-интеллигенту Джеймса Болдуина или своеобразному синтезу терпимости и протеста в дядюшке Лукасе из «Осквернителя праха» Фолкнера. Здесь отражена и реальная история страны, и сдвиги в социальном положении и самосознании негра, и изменения соответствующих социально-психологических стереотипов. Знакомство с литературой любого народа

---

* Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч. М., 1951, т. X, стр. 891.

* Д. А. Сикейрос. Национальное в искусстве. «Творчество» № 8, 1958, стр. 14.

позволяет шире и глубже понять богатство и многообразие его национального характера, выбивая почву из-под предубеждений и произвольных обобщений, основанных на случайных или ложно истолкованных фактах. Но национальная литература не всегда и не во всем бывает понятна читателю, смотрящему на нее извне, из другой социальной и культурной среды. Благороднейшая цель литературоведения состоит поэтому не в том, чтобы перевести сложные художественные образы в простые (или кажущиеся таковыми) социологические формулы, а в том, чтобы облегчать этот процесс взаимопонимания.

Эта задача обращена не только в прошлое. Национальные общности не являются простыми пережитками. В отличие от буржуазного космополитизма, пропагандирующего идею «безнационального современного мира» (чаще всего за этим стоит национализм господствующей нации, заинтересованной в подрыве национального самосознания угнетенных меньшинств), пролетарский интернационализм стремится определить конкретные условия, при которых нации могут развиваться на основе взаимного обогащения и дальнейшего роста — в особенном лице каждой — общечеловеческих ценностей.

Никогда в прошлом историчность и социальная обусловленность национальных отношений и национальной психологии не доказывалась столь убедительно, как за 50 лет советской власти. В ходе социалистических преобразований и под влиянием интенсивного межнационального общения радикально изменились, исчезли, трансформировались бесчисленные старые обычаи, нравы, привязанности, которые, казалось, были неразрывно связаны с самой душой народа. Их место заняли новые, отражающие современные условия и в большинстве случаев общие для всех советских народов. «Не век же нам восторгаться... в киргизской литературе запахом кизячьего дыма, кумыса и овчины, этими «обязательными» атрибутами «национальной специфики»... Сегодня нам гораздо ближе запах бензина, машин, тракторов, ближе все, что связано с механикой и современными темпами жизни, чем то, что уходит из жизни, теряется»,— писал Чингиз Айтматов *. Выросшая мобильность населения благоприятствует взаимопроникновению национальных культур и языков, разрушает национальную замкнутость и ограниченность, расширяет круг общностей, в которых человек чувствует себя «своим».

Но новые формы жизни и мышления, нивелируя одни особенности, сочетаются с сохранением и восстановлением других. Как сказано в Программе КПСС, «партия не допускает ни игнорирования, ни раздувания национальных особенностей». Новая форма этнической общности — советский народ — образуется не путем «вычитания» из целого национальной специфики, а путем их творческой интеграции. А поэтому и чувство интернационализма не отменяет чувства национальной принадлежности и национальной гордости. Хорошо сказал об этом Расул Гамзатов:

«В какие бы края ни забросила меня судьба, я везде чувствую себя представителем той земли, тех гор, того аула, где я научился седлать коня. Я везде считаю себя специальным корреспондентом моего Дагестана.

Но в свой Дагестан я возвращаюсь как специальный корреспондент общечеловеческой культуры, как представитель всей нашей страны и даже всего мира» **.

---

* «Дружба народов» № 9, 1962, стр. 270.
** «Новый мир» № 9, 1967, стр. 27.

ДУХОВНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

У буржуазных идеологов и антикоммунистических пропагандистов одним из самых излюбленных объектов для нападок на марксизм-ленинизм служит тезис о руководящей роли партии рабочего класса в области культуры. Эти нападки ведутся с разных сторон и под разными лозунгами, но всегда предполагают прямую фальсификацию, грубую подтасовку, при которой искажение понятия выдается за само понятие, а ошибки становятся выражением принципов.

Разоблачая всякого рода фальсификации, касающиеся теории и практики партийного руководства культурой, марксисты социалистических стран разрабатывают программу действий, которая учитывает их национальную специфику. Эта программа действий требует, с одной стороны, тонкого и гибкого подхода к сложным вопросам художественного творчества, а с другой стороны — ясной и твердой партийной позиции, являющейся необходимой предпосылкой успешного развития социалистической культуры.

Среди последних выступлений на эту тему, появившихся в печати социалистических стран, обращает на себя внимание лекция секретаря ЦК Венгерской социалистической рабочей партии Дьердя Ацела слушателям Политической академии ВСРП. Изложение этой лекции под заголовком «Актуальные вопросы нашей культурной жизни» было опубликовано недавно в центральном партийном органе — газете «Непсабадшаг».

В лекции нашел свое отражение десятилетний опыт идеологической борьбы ВСРП «на два фронта»: как против либеральных, ревизионистских взглядов, так и против сектантско-догматических. В этой борьбе, как отмечает Д. Ацел, партия в первую очередь исходила и исходит из того, что

> «между пролетарской и буржуазной идеологиями, между марксизмом и антимарксизмом нет и не может быть мирного сосуществования».

Ацел предостерегает от самообмана и самоуспокоенности, опасность которых отчетливо выявилась в прошлом десятилетии. В те времена считалось, что победа в борьбе уже одержана, что марксизм полностью овладел умами. Единство взглядов тогда нередко поддерживалось административными мерами, и это, разумеется, не приводило к положительным результатам.

> «Наша цель сейчас...— объясняет Д. Ацел,— обеспечить, укрепить существующую гегемонию марксизма, его способность осуществлять направляющую и руководящую роль в идеологии».

Укреплению гегемонии марксизма способствует правильное понимание социалистической демократии. По свидетельству Д. Ацела, не только в области культуры, но и в других областях общественной жизни имеют место попытки исключить из понятия «социалистическая демократия» определение «социалистическая» и свести его к «общей», то есть фактически к буржуазной демократии. Партия решительно противодействует этим попыткам свернуть вправо, но в то же время не дает увлечь себя «левыми», псевдореволюционными фразами.

> «В нашем понимании и на практике,— говорит Д. Ацел,— социалистическая демократия означает, что с помощью демократии нужно укреплять социализм, а не буржуазную демократию в ущерб социализму. С другой стороны, мы отвергаем точку зрения тех, кто в нынешних условиях рассматривает социалистическую демократию как ослабление диктатуры пролетариата, кто видит опасность для диктатуры пролетариата со стороны социалистической демократии».

ВСРП своей идеологической работой стремится донести до сознания деятелей искусства диалектическое единство творческой свободы и гражданской ответственности. Высокохудожественные творения социалистического искусства содействуют упрочению социалистической демократии, а прочная социалистическая демократия является непременным условием создания этих творений.

Напоминая об общих принципах социалистической демократии, Д. Ацел особо выделяет один из них, тот, без которого немыслима духовная жизнь общества. Он говорит о свободном обмене мнениями, о полемике, о дискуссиях. Их не следует превращать в самоцель, но без них возможно лишь топтание на месте, а не движение вперед. Марксисты должны в дискуссиях отстаивать свою точку зрения по всем животрепещущим вопросам, даже самым «деликатным».

Д. Ацел напоминает о дискуссии, которая связана с именем Дьердя Лукача. Летом прошлого года Лукач по его просьбе был восстановлен в рядах ВСРП. Партийная общественность Венгрии, по словам Ацела, с одобрением отнеслась к этому шагу видного марксистского философа, в результате которого теперь уже 84-летний ученый, получивший международное признание в области марксистской эстетики, снова вошел в ряды партии. Вместе с тем партийная общественность, добавляет Д. Ацел, считает необходимым полемизировать с некоторыми взглядами Д. Лукача, нельзя, в частности, согласиться с его анализом рабочего и коммунистического движения до 1956 года и в последнее десятилетие. В своих недавних заявлениях и выступлениях Дьердь Лукач, сравнивая последнее десятилетие венгерской истории с предыдущим, делает неоправданный акцент на разрыве между этими периодами и недостаточно обращает внимание на преемственность той борьбы за социализм, которую всегда вела партия.

«В те годы, когда существовал культ личности, нанесший такой трагический ущерб, в нашей стране установился и с большой силой развернулся новый экономический строй — социализм, поддержанный самоотверженным трудом миллионов трудящихся...— указывает Д. Ацел.— Почему же и по какому праву мы должны говорить поколению, которое несло на себе нелегкое бремя тех лет, строило, созидало и заложило основы всего того, на чем держится наше сегодняшнее существование, что нужно отрицать честный труд той поры?.. Почему мы должны лишь с опаской и мимоходом упоминать об успехах того времени, когда всем ясно, что мы устранили и преодолели то, что было ошибочным и преступным?»

Д. Ацел напоминает, что и сам Лукач, споря с буржуазными идеологами, спекулирующими на дурных последствиях культа личности, писал: «Для нас важна перспектива общего развития, и, с этой точки зрения, объективные издержки сталинских десятилетий не имеют, в конечном итоге, решающего значения, так как несмотря на эти издержки главная линия заключалась все же в укреплении и упрочении социализма».

Тем не менее Лукач придерживается концепции «разрыва». Он переносит ее и на искусство, главной задачей которого он считает искоренение пережитков «сталинской эпохи». Эта формулировка вызывает у Д. Ацела возражение.

«Мы находим ошибочным такие выражения, как «сталинская эпоха» и тем более «сталинизм»,— говорит Д. Ацел.— Ведь «сталинская эпоха», как ее называет товарищ Дьердь Лукач, это и строительство социализма, и защита человеческого прогресса, и, что совершенно очевидно, самоотверженный труд десятков миллионов людей — их бескорыстный энтузиазм, готовность пожертвовать всем ради общего дела...»

Соглашаясь с Д. Лукачем в том, что хороший современный роман, как правило, выражает стремление к ликвидации последствий культа личности, Д. Ацел вместе с тем добавляет, что ни вчерашний, ни тем более сегодняшний день социализма нельзя отображать только лишь в связи с этой проблемой. Это не значит, уточняет Д. Ацел, что партия налагает запрет на данную тему. Наоборот, партия ждет от писателей, чтобы они творчески воспроизводили всю правду нашего времени. Но эту правду не следует понимать односторонне.

В полемике с Д. Лукачем, таким образом, отстаивается партийная точка зрения по вопросам, имеющим существенное значение для культурной политики ВСРП. Излагая основные принципы этой политики за последние десять лет, Дьердь Ацел подчеркивает, что главные ее задачи остались прежними. Они заключаются в том, чтобы культура была социалистической по содержанию и национальной по форме, чтобы она становилась все более и более массовой, сохраняя при этом высокий уровень, чтобы она развивалась в тесном взаимодействии с прогрессивной культурой всего мира и прежде всего стран социалистического лагеря.

«Сейчас, как и прежде,— заявляет Д. Ацел,— мы признаем в принципе и на практике руководящую роль партии рабочего класса в области культуры, хотя считаем, что формы и методы осуществления этой руководящей роли во многих отношениях изменяются».

Изменилось, по мнению Д. Ацела, понимание связей между политикой и культурой, политикой и искусством. Догматическое представление о партийности искусства — не столько в теории, сколько на практике — сводилось к требованию злободневности. Партийность в истинном понимании этого слова определяется мировоззрением художника, а не только темой, которую он разрабатывает в своем произведении. Д. Ацел в то же время предупреждает, что «чрезмерную актуализацию и чрезмерное политизирование искусства» нельзя заменить «политическим безразличием». Не следует, как говорит Д. Ацел, впадать из одной крайности в другую.

«Признание того, что мы считаем партийность прежде всего вопросом мировоззрения, не может быть оправданием ни для какого политического анархизма...» — уточняет Д. Ацел.

Партия, проявляя уважение к своеобразию творческого труда, понимая, что об этом труде нельзя судить, отходя от политических понятий, вместе с тем ждет от деятелей культуры осознания их гражданского долга, отказа от аристократического эстетства, с точки зрения которого неполноценно любое художественное произведение, непосредственно отображающее общественные процессы.

«Мы не утверждаем,— продолжает Д. Ацел,— что непосредственно агитационный, связанный с текущей политикой стиль должен стать господствующим в нашей литературе, но и он — тоже часть литературы, причем, если произведение удачно,— ценная часть. Не приказ извне, сверху, а внутренняя потребность нашей культуры, нашего искусства вызывает к жизни такие произведения и жанры. Подлинно значительное произведение искусства — связано ли оно волей художника с актуальными событиями или, руководствуясь лишь законами политики, отражает более общие явления — действует на людей, на общество обычно в том же духе, что и прогрессивные политические концепции. Именно поэтому мы вправе просить наших деятелей искусства, чтобы они в своем творчестве проявляли тот «минимум» партийности, который определяется осуждением империализма, эксплуатации человека человеком, национального угнетения, старого и нового фашизма, борьбой за идеалы гуманизма».

Требование партийности искусства не исключает многообразия жанров и стилей, выбор которых предоставляется художнику. Д. Ацел напоминает, что еще в 1958 году ЦК ВСРП принял такую формулировку: «по вопросам вкусов и стилей мы не выносим партийных и государственных решений». Развивая эту мысль, Д. Ацел говорит:

«Оттого, что одному нравится какая-то картина, а другому — нет, никто не становится ни сектантом, ни ревизионистом, ни националистом, ни космополитом, ни мелкобуржуазным элементом. Только догматизм так вульгарно отождествляет вкус с мировоззрением, что от людей с одинаковым мировоззрением ожидает совершенно одинаковых вкусов, а за каждым расхождением во вкусах видит идеологические расхождения.

Однако и в этом вопросе нужно избегать крайностей. Признание стилевого многообразия не может означать безразличия в отношении вкусов.. Индивидуальный вкус мы не возводим в политический принцип, но в массовых масштабах вкус — дело общественное, его нужно формировать и на него нужно воздействовать».

Изменения, которые произошли за последние десять лет в издательской политике и в политике информирования общественности, принесли, по словам Д. Ацела, определенные плоды: литературно-художественная жизнь Венгрии стала более яркой и многообразной, но вместе с тем более сложной и противоречивой. Однако эти изменения не означают и не будут означать, добавляет Д. Ацел, что партия идет к либерализму, признает абсолютную свободу печати и информации.

«Мы уважаем свой строй, свои политические принципы и цели,— сказал Д. Ацел,— и нас не интересует, что думают о свободе нашей литературы наши буржуазные противники... Мы не позволим распространять у нас волчьи законы».

Свою лекцию, которая, как пишет газета «Непсабадшаг», была выслушана с большим интересом, Дьердь Ацел закончил следующими словами:

«Культурная политика ВСРП отражает последовательную приверженность основным принципам социализма, а также точный учет происходящих в жизни изменений. Поэтому наша партия способна эффективно участвовать в развитии венгерской социалистической культуры. Поэтому венгерское рабочее движение в состоянии быть руководящей политической силой, духовным товарищем литературы, киноискусства, музыкального, изобразительного и театрального искусства, завоевывающих уважение как у нас в стране, так и за рубежом».

О духовном товариществе деятелей рабочей партии и мастеров социалистической литературы, как партийных, так и беспартийных, сказал во время недавней встречи с

венгерскими писателями Янош Кадар: «Мы — участники одной и той же работы по строительству социализма у нас на родине, и труд, эффективность труда одних зависит от труда других. Мы — товарищи по работе...»

Кадар добавил, что партия высоко ценит «веское слово» писателей, имеющее общественное звучание.

С. ЛИТВИНОВА

ВОЙНА ЯЗЫКОВ?

Вряд ли есть другая проблема, которая воспламенила бы больше страстей и вызвала бы больше противоречивых споров, чем проблема государственного языка для полумиллиарда индийцев. Лингвистическими дебатами занят индийский парламент, идут непрестанные дискуссии на страницах и общей и литературной печати, страну сотрясают студенческие волнения, в городах проходят демонстрации и — иной раз — проливается кровь.

Единого индийского языка в природе не существует. В конституции Индии перечислено четырнадцать основных индийских языков — и английский язык. Лингвисты насчитывают свыше двух сотен языков в этой огромной стране — не наречий, не диалектов, а языков, на каждом из которых говорят миллионы.

Вообразим географическую карту полуострова Индостан: вся Северная Индия, до Декканского плоскогорья, говорит на языках, развившихся из санскрита, весь Юг — на языках дравидской группы. Сходство здесь примерно такое же, как между суахили и французским.

Хинди — один из самых известных языков Индии — и урду, который стал государственным языком Пакистана, представляют собой уникальное явление. У них одна грамматика, но разные алфавиты. На хинди пишут слева направо шрифтом деванагари, а на урду — справа налево арабской вязью. Словарь может быть очень близким или предельно далеким, в зависимости от склонностей и образования пишущего: хинди охотней пользуется санскритскими корнями, а урду — арабо-персидской лексикой. И, наконец, в своем разговорном варианте эти два языка становятся одним — звучным, гибким и выразительным хиндустани.

Почти двухвековое господство англичан в Индии и введенная ими система просвещения сделали индийскую интеллигенцию двуязычной, то есть создали в Индии сложнейшую социально-психологическую проблему. К тому же в Индии живет несколько миллионов англо-индийцев или, как их еще называют, евразийцев, для которых английский язык — родной. Считают, что английский язык распространен среди двух с небольшим процентов индийского населения. Однако даже незначительный процент от полумиллиарда дает большие числа, а, кроме того, дело не в одних числах, а в том, что люди, их составляющие, занимают ключевые позиции в жизни страны. Это они управляют, и они — учат, и они — торгуют, и они — пишут, и они же представляют свою страну за ее пределами.

Если сегодня светлокожий и светлоглазый высокий житель горного Кашмира встречается с лилово-смуглым, курчавым жителем влажной тропической Кералы, то единственным языком их общения неизбежно оказывается английский. Если даже встречается не потомок арийцев с потомком коренного населения Индии, а житель Восточной Индии — скажем, бенгалец — с маратхом, живущим на Западе страны, то и эти двое будут вынуждены говорить по-английски.

В 1950 г., когда была принята Конституция Индии, государственным языком страны был объявлен хинди. Английскому была предоставлена роль второго государственного языка, или, как стали говорить позднее, языка связи.

Население тех частей страны, где на хинди не говорят, особенно Бенгалии и Южной Индии, отнеслось к этому с большой настороженностью. Ведь жители этих штатов очутятся в невыгодном положении по сравнению с теми, для кого хинди — родной язык, если хинди заменит английский, в частности, при сдаче экзаменов на право занятия различных должностей в государственном аппарате.

Конституцией Индии был предусмотрен пятнадцатилетний срок для замены английского языка хинди, но уже через несколько лет начали разгораться страсти: с одной стороны, усиливалась пропаганда ненависти к английскому языку, с другой же — многие выдающиеся юристы, ученые и деятели народного образования стали требовать оставления английского языка на веки вечные.

В 1955 г. потребовалось создание Комиссии по государственному языку; через год она представила свой доклад. В результате дебатов была выработана так называемая «триязыкая формула» — родной язык, хинди и английский.

Важнейший аспект формулы заключался в том, что ею предусматривалось полное равноправие всех основных индийских языков — ни один из них не должен был оказаться в преимущественном положении, и в районах, где говорят на хинди, должен был непременно изучаться какой-нибудь другой из индийских языков. Но провести ее в жизнь оказалось гораздо сложнее, чем принять,— не хватало преподавателей, учебни-

ков, программы и многого другого. А в тех частях страны, где говорят на хинди, изучение еще одного индийского языка вообще не торопились вводить.

Бенгалия и Мадрас заявили, что английский должен оставаться государственным языком страны и что следует соответственно пересмотреть Конституцию. Сторонники хинди начали кампанию по пропаганде хинди и стали требовать его немедленного введения, в случае же невозможности сделать это немедленно — объявления его государственным языком не позднее, чем через 15 лет после принятия Конституции.

Некоторые штаты Индии были реорганизованы по языковому принципу — Андхра (язык телугу), Мадрас (язык тамили) и др. Однако реорганизация не приглушила, а усилила языковые противоречия до такой степени что они стали угрожать территориальной целостности Индии.

Языковой шовинизм, да и не языковой только,— болезнь всех стран, которые долго были колониями. Нормальный процесс кристаллизации наций был прерван колониальными захватами, а возобновившись в наш век, он входит в противоречие с тенденциями к созданию единой экономики в масштабах всей страны. Закономерное стремление восстановить столетиями оскорблявшееся достоинство народа часто кончается утверждениями, что вот этот именно народ во всем превосходит все остальные народы. Ненависть к расизму колонизаторов оборачивается подчас тем, что Сартр очень точно назвал «антирасистским расизмом». Индия, разумеется, не исключительна и в этом плане, а если вдобавок вспомнить, как пестра ее языковая карта и как эмоционально воспринимается проблема языка всегда и всеми, то станет ясным, почему попытки решить эту проблему вызывают взрыв. Тем более что к эмоциям добавляются экономические и политические мотивы. Так, например, фашиствующая партия Джан Сангх включила в свою программу обещание немедленно сделать хинди государственным языком, как только она придет к власти. А южноиндийская политическая партия ДМК на всеобщих выборах 1967 г. победила Национальный Конгресс в штате Мадрас в основном голосами тамильской молодежи, не желавшей, чтоб ей «навязывали» хинди, который лингвистически — так заявляют на Юге — не менее далек от тамильского, чем английский.

Для писателей Индии языковая проблема обретает дополнительный аспект.

Что думают те из них, кто пишет на хинди, те, кто окажется в выигрышнейшем положении, если хинди будет объявлен языком всей страны?

Популярная газета «Таймс оф Индиа» задала десяти из них вопрос: если бы они писали не на хинди, а на тамильском — одном из южноиндийских языков — или по-бенгальски, казалось бы им сейчас, что хинди помешает развитию их родного языка?

Поэтесса Махадеви Варма и хорошо известный нашим читателям Сумитранандан Пант, прославленные поэты романтической школы «чхаявад», даже не сомневаются в том, что они стали бы изучать хинди — это политическая необходимость, говорят они, условие единства Индии. Оба против английского языка в Индии, но Пант все-таки полагает, что

> «следует и дальше преподавать английский язык для изучения научных и технических трудов, а также для общения с внешним миром. Для этого, по-моему, нужно открыть особый университет. Однако английский ни в коем случае не может быть языком связи, ибо это оторвет нашу интеллигенцию от масс».

Прозаик Илачандра Джоши наоборот утверждает:

> «Триязыкая формула — единственно разумное разрешение сложнейшей языковой проблемы в стране. Тем не менее я был бы против ее насильственного навязывания».

К тому же:

> «Те, для кого хинди не родной язык, должны получить какие-то гарантии, что плохое знание хинди не будет использовано в целях их дискриминации при поступлении на службу. Им надо дать достаточно времени, чтобы они могли выучить хинди».

Мнения, таким образом, разные, даже противоположные. Это различие во мнениях, высказанных писателями, лишний раз подтверждает, насколько трудно в Индии разрешить языковую проблему.

Еще более решительно, чем Пант, отказывается признавать английский язык известный писатель и критик Лакшми Кант Верма.

> «Я — против английского,— пишет он,— против его использования и в качестве языка связи, и в какой бы то ни было иной форме. Английский — империалистический язык, это инструмент эксплуатации. Он никак не согласуется с нашими социальными, политическими и культурными планами».

Верма считает, что «незачем опасаться «навязывания хинди», ибо «хинди никогда не был языком-«угнетателем», он всегда был «языком неимущих».

Верме понадобилась эта псевдонаучная «классовая» концепция языка только для того, чтобы обосновать ею право хинди на господствующую роль.

Гораздо более трезво смотрит на этот вопрос видный писатель-коммунист Амрит Рай, когда он, как и Илачандра Дхоши, соглашается на триязыкую формулу.

«Я не считаю,— пишет Амрит Рай,— что фанатизм одного толка может быть способом укрощения фанатизма другого толка».

Нельзя «чересчур рьяными методами» навязывать всей Индии ни английский, ни хинди, ни какой-либо другой индийский язык. Амрит Рай считает триязыкую формулу единственно возможным способом сохранения единства страны.

Сторонники этой формулы основывают свою аргументацию, в частности, на том, что, если английский язык действительно будет отменен, страна может оказаться в положении человека на необитаемом острове.

Еще в первые годы существования независимой Индии Махатма Ганди, всегда выступавший за язык хиндустани, говорил:

«Английский — это язык международной торговли, язык дипломатии и язык бесценных литературных сокровищ; он знакомит нас с западной мыслью и культурой».

Совсем недавно в одном из публичных выступлений индийский философ д-р С. Радхакришнан, бывший президент Индии, говоря о том, что английский язык следует заменить языком хинди, как только это станет возможным, тут же сделал оговорку:

«Английский — это единственное, что может предотвратить нашу изоляцию от внешнего мира».

Научно-техническая революция наполнила новой лексикой даже английские, русские, немецкие или японские словари, перевести же ее на языки Индии, страны технически отсталой,— кому по силам такая задача?

Фирак Горакпури — один из старейших и популярнейших поэтов урду — гордится тем, что за всю свою жизнь ни одной поэтической строчки не написал по-английски. Тем более показательно, что даже он в интервью, данном газете «Таймс оф Индиа», признался:

«Ни один из индийских языков не развит настолько, чтобы стать языком связи для всей Индии. От английского никуда не денешься — он необходим как для целей всеиндийской администрации, так и для современного высшего образования».

Особенно важен для Фирака Горакпури вопрос о влиянии языковой проблемы на литературу. Он считает, что подлинно современная индийская литература может быть только результатом скрещения литератур внешнего мира с индийским.

«Я считаю, что по меньшей мере пять процентов населения страны должны хорошо знать английский язык. Это примерно 25 000 000 индийцев. Можно рассчитывать, что несколько сот человек из этого числа со временем напишут на различных индийских языках книги, достойные быть названными литературой... Лет этак через сто наступит время выбрать один из этих языков как язык связи между разными лингвистическими районами страны».

На вопрос, не будет ли этот язык средством связи только для интеллектуальной элиты Индии, Фирак Горакпури ответил:

«Да, но не только. Речь должна идти о том, что сейчас для Индии важней всего: о единстве страны, связанной единым, жизнеспособным и гибким языком... Без английского Индия рассыплется на части... Если я настаиваю на необходимости английского языка, то потому, что я страстно люблю индийскую литературу, люблю мой родной индийский язык».

У многих есть ощущение, возразили на это Фираку Горакпури, что английский — это клеймо рабства и символ унижения.

«Это могло быть справедливо,— ответил он, тем самым опровергая точку зрения Вермы,— когда мы были рабами англичан, а сейчас мы, по-моему, вырабатываем сами комплекс «рабства и унижения». Разве великие лидеры индийского народа — а они прекрасно знали английский — стыдились этого знания? Ни один европеец не отнесется к нам презрительно за то, что мы будем пользоваться английским языком для наших специфических целей».

С. Х. Ватсайян не оспаривает ни возможностей, ни значения английского языка, но, в отличие от Фирака Горакпури, считает двуязычие не полезным для литературного развития, а губительным. С. Х. Ватсайян ссылается на пример молодой индийской литературы, недостаток которой он видит в ее раздвоенности. В статье «Язык и цельность личности» Ватсайян пишет, что индийские писатели пытаются либо изложить на родном языке мысли, почерпнутые ими из западной литературы, либо писать по-английски об индийской действительности со всем ее своеобразием.

«Общество,— утверждает Ватсайян,— не может жить на иностранном языке, а успех одиночек ровно ничего не доказывает. Менее всего годится для этих экспериментов общество, которое параллельно с этим борется за свободу и за

обретение в этой свободе собственного достоинства. Оно живет собственным языком, либо страдает от отчуждения и утраты цельности...

Если можно так выразиться — почти целое поколение живет не в оригинале, а в переводе. Живет в переводе, не зная оригинала, без уверенности, что он где-то есть или был на свете вообще...»

К слову сказать, сам Ватсайян вполне двуязычен и пишет по-английски не хуже, чем на хинди. Он, в частности, полагает, что введение единого алфавита для всех индийских языков — сейчас их почти столько же, сколько самих языков,— приведет со временем к появлению общеиндийского языка. По мнению Ватсайяна, алфавит следует выбирать на основе санскритского — и потому, что он привычен Индии и его введение встретило бы меньше противодействия, чем переход, скажем, на латиницу, как предлагал когда-то Неру, и потому, что в целом он соответствует фонетическим требованиям основных индийских — во всяком случае североиндийских — языков.

Бенгальский писатель Дебеш Дас, председатель Всеиндийской литературной конференции, заявляет, что дело не в алфавите, что

«никогда не наступит то время, когда вся Индия заговорит на одном языке».

Еженедельник «Нью эйдж» — орган компартии Индии в передовой статье «Не этим путем» дал анализ причин, так усложнивших языковую проблему в Индии.

В 1959 году Неру говорил:

«Я считаю, что английский должен оставаться в Индии, пока он нужен народу, а решать — нужен ли он — будут не те, кто говорит на хинди, а те, кто на нем не говорит».

В «Нью эйдж» указывается, что основная вина за запутанность языковой проблемы ложится на тех, кто так и не выполнил обещаний Неру. Решение языкового вопроса попало в сферу фракционной борьбы внутри правящей партии — Индийский Национальный Конгресс,— в которой есть немало фанатических приверженцев хинди. Если бы обещанный Закон о государственном языке был подготовлен, обсужден и утвержден ранее, то возможно, что события приняли бы менее тревожный оборот. Центральное правительство не сумело провести в жизнь триязыкую формулу.

В статье далее говорится, что невыполнение Центральным правительством обязательств по отношению к региональным языкам дало повод обвинить его в том, что оно борется за хинди в ущерб другим языкам.

Статья заканчивается так:

«Сроки, предложенные правительством, могут быть оспорены, но ничто не может нас остановить в нашей решимости со временем добиться перехода на индийские языки. Здесь мы будем непреклонны. Центральное правительство решительными действиями должно устранить все угрозы, как реальные, так и мнимые, для людей, не говорящих на хинди. Затем можно будет спокойно продолжать дискуссию, твердо зная, что у нашего великого народа найдется достаточно жизнеспособности и нерастраченных сил для того, чтобы заменить английский собственными языками».

М. САЛГАНИК

Молодые художники Болгарии

В этом номере мы знакомим наших читателей с произведениями молодых болгарских художников, созданными в последние годы.

В центре внимания болгарских мастеров всех поколений, и особенно молодежи, стоит образ современника. Они стремятся показать его во всей сложности духовной жизни. Героизм в борьбе за свободу Родины в прошлом является основой революционных традиций, получивших сейчас особенное развитие. Одновременно с этим ясно ощущаются тенденции нового творческого осмысления художественного наследия — от средневековой фрески и иконописи до произведений прогрессивных художников межвоенного двадцатилетия.

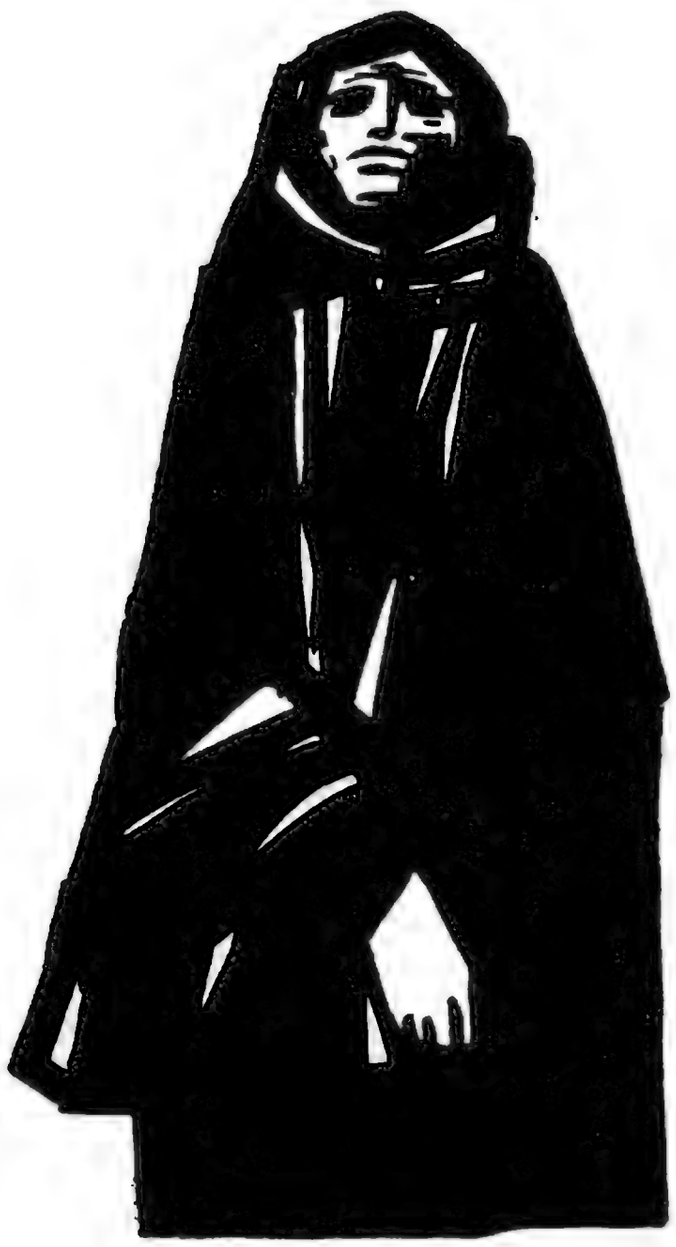
Цель этой небольшой подборки — позволить читателю составить некоторое представление о широте интересов молодых болгарских мастеров, их поисках в области художественной формы и техники.

И. ВОЕЙКОВА

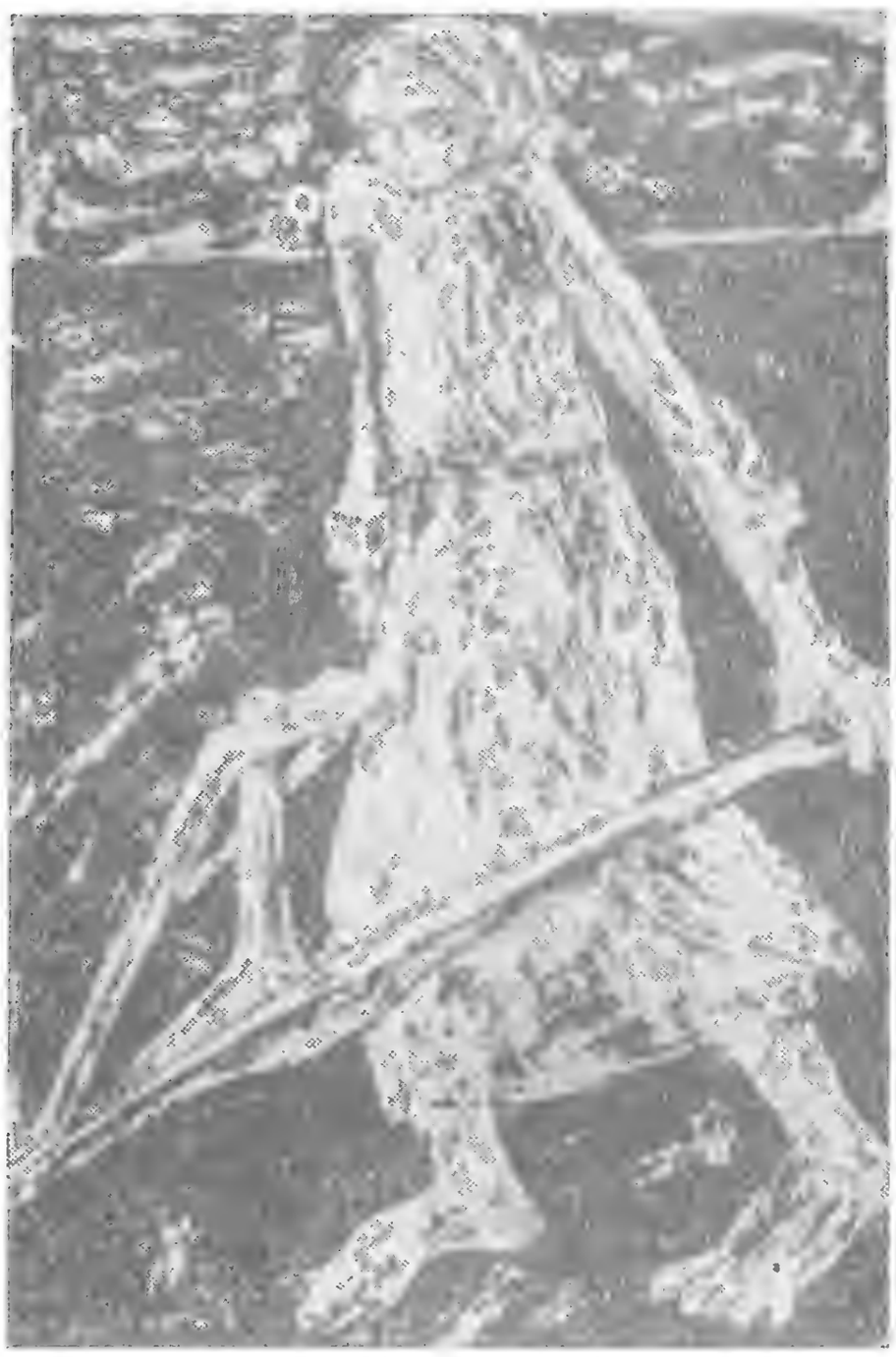
АТАНАС НЕЙКОВ.
Голова. 1965 г.

ЛЮБЕН ДИМАНОВ. Ленин. Из цикла «Героическое прошлое». 1967 г.

ЗРАВКО АЛЕКСИЕВ.
За свободу. Из цикла «Апрель 1876 года». 1966 г.

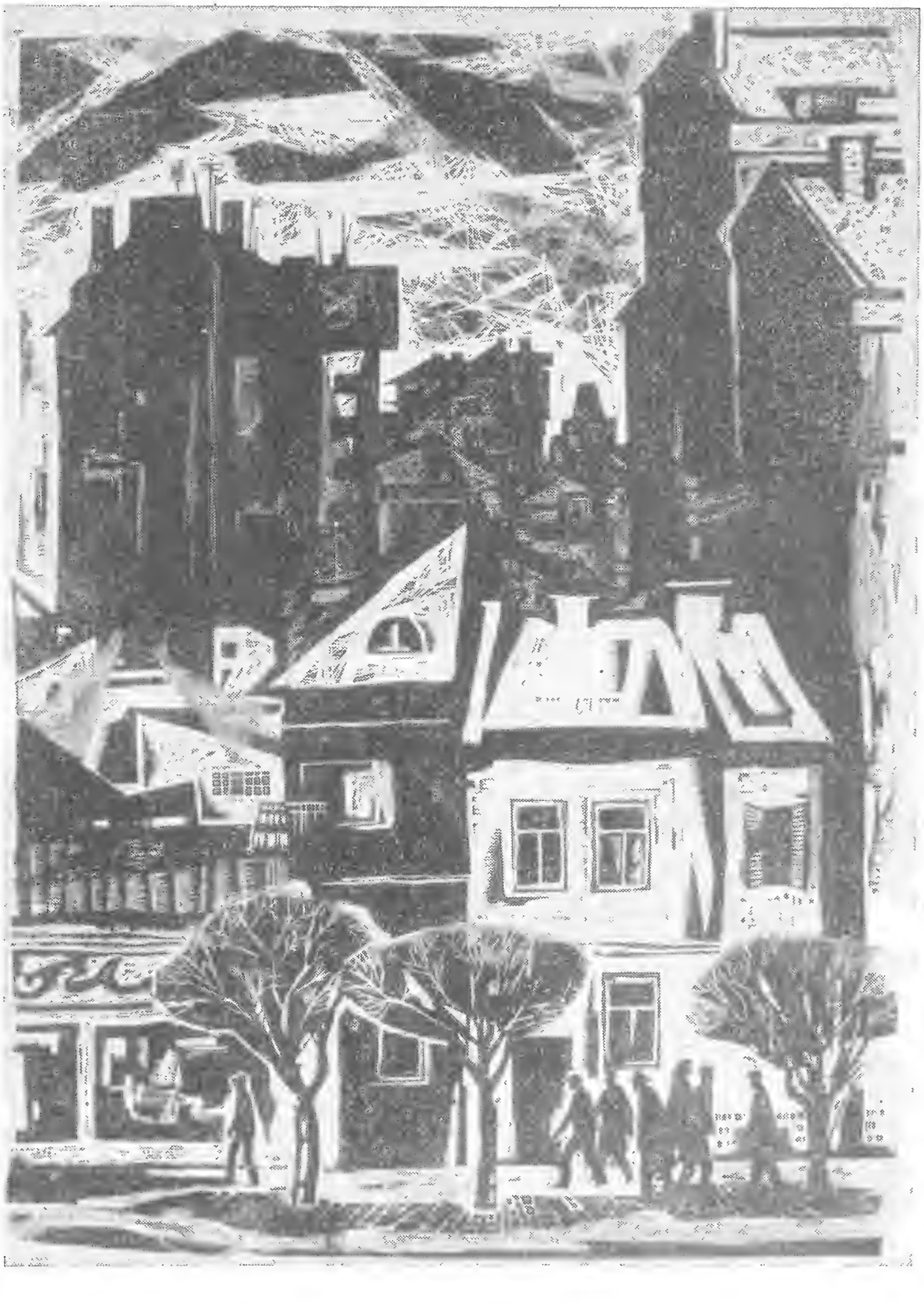


АНТОН ПЕТКОВ. Мать. 1966 г.



ЖАНА КОСТУРКОВА.
Война — 1918 год. 1967 г.

ХРИСТО НЕЙКОВ.
Красноармеец. 1967 г.



ЮЛИ МИНЧЕВ. Пейзаж Софии. 1964 г.

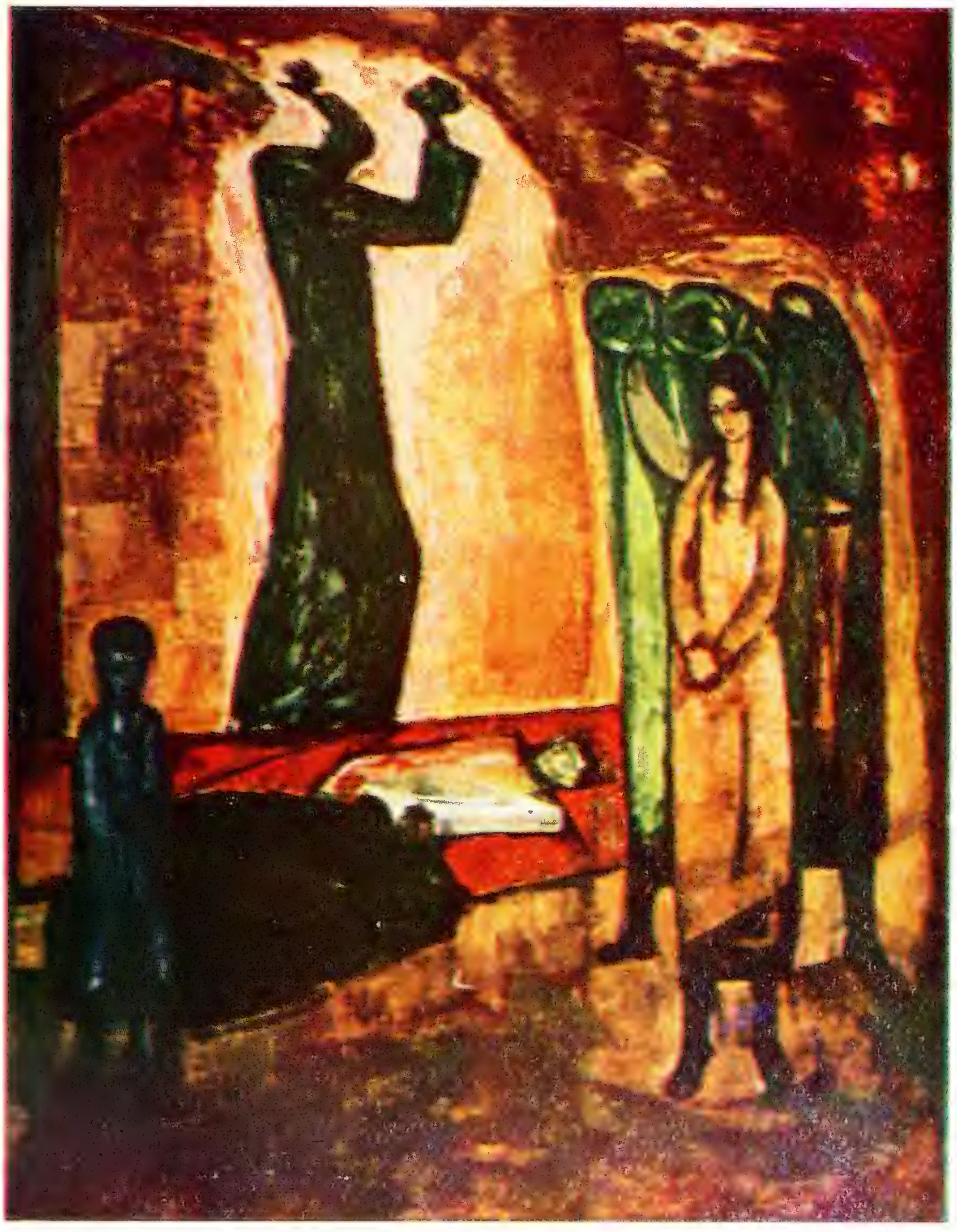
Из работ молодых художников Болгарии.

ВАНЯ ДЕЧЕВА.
Пейзаж. 1966 г.

ВАНЯ ДЕЧЕВА.
Цветы. 1965 г.

СВЕТЛИН РУСЕВ.
Клятва. 1966 г.

СВЕТЛИН РУСЕВ.
Старорыбацкий город.
1967 г.



ДИМИТР КИРОВ.
Оплакивание. 1966 г.

ДИМИТР КИРОВ. Пристань. 1966 г.

ИВАН ВУКАДИНОВ.
Натюрморт с часами. 1966 г.

ИВАН ВУКАДИНОВ.
Шахматы. 1966 г.

ТОДОР АТАНАСОВ.
Повстанец. 1963 г.

ТОДОР АТАНАСОВ. Мать. 1962 г.

СИМЕОН ВЕНОВ. Ожидание.
Диптих. 1962 г.

СИМЕОН ВЕНОВ. Погребение.
Диптих. 1962 г.

АТАНАС НЕЙКОВ. Из цикла «Вена». 1965 г.

АТАНАС НЕЙКОВ.
Голова девушки. 1961 г.

ЗДРАВКА ТАСЕВА. Игры 1967 г.

ИВАН КЕНАРОВ.
Закусочная. 1967 г.

ИВАН КЬОСЕВ.
Иллюстрация к русским народным сказкам.
1966 г.

АТАНАС НЕЙКОВ. Голова. 1962 г.

Л. ДЕМИН

ЗАМЕТКИ О СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ИНДОНЕЗИИ

Современная индонезийская культура — явление сложное, многогранное. Здесь сталкиваются разнообразные местные традиции многочисленных народностей и племен индонезийского архипелага. До сих пор заметны следы индусского культурного влияния, которое проникало сюда вместе с индусскими религиозными культами — индуизмом и буддизмом — еще в раннем средневековье.

Что характерно для современной культурной жизни Индонезии? Ответить на этот вопрос так же не легко, как и не легко охарактеризовать в нескольких словах противоречивую картину политической жизни страны.

Обычно деятели культуры — писатели, художники, скульпторы, режиссеры, актеры — группируются вокруг тех или иных культурных организаций. Одной из особенностей современной культурной жизни страны является, пожалуй, раздробленность ее творческих сил, как для политической жизни характерна раздробленность политических сил, представляемых многими партиями, течениями, группировками.

Принадлежность писателя и художника к той или иной культурной организации определяется, как правило, не его эстетическими взглядами, не выбором творческого метода, а взглядами политическими, партийной принадлежностью. Поэтому в одной и той же организации можно встретить политических единомышленников, но людей, придерживающихся диаметрально противоположного творческого кредо. В одних рядах, например, художник-реалист и приверженец крайне формалистического метода.

До трагических событий 30 сентября 1965 г. одной из ведущих творческих организаций Индонезии была ЛЕКРА — Общество народной культуры, ориентирующееся на Коммунистическую партию Индонезии. С ЛЕКРА были связаны многие талантливые реалисты в области как литературы, так и изобразительного искусства. ЛЕКРА, как и компартия и другие массовые левые организации, подверглась разгрому и запрету. Многие ее ведущие деятели были репрессированы.

В настоящее время наиболее заметную роль играют две культурные организации: ЛКН (Общество национальной культуры) и ЛЕСБУМИ (Общество деятелей культуры и искусства мусульман Индонезии). Первая из них связана с Национальной партией Индонезии, вторая — с крупнейшей мусульманской партией «Нахдатул Улама».

Лидер ЛКН д-р Гани Сурьокусумо, литературовед и поэт, один из старейших деятелей Национальной партии. Его супруга — видная деятельница женского движения современной Индонезии, руководительница женской националистической организации. В прошлом году поэты — члены ЛКН выпустили небольшой поэтический сборник под

названием «Гема» («Эхо»). Сам Гани принял участие в сборнике под псевдонимом Анак Гунунг Симбинг.

Авторов этой книжки привлекают темы индонезийской революции, национальной борьбы. Молодой поэт Джавастин Хасугиан посвятил одно из своих стихотворений героически борющемуся вьетнамскому народу. Правда, следует заметить, что эти темы нередко трактуются абстрактно-декларативно, в духе религиозных и внеисторических ассоциаций.

Организацию ЛЕСБУМИ возглавляет известный драматург и кинодраматург Анвар Сани. Одним из членов ее руководства является другой видный индонезийский драматург — Усмар Исмаил. По всеобщему признанию, оба они в последнее время не проявляют прежней активности в области литературы, а больше заняты бизнесом как кинопродюсеры.

Еще одна существенная особенность современной культурной жизни Индонезии — крайне тяжелое, если не сказать бедственное, положение рядовых писателей, поэтов, художников, актеров. Оно связано с общим социально-экономическим состоянием страны, дороговизной, всеми теми трудностями, с которыми сталкиваются трудящиеся массы.

Писатель, поэт, ученый, намеренный издать книгу, встречает почти непреодолимые преграды. Огромные цены на бумагу, высокие издательские расходы лишь состоятельному человеку позволяют печататься за собственный счет. В последние годы вообще заметно сократилось число новых изданий оригинальных литературных произведений, антологий, сборников. Лишь наиболее признанные писатели, преимущественно старшего поколения, могут рассчитывать на издание своих произведений в правительственном издательстве «Балай будая», находящемся в ведении министерства культуры и просвещения. Созданное еще в годы голландского колониального господства как определенная уступка национальной интеллигенции, это издательство сыграло заметную роль в развитии индонезийского литературного языка и художественной литературы. За годы своего существования оно выпустило немало учебников, словарей, грамматик, книг прозаиков, поэтов Индонезии. Делались попытки знакомить читателя и с произведениями русской классической и советской литературы. Так, в изданной несколько лет назад антологии мировой поэзии были представлены Пушкин и Маяковский.

За последние годы не появилось сколько-нибудь значительных новых больших произведений типа романа, повести. В современной индонезийской литературе преобладают произведения малых форм, рассказ, очерк, памфлет, стихи.

Чаще всего они печатаются в различных журналах общего профиля и в газетах, преимущественно в воскресных приложениях. Можно назвать лишь два собственно литературных журнала, выходящих регулярно. Это сравнительно небольшие по объему «Горизонт» и «Састра» («Литература»). Издатель первого из них писатель Мохтар Лубис, второго — литературовед и критик Яссин. Оба в свое время были известны как представители активной антисукарновской оппозиции, связанной с консервативными силами.

Яссин — автор ряда крупнейших работ по индонезийской литературе. Среди них выделяется сборник очерков о писателях старшего поколения, а также книга «Пуджангга бару» о крупнейшем литературном направлении Индонезии в предвоенные годы. Несмотря на политические пристрастия автора, фактический материал его трудов представляет несомненную ценность для исследователя литературы Индонезии.

Вокруг журналов «Горизонт» и «Састра» группируются кружки писателей и поэтов, преимущественно молодежи.

Примечательно, что, когда задаешь вопрос издателю, главному редактору журнала или газеты или даже одному из лидеров культурной организации, кого можно считать наиболее крупным современным индонезийским писателем, собеседник не сразу даст прямой ответ.

— Я бы назвал прежде всего Прамудья Ананта Тура,— ответил после раздумий главный редактор газеты, связанной с армейскими кругами.— Хотя он находится в тюрьме, как «человек старого порядка», мы не можем отрицать его значения как крупнейшего писателя, поднявшего тему национально-освободительной борьбы.

— Еще кого?

— Конечно, к первым величинам современной индонезийской литературы я бы отнес также Сануси Пане и Русли. Вам эти имена о чем-нибудь говорят?

— Их произведения издавались в Советском Союзе. В частности, переведен на русский язык и издан большой роман Русли «Ситти Нурбая». Но вы назвали имена тех, кого уже нет в живых.

— Да, Сануси Пане и Русли скончались несколько месяцев назад, почти в одно и то же время. Вы хотите, чтобы я назвал вам имена ныне здравствующих и непременно значительных писателей, кого можно было бы сравнить с вышеуказанными? Видите ли, это сделать не так просто. Подавляющее большинство стариков из «Пуджангга бару», начавших свой путь в 20—30-е годы, сошло со сцены. Нет уже многих из последующего поколения, так называемого «поколения 45-го года». Молодежь еще только набирает силы. Конечно, в ее рядах есть талантливые и подающие надежды люди.

Весьма сложно положение и в современном изобразительном искусстве Индонезии. В нем сталкиваются самые противоречивые тенденции — от добротного реализма, опирающегося на древние традиции индонезийской культуры, до крайних абстракционистских течений. Об этой пестроте творческих направлений свидетельствуют художественные выставки, которые часто устраиваются в Джакарте и других городах страны. В выставочном зале нередко увидишь выразительную жанровую сценку из жизни крестьян или велорикш-бечаков, выполненную в реалистической манере, и рядом — заумную абстракцию, композицию из геометрических фигур и клякс, каких-то бесформенных уродцев.

В современной Индонезии несколько крупных центров изобразительного искусства: Джакарта, Бандунг, Джокьякарта, Сурабая. Среди художников Бандунга, например, явно преобладает увлечение абстракционизмом, который усиленно насаждается на отделении живописи архитектурного факультета технологического института. Возглавляет это отделение один из столпов современного индонезийского абстракционизма Ахмад Садали, учившийся у западных профессоров. Не отвергается абстракционистский метод и в джокьякартской академии художеств, единственном государственном художественном высшем учебном заведении страны.

Далеко не все из крупных художников современной Индонезии, отвергающих крайне формалистические приемы, безоговорочно принимают реализм. В этом отношении показательно сложное и противоречивое творчество одного из старейших и крупнейших художников Аффанди, профессора джокьякартской академии.

Дом Аффанди находится на окраине Джокьякарты в живописной местности и поражает своим причудливым обличием. Это необычное сооружение на столбах, украшенных резьбой, стилизованное под свайную постройку народов восточной части Индонезии. Рядом строится здание частной картинной галереи художника. Когда автору этой статьи удалось лет десять назад впервые посетить Аффанди, он жил в бедной хижине из бамбука, которая отличалась от соседних домов бедняков, быть может, только необычной раскраской. А сейчас Аффанди можно назвать преуспевающим художником. Его полотна оцениваются на выставках-распродажах в сотни тысяч рупий. Его имя признано и на Западе.

Этого благополучия и признания старый художник достиг ценой постепенного отхода от реализма. Избрав с первых же шагов своего творчества экспрессионизм, Аффанди поначалу не вступал в резкое противоречие с реалистическим методом. Его портреты, жанровые сценки, хотя и отличались несколько сумбурной манерой, неожиданными изломанными контурами, воспроизводили выразительные и правдивые образы, передавали характерные национальные черты. Но постепенно увлечение формой становится для него самоцелью, художник все больше и больше отходит от реализма.

Многие из современных художников среднего и младшего поколения считают себя учениками и последователями Аффанди. К их числу можно отнести, например, художницу Рульяти Суварьоно из Джокьякарты и совсем молодого ассистента джокьякартской академии художеств балийца Ньомана Гунарсо. В отличие от учителя, сложный творческий поиск не приводит их к разрыву с реалистическим восприятием действительности.

Рульяти Суварьоно выступила в прошлом году с персональной выставкой в столице. На ней преобладали живые, метко схваченные жанровые сценки из жизни крестьян, городской бедноты. Ньоман Гунарсо пишет жанровые картины, а также портреты, отличающиеся психологической глубиной и выразительностью. Однако оба художника не свободны от подражания Аффанди.

Сложное политическое развитие современной Индонезии, насыщенное бурными и весьма драматическими событиями, требует от художника не обычных выразительных средств, а более динамичных, экспрессивных — так объясняют сами художники стремление найти новые способы выражения.

Кое-кто отдает дань формалистическим ухищрениям только потому, что такова современная мода, в угоду вкусам кучки богатых эстетствующих снобов. Однако есть среди них и люди талантливые, искренне заблуждающиеся. В этой связи и хочется рассказать о встрече с известным сурабайским художником Супоно.

Добраться до дома Супоно оказалось не так-то легко. Едем мимо каких-то лачуг бедняков, сворачиваем на набережную канала, такую узкую, что двум машинам здесь никак не разъехаться. Дорогу преграждает столб с перекладиной. На ней надпись: запрещается ехать дальше. Недавно здесь было болото. Его превратили в городскую свалку. Поверх наваленного в трясину мусора и гниющих нечистот проложили улицу, и вдоль нее стали расти домики. Пришлось продолжать путь пешком. Грунт, вернее слежавшиеся пласты мусора, пружинил под ногами.

Дом художника стоит в самом конце улицы. Далее начинаются рисовые поля. Жилище художника еще не достроено, с земляным полом. Стены все в картинах. Они как-то сразу ошеломляют и угнетают. Это мир больной фантазии, кошмарных образов. И вместе с тем это не преднамеренное манерничание, не шарлатанство, а скорее искренний, мучительный поиск человека безусловно талантливого, потрясенного событиями последних лет.

Супоно — худощавый болезненный человек лет под сорок, очень нервный и впечатлительный. Он считает своим властителем дум Сальвадора Дали.

Самая кошмарная из картин Супоно — нечто похожее на растерзанное человеческое тело, какое-то жуткое месиво из ног, рук, невероятно искаженных, выпотрошенных внутренностей. Подавленный, ошеломленный, спрашиваю у художника, что он пытался изобразить на этом полотне.

— Хотелось передать свое настроение после известных вам событий,— ответил Супоно.— Ничего другого изобразить не сумел.

Еще одно полотно — выгнувший дугой спину черный кот, вцепившийся в мир единственным зеленым глазом, словно прожектором. Кот не кот, скорее какая-то спиральная конструкция, а может быть, просто абстрактное олицетворение зла.

Необычной показалась в этом соседстве одна картина — почти не искаженная фигура охватившей руками голову обнаженной женщины, сжавшейся в комок, словно затравленный зверь. Художник не показал лица женщины. Но от всей ее тонкой угловатой фигурки исходило ощущение подлинного трагизма. Прошу Супоно объяснить идею картины.

— Идея? Если хотите, женский стыд. Натурщица застыдилась и спрятала лицо...

Я не знаю, искренне ли мне ответил Супоно. Но хотелось по-своему прочесть замысел художника. Не стыд, а скорбь, горе, беспредельное отчаяние молодой женщины, может быть осиротевшей, обездоленной, виделось в этом полотне.

Супоно экспонируется кое-где на Западе. Там его признают как своего. Он не принадлежит к числу уж слишком бедствующих деятелей искусства. И все-таки это трагическая фигура, человек, искренне потрясенный горькой правдой жизни.

Значительная часть индонезийских художников уверенно идет по пути реализма. Это Судхарното и братья Агус Джая и Ото Джая в Джакарте, Сударсо в Джокьякарте, Карьоно в Сурабае. Среди них люди разного уровня мастерства, художники разных манер. Многие из них самоучки, не получившие никакого профессионального образования, но тем не менее завоевавшие свое место среди крупнейших деятелей изобразительного искусства современной Индонезии.

С одним из видных художников-реалистов Северной Суматры, Хасаном Джафаром, я познакомился в Медане. Художник пригласил меня в гости. Просторная гостиная, она же студия, в доме Хасана открыла передо мной мир сочных, радостных, праздничных красок. Огромные полотна-пейзажи покрывали все стены. Вот вид на высокогорное озеро Тобо, красивейший уголок Суматры. Еще и еще горный пейзаж. Вид батакской деревни с традиционными постройками. Широкие размашистые мазки казались вблизи чересчур грубыми, аляповатыми. Краски, голубые, синие, лазоревые,— преувеличенно яркие, никогда не встречались в реальной природе. Художник не утруждал себя натуралистичным и дотошным воспроизведением деталей. И все-таки это был реализм. Хасан создавал обобщенный, философски осмысленный образ природы, утверждающий радость бытия. Преувеличенная сочность красок, декоративность служили средством для выражения этой идеи.

— Удаются только большие полотна, люблю широту, размах,— сказал художник.— Как удается — не мне судить. Ведь я самоучка. У профессоров живописи обучаться не пришлось. Отец мой был чеканщиком по металлу. От него передалась склонность к искусству.

Хасан Джафар добился признания, участвует в выставках. Однако, как рассказал он, чтобы избежать нужды, приходится заниматься не только живописью, но и держать лавочку.

В современном изобразительном искусстве Индонезии заметное место занимает скульптура, и в частности монументальная скульптура. Самая значительная фигура среди скульпторов — «Одержимый» Эди Сунарсо, очень талантливый художник, ведущий преподаватель отделения ваяния в джокьякартской академии художеств.

Эди Сунарсо — автор ряда памятников, украшающих города Индонезии. Среди них монумент в честь освобождения Западного Ириана на одной из центральных площадей Джакарты. На высоком постаменте — фигура человека, разрывающего цепи. Другой интересный памятник его работы — моряк с якорем перед зданием провинциального управления культуры в Сурабае. Моряк — обнаженный мускулистый атлет — поднял тяжелый якорь, словно оружие. Фигура трактуется как символический образ борца за национальное освобождение. Среди них не последнее место занимали моряки. Еще в 1933 г. произошло восстание матросов на голландском военном корабле «Де зевен провинсен» («Семь провинций»), направленное против колонизаторов. Пресса тех времен сравнивала его с восстанием на броненосце «Потемкин» против царизма. Герои этого восстания невольно вспоминаются, когда знакомишься с памятником.

В современной Индонезии пока нет государственного музея изобразительного искусства. Небольшая коллекция произведений ведущих художников и скульпторов собрана при министерстве культуры и просвещения благодаря энтузиазму известного художника и искусствоведа Куснади. В прошлые годы Куснади был главным редактором правительственного журнала «Будая» («Культура»), неоднократно выступал с интересными статьями по вопросам индонезийского искусства, высказывался за созда-

ние первой национальной картинной галереи в Джакарте. Сторонник развития всех направлений в живописи, сам он как художник следует реализму. Куснади сейчас работает почти исключительно в жанре портрета.

Большое место в искусстве Индонезии занимает театр. Нет ни одного города, в котором не было бы своих театральных трупп, танцевальных ансамблей, оркестров, если не профессиональных, то хотя бы любительских.

Древнейший театральный жанр в Индонезии — яванская классическая драма, возникшая еще в раннее средневековье под несомненным влиянием индийского искусства. Сюжеты спектаклей классической драмы, будь то театр живого актера или кукольный театр, черпаются из древнеиндийских эпических произведений — «Рамаяны» и «Махабхараты». Актеры играют в условной манере. Главные действующие лица — фантастические маски витязей, богов, дьяволов. Классическая драма популярна и сейчас. Постановщики стремятся по мере возможностей приблизить этот архаичный и условный жанр к современности, насыщая спектакли интермедиями и репризами на злободневные темы.

Интересным и самобытным театральным жанром является лудрук — народная восточнояванская драма, возникшая еще в начале века. Появление лудрука было обусловлено началом национального пробуждения Индонезии, созданием первых в стране национальных организаций. Не случайно родиной лудрука стала Сурабая, крупный порт и центр индонезийского пролетариата, игравший важную роль в развитии национально-освободительного движения. Передовые театральные деятели Сурабаи понимали, что зрителя из рабочих предместий не могут удовлетворить абстрактные маски яванской классической драмы, мифологические образы. Зритель хотел видеть суровую правду жизни, найти ответы на волнующие его вопросы.

Лудрук постепенно приобретал черты реалистического зрелища. Его сюжеты черпались из гущи народной жизни, его персонажами были простые труженики, спектакли отличались острой социальной, антиколониальной направленностью.

Расскажу об одном из спектаклей, показанных труппой «Савунгалинг», который нам удалось недавно посмотреть. Спектакль открывается традиционным прологом. Под музыку оркестра гамелана на сцену выходит актер в черном. На щиколотках его ног браслет с бубенчиками, звенящими при каждом движении. Актер исполняет плавный танец, чередуя его с пением. Это просто вступление, заставка.

Танцора сменяют два старика, как бы мы их назвали — два эстрадных фельетониста-импровизатора. Они исполняют шутки, репризы, скетчи на различные злободневные темы, говорят о дороговизне, о росте цен на рис, о тяжелом положении крестьянства, о коррупции. С искрометным блеском, в жанре клоунады, актеры исполнили маленькую сценку — нападение грабителей на автомобиль. В обобщенной гротескной форме сценка изображала нравы современного индонезийского общества.

Это был только пролог, никак не связанный с основным содержанием спектакля. Зрители постепенно заполняли зал, живо реагировали на каждую удачную реплику сатириков и награждали их дружным смехом и аплодисментами. Основной спектакль рассказывал о жизни деревни. К дочке чопорного старого лураха — сельского старосты — сватаются два молодых человека. Один из них сын сельского богатея, другой — бедняк. Благодаря находчивости родителям бедняка удается провести и одурачить своих соперников.

— Кто автор этого веселого, остроумного спектакля? — спросил я у руководителя труппы.

— Мы все. Вся труппа,— ответил он и пояснил, что лудрук редко обращается к печатным литературным первоисточникам. Обычно сам режиссер с двумя-тремя ведущими актерами набрасывает на нескольких страничках краткий сценарий, костяк спектакля. В процессе нескольких репетиций и даже первых спектаклей костяк «обрастает мускулатурой» — репликами, диалогами, мизансценами. Спектакль шлифуется, совершенствуется. Каждый актер импровизирует, проявляет выдумку, вносит что-то свое. Он — соавтор, активный участник творческого процесса.

Индонезийские театральные деятели проявляют интерес и к современной и к классической драматургии, к произведениям зарубежных и индонезийских авторов. Их исполнители — небольшие любительские и полупрофессиональные труппы, возникающие то тут, то там в крупных городах страны. Обращаясь к зарубежной классике, постановщики стремятся, так сказать, «индонезировать» спектакль, насытить его национальными песнями и танцами. Как мне рассказывали, подобное «индонезирование» постигло и гоголевского «Ревизора».

Мне пришлось в конце 50-х годов посмотреть чеховскую «Чайку» в исполнении одной из молодежных трупп. Интерпретация этого спектакля была весьма своеобразной. Поэтому и нельзя было бы подойти к его оценке с нашими привычными мерками.

На сцене зритель мог увидеть средней руки индонезийский дом с легкой плетеной мебелью. Герои пьесы получили индонезийские имена, они появлялись перед зрителями в традиционных яванских саронгах. По ходу спектакля они уезжали не в Москву, а в Сурабаю.

В том же духе выдержана и ибсеновская «Нора». Действие этой всемирно известной пьесы также перенесено в Индонезию. Главная героиня в вольном переводе драматурга Усмара Исмаила получила местное распространенное имя Ротана. Мне,

к сожалению, не удалось посмотреть индонезийскую постановку «Ревизора» Гоголя, хотя к этому произведению мировой классики неоднократно обращались различные труппы. Спектакль, перенесенный на индонезийскую почву, насыщенный смешными куплетами, с которыми герои появлялись на сцене, едко высмеивал взяточничество и злоупотребления провинциальных чиновников. Эта злободневная тема вызывала бурную реакцию в зрительном зале. Определенные мотивы «Ревизора» можно было найти и в одном комедийном, популярном в свое время фильме «Высокопоставленный гость» («Таму агунг»). В один небольшой провинциальный городок приезжает какой-то шарлатан, рекламирующий сомнительное снадобье. По недоразумению отцы города принимают этого родного брата Хлестакова за важного правительственного ревизора. На этой почве возникают разные забавные ситуации, напоминающие эпизоды гоголевского «Ревизора».

— Насколько оправданно столь вольное обращение с драматическими первоисточниками?

— Мы стараемся сделать каждый спектакль максимально доходчивым и понятным для простого зрителя,— сказал мне один из постановщиков.— Приходится считаться с тем, что в нашем обществе еще немало людей малограмотных или просто неграмотных. Вряд ли их будут волновать моральные проблемы скандинавов прошлого века. Другое дело, если мы перенесем «Нору» на яванскую почву и покажем зрителю стремление индонезийской женщины порвать с семейным деспотизмом, с традиционными предрассудками. Такой спектакль заставит зрителя задуматься над одной из актуальных моральных проблем.

В сфере культурной жизни современной Индонезии, как и в сфере ее политической жизни, происходят сложные процессы. Органы империалистической пропаганды пытаются воздействовать на Индонезию, оказать влияние как на ее политику, так и на развитие ее духовной жизни. В США, Японии, западноевропейских странах организуются выставки художников-абстракционистов и замалчиваются имена талантливых реалистов. В эти страны приглашаются индонезийские деятели культуры, чьи идейно-эстетические позиции отвечают буржуазной идеологии Запада. Недавно после многолетнего перерыва американцы открыли в Джакарте свой пропагандистский центр ЮСИС с филиалами в некоторых других крупных городах страны. Выделяется также своей активностью посольство ФРГ. Кроме официального посольского информационного отдела западные немцы создали так называемый Институт Гёте, фактически — второй пропагандистский центр. Все подобные учреждения распространяют массу пропагандистской литературы, нередко злобно антисоветского содержания.

Вот лишь один из примеров. На полках крупнейшей в стране библиотеки джакартского музея можно встретить все «научные труды» так называемого Института по изучению России в Мюнхене, одного из западногерманских шпионско-пропагандистских центров. Здесь представлены даже издания на русском языке, проникнутые бешеной злобой и желчью к коммунизму, к советскому государству. Оказывается, те, кто распространяет подобную клеветническую литературу, спекулируют на возрастающем интересе индонезийцев, особенно молодежи, к русскому языку, к Советскому Союзу. Авось кто-нибудь прочитает и это.

Мне хотелось бы привести здесь слова одного западного бизнесмена, с которым пришлось столкнуться случайно в столичном книжном магазине. С кричаще пестрых обложек на стеллажах и прилавках на нас смотрели гангстеры и детективы с пистолетами оголенные красотки, монстры из потустороннего мира. А рядом теснились наукообразные фолианты под рубриками «Коммунизм угрожает миру», «Коммунизм против личности», «Мусульмане под гнетом Советов», «История советской агрессивной политики», «Преследование интеллектуалов в России», «Русская шпионская сеть опутала мир» и прочая и прочая. По словам этого бизнесмена, свободный мир, то есть Соединенные Штаты и дружественные им державы, руководствуясь «гуманными» соображениями, пытаются оказать «новому порядку» разнообразную помощь. Можно говорить и о помощи в заполнении идеологического вакуума соответствующей пищей духовной.

Заполнение идеологического вакуума! Витиеватость выражения не скрывала цинизма. Соответствующая пища духовная была передо мной на книжных полках. Я знал, что далеко не всем индонезийцам она по вкусу.

В эти дни в Джакарте проходил специальный симпозиум, резко осуждавший проникновение порнографии в прессу, на экраны кино, на книжный рынок как результат иностранного пропагандистского влияния. С трибуны симпозиума выступали отставной генерал, глава частного университета Мустопо, видная деятельница женского движения и бывший министр госпожа Тримурти и другие общественные и культурные деятели. Откровенная тревога по поводу усиливающейся идеологической экспансии империализма в Индонезии все чаще звучит и на страницах газет. Влиятельная газета «Эль Бахар» нередко публикует обличительные карикатуры на эту тему.

Ведущие деятели культуры Индонезии откровенно высказываются за продолжение культурных связей с Советским Союзом, за обмен литературой, фильмами, художественными выставками, делегациями. И в новой сложной политической обстановке индонезийская общественность проявляет интерес к культуре народов СССР.

Нередко можно встретить в издательстве или в учреждении молодого индонезийца, сносно говорящего по-русски. Выясняется, что он учился на курсах русского языка при Советском доме культуры и хотел бы попробовать свои силы в области литературного перевода или хотя бы читать в подлиннике книги советских писателей, чтобы больше узнать о Советском Союзе.

В начале июня в одном из выставочных залов столицы открылась большая книжная выставка. В ней приняли участие как ведущие издательские и книготорговые фирмы Индонезии, так и некоторые иностранные представительства. «Международная книга» совместно с местным книжным магазином, импортирующим советскую литературу, организовала стенд, который привлекал большое внимание посетителей, особенно школьников, студентов. В Индонезии большим спросом пользуются советские научные издания по различным отраслям знаний, некоторые из них становятся здесь университетскими учебниками.

Советский народ проявляет глубокий интерес и уважение к самобытной индонезийской культуре, искусству, литературе индонезийского народа. Ни в одном другом государстве, не считая самой Индонезии, не издавалось столько произведений индонезийских писателей, поэтов, драматургов. По числу изданных исследований и популярных работ об Индонезии Советский Союз также занимает одно из первых мест в мире.

Нельзя не признать, однако, что развитие советско-индонезийских связей переживает в последние годы период определенного спада. Не по вине советской стороны заметно сократилось число наших фильмов и книг, экспортируемых в Индонезию. Нередко возникают непредвиденные препятствия и недоразумения в распространении советского журнала на индонезийском языке «Негери Совьет», завоевавшего у индонезийского читателя за 12 лет своего существования добрую репутацию. Государственные руководители Индонезии не раз заявляли, что антикоммунизм, провозглашенный в качестве основы политики страны, является лишь внутренним делом. Во внешней же политике Индонезия руководствуется стремлением развивать добрые отношения со всеми государствами, независимо от их системы и идеологии, в том числе и с социалистическими странами. Разные политические силы, очевидно, по-разному истолковывают этот тезис, что порой не может не накладывать своего налета и на сферу внешнеполитическую, хотят того государственные руководители или нет.

г. Джакарта

ВЛ. МАЧАВАРИАНИ

О САМОМ НАСУЩНОМ

(Из путевого блокнота)

Это было поздно вечером в Марокканском университете Рабата. В небольшом зале филологического факультета мне пришлось читать лекции о некоторых проблемах советской культуры.

Аудитория была смешанная, тут были и марокканцы и французы. Лекция была по существу информационной, но и она вызвала долгую и довольно интересную полемику, которая вышла за рамки вопросов, поставленных в нашем сообщении.

Дискуссия коснулась круга проблем, которые так волнуют сейчас интеллигенцию почти всех стран Азии и Африки. Это — структура национальной культуры, проблема языка литературы, вопрос о том, на какой языковой основе нужно ликвидировать неграмотность, вести обучение в средних и высших учебных заведениях, как правильно координировать национальную и европейские западные культуры.

Такая дискуссия возникла не вдруг, и велась она не только в Рабате, но и в университете в Фессе, в беседах не только в Марокко, но и в Ливане, в Бейруте, и в ОАР, и в Судане — Хартуме, Порт-Судане, Эль-Обейде, Вад-Медани, на встречах с писателями Азии и Африки и у нас в СССР.

Это круг наиболее актуальных вопросов в среде разноликой и многослойной интеллигенции почти всех стран этих двух континентов.

Происхождение комплекса этих проблем хорошо известно: корни его—в колониализме, это результат того огромного культурного, интеллектуального ущерба, который нанес колониализм миллиардам людей, и не только в Азии и Африке, но, к примеру, и народам Латинской Америки, где эти же проблемы стоят в несколько иной форме. Наследие феодализма, политическая реакция всегда питают культурную реакцию, мешают проявлению творческих возможностей широких слоев народа. Сейчас империалисты неоколониалистской политикой экономического, политического проникновения, идеологического наступления, насаждения трайболизма в развивающихся странах, широким размахом «культуртрегерской» работы в бывших колониях (учреждение университетов, колледжей, конфессиональных школ, «культурных центров» вроде Института Гете, которые во многих странах открывают пропагандистские службы ФРГ, и т. д. и т. п.) по существу новыми, усовершенствованными средствами и методами пытаются удержать в сфере своего влияния бывшие колонии.

Естественное развитие стран с богатой, самобытной цивилизацией и культурой было остановлено колониализмом. Культура народа была отчуждена от народа, сотни миллионов людей оказались в беспросветной тьме неграмотности, невежества, суеверий, рождающих культурную индифферентность, интеллектуальное безразличие, языческие религиозные представления, комплексы страха, неполноценности, часто находящие выход в жестокости.

Застыло и развитие языка, ограничены его возможности выражения нового мира и новых явлений жизни.

Это, говорили мне суданские, марокканские коллеги, пожалуй, одно из самых чудовищных преступлений колониализма, труднее всего поддающихся ликвидации, тем более что в ряде вновь образовавшихся стран общественные структуры не являются социально прогрессивными.

В Африке, Азии, некоторых странах Латинской Америки царит беспросветная нищета, безграмотность — самая подходящая почва для проповедей разных вариантов «уравнительного общества», для безумств «культурной революции», повторяющих бакунистские, прудонистские идеи, сто лет назад разоблаченные Марксом. Как известно, Ленин считал безграмотность населения злейшим врагом революции.

Мои арабские собеседники — председатель Союза писателей Мухаммед Маджзуб, прозаик Абу Бакр Халед, критик-эссеист Абдалла Хамед аль-Амин, писатели ОАР, марокканский писатель доктор Лахбаби — в один голос говорили, что и для них безграмотность — это проблема номер один и они делают все, что в их силах, для ликвидации этого бедствия, полученного в наследство от колониализма. Но это ведь страны арабского языка, с многовековыми традициями арабской культуры, где колонизаторам не под силу было ликвидировать великую арабскую цивилизацию, ее влияние на самые широкие слои народа. В этих странах решено, что ликвидация безграмотности должна проходить на базе родного языка. Средние школы и высшие учебные заведения должны работать главным образом на арабском языке, который, несмотря на диалектные различия, является языком культуры этих народов. Нехватка педагогического персонала — большое препятствие, которое встает перед нами, говорил мне господин Мухаммед Маджзуб, но оно преодолимо в более или менее короткий срок.

Известные трудности в этих странах связаны с разноплеменностью населения. Например, на юге Судана живут неарабские негритянские племена со своей самобытной родо-племенной культурой, со своими языками, верованиями, со своей отсталой общественной структурой. Родо-племенные языки народностей (их бесчисленное количество в Азии, в Африке) в условиях колониализма отстали и на современном уровне не могут адекватно выразить весь комплекс чувствований, научных понятий, характерных для нашего времени. Многоплеменность характерна не только для Судана. В Алжире живут кабилы, в Марокко берберы, в Судане динка (11,5% населения) и другие. Известна языковая пестрота стран Черной Африки, большинства стран Азии.

Нас спрашивали, как тут быть, каков опыт СССР? Ответ был только один. Политика насильственной языковой, культурной или иной ассимиляции в наш век проблему не решит, она ее только обострит и ни к чему доброму не приведет. Мы рассказывали, что культурная гармония и стабильность в СССР была завоевана путем максимального развития национальных языков, языков народностей, родо-племенных языков, культур этих этнических групп, что идейная интеграция, единство культур достигнуто на основе национального многообразия. Это относится и к языку и к другим элементам, образующим структуру социалистических, интернациональных по содержанию и национальных по форме культур, литератур народов СССР.

В. И. Ленин настойчиво, многократно разъяснял, что национальный вопрос, во всех своих многогранных аспектах от экономических, политических вплоть до психологических решается **только** в связи с решением социального вопроса, ибо национальные отношения суть общественные отношения. При этом он предостерегал от упрощения сложных коллизий бытия.

В. И. Ленин писал, что национальный вопрос, принимая во внимание весь комплекс проблем, нельзя рассматривать без самого широкого развития демократизма во всех сферах общественной жизни данной общественной структуры.

Самый широкий советский демократизм явился одной из главнейших предпосылок, на основе которых происходили социалистические преобразования национальных отношений, решение проблем языка, культуры, литературы.

Если специально остановиться на наиболее волнующем наших коллег из Азии и Африки вопросе языка, то и эту проблему нельзя решать однозначно. Конечно, прав Бернар Дадье, когда в своей очень интересной статье «Люди между двумя языками», опубликованной в журнале «Иностранная литература» (№ 4, 1968), пишет, что одно дело, когда язык развивается нормально, вместе со всей цивилизацией, культурой данного народа (добавим от себя, в условиях непрерывности языкового творчества народа), и совсем другое дело, когда в результате внешнего, насильственного, грубого, варварского господства колонизаторов общественный прогресс механически задерживается, начинается стагнация культуры, омертвение языковых структур, замыкающихся в рамки родо-племенной этнической общности.

Еще одна очень важная проблема волновала моих собеседников. Речь идет о всем строе интеллектуальных представлений, эстетических образов, системы мышления, духовных интересов, системы ценностей, принимаемых или отвергаемых, с одной стороны широкими массами, а с другой стороны интеллигенцией этих стран.

Проблемы экзистенции человека в его хейдеггеровской, сартровской или ясперсовской интерпретации или проблемы структуры музыкального мышления Шёнберга, феноменологические, гуссерлианские онтологические, позитивистские или неопозитивистские разыскания, которыми занята интеллектуальная элита этих стран (кстати, эта проб-

лематика ими усвоена в Сорбонне, Кембридже, Оксфорде, Гарварде или Принстоне), конечно же весьма далеки от реальных духовных интересов их народов.

Часть интеллигенции Азии, Африки настолько вжилась в английскую, французскую культуру, что к культуре своего государства она относится как к интересным для наблюдения феноменам фольклора, народного творчества.

Так что раздвоение имеет место не только между двумя языками, как пишет Б. Дадье в упомянутой выше статье, но и между двумя видениями мира.

Б. Дадье пишет: «...Языки стремятся воссоздать структуру чувственного мира. Как все социальные явления, они представляют собой попытку человека упорядочить хаос... придать форму бесформенному». Но, как он правильно замечает, «каждый язык делает это по-своему, разными путями приходя к одинаковым результатам». Тут и возникает основной вопрос, может ли это сделать творец не на родном, а на усвоенном языке? Ни один из моих собеседников не давал однозначный ответ на этот непростой вопрос. В русской, грузинской или армянской литературе, которые я более или менее знаю, пока не было случая, чтобы великие литературные произведения творились не на родном языке. Чародей русского языка, непревзойденный его стилист И. С. Тургенев писал С. А. Венгерову: «Собственно, огорчило — и признаюсь, удивило меня ваше предположение, что «некоторые» мои повести (какие?) написаны мною по-немецки; «есть его оригинальные повести на французском языке (!) и т. д.» Это предположение уже не в первый раз появляется в печати, но я всегда видел в нем намерение меня уязвить. Я никогда ни одной строки в жизни не напечатал не на русском языке; в противном случае я был бы не художник, а просто дрянь. Как это возможно, писать на чужом языке — когда и на своем-то, на родном, едва можно сладить с образами, с мыслями и т. д.».

Мы полностью согласны с осетинским писателем Нафи Джусойты, который, познакомив нас с этой выпиской из письма И. С. Тургенева, правильно заметил, что творец, художник слова, не может владеть языком только как коммуникативным средством. Язык в руках творца-писателя не только средство общения, но и орудие научного, художественного творчества. Тот, кто владеет языком только как средством коммуникации, является его потребителем, а художник должен быть вместе с народом не только потребителем, но и его творцом, развивать его. Писатель должен обладать каким-то шестым чувством родного языка, стиля. Колониализм душил в зародыше возможности развития языка, и в этом его преступление.

Мне пришлось посетить школу живописи и скульптуры в Хартуме. Там работают очень интересные и талантливые художники. Но моментами, когда я вглядывался в некоторые полотна и скульптуры, казалось мне, что я в Лондоне. Я не вхожу в оценку этой весьма своеобразной и сложной ситуации. Замечу только, что фольклор стран Азии и Африки, как известно, не в малой степени питает искусство Запада. В первую очередь он непосредственно должен был вдохновлять и определять стиль мастеров этих стран, не проникая в их творческую лабораторию в преображенном виде из Лондона, Парижа или Соединенных Штатов Америки. Суданцы, да и не только они, но и египтяне. ливанцы и марокканцы бьются сейчас над решением вопросов координации национальных, народных эстетических традиций с современным видением мира, ощущением его ритмов, его дыхания, его своеобразия.

Вопрос, на наш взгляд, даже не в формах изображения мира и человека, а в их понимании, в их идейном осмыслении, дело в том, чтобы правильно увидеть перспективу истории, коренные интересы народа. Народность, партийность художника, ясность его идеологической позиции вовсе не подразумевают отказа от новаторства, от поисков новых средств выражения. У деятелей культуры развивающихся стран, помимо всего прочего, огромная просветительская функция, им нельзя не учитывать этого обстоятельства. Снобизм им ни к чему. Сохранение традиции не означает обязательного слепого подражания классическим нормам стихосложения, стиля, ритма литературной, живописной, музыкальной культуры, и тем более ни к чему их сводить к народно-фольклорным представлениям и примитивным способам изображения явлений природы, человека, общества.

Великие культуры прошлого были сугубо социальными, тенденциозными в служении народу, классам, их породившим. Вот эту традицию прежде всего и надо, как нам кажется, развивать. Должен заметить, что эта наша позиция не встречала возражений у моих собеседников.

Нам кажется, что было бы неправильно судить о сложнейших проблемах строительства культуры в Азии и Африке недифференцированно, представляя эти страны как нечто однородное. Ведь сюда входят и арабские страны, тут же Китай, Индия, Пакистан, Афганистан, Япония, Индонезия, страны африканской, негритянской культуры и т. д. и т. п.

Думается. что на данном этапе развития стран Азии и Африки для определения задач их культурного строительства одни географические координаты — недостаточный критерий. Наступила пора вычленить эти задачи, хотя бы по группам стран, связанных общим характером социального развития, не говоря уж об отдельных странах и не впадая, конечно, в другую крайность игнорирования общих закономерностей, характерных для стран «третьего мира».

Мимоходом заметим, что влияние на широкие народные массы Mass media — радио, телевидения, в особенности западных, американских кинокартин, в первую очередь низкопробных, сексуальных, гангстерских фильмов — очень волнует, я сказал бы, приводит в смятение наших коллег, друзей во многих странах Азии и Африки.

В наш век невозможно отгородить народы от Mass media какими-либо барьерами, законодательными или иными мерами. В наше время планета пространственно настолько сузилась, что даже китайская стена не решит проблему изоляции данного народа от внешнего мира, не разрешит задачу даже массовое оболванивание народа обожествлением новых кумиров, модернизацией культа императоров, по иронии истории и судьбы выступающих якобы под знаменем революционной социалистической ортодоксии. Тщетные потуги, напрасные надежды. Оболванивание народа может дать призрачный, временный эффект. Тем страшнее будет лавина, которая прорвет хрупкие, временные заслоны обскурантизма и совершенно непредвиденными силами опрокинет все, что неразумно, авантюрно предпринималось для изоляции данного народа от нового мира.

Влияние Mass media в разных странах, конечно, различно. Одно дело рудиментарное сознание, замкнутое чуть ли не в языческих представлениях о мире и мировоззрении, с наивными морально-этическими и этическими ценностными представлениями и совсем другое — возможности противостояния разлагающему влиянию Mass media у народов, имеющих длительную, устойчивую культурную национальную традицию или культуру, уже вычлененную из родо-племенных представлений и поднявшуюся на уровень культуры народности.

Киногангстеризм, говорили мои африканские друзья, это одна из форм отравления, оболванивания, патологизации сознания человека Азии и Африки (кстати, сознания человека неграмотного в буквальном смысле этого слова, недаром ведь многие американские фильмы дублированы на наиболее распространенные языки этих стран). Есть еще фильмы, условно будем говорить, интеллектуально, идейно, идеологически развращающие сознание человека Азии и Африки. Я повидал в этих странах не только хичкоковские или джеймс-бондовские киносерии, но и психоаналитические с их пропагандой мистики, иррациональных представлений, зависимости человека от подсознательных, атавистических импульсов, инстинктов и т. д. и т. п. Эти фильмы смотрят учащиеся колледжей, студенты университетов, молодая, да и старая служилая часть многочисленной бюрократии.

Конвейером следуют по экранам один за другим и слащаво-обывательские, мещански сентиментальные, псевдосатирические, мелодраматические фильмы, которые изготовляются не только на Западе, но и некоторыми кинокомпаниями стран Азии и Африки. Этот вид кино- и телепродукции не менее опасен для формирования эстетических вкусов и мировоззренческих позиций человека, чем, например, ничем не прикрытый кинобандитизм американского происхождения.

Все без исключения представители афро-азиатской интеллигенции, деятели университетов, с которыми мне приходилось вести длительные беседы, более чем встревожены потоком такого вида теле- и киноинформации. В Африке сейчас живет 325 миллионов человек, в возрастном отношении молодежь до 16 лет составляет более 40% населения, 80% населения Африки безграмотно. Легко понять тревогу наших коллег.

Происходит ломка привычной биолого-психической структуры человека Азии или Африки. Мои африканские друзья говорили, что не знают, чтó противопоставить потоку индустриально-урбанистических ритмов, не в процессе эволюции, а механически навязываемых людям, которые в материально-техническом отношении живут совсем в другом мире.

От нас ждут ответов и на эти вопросы, причем ответов, основанных на знании социальной психологии разных слоев населения, на социологических исследованиях. Мне говорили о том, как нужны не заклинания, не причитания, не верования, а именно научное прогнозирование и моделирование, основанное на гигантском опыте полувекового культурного строительства в СССР.

Б. Дадье пишет: «Вавилонская башня не только храм великой путаницы (он имеет в виду языковую путаницу, мы подразумеваем путаницу и в структуре национальной культуры.— **Вл. М.**), она может стать генератором интеллектуальной энергии, где слияние разных источников ведет к духовному становлению единого и миролюбивого человечества». Нам кажется, главная задача заключается в том, чтобы в процессе генерации не пропали великие языковые и иные духовные ценности, выработанные разными национальными отрядами человечества в процессе многовековой, напряженной творческой, созидательной деятельности.

Все эти сложнейшие задачи будут решаться в процессе формирования и становления прогрессивных наций в Азии и Африке, их экономической, территориальной, языковой, культурной организации. Для этого нужен определенный исторический срок, даже в условиях убыстрения темпа общественного прогресса. Их решит время по-разному в разных странах. В этом деле не существует стандартов, главное, чтобы эти процессы направлялись людьми доброй воли и прогрессивных мировоззренческих позиций, для которых святы интересы самых широких масс народа.

Нужно организовать и правильно направить энергию народных масс, которых звон Октябрьских колоколов и наши победы над внешними и внутренними врагами разбудили от вековой спячки. Время пасторальной идиллии навечно ушло с нашей планеты. Счастье народа, строительство его культуры будут ковaться в горячих схватках с империалистической реакцией, с мнимыми «друзьями» народов.

Сотни миллионов людей, которые тысячелетиями смотрели только в землю, сейчас открывают глаза и смотрят в небеса, всматриваются в окружающий их очень сложный, противоречивый, часто даже непонятный им мир.

Назначение писателя, говорили мы нашим друзьям, помочь человеку не только в постановке сложных проблем жизни, но и в отыскании путей их решения.

Об этих путях нам нужно и можно спорить, конечно, в условиях доверительности, дружелюбия, желания понять взаимные позиции.

Советские писатели, неоднократно подчеркивали мы, готовы в любом месте, в любое время, на любых форумах делиться своим немалым опытом, своими наблюдениями и мыслями, касающимися проблем, которые сейчас так волнуют наших коллег, друзей, товарищей в странах Азии и Африки.

г. Тбилиси

НАШИ ГОСТИ

ВСЕГДА В ПУТИ

Глядя на этого внешне флегматичного, даже чуть сонного человека, не веришь, что самое трудное — застать его в Японии, дома, за писательским столом. Но это действительно так. Советский Союз, США, Австралия, Ливан и снова Советский Союз, и не просто Советский Союз, а Якутия, да еще зимой (в Японии шуб, рассчитанных на якутские морозы, не шьют) — таков его маршрут за последние два-три года. И вот Макото Ода снова в Москве. Он всегда сочетает напряженный писательский труд с бурной общественной деятельностью, а сейчас каждую свободную минуту отдает возглавляемому им комитету «Мир Вьетнаму!».

— Одна из задач, которую мы ставим перед собой — мобилизовать мировое общественное мнение на борьбу с американской агрессией во Вьетнаме,— с этих слов Ода, посетивший редакцию, начал разговор.— Ваш журнал литературный, и вас, я это прекрасно понимаю, интересует литературная жизнь Японии. Обещаю рассказать и об этом. Но сначала вот.— Ода протягивает небольшой, сложенный вдвое листок, и мы читаем «Обращение к американским солдатам!»:

«В 1931 году наше правительство начало необъявленную войну против Китая, замаскировав ее наименованием — Маньчжурский инцидент. Мало кто понимал, что это начало второй мировой войны. Сейчас, в 1968 году, мы чувствуем, что другая необъявленная война, которая идет в Азии, может обернуться началом третьей мировой войны».

Всего лишь три фразы, но каждая из них бьет тревогу. Далее следует подсчет, согласно которому более 80 процентов японского населения выражают протест против американской агрессии во Вьетнаме. Японцы убеждены, что судьбу Вьетнама должен решить его народ.

И, наконец, горячее одобрение мужественного поступка, совершенного четырьмя американскими моряками — Крейгом Андерсоном, Джоном Бариллой, Ричардом Бейли, Майклом Линднером,— которые дезертировали из армии потому, что не хотели участвовать в преступной войне.

— Мы прятали этих парней, мы помогали им выбраться из Японии. И — самое главное — мы устроили им пресс-конференцию, и тогда весь мир узнал, почему они так поступили. Мы решили в «Бунгей» — одном из наших популярных литературных журналов — опубликовать записки, которые девятнадцатилетний Ричард Бейли вел в ожидании ареста, и сопроводить их публикацию выступлениями наших известных писателей.

«Мы» — это все тот же комитет, регулярно выпускающий подобные листовки. И это в первую очередь сам Макото Ода, протягивающий нам журнал с записками Бейли.

— Посудите сами, стоило ли их печатать,— говорит он.

Разумеется, стоило. В этих записках подкупает искренняя непосредственность, стремление объяснить самому себе и другим, почему он, Ричард Бейли, в один день лишившийся родины, не мог поступить иначе.

«Какой закон нарушил я, почему мне пришлось бежать и скрываться?» — недоуменно спрашивает он. Ведь именно закон человечности и справедливости заставил его сделать смелый шаг, мгновенно изменивший всю его жизнь.

«Нет, я не идеальный солдат. Я слишком много думаю,— пишет он о себе.— У меня есть своя мораль, и я хочу ее отстоять».

Он обращается к американскому правительству, заявляя, что отказывается поддерживать его преступную внешнюю политику своим пребыванием в армии.

«Я не просто ушел из армии,— добавляет он,— я сделал это так, чтобы мир знал, почему я избрал такой путь».

На родине его ждет тюрьма, но он надеется, что придет время, когда Америка станет иной.

«Почему же он писал, чувствуя, что «арест — лишь вопрос времени»? — спрашивает на страницах журнала «Бунгей» крупнейший японский писатель Хироси Нома, убежденный противник захватнических войн, автор антимилитаристского романа «Зона пустоты», переведенного на русский язык. И тут же отвечает: — Именно оттого он и писал, что ясно осознавал: потом, когда его схватят и он окажется во власти полицейского государства, у него уже не будет возможности высказать свои мысли...»

Хироси Нома в связи с этим вспоминает свое собственное прошлое, «сколоченное из толстых дубовых бревен длинное здание военной тюрьмы с двумя рядами камер», куда его водворил в 1943 году японский военный трибунал. Вспоминается ему и роман Сиро Хасэгава «Отряд», героя которого, дезертировавшего из японской армии во времена второй мировой войны, живьем закопали в землю. Милитаризм всегда и всюду враждебен людям, враждебен жизни. В наши дни особенно опасен американский милитаризм, противодействие которому должно оказывать все прогрессивное человечество. Хироси Нома надеется на молодежь, на ее активное участие в этом противодействии.

О том, что волнует Хироси Нома, о необходимости массового протеста против злодеяний американских захватчиков во Вьетнаме говорит и Макото Ода.

— Мы изо всех сил стараемся, чтобы вокруг нашего комитета «Мир Вьетнаму!» собралось как можно больше людей,— рассказывает он.— Недавно мы начали сбор средств для отправки во Вьетнам «парохода солидарности». Мы рассчитываем собрать 10 миллионов иен. Половина суммы уже собрана.

Ну а теперь,— продолжает Ода,— когда я ввел вас в курс наших дел и, так сказать, продемонстрировал их реальные результаты, можно перейти и к вопросу, специально интересующему ваш журнал. Когда писатель говорит о литературе, ему легче всего рассказать о себе — себя знаешь лучше, чем других. Разговор о японской литературе я тоже начну с себя. Прежде всего мне хотелось бы упомянуть недавно выпущенный мной сборник репортажей и статей, связанных главным образом с движением «Мир Вьетнаму!»; он назван «Деловая поездка». Незадолго до отъезда из Японии я закончил роман «Современная история». Мне хотелось на примере одной буржуазной семьи показать характерные противоречия всего современного японского общества. И то, что в нем прогрессивно, и то, что в нем реакционно. Когда я вернусь на родину, роман уже выйдет в свет, и вы сможете судить, насколько удался мой замысел.

В Японии наблюдается сейчас весьма примечательное явление. Несмотря на то что общественная активность интеллигенции в общем повысилась, некоторые писатели, зарекомендовавшие себя как прогрессивные, отошли от общественной деятельности. Это тем более печально, что когда мы говорим об активности интеллигенции, следует иметь в виду, что она может быть как со знаком плюс, так и со знаком минус. Вспомним, например, достаточно популярного — и тем это печальнее — писателя Юкио Мисима, сделавшего своим знаменем ультранационализм.

Вы просите меня назвать наиболее значительные произведения прошлого года. Их не так уж много, но все же есть достойные упоминания. Это прежде всего последний роман многотомной эпопеи Хироси Нома «Кольцо молодости», исторический роман Сюсаку Эндо, посвященный проникновению христианства в Японию, «Сожженная карта» Кобо Абэ, завершающая трилогию писателя, постоянная тема которого — человек и общество. Большой успех выпал на долю романа «Футбол 1860 года», принадлежащий перу молодого, но уже выдвинувшегося в число ведущих писателей Кэндзабуро Оэ. Как и все его произведения, этот роман посвящен жизни японской молодежи. С новым романом о войне во Вьетнаме «Морской берег» выступил Такэси Кайко. Кстати, материалом для романа послужили личные впечатления, почерпнутые писателем во время пребывания во Вьетнаме два года назад. Его репортажи регулярно печатались в японских газетах *.

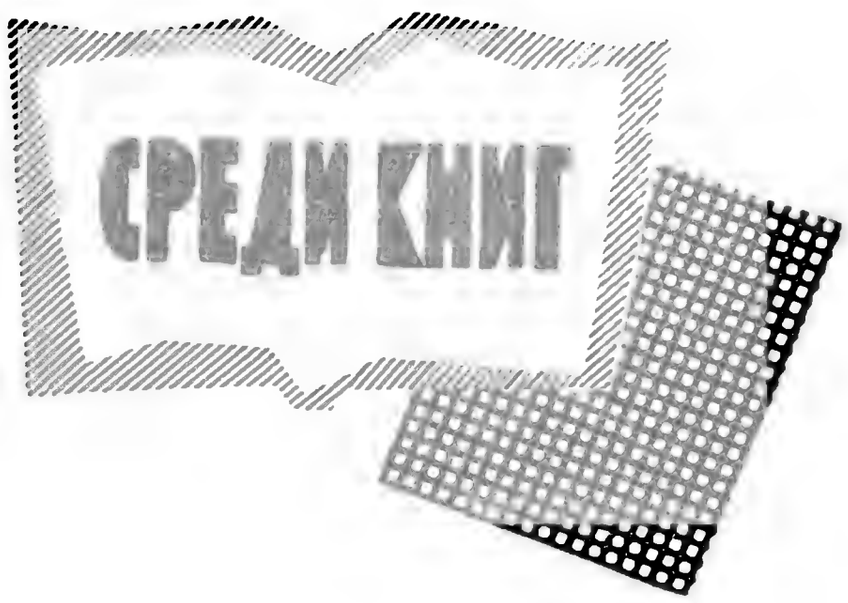
Может быть, я что-то и упустил. Ведь я не литературовед и не критик. Кстати, было бы совсем не плохо, если бы на страницах вашего журнала хоть изредка появлялись статьи наших ведущих критиков и литературоведов.

Беседа подходит к концу. Ода перечисляет страны, где ему необходимо побывать в самое ближайшее время, не заезжая в Японию; рассказывает о своих творческих планах, и мы снова поражаемся его энергии, хотя уже прекрасно понимаем, сколько внутренней силы таит в себе этот внешне флегматичный, даже чуть сонный человек.

В. ГРИВНИН

---

* См. «Иностранную литературу» № 6, 1966 г.



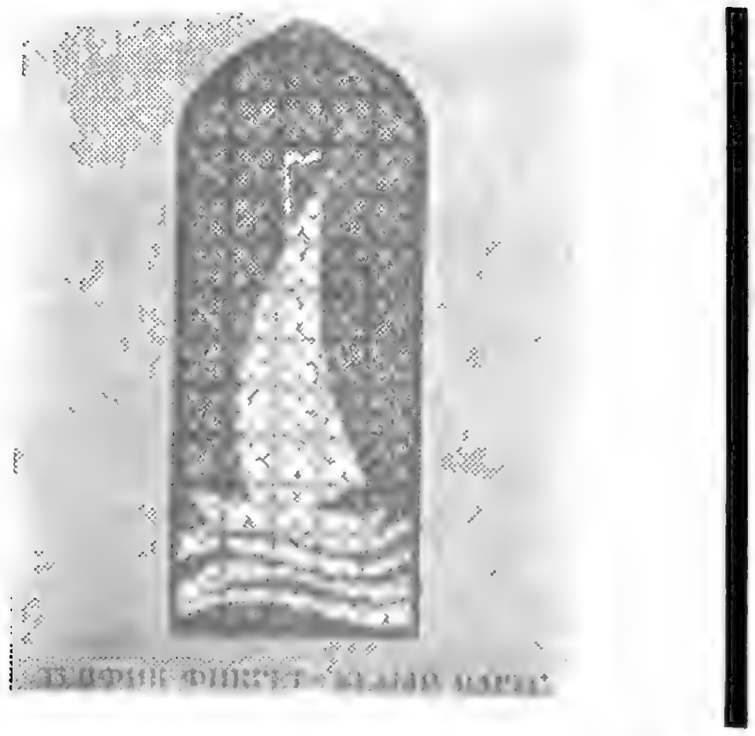
ФИКРЕТ — УСТА РЕВОЛЮЦИИ

Тевфик Фикрет. Белый парус. Стихи. Перевод с турецкого. Предисловие и примечания Р. Фиша. Москва, «Художественная литература», 1967. 159 стр.

Удивительная судьба выпала на долю этого человека. Выходец из богатых помещичьих кругов, выросший в семье благочестивой, набожной, преданной аллаху и его наместнику на земле — султану-падишаху,— Тевфик Фикрет, обладавший недюжинными способностями и получивший великосветское образование, мог прожить жизнь спокойно, обеспеченно, сделать блестящую карьеру государственного деятеля. Но менее года потребовалось Тевфику Фикрету, который, по определению «отца турок» Ататюрка, «всю свою жизнь руководствовался только собственной совестью», чтобы, прослужив после окончания лицея на министерской работе, понять, в какое время он живет, и определить свою дорогу честного служения народу.

Вся сознательная жизнь поэта падает на мрачные годы правления султана Абдулы Хамида II, явившего миру образчик средневекового деспотизма и тирании: Тевфику Фикрету было девять лет, когда на престол взошел Абдул Хамид II, и сорок с лишним лет, когда султан был свергнут. Страна погрязла в долгах, превратившись в полуколонию европейских держав; была разогнана палата депутатов; запрещены передвижения из города в город; уцелевшие газеты и журналы были полны восхвалений и дифирамбов в адрес султана, сообщений о его здоровье и приемах. Как справедливо замечает автор предисловия, «из учебников были выброшены все упоминания о революциях, запрещена постановка «Гамлета», дабы народ не видел на сцене убийства монарха. Существовали запреты даже на знаки препинания: нельзя было употреблять многоточие, чтобы, как говорилось в указе, «не нарушать спокойствие умов», надлежало избегать слов «продолжение следует», дабы «не возбуждать в читателе излишнего любопытства». Запретили употреблять и слово «динамо-машина», потому что султан, боявшийся покушений, путал динамо с динамитом». В этих условиях право на существование имели, разумеется, писатели, которые славословили монарха, воспевали «величие его дел и свершений».

Ранний период творчества поэта — это лирика, уход в мир тончайших душевных переживаний во имя сохранения личности, его внутренней свободы и права выражать сокровенное. Позднее эти стихи были собраны в книгу под характерным для настроений поэта названием — «Разбитая лют-



ня». В этот период Фикрет рисует и картины нищеты народа, пишет о гибели юного рыбака, отправившегося в штормовое море, чтобы прокормить голодную семью, о заносчивых господах, к которым тщетно взывает в ненастный день, прося подаяние, нищий-сирота, пишет о белом парусе мечты и грез; дождь, что стучит по оконным стеклам, поэт уподобляет «слезам, что бегут по надгробью», а небо «темнеет, охвачено дрожью предсмертной». Лютня поэта рыдает и стонет. В стихах — сомнение, горечь, безнадежность, страх.

Но почему в конце дороги — пропасть,
И жизненный итог всегда печален?
Надежд у нас и ожиданий — пропасть!
Неужто стать им грудою развалин?
О, почему в конце дороги — пропасть?

(«С тобою». Перев. В. Потаповой)

Воздух, которым дышит поэт, «горек и суров», а у мира нет явной цели; природа рассказывает о жизни, «полной горестных трагедий», печаль «как мертвая листва», но ее никак не сбросить; и солнце, «кривляясь и дразня», смотрит «с насмешкою злобною». Поэт завидует слепому бездомному нищему потому, что ему дана «спасительного мрака пелена»,— «сегодня мир так мрачен и невесел, что счастлив только тот, кто тьмой кромешной взоры занавесил». И разве может быть праздник, «если вокруг тоскуют и плачут»?

Сквозь эти мотивы безнадежности прорываются нотки веры в светлое утро, но оно наступит, как пишет поэт сыну, когда «с жизнью я уже навек утрачу связь». Тевфик Фикрет живет надеждой:

Пред величайшим волшебством — пред
разумом людей
Все пустословие падет, лишь грянет гром,—
я верю.
Рассеется извечный мрак, и, вспыхнув, как
вулкан,
Всю землю правда озарит своим огнем,—
я верю.
Оковы с узников падут, а руки палачей
В железо тяжких кандалов мы закуем,—
я верю.

(«Вера Халюка». Перев. А. Ревича)

Трудно приходится поэту в условиях жестокой тирании, когда за слово правды грозит тюрьма, ссылка, казнь. Но все чаще и чаще Тевфик Фикрет обращается к политической лирике, создает одно из сильнейших своих произведений «Туман», которым зачитывалась демократическая молодежь и который учили наизусть и распространяли тайком в начале века. Это стихотворение о Стамбуле, сердце империи, столице тирании. Вот строки из него:

Полна трагедийного блеска, привержена
к пышности бренной,
Каких ослепительных зрелищ издревле
была ты ареной!
Ты блеска была колыбелью, была
и гробницей его,
Была ты царицей Востока и дряхлой
блудницей его.
. . . . . .
О зависть, корысть, вероломство! Неужто—
ступень за ступенью —
Зловонная свалка отбросов — единственный
путь к возвышенью?
. . . . . .
О ложное великолепье, мишурное торжище
славы!
О башни злодейств потаенных, в застенках
дворцовых — расправы!
. . . . . .
О лживость пустых обещаний! Что толку
в судах и в законе,
Когда справедливость забыта, когда
правосудье — в загоне?

(Перев. В. Потаповой)

В годовщину восшествия на престол Абдулы Хамида, отмечавшуюся по всей Оттоманской империи, Тевфик Фикрет пишет стихотворение о том, что придут иные времена и что есть на родине люди, которые встанут под знамя борьбы за свободу. В 1906 году на султана было организовано покушение. Бомба взорвалась на минуту раньше, и султан чудом спасся. Тевфик Фикрет пишет свое знаменитое «Опоздание на миг». Он славит отважных героев — «вестников свободы» и проклинает нелепый случай, сорвавший «замысел дерзкой мечты»,— «если б время на миг задержало стремительный ход!»

Гражданские стихи Тевфика Фикрета, появляющиеся в эти годы, звучат как призыв к действию: до Турции докатились волны первой русской революции, в Турции готовятся к восстанию. И патриотические силы берут на вооружение стихи Тевфика Фикрета, чеканные, мускулистые, маршевые.

Революционеры-подпольщики, «младотурки», просят поэта написать революционный марш. И за одну ночь Тевфик Фикрет создает «турецкую «Марсельезу» — «Песнь нации», с которой революционные войска входят в Стамбул. Стихотворение это очень популярно среди тюркоязычных народов. В Азербайджане трудно встретить любителя поэзии, который бы не знал, к примеру, такие строки из этого стихотворения:

У гнета орудия есть, пули есть, крепости
есть,
Но у правды несгибаемая рука,
неотвратимый лик есть.
Не закрывай глаза на солнце, если и
пожелтеют его лучи,
Не угаснет вовек — у каждой ночи свое
утро есть.

В оригинале строки эти так цепко, нерасторжимо, так органично и с такой страстью и силой спаяны, что это, пожалуй, невозможно сохранить при переводе — ни подстрочном, естественно, что попытался сделать я, ни в художественном, что, кстати, на мой взгляд, не удалось сделать Н. Стефановичу, передавшему вышеназванные строки так:

Орудья и ядра пока у тиранов,
Но правду сломить не дано никому,
И вырвется солнце из мрака,
воспрянув,
И свет одолеет кромешную тьму...

Получилось безликое стихотворение.

Тевфик Фикрет переживает бурный период, становится певцом и устами револю-

ции. Но радость поэта длилась недолго — народ был обманут, младотурки свергли султана, однако изменили революции и демократическим идеалам, избрав знаменем воинствующий шовинизм.

Поэт обращается к своей лютне, которая прежде издавала звуки страстные и сотрясала тюремные стены. А сейчас Фикрет уподобляет свою лютню «луку, растерявшему звенящие стрелы». Но лютня поэта не будет молчать, если снова «в оковах и совесть, и чувства, и мысли... Убитые падают песни... Власть беззаконная дьявольской клики...» Можно ли пылиться без дела, когда «родина плачет, упав на колени»? Нет, отвечает лютня поэта, «теперь не кричать, не греметь — преступленье!» («Ответ лютни». Перев. Н. Стефановича.)

Фикрет пережил десять полных отчаянья и тоски дней в январе 1911 года, когда правительство младотурков под предлогом «военной опасности» разогнало парламент:

Эпоха бед тяжелых началась.
Над честью надругались, над законом,
Все осквернили, предали, глумясь.
Уже никто не внемлет нашим стонам,
Забыта совесть, втоптанная в грязь.

Возвратом к временам Абдулы Хамида II назвал поэт акцию нового правительства.

Все та же ночь — и снова мы впотьмах.
Все тот же гнет невежества тяжелый.
. . . . . .
Свободу самовластье заменило.

(«Возврат к девяносто пятому». Перев. Н. Стефановича)

Узнав, что младотурки распустили меджлис, свергнутый султан со смехом заметил: «В свое время я тоже разогнал эту говорильню».

«Зачем же привелось все это видеть мне?» — восклицает Фикрет в отчаянии. Но поэт не падает духом. Снова ветер надежды дует в его белый парус, поэт живет мечтой о временах, когда миром будут править братство и свобода.

Тевфик Фикрет не дожил двух лет до своего пятидесятилетия — он умер в 1915 году. И хотя нынешнее поколение турок читает стихи Тевфика Фикрета со словарем — турецкий язык сильно изменился за последние полвека, очистившись от арабизмов и фарсизмов, которыми широко пользовался поэт,— творческое наследие и жизненный путь Тевфика Фикрета волнуют нас и теперь как образец высокого служения народу, гражданского мужества, бесстрашия и честности.

И не одному поколению борцов за счастье и свободу будет светить «белый парус» Тевфика Фикрета.

И последнее: не все равноценно в книжке Тевфика Фикрета, изданной хорошо, добротно, с любовью к памяти великого сына турецкого народа. «Неравноценность» я отношу к переводам. Наибольшая удача выпала на долю В. Потаповой. Ее переводы близки к оригиналу, его духу, его музыке и образному строю. Есть хорошие переводы и у двух других переводчиков — А. Ревича и Н. Стефановича, хотя у них немало стертых рифм и общих мест.

Появилась первая на русском языке кника Тевфика Фикрета, она займет достойное место на полке любителей поэзии и в особенности поэзии революционной.

ЧИНГИЗ ГУСЕЙНОВ

СЛЕД СЕЯЛКИ В ЗЕЛЕНЕЮЩЕМ ПОЛЕ

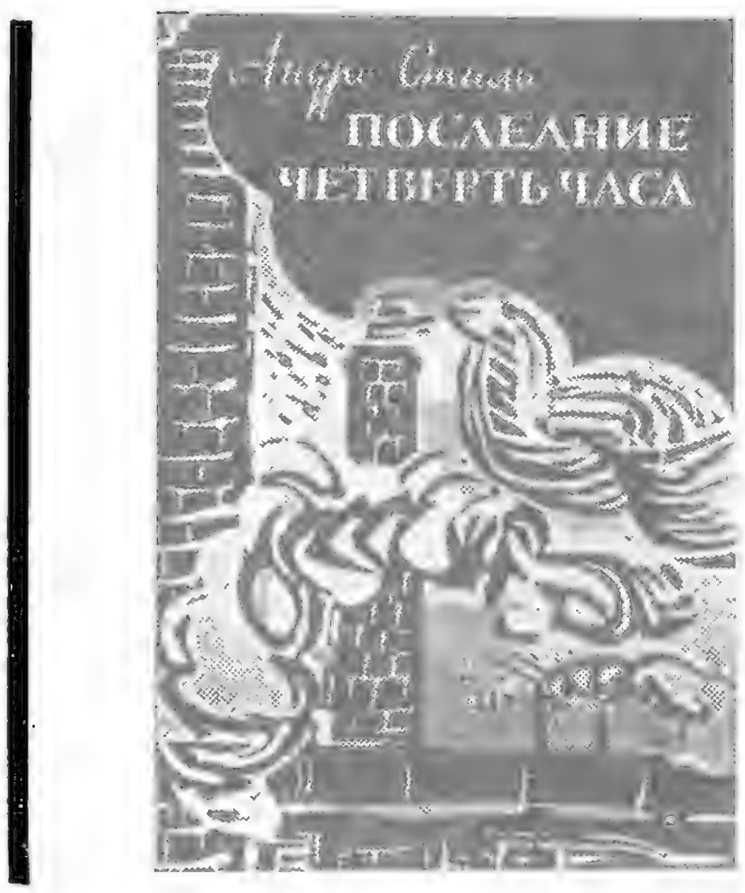
Андре Стиль. Последние четверть часа. Роман. Перевод с французского Н. Столяровой. Редактор М. Финогенова. Москва, «Прогресс», 1967. 184 стр.

«Иногда говорят, будто теперь борьба идет где-то далеко, на другом конце света, а у нас с этим покончено...» На первый взгляд может показаться, что все так и есть. Где-то идет борьба. Но не в этом городке Франции, на берегу Шельды, где рабочие, возвращаясь с металлургического комбината после смены, занимаются самыми что ни на есть будничными делами. Марсель Менар когда-то воевал в Испании. Теперь он возится со своим псом. У Марселена Биро вечные заботы с сыном — по успеваемости он неизменно на первом или втором месте, но поведение «безобразное», как отмечается в его табеле. Старик Рафаэль Варлоо, «добравшись до пенсии», наконец-то отремонтировал свой домик, что, правда, влетело ему в копеечку...

Бывают, впрочем, и несчастные случаи, как это произошло с дочерью Эктора Мореля — Соланж. Однажды она жарила картошку, жир выплеснулся на огонь, попал на нейлоновый фартук, и через мгновенье девушка превратилась в горящий факел. Она выбежала на улицу. Первым ее увидел проходивший мимо рабочий-алжирец Мулуд. Он бросился было к ней, но вдруг замешкался, да и девушка инстинктивно повернула в сторону. Опомнившись, он повалил ее на землю, погасил пламя. Оба сильно обгорели — лежат в больнице. Все поняли, что если бы не эти «бесконечные разговоры об алжирцах и женщинах», драгоценное время не было бы потеряно. «Да,— говорит рабочий Шарлемань,— никуда от этого не уйдешь: между нами и ими есть какая-то проклятая трещина!»

Вышедший в русском переводе роман Андре Стиля «Последние четверть часа» был написан в последний год алжирской войны. Но, быть может, особенно интересно прочитать эту книгу именно теперь.

Дело не только в том, что шесть лет независимости Алжира, завоеванию которой алжирским народом в немалой степени содействовало и движение солидарности французских трудящихся, придает этой книге известную историческую перспективу. Ведь если смотреть правде в глаза, следует признать, что то, против чего восстает герой романа рабочий-коммунист Шарлемань,— яд



шовинизма, с одной стороны, и «ответного» национализма, с другой, которым пользуется буржуазия для раскола трудящихся, для противопоставления друг другу рабочих различных национальностей, действует и сейчас. И теперь еще присутствие во Франции по меньшей мере полумиллиона рабочих-алжирцев, не говоря о других североафриканцах или выходцах из стран Тропической Африки, связано с очень серьезными проблемами в рабочем движении этой страны, проблемами социальными и человеческими. Так что в этом отношении роман, увы, остается актуальным.

И все же думается, что главная его ценность не в том. В конце концов на примере взаимоотношений между рабочими-французами и рабочими-алжирцами на одном из заводов во Франции Андре Стиль раскрывает более широкую тему — тему морального облика французского рабочего. Точнее, его морально-политического облика. Ибо «в наше время ничто не может касаться только двоих, в наши дни, что бы ни происходило между двумя людьми, в это тотчас вторгается и вся окружающая жизнь. Строить какие-либо отношения тихонько, с глазу на глаз сейчас невозможно. Просто удивительно, сколько сразу всего примешивается, влезает и заставляет терять или выигрывать время, скорее даже выигрывать». Так сказал бы, «если бы он умел яснее выражать свои чувства», тот же Шарлеманъ.

В город приезжают алжирцы. Иногда с семьями. Чаще одинокие — семьи их остаются в Алжире. Живут они здесь на отшибе, держатся особняком. Чужие люди, говорящие на чужом языке. Да и обычаи у них тоже чужие. К тому же — война...

Но вот у поселка, где они селятся, возникает новый полицейский участок. Иногда полицейские устраивают облавы на алжирцев. Некоторых из них арестовывают. А однажды старая дева мадемуазель Кашё, что живет в доме, подвал которого сообщается с подвалом соседнего здания, занятого под полицейский участок, услышала ночью странные крики, несущиеся словно бы из-под земли. И все узнали, что арестованных алжирцев пытают. Конечно, по отношению к французам полиция этого позволить не может. Но перед жителями поселка встает вопрос: «Кто же мы — сообщники палачей?» — «Но люди должны защищаться, они не должны позволять, чтобы их просеивали сквозь сито, сквозь решето и веялку, чтобы их просеивали, сортировали...»

Не сразу и не все приходят к этому выводу. Роман ничего не упрощает. Собственно, события, описанные в нем, нанизываются на историю сближения между Шарлеманем и алжирцем Саидом. Да и сближение это так до конца и не осуществилось. Двум людям, двум рабочим, французу и алжирцу, помешала сблизиться война — неправая, грязная, колониальная война. Но в душе они преодолели воздвигнутую между ними преграду.

И, вспоминая о том, как он помог Саиду убежать от полицейской облавы, Шарлемань, мысленно обращаясь к своей жене, думает: «Знаешь, Берта, ты, наверно, замечала, что в зеленеющем хлебном поле можно иной раз угадать, где проходили колеса сеялки... Позже, когда Алжир будет свободным, а заодно с ним и мы, наша сегодняшняя борьба останется, точно эти следы, да-да, ни больше ни меньше. Все сегодняшнее — это временное... Но если в течение всей жизни видишь, как в ответ на твой настойчивый, упорный труд растет пшеница, то будущее тебя не обманет... и можно представить себе это зеленое будущее... и помогать росту этой зелени уже сейчас, участвовать в зарождении счастья, верно, Берта?..»

В «последней четверти часа» колониальной войны в Алжире герой романа угадывал и предвидел «последние четверть часа для целого отжившего мира». Конечно, мир этот — мир капитализма — отчаянно сопротивляется, пытаясь продлить свое существование.

Читая роман Андре Стиля сейчас, семь лет спустя после его написания, думаешь и о других, совсем свежих событиях, о событиях нынешнего года, героем которых, привлекшим к себе внимание всего мира, стала трудовая Франция, Франция Шарлеманя и его товарищей.

Колеса сеялки вновь прошли по полю, которому еще зеленеть.

Н. ПРОЖОГИН

СИЛУ В БОРЬБЕ ОБРЕТШИЙ

В. Т. Сухоруков. Вэнь И-до. Жизнь и творчество. Ответственный редактор Л. З. Эйдлин. Москва, «Наука», 1968. 146 стр.

Книга молодого ученого — первое серьезное исследование о жизни и художественном творчестве одного из

основателей новой китайской поэзии на разговорном языке, публициста и участника демократического движения в гоминьдановском Китае Вэнь И-до (1899—1946).

До пресловутой «культурной революции» произведения Вэнь И-до неоднократно издавались в народном Китае. Наиболее значительным, однако, поныне является четырехтомное полное собрание сочинений, вышедшее в Шанхае еще в 1948 году.

Более тридцати поэтических произведений поэта, его наиболее яркие публицистические статьи и речи составили сборник избранных произведений Вэнь И-до на русском языке, выпущенный Гослитиздатом в 1960 году *. Читателям в нашей стране знакомо его имя также по отдельным публикациям в периодической печати и поэтических сборниках. В июле 1966 года двадцатилетие со дня гибели поэта было отмечено вечером памяти в Доме дружбы с народами зарубежных стран.

Далеко не прост и не прям путь поэта, выходца из семьи помещика с ее конфуцианскими устоями, воспитанника привилегированного университета «Цинхуа»; сложен его духовный мир, противоречива начальная эстетическая позиция. В стихотворении «Красная свеча», по которому назван первый сборник поэта, вышедший в 1923 году, Вэнь И-до писал:

Свеча!
Гори и слезы лей,
Топи свой воск, свети сильней,
Теплом живительных лучей
Утешь людей и обогрей.

Плачущая восковыми слезами свеча, дающая свет и радость и гибнущая ради других,— символ художника, без остатка сгорающего в огне своего творчества. Однако мысль о необходимости полной самоотдачи переплетается подчас в других его стихах с крайним эстетизмом художника, который «служит только Искусству, а если его стихи приносят пользу людям, то это происходит помимо его сознания и воли».

«В поэме «Ножны»,— замечает исследователь,— как в фокусе, соединились... почти все основные положения эстетики раннего Вэнь И-до: бегство от действительности с ее тяготами, с ее борьбой и житейской прозой в прекрасный мир Искусства; культ искусства и красоты как высших ценностей... отказ от утилитаризма, от «презренной пользы» и всего, что с нею связано, и прославление вдохновенного творческого труда художника, его жизни, посвященной созиданию Прекрасного и созерцанию Прекрасного... В «Красной свече» и в «Ножнах» эстетика Вэнь И-до предстает перед нами своими разными гранями, которые сосуществуют, а противоречие между ними так и остается непреодоленным».

Со стихами о свече и стихами о ножнах в сборнике соседствуют такие произведения, как «Одинокий гусь» — выразительная гротескная картина, разоблачающая язвы капиталистической Америки; в знаменитых «Думах о хризантемах» поэт слагает восторженный гимн родине и ее культуре.

В. Т. Сухоруков показывает, как личная честность и патриотизм Вэнь И-до, повседневный труд широкообразованного человека, темперамент борца и его близость к революционно настроенной учащейся молодежи часто одерживали, а в конце антияпонской войны одержали окончательную победу над эстетизмом художника, увели его от группы писателей «Новолуние», с реакционных позиций полемизировавших с пролетарской литературой, и направили на путь борьбы с реакцией.

В 1928 году вышло в свет наиболее зрелое и совершенное создание Вэнь И-до — сборник «Мертвая вода», знаменующий решительный переход поэта из «мира поэзии» в «мир праха». Темы искусства и природы вытесняются тяжелыми раздумьями о жизни — слишком безотрадной была окружавшая Вэнь И-до в те годы действительность. Китай, который поэт увидел в 1925 году после трехлетнего пребывания в Америке, кажется ему «кошмарным сном», канавой с затхлой, «мертвой» водой.

В марте умер неутомимый организатор национально-освободительной борьбы китайского народа Сун Ят-сен. 30 мая, через несколько дней после возвращения поэта на родину, в Шанхае была расстреляна демонстрация рабочих и студентов. Взрыв возмущения прокатился по всей стране. Вэнь И-до не участвовал в движении лично, как это было в мае 1919 года, когда во главе университетского студенческого комитета он впервые включился в политическую борьбу. Теперь он внимательно следил за событиями и создавал в стихах самые современные, реалистические картины, изображая то покинутую жителями и пришедшую в запустение деревню, то расстрел студенческой демонстрации в Пекине, то смерть рикши, то каторжный труд китайцев-прачек в Америке. По-новому смотрел поэт на свою родину и сделал для себя печальное открытие:

Я услышал твой зов:
Я приехал домой
И... «открытие» сделал, рыдая.
Мой Китай — уж не мой,
Он чужой, он чужой,
Я в Китае не вижу Китая!

Жестокие эксцессы, которые позволяла себе политическая реакция, вызывали у поэта отвращение и протест, но выход из тяжелого положения, в котором оказался Китай, Вэнь И-до видел пока что в так называемом «культурном национализме». «Культурным националистам» нельзя было отказать в патриотизме, была очевидна и их антиколониалистская направленность. Они считали, что «культура есть сила, сплачивающая нацию духовно», что «гибель культуры означает гибель государства», но узость национализма и ограниченность их программы, особенно ясно ощущавшаяся в период нарастающей революционной ситуа-

* Рецензия на «Избранное» Вэнь И-до была опубликована в «Иностранной литературе» № 4 за 1961 г

ции, изобличали политическую незрелость защитников этих взглядов.

«Тихая ночь» — одно из лучших стихотворений сборника «Мертвая вода» — утверждает мысль о том, что «никакими стенами человек не вправе отгораживаться от мира с его страданиями и болью». Можно сказать, что поэтическая программа Вэнь И-до шла как бы впереди его жизненных взглядов. Ибо еще многие годы после выхода «Мертвой воды» он, оставив поэзию, посвятил преподавательской и научной (весьма плодотворной!) деятельности, вел жизнь «кабинетного ученого», прежде чем стал на путь активной борьбы.

Грозные события лета 1937 года — начало антияпонской войны — положили конец этой тихой жизни. Университет «Цинхуа», где преподавал Вэнь И-до, эвакуировался. 1750 километров пути из Чанша в Куньмин вместе с семьей в восемь человек профессор прошел пешком. Этот переход, продолжавшийся с середины февраля до конца апреля 1938 года, столкнул Вэнь И-до с суровой действительностью и в то же время по-настоящему сблизил его со студенчеством.

В. Т. Сухоруков показывает, как начинает Вэнь И-до осуждать свое идеалистическое прошлое, овладевает основами материалистического мировоззрения, читает марксистские книги, обращается к творчеству Горького и Маяковского, Лу Синя и Цюй Цю-бо, казненного гоминьдановцами, к поэзии Тянь Цзяня, которого восхищенно называет «барабанщиком эпохи», китайским Маяковским. 3 мая 1944 года на студенческом вечере по случаю 25-й годовщины начала движения «4 мая» он заявил, что «борьба с феодальной идеологией, начатая в 1919 году, не завершена и поныне и что необходимо общими усилиями покончить с этим врагом». Это было первым серьезным политическим выступлением Вэнь И-до после многих лет молчания, а осенью профессор вступил в Демократическую лигу Китая, боровшуюся против реакционной политики чанкайшистского режима. Боевая публицистика Вэнь И-до этого времени стала одной из лучших страниц его творческого наследия.

С сентября 1945 года Вэнь И-до — член ЦК Лиги. Все более страстными и непримиримыми становятся его статьи и выступления на митингах, все больше ненавидят его власти, бессильные остановить демократическое движение. И вот уже ползут по Куньмину зловещие слухи о том, что за голову Вэнь И-до назначена большая награда; реакционная печать именует его «коммунистом Венидовым», живущим на русские деньги.

11 июля 1946 года чанкайшисты убили одного из руководителей Лиги — Ли Гун-пу. 15 июля Вэнь И-до выступил на траурном митинге: «История не знает антинародных сил, которых бы не разгромил народ,— говорил он...— Мы достаточно сильны, чтобы рассеять этот мрак! И наша заря будет закатом для реакционной клики». Это была пламенная и последняя речь Вэнь И-до: в тот же день он разделил участь своего соратника.

Автор заключает монографию справедливыми словами:

«Знакомство с жизнью и творчеством Вэнь И-до убеждает в том, что в яркой, незаурядной личности поэта нашли воплощение лучшие черты передовой китайской интеллигенции — демократизм, патриотизм, неутомимая страсть к познанию, глубокое уважение к достижениям китайской и мировой культуры, непримиримость к злу и мракобесию, мужество и стойкость в годы испытаний... Сила передовых, гуманистических идей века помогла ему преодолеть влияние консервативной среды, бросить вызов царившей в стране реакции, стать большим поэтом, большим ученым, убежденным и непримиримым борцом за мир и демократию. Нет сомнения, что на благородном, вдохновляющем примере жизни и творчества Вэнь И-до будут учиться еще многие и многие поколения китайской интеллигенции».

ГЕННАДИЙ ЯРОСЛАВЦЕВ

ГОЛОСА АФРИКИ

Из африканской лирики. Переводы Михаила Курганцева. Вступительная статья Мирзо Турсун-заде. Москва, «Наука», 1967. 160 стр.

Со страниц этого сборника звучат голоса поэтов семнадцати африканских стран. Поэтов, впитавших в себя образы и ритмику богатейшего африканского фольклора, и поэтов, воспитанных на традициях многовековой арабской поэзии. Это поэтическое многоголосие указывает не только на обилие талантов. Оно показывает, как многогранна, как сложна духовная жизнь сегодняшней Африки.

Наряду с исполненными в классической манере стихами о любви Ахмеда Рами, Маамуна аш-Шанави из ОАР, с их традиционными соловьями, читатель познакомится в этой книге с поэзией тунисского романтика Абу аль-Касима аш-Шаби, который ввел в начале тридцатых годов в лирическую исповедь земное, реальное. Его стихи — это монолог человека среди людей, человека, остро ощущающего мир, а не слепого созерцателя облаков. Поэт верил земле. Именно к ней обращался он в трудные минуты жизни:

Не погибнем. Природа земная — за нас,
И живая прохлада ночная — за нас.

И задумчивый бриз, и глухая волна,
И бессонная птица лесная — за нас.

(*«Опьянение»*)

Абу аль-Касим аш-Шаби не отделял своей судьбы от судьбы родины, угнетенной в то

время французским колониализмом. Его лирические стихи звучали призывом к освободительной борьбе.

Искреннее, одухотворенное творчество этого рано умершего лирика оказало большое влияние на поэтов Северной Африки. В том числе и на хорошо известного на африканском континенте марокканского поэта и мыслителя Мухаммеда Азиза Лахбаби. Поэзии Лахбаби присущи лаконизм, ясность, внутренняя взрывная сила. Поэт-трибун, он говорит с народом. Говорит спокойно, просто и убедительно. Его аудитория: феллахи, ремесленники — люди труда, для многих из которых ночь еще «черна от забот, как день». И Лахбаби несет им веру в то, что «есть надежда — проснется разум и вселенная встанет с колен» («Феллах»). Но поэт понимает, что даже самое страстное желание свободы не разобьет оковы угнетения. Нужны действия, борьба.

Здесь, на обнаженной груди площадей,
над безоблачным небом земли
поклянемся —
заставим лжецов замолчать навсегда!

(«Клятва писателей»)

Глубоко философичны стихи талантливого поэта алжирца Малека Хаддада. Они написаны вдали от родной земли, в годы освободительной войны. Тонко, без эмоциональных излишеств передает Хаддад душевное состояние человека, ощущавшего себя французом и как бы заново родившегося, но теперь уже сыном своего героического народа.

Подслушиваю реку под мостом
и с ней веду безмолвный диалог.
В ее ворчанье хмуром и простом
я различаю зов моих дорог.

(«Мне снилось...»)

О днях освободительной войны рассказывает и другой крупный алжирский поэт — Жан Сенак. Он знает цену слову. Он немногословен. Но каждая написанная им строка несет в себе смысловой заряд огромной силы:

Ничего...
Тропа свободы —
Кровь разбитых ног.

(«Ничего»)

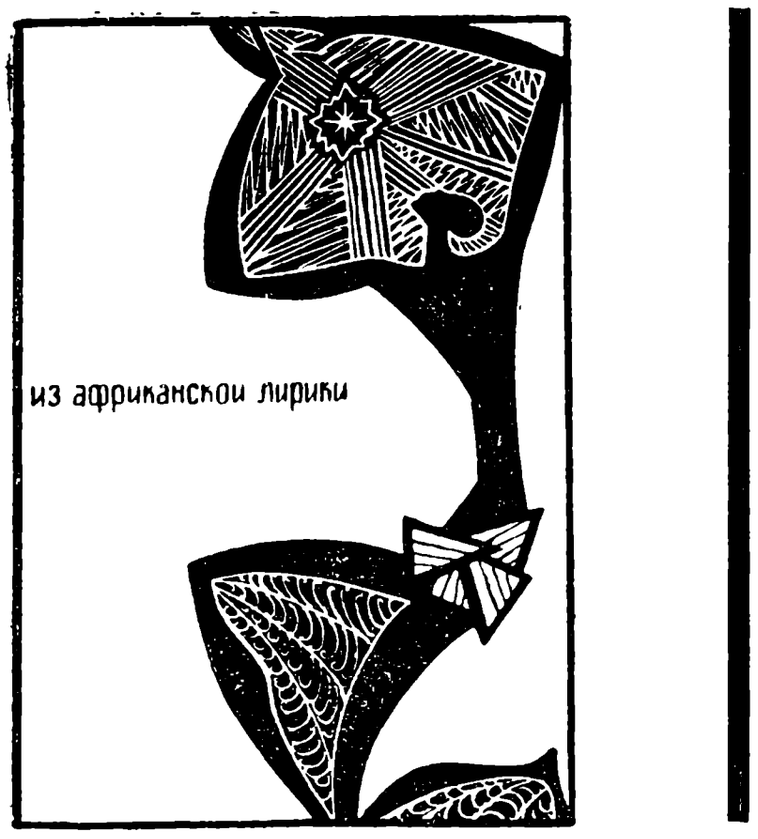
А вот алжирской поэтессе Маргерит Таос дан редкий дар трепетно и неброско рисовать одно из самых прекрасных человеческих чувств — любовь:

Ты был ветром, жарким и гордым.
Ты был кедром алжирским горным.
Ты был черным орлом отважным.
Это знали в селении каждом.

Ворожили тебе удачу.
Ты носил амулет всесильный.
Почему ж я сегодня плачу
у ограды твоей могильной?

(«Песня раздумья»)

Непринужденно, свободно звучат в сборнике стихотворения поэтов стран, лежащих к югу от Сахары. Тематика их разнообразна. Стихи остросоциального содержания и стихи лирические, полные музыки, смелых



сравнений и чувств, искренних, глубоких. Первые поэтические опыты Бернара Дадье, известного поэта Берега Слоновой Кости, относятся к концу 40-х годов. Но уже в них он предстал человеком, для которого писать означало деятельно участвовать в жизни африканского материка. Поэт призывает африканца взглянуть на себя иными глазами. Увидеть в себе не человека низшей расы, но — Человека. Полная патриотизма поэзия Дадье обращена, однако, ко всему человечеству. Ибо родина для него — весь мир:

...руки брата,
полные силы и счастья —
я протянул к тебе
сквозь океаны и горы,
чтобы смешать воедино
цвета наших рук...

(«Руки»)

Сенегалец Давид Диоп представлен стихотворением «Черной танцовщице», своего рода символом юности древнего континента. Символом его неизбывного жизнелюбия. Цельность этого стремительного стихотворения достигается интонацией, эмоциональным напором:

Танцуй —
и сгорают мифы,
и вспыхивают парики мудрецов,
и от каждого жеста — ожог,
и обугливаются идолы в пламени тела,
рвущегося
к небесам.

Так писать может не просто мастер стихосложения, но человек, чья душа переполнена любовью к родине. Именно таким было сердце Давида Диопа.

Один из крупнейших африканских поэтов — президент Сенегальской Республики Леопольд Седар Сенгор. В его поэзии переплетаются современность и пестрая ткань африканского фольклора. Читая стихи Леопольда Сенгора, почти физически ощущаешь своеобразную, стремительно меняющуюся мелодию красок и образов. Вот, например, как воспринимает поэт мир вокруг себя:

О, этот мир,
это черное, белое, красное время!
Красное, красное, словно земля
африканских саванн...
(«Для кхалама»)

Многоцветным, вечно живым тамтамом, над которым властвуют сильные черные руки, извлекая из него победоносную бурю во имя трудного Сегодня, во имя грядущего прекрасного Завтра, — такой встает перед нами Африка со страниц этой небольшой книги.

ГЕОРГИЙ АШКИНАДЗЕ

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

НА ПОДСТУПАХ К «ШВЕЙКУ»

Jaroslav Hašek. Moje spověď. Spisy Jaroslava Haška, svazek XVI. Praha, Československý spisovatel, 1968.

К 85-летнему юбилею Ярослава Гашека (апрель, 1968) в Чехословакии вышел из печати XVI том собрания его сочинений. В нем — рассказы, созданные писателем по возвращении из Советской России.

Пять лет (1915—1920) провел Гашек в нашей стране, пять бурных лет, вобравших в себя две войны и две революции. Для Гашека — сначала военнопленного, затем легионера, а с весны 1918 года члена коммунистической партии и политработника Красной Армии — это были поистине переломные годы. Еще недавно бунтарь, анархист, «лидер» предвоенной пражской богемы, издевавшийся над всем и вся, он обрел в Советской России высокий революционный идеал, прошел школу «практической политграмоты».

Помощник коменданта города Бугульмы, заведующий редакцией фронтовой газеты «Наш путь», редактор и издатель ряда газет, выходивших на русском, чешском, венгерском, немецком и других языках; начальник Интернационального отделения Политотдела Пятой армии Восточного фронта, заместитель начальника Политотдела, депутат Иркутского горсовета...— таков в основных чертах послужной список Гашека — армейского политработника.

В рядах Пятой армии он сражался против Колчака в Поволжье и в Сибири, не переставая до последних дней печататься в многочисленных фронтовых газетах и бюллетенях.

Все это помогло Гашеку вырасти в большевистского политического руководителя крупного масштаба с большим опытом непосредственного общения с массами.

Вдохновленный победами Красной Армии над белогвардейщиной и интервентами, революционным подъемом в Европе, боями горняков Кладно, выступлениями рабочих в других промышленных центрах Чехословакии, он верил, что и на его родине «пожар пролетарской революции» сметет буржуазную республику.

С такими надеждами возвратился Гашек в декабре 1920 года в Прагу.

Но к этому времени обстановка в Чехословакии коренным образом изменилась. Буржуазному правительству республики удалось разгромить массовое революционное движение и установить режим жестокой диктатуры.

«Красный комиссар» Гашек оказался буквально во вражеском окружении. Его травила буржуазная и правосоциалистическая печать, преследовала полиция (еще не утратил силы ордер на его арест за «измену родине», выданный военно-полевым судом чехословацкого корпуса в Омске).

Укрывшись под маской «старого довоенного Гашека» — завсегдатая трактиров и пивных, писатель начал тяжелую борьбу за существование. Переход от возвышенной романтики революционных боев к этой изматывающей борьбе при непрекращающихся травле и преследованиях был слишком резким и гнетущим. В творчестве Гашека явственно зазвучали ноты горечи и боли.

Но они не заглушили, а скорее усилили остроту его сатиры. Пером сатирика он продолжал сражаться за те идеалы, которые еще совсем недавно отстаивал с оружием в руках. Явно изменился и облик его сатирических произведений. Наряду с гротеском, широко применявшимся писателем и раньше, он все чаще использует пародийную маску благонамеренного наивного обывателя — по существу швейковский прием издевательства под видом полного одобрения. Гашек научился виртуозно доводить до абсурда взгляды и высказывания своих противников, вскрыв тем самым их

несостоятельность, чтобы убедительнейшим образом их опрокинуть и осмеять.

Эти новые черты гашековской сатиры особенно четко обозначились в его «исповедях» — большой группе рассказов автобиографического характера («Как я встретился с автором некролога обо мне», «Возлюбим врагов наших», «Душенька Ярослава Гашека рассказывает: «Как я умерла» и другие). Недаром и весь том озаглавлен составителями по центральному произведению этого цикла «Моя исповедь».

«Моя исповедь» была ответом Гашека на травлю печати, обвинявшей его во всех смертных грехах: от «измены родине» до «зверских расправ над легионерами и русской интеллигенцией».

Писатель и не думал оправдываться.

«...Подтверждаю, что все обо мне написанное — правда. Я не только отпетый прохвост и негодяй, каким изображает меня газета «28 октября», а еще более страшный злодей...» — так начинает он свою «исповедь», нагромождая дальше одно на другое самые невероятные преступления, якобы им совершенные:

«В возрасте трех месяцев я укусил кормилицу...

В возрасте шести месяцев я съел своего старшего брата...

В три года я превосходил распутством всю пражскую молодежь... состоял в любовной связи с женой одного высокопоставленного лица...» и т. п.

Полна горестной иронии и суровой укоризны и юмореска «Душенька Ярослава Гашека рассказывает». Она была написана еще в Иркутске в августе 1920 года, когда до Гашека дошли сведения, что в Чехословакии неоднократно публиковались известия о его смерти и, в связи с этим, некрологи, порочащие его как писателя и человека.

Под впечатлением одного из таких некрологов, написанного его бывшим приятелем Ярославом Кольманом-Кассиусом и наполненного грубыми оскорблениями и бранью (Гашек назывался здесь «предателем», «шутом», «пьяницей с пухлыми детскими руками»), Гашек и создал «Душеньку».

Рассказав о своих бесчисленных «смертях», которые, однако, не давали права вступить за «небесные врата», так как не были подтверждены официальными документами, «душа» Гашека заканчивает повествование сообщением, что в конце концов ее все-таки «расстреляли и повесили» с соблюдением надлежащих формальностей — снабдив ордером военно-полевого суда.

Тогда она была допущена за «врата вечности». Но здесь ее ожидал строгий допрос: кем она была при жизни.

«Покраснев и склонив голову, я ответила:

— В тридцать пять лет у меня было за плечами восемнадцать лет прилежной плодотворной работы. До 1914 года я снабжала своими сатирами, юморесками и рассказами все чешские журналы. У меня был широкий круг читателей. Я заполняла целые номера юмористических журналов, прикрываясь всевозможными псевдонимами. Но мои читатели в большинстве случаев меня узнавали. Поэтому я наивно воображала, что была писателем.

— К чему эти длинные рассуждения! Кем была на самом деле?

Я смутилась. Нащупала в кармане некролог и прошептала в замешательстве:

— Извините, пьяницей с пухлыми руками.

...Тут меня поглотило море вечности...»

«Душенька» — одна из самых горьких «исповедей» Гашека, приоткрывающая завесу над трагической стороной его жизни, которую он всегда стремился тщательно упрятать от любопытных взглядов мещанской публики.

По манере письма «исповеди» непосредственно примыкают к «Швейку», над которым Гашек начал в то время работать.

В духе швейковского «всеприятия» действительности (временами куда более сатирически действенного, чем ее прямое осуждение) звучат и фельетоны Гашека, анализирующие социальные противоречия и политическую обстановку в Чехословакии: «Какие я писал бы передовицы, если б был редактором правительственного органа» и «Что я посоветовал бы коммунистам, если б был редактором правительственного органа «Чехословацкая республика».

Своеобразный налет мистификации — своего рода маскировка «под Швейка»,— характерный для этих рассказов и фельетонов, сближает их и с циклом юморесок, помещенном в предыдущем (XV) томе собрания сочинений, «Комендант города Бугульмы». Примечателен уже сам подзаголовок цикла — «О тайнах моего пребывания в России», иронически обыгрывающий стремление буржуазной публики к сенсациям, жажду получить «из первых рук» щекочущие нервы сообщения о зверствах большевиков», «оргиях красных комиссаров» и т. п.

Но писатель не оправдал этих чаяний. В непринужденной «самоироничной» манере, совмещая очень точно выписанные бытовые детали с гротескным изображением характеров и ситуаций, Гашек воссоздает здесь напряженную обстановку прифронтового города, первые шаги Советской власти, борьбу с белогвардейщиной, преодоление внутренних трудностей в рядах Красной Армии, связанных с изживанием партизанщины, анархии и самоуправства.

Такое совмещение гротескных ситуаций и типов с точным изображением обстановки в которой происходит действие, непосредственно перейдет затем в «Швейка».

Тот же прием использовал писатель еще в одной группе рассказов («Буржуй Рамзелик», «Идиллия винного погребка», «Кронштадт», «Муниципальные выборы» и некоторые другие), где он стремился возможно полнее и шире воспроизвести исторически неповторимый облик Чехословацкой республики первых лет ее существования, запечатлеть типичные приметы времени.

Это был уже прямой шаг к эпической широте «Похождений бравого солдата

Швейка» и присущему этой книге трезвому историзму. Недаром сам автор считал свою эпопею «исторической картиной определенной эпохи».

Большинство рассказов XVI тома уже переводилось в разное время на русский язык и публиковалось в различных сборниках. Но лишь собранные воедино (сюда нужно, разумеется, присоединить и рассказы с «русской тематикой» из XV тома), они дают возможность судить как о творческих поисках писателя, предшествовавших и сопутствовавших рождению «Швейка», так и о той обстановке, в которой он создавался, составляя своего рода дополнение и комментарий к прославленному роману.

XV и XVI тома собрания сочинений Гашека — результат плодотворного сотрудничества чешских и советских литературоведов. Если XV том (включивший в себя статьи и фельетоны Гашека, написанные им по-русски) создавался в значительной степени на основе советских публикаций и направленных в Чехословакию фотокопий материалов фронтовой печати 1919—1920 гг. (Я. Гашек. Рассказы. фельетоны., М., 1954; Я. Гашек. Статьи и фельетоны, написанные по-русски; Я. Гашек. Что станет с Чехословацкой буржуазной республикой?, «Волжская коммуна» № 29, 5. II. 1965 и др.), то рассказы XVI тома, представленные в наше распоряжение чешскими товарищами до выхода его в свет, дали нам возможность опубликовать лучшие послевоенные произведения Гашека в пятитомном собрании его сочинений, вышедшем в издательстве «Правда» в 1966 году.

С. ВОСТОКОВА

НОВЫЙ РОМАН ТО ХОАЯ

Tô Hoài. Miên Tây. Hà-nôi, Nhà xuât bãn Văn hoc, 1967.

О жизненной стойкости и духовной силе вьетнамского народа красноречиво говорит поток книг, которые написаны и изданы в ДРВ за последние годы, несмотря на обстановку военного времени, несмотря на огромные разрушения, вопреки фугасным, шариковым и другим американским бомбам. Среди этих книг видное место принадлежит новому роману То Хоая «Западный край».

Известный в нашей стране по переводу популярной детской книги «Приключения кузнечика Мена» и «Повести о северо-западном Вьетнаме», То Хоай в этом романе вновь обращается к северовьетнамским горцам. Писатель свой человек в этих краях: с походным мешком за плечами он прошел по горным тропам многие сотни километров в годы войны Сопротивления, изучил местные языки, полюбил народную поэзию горцев (впоследствии То Хоай переводил ее на вьетнамский язык). У самой границы Вьетнама с Лаосом, в горах, где живут вперемежку малые народы, такие как мео, са, лоло и другие, происходит действие его нового романа.

То Хоая увлекает задача художественного воспроизведения того переворота в жизни и сознании северовьетнамских горцев, который был вызван революцией. Образ автора-рассказчика придает особый колорит всему повествованию: в складе его речи есть красочность стиля народного сказителя, а в его восприятии окружающего — мышление вьетнамского горца, который еще живо, эмоционально относится к такому чуду, ставшему для нас обычным, как, например, самолет или транзистор.

То Хоай начинает с тех времен, когда на Северо-Западе властвовали французские «чиновные начальники крепостей» и местные «чиновные старосты». Читатель вместе с караваном китайского купца толстяка Цина («улыбающийся рот его был полон золотых зубов») отправляется на новогодний базар в горное селение Фиенгша, главное место действия романа.

Картина большого базара в Фиенгша — это панорама народного быта и противоречий народной жизни тех времен. «Стоило появиться каравану купца Цина, и Фиенгша на несколько дней становилось многолюдным рынком, раскинувшимся на каменной площадке вровень с хребтами соседних гор». Стайками стекались сюда девушки: по тропинкам, среди колючих зарослей, они шли в старых платьях, а возле самого базара прятались за скалами и оттуда выходили уже в праздничных нарядах. По базару бродили старики, некоторые из них каждый год приходили сюда в базарный день, но за всю жизнь так и не узнали вкуса соли. Соль, этот привозной продукт, у вьетнамских горцев считался роскошью: «соляной голод» был здесь обычным явлением, и это, может быть, как нельзя лучше свидетельствует о поистине трагической нищете местных жителей. В шалашах распо-

ложились курильщики опиума, иногда раздавались выстрелы — это покупатели опробовали ружья. Как обычно, появились на базарах сборщики податей, и, как обычно, их появление скорее напоминало нападение разбойников. Жестокость властителей в этих краях особенно страшна потому, что она обыденна и даже деловита.

Мелькающие одна за другой базарные сценки, безымянные персонажи, о которых рассказывается в спокойном повествовательном тоне, неожиданно меркнут, они уступают место эпизоду, который служит завязкой всего романа. Тревожные интонации звучат здесь. Размеренный шум базара нарушают громкие вопли: «Нечистая сила! Убить их!» Люди бросаются в погоню. Взрослые исступленно преследуют малышей.

В центре романа — жизнь этих ребят, их семьи, семьи изгоев. «Годами они не встречали ни души. Люди боялись их и обходили стороной, потому что в них вселилась нечистая сила. Занг Шуа и ее дети перебивались кое-как, подобно прокаженным или безнадежно больным, которых люди селения изгоняли в лес, чтобы они там ожидали своей смерти». Старшего сына, Тхао Ниа, еще подростка, угнали «вместо лошади» с купеческим караваном. Потом пришла весть, что караван ограбили, Тхао Ниа не вернулся.

Так и погибли бы в джунглях Занг Шуа и ее дети, если бы не грянула революция. В краю мео появились кадровые работники из долины. С винтовкой за плечами ушел второй сын Занг Шуа — Тхао Кхай. Минули годы, и сыновья возвратились. Тхао Кхай — в новенькой военной форме: он стал фельдшером, и его прислали работать в родные места. А старшего сына узнала Занг Шуа по шраму от медвежьей лапы на лице, когда однажды в селение привели диверсанта, заброшенного на парашюте и сдавшегося народной власти.

Тхао Кхай и Тхао Ниа встретились, но не как братья, а как враги. Эта нередкая на переломных этапах истории народа драматическая коллизия легла, например, в основу известного рассказа южновьетнамского писателя Фан Ты «Братья».

Тхао Кхай, как и председатель местного народного комитета кузнец Тоа и другие коммунисты Фиенгша, стремится насадить и сберечь ростки нового в жизни горцев. Молодой фельдшер спасает тяжело заболевшего ребенка, с честью выдержав при этом борьбу со знахарем-шаманом и людскими предрассудками. Он излечивает от пагубного порока односельчан, пристрастившихся к опиуму.

Но прошлое все еще недалеко, оно живо сегодня, совсем по соседству, по ту сторону границы с Лаосом, где обосновались под покровительством иностранной разведки бежавшие властители. На них работает Тхао Ниа, который притворился раскаившимся и вернулся домой. Он поддерживает по радио связь со своим «вероучителем» (сей прелат браво щеголяет в американской военной форме). Тхао Ниа готовится, спекулируя на невежестве горцев, собрать народ для того, чтобы устроить встречу «горному королю». Писатель рисует этого самозванного повелителя таким, каким его видит старый шаман: «...Посредине восседал он, лицо его было покрыто известью, на голове сияла высокая шапка, облачен он был в одеяние, расшитое драконами; по обеим сторонам стояли военачальники с разрисованными черной краской лицами, держа в руках мечи». Но, склонившись с благоговением до земли, простодушный шаман удивленно заметил, что у государя штанина рваная и что «его горное величество» ходит босиком, о чем бесспорно напоминали черные заскорузлые ступни. Подобные зловещие персонажи, которым нельзя отказать в живописности, встречались в истории Вьетнама последних десятилетий. Нгуен Туан в книге очерков «Черная река» рассказывает еще об одном «горном короле», тхайском марионеточном правителе Дао Ван Лаунге, который, кстати, люто ненавидел мео. По сей день сохранился его дворец со сверкающей крышей из американской жести, он высится в Лайтяу над Черной рекой, а на реке вздымается островок — Жемчужная скала, на котором в дни семейных торжеств правителя совершался благочестивый обряд: пленному или арестованному вспарывали живот и поедали его печень.

Чтобы взбудоражить и обмануть горцев, распространялись удивительные слухи о том, что «горный король» прилетит на «двенадцатиглавом самолете» и что вырастет дерево, которое накормит всех рисом, бобами, даст вдоволь опиума. (В 1954 году католиков-вьетнамцев на Севере их пастыри уверяли, что «бог ушел в Южный Вьетнам» и истинно верующие должны последовать за ним...)

Но расчеты на всеобщий мятеж среди мео не оправдались: немногие пришли в стан людей «горного короля», пробравшихся через границу из Лаоса. Даже одураченный старый шаман прозревает и пробирается через леса и горы, чтобы предупредить людей о налете бандитов. Душевные муки испытывает и Тхао Ниа — ведь он тоже одураченный. Тхао Ниа уходит в лес и пытается покончить с собой. Его вынимает из петли брат Тхао Кхай и передает в руки правосудия.

Большие перемены приходят в Фиенгша: открывается магазин (каждый волен теперь накупить сколько нужно соли и других товаров), больница, организуются бригады трудовой взаимопомощи. Стремясь оттенить это новое, То Хоай прибегает к композиционной симметрии: одна из последних глав романа тоже рассказывает о большом базарном дне в Фиенгша. Но атмосфера этого народного базара полна радости и дружелюбия. А место канувшего в вечность купца-грабителя теперь занимает государственный магазин, которым заведует Нгиа, вьетнамец из долины, воевавший здесь в годы Сопротивления.

Образ Нгиа, этого серьезного, всегда умеющего найти правильный ответ кадрового работника, несет в себе черты некоторой заданности. Нередко своими мыслями и поступками Нгиа лишь иллюстрирует то или иное положение. Даже любовь Нгиа к сестре Тхао Кхая, веселой студентке-медичке Ми, которая навсегда свяжет его с горным краем, в романе имеет значение не только жизненного факта, но и некоего символа.

Новый роман То Хоая при всем своеобразии национального колорита, при всей исторической и этнографической достоверности, знаменует собой не просто расширение географических рамок познаваемого литературой жизненного материала (без таких книг облик противоречивого и пестрого нашего двадцатого столетия не был бы запечатлен ею достаточно полно). В нем идет речь о неиссякаемой силе народа, пробужденного к новой жизни и готового ее защищать.

Н. НИКУЛИН

СОВЕТСКО-БОЛГАРСКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЯЗИ

Васил Колевски. Патосът на Октомври. Съветската литература в българския пролетарски и антифашистки литературен печат. 1917—1943. Отговорен редактор Ангел Тодоров. София, Издателство на Българската академия на науките, 1967.

Известный болгарский критик и литературовед Васил Колевский закончил свою десятилетнюю работу над обширным исследованием, посвященным месту и роли советской литературы в болгарской пролетарской и антифашистской печати. И вот перед нами этот труд, изданный Институтом литературы Болгарской академии наук под заглавием «Пафос Октября».

На более чем шестистах страницах убористого печатного текста расположились 17 очерков, которые, если их рассматривать воедино, дают анализ сложного историко-литературного процесса, охватывающего годы бурной политической жизни Болгарии, включающих в себя два антифашистских восстания, их тяжелые поражения и мрачную фашистскую реакцию (1917—1943).

Разумеется, трудно предположить, что ни один из вопросов, поднятых в работе Васила Колевского, ни одно из явлений, рассматриваемых в ней, не привлекали до сих пор внимание литературоведов. Эти вопросы и факты столь важны, что, конечно, они не могли пройти мимо литературной общественности. Васил Колевский имел предшественников (и он в своей работе с благодарностью называет их), однако большинство работ было посвящено отдельным писателям и отдельным проблемам. Между тем достаточно просмотреть обширные указатели, которыми Васил Колевский снабдил свой труд, чтобы понять, на каком колоссальном по своей широте материале построена книга.

Тщательно, на конкретном материале рассматривает Васил Колевский роль советской литературы, и, обращаясь к тому или иному автору, тому или иному произведению, он рассматривает по существу все литературные (как прогрессивные, так и реакционные) издания — да и политические — в той, разумеется, мере, в какой они касаются проблем литературы и искусства. Таким образом, читатель получает полное представление о том, какие явления советской литературы получили отклик в культурной и политической жизни Болгарии, какая шла вокруг них идейная борьба.

Каковы же эти имена и явления? К каким выводам пришел Васил Колевский?

Первое место по популярности в Болгарии бесспорно принадлежит М. Горькому. Он так глубоко вошел в жизнь болгарского народа, что, вероятно, каждый болгарин согласится со словами выдающегося критика-марксиста Георгия Бакалова, считавшего, что в Болгарии трудно говорить о Горьком, как об иностранном писателе. «Своим творчеством, своей деятельностью организатора и вдохновителя советских писателей Горький сыграл исключительно большую роль в приобщении многих честных болгарских писателей к социализму, к социалистическому реализму»,— пишет Васил Колевский.

Почти такой же популярностью, как Горький, пользовался в Болгарии Маяковский.

«Сам процесс борьбы за советскую литературу,— пишет Васил Колевский,— ускоряет объединение болгарских антифашистских писателей».

Плоды этого объединения наиболее явно сказались в годы второй мировой войны, когда болгарские писатели, подобно советским, все сделали, чтобы их родина стала свободной. Многие из них отдали за это и свою жизнь.

«И когда с помощью Советской Армии 9 сентября 1944 года болгарский народ добился освобождения, болгарские писатели стали под знамя БКП, отдавая свои силы, свой талант борьбе за торжество социализма в стране Ботева и Левского, Благоева и Димитрова. Для осуществления этой благородной миссии они пользуются опять-таки опытом советских писателей». На такой высокой ноте заканчивает Васил Колевский свою книгу, произведение и остропублицистическое, и глубоконаучное.

А. ОПУЛЬСКИЙ

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

Известный цейлонский писатель Мартин Викрамасингхе опубликовал в печати статью, посвященную жизни и творчеству М. Горького. Он называет Горького одним из величайших писателей современности.

Стамбульский литературный журнал «Еди тепе» один из своих номеров целиком посвятил М. Горькому, столетие со дня рождения которого широко отмечалось в Турции. В журнале помещена статья М. Горького о Стендале, воспоминания о великом русском писателе эссе турецкого критика и публициста Фикрета Адиля о значении Горького для мировой литературы, воспоминания турецких журналистов о визите М. Горького в Стамбул 15 мая 1933 года а также отклики, которые вызвала в Турции смерть писателя. В этой подборке, в частности, опубликована телеграмма Исмета Иненю, бывшего в то время премьер-министром Турции, в которой говорится: «Мое сочувствие по поводу тяжкой утраты, которую понесла советская литература, тем более глубоко, что я нахожусь под сильнейшим влиянием высоких идеалов и гуманизма Горького».

Большинство художественных произведений М. Горького переведено на турецкий язык. Издательство «Еди тепе» выпустило к юбилею под названием «Озорник» сборник рассказов писателя в переводе крупного мастера перевода, знатока русской литературы Хасана Али Эдиза.

В софийском издательстве «Народна култура» вышли пятый и шестой тома шеститомника избранных произведений М. Горького; в эти тома включены пьесы, статьи, речи и доклады писателя.

Там же изданы: роман К. Федина «Похищение Европы», повесть Г. Володина «Синий луч» и — во второй раз — повесть А. Беляева «Голова профессора Доуэля».

Болгарская газета «Лудогорска правда» поместила в отрывках повесть молодого азербайджанского писателя Али Агдашлы «Молодой адвокат».

Театр Народной армии в Софии показал инсценировку романа М. Шолохова «Они сражались за родину».

Рассказы Берды Кербабаева под названием «Цветы в пустыне» выпустил болгарский «Профиздат».

В парижском издательстве «Эдитер франсе реюни» вышли повести Ч. Айтматова «Материнское поле» и «Прощай, Гульсары!».

Роман белорусского писателя Ивана Мележа «Люди на болоте» выпущен варшавским Государственным издательским институтом (ПИВ).

Издательством «Эйнауди» впервые в Италии осуществлен выпуск полного перевода поэмы С. Есенина «Пугачев». Там же вышел сборник рассказов А. Платонова под названием «В поисках счастливой земли».

Пьесы М. Булгакова «Дни Турбиных» и «Иван Васильевич» выпущены итальянским издательством «Бомпиани».

В издательстве «Де Донато» вышел сборник пьес того же автора.

Итальянское издательство «Дедало» осуществило выпуск сборника литературных очерков Ю. Тынянова «Архаисты и новаторы».

Книга К. Станиславского «Работа актера над собой» выпущена издательством «Латерца» (Италия).

Под названием «Цель — Берлин» римское издательство «Эдитори риюнити» выпустило военные мемуары Маршала Советского Союза В. Чуйкова.

Книга Н. Чуковского «Водители фрегатов» вышла в Чехословакии в издательстве «Свет Совету».

Рассказы Л. Леонова выпущены издательством «Фольк унд вельт» (ГДР). «Этим сборником как бы подводится итог творчеству Леонова в жанре рассказа за пятьдесят лет»,— отмечает рецензент газеты «Берлинер цейтунг».

В этом же издательстве выпущены роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита», а также книга Д. Гранина «Месяц вверх ногами».

«Педагогическая поэма» А. Макаренко инсценирована в дрезденском «Театер дер юнген генератион».

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРАЛИЯ

МАСТЕРА КУЛЬТУРЫ ПРОТИВ ВЬЕТНАМСКОЙ ВОЙНЫ

Артисты, писатели, художники Австралии, встревоженные той ролью, которая отводится их стране в планах американского империализма в Юго-Восточной Азии, выступают с резкими протестами против политики своего правительства. Недавно в Мельбурне на собрании группы «Форум артистов, писателей и художников» было распространено «Заявление по вопросу о Вьетнаме», которое затем было опубликовано в печати. В заявлении сказано, что все подписавшие его «глубоко возмущены позицией Австралии в отношении Вьетнама». Война, которую США ведет во Вьетнаме, «аморальна и противозаконна,— говорится далее,— австралийское правительство своей политикой возлагает на граждан Австралии вину за преступления, аналогичные тем, за которые были осуждены военные преступники на Нюрнбергском процессе после окончания второй мировой войны».

В числе подписавших — широко известные в Австралии деятели культуры: художники — Бернард Раст, Питер Миллер, Рей Клементс и Клифтон Пью, актеры — Рей Тейлер и Глен Томэсетти, поэты — Клем Кристенсен и Ширли Кесс, литераторы — Джейнет Лори, Дэвид Уильямссон и Джон Хоусон.

Члены группы организуют публичные выступления против участия австралийских солдат во вьетнамской войне.

ВЫШЛА КНИГА ФРЭНКА ХАРДИ

Как уже сообщала «Иностранная литература» (см. № 6, 1968), известный австралийский писатель Фрэнк Харди закончил работу над новой книгой «Несчастные австралийцы». Недавно она вышла в свет. С болью и гневом Харди описал в ней тяжкую судьбу аборигенов — обитателей северных районов Австралии из племени гуринджи, подвергающихся жестокой эксплуатации со стороны хозяев и местных властей.

Книга документальна — она создана на огромном фактическом материале. Автор сумел показать, как противодействие аборигенов хозяевам, вначале стихийное, постепенно перерастает в сознательную, целенаправленную классовую борьбу. Харди описывает первую в истории аборигенов стачку. Гуртовщики, загонщики скота, выставили требования о повышении зарплаты, а когда хозяин отказался выполнить их справедливые гребования и учинил расправу над непокорными, призвав вооруженных наемников, племя снялось и ушло к священным пещерам своих предков. Они предъявили требование — чтобы им возвратили отнятую у них белыми пришельцами землю. На занятом ими клочке земли племя два года стойко ведет борьбу за свои исконные права...

Обозреватель газеты «Сан» Лоурис Оакес пишет, что книгу Харди, в которой все достоверно, нельзя игнорировать: это книга о вопиющей несправедливости.

АЛЖИР

ОБСУЖДАЮТСЯ ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ

В Алжире состоялся Первый общенациональный коллоквиум по вопросам развития культуры. В нем принимало участие около трехсот писателей, художников, кинематографистов, музыкантов, деятелей театра. Впервые в истории независимого Алжира широко обсуждался вопрос: какой должна быть молодая культура этой страны, каким целям призвано служить художественное творчество, каково место творческой интеллигенции в обществе, переживающем трудный этап национальной реконструкции?

Культура — не самоцель, заявил министр информации Алжира Мохаммед Бен Яхья, ее развитие не может быть изолировано от борьбы, которую ведет сегодня весь алжирский народ. Развитие культуры — задача всей нации. Деятели культуры несут ответственность за свой творческий труд перед всем народом.

Участники коллоквиума говорили о многих конкретных, подчас трудноразрешимых проблемах. Это и проблема репертуара национального театра, и проблема создания высокохудожественных программ для радио и телевидения, которые являются самыми эффективными проводниками культуры в стране, где большинство населения не умеет читать. Это и проблема создания повсюду в Алжире домов культуры, народных театров, а также проблема развития национального киноискусства и многое другое.

Было решено разработать новый устав Союза алжирских писателей, определить задачи писателя в алжирском обществе в соответствии с теми целями, которые ставит перед собой алжирский народ; учредить специальные премии за лучшие произведения литературы и искусства; для более эффективной борьбы с неграмотностью издать специальные учебники для взрослых; открыть по всей стране библиотеки, устраивать передвижные выставки алжирских художников. Обсуждался вопрос и об охране исторических памятников, в том числе наскальной живописи в горных районах Сахары — знаменитых фресок Тассили.

Отныне коллоквиум по вопросам культуры будет проходить в Алжире ежегодно.

ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ

Как сообщает печать, алжирское правительство издало указ, согласно которому все алжирцы, поступающие на государственную службу начиная с 1971 года, будут подвергаться экзаменам по арабскому языку.

В настоящее время, согласно данным алжирской статистики, число алжирцев, умеющих читать и писать на французском языке, превышает число читающих по-арабски. Такое положение создалось в результате долголетней политики колонизаторов, пытавшихся изолировать Алжир от других арабских стран и даже объявивших арабский литературный язык иностранным. Теперь арабский язык преподается в алжирских школах начиная с первого класса.

АНГЛИЯ

ДИСКУССИЯ В ЗРИТЕЛЬНОМ ЗАЛЕ

На сцене лондонского «Юнити тиэтр» при участии труппы «Картун арктайпикэл слоган тиэтр» (КАСТ) — театра карикатуры и плаката — осуществлена постановка новой пьесы драматурга Джона Ардена «Гарольд Мэггинс — жертва».

Герой пьесы Гарольд Мэггинс — владелец захудалого кафе, которое его заставляют продать дельцы покрупнее. Они превращают кафе в притон со стриптизом, с торговлей «живым товаром». Там собираются гангстеры, наркоманы и другие подонки общества. Поначалу создается впечатление, будто Гарольд Мэггинс, как жертва, достоин сочувствия. Однако автор убедительно показывает, что он такой же хищник, как те, что его проглотили, только помельче...

«Острие своей сатиры Арден направляет против современного капитализма в целом,— писал в газете «Морнинг стар» критик Боб Лисон.— Под огонь его словесной картечи попадают и крупные капиталисты, уничтожающие своих менее выносливых соперников, и правительство лейбористов, не считающееся с простыми людьми, и «бизнес секса», приносящий огромные доходы, и соперничающие банды гангстеров...»

Главные роли в спектакле исполняют Джон Арден и его жена — Маргарет Д'Арси. В интервью для пе-

Джон Арден в спектакле «Гарольд Мэггинс — жертва».
(Газета «Морнинг стар»)

чати Арден заявил, что цель его новой работы «дать непосредственный комментарий к событиям нашего времени». Он добавил, что всегда мечтал, чтобы его пьесы доходили до рабочей аудитории, а не только до традиционного театрального зрителя Вест-Энда, и именно поэтому он и просил «Юнити тиэтр» поставить его пьесу совместно с КАСТ.

Любопытно, что после одного из первых представлений молодым актерам из «Юнити тиэтр» и КАСТ удалось вызвать публику на дискуссию. «Обратите внимание,—писал Боб Лисон,— что это было уже не обсуждение пьесы, а разговор о нашей утонченной системе эксплуатации, ничего не имеющей общего с моралью. Вопрос ставился так: как избавиться от этой системы. И, пожалуй, разговор, состоявшийся между актерами и зрителями, был столь же важен, как и спектакль...»

ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА ПИСАТЕЛЯ

Корреспондент журнала «Букс энд букмен» обратился к известной писательнице Памеле Хэнсфорд Джонсон с вопросами, касающимися ее творчества и ее взгляда на литературную жизнь в стране и за рубежом.

«...Печально, но факт,— сказала писательница,— что у нас выходят произведения низкопробные, приучающие людей к мысли, будто моральная деградация — явление естественное и единственно достойное внимания. Подобная литература не просто бессмысленна, она ставит под угрозу общественную мораль и воспитание эстетических взглядов... Она внушает читателю, что для нашего времени характерен интерес лишь к порнографии, патологии и садизму».

«Принимая во внимание сказанное выше, какой совет вы могли бы дать начинающему писателю?»—спросил корреспондент.

«Прежде всего, я посоветовала бы ему привести в порядок свои чувства,— ответила Памела Хэнсфорд Джонсон. — Величайшей ошибкой, на мой взгляд, было бы утверждение: «Наша жизнь ни к черту не годится, мы идем к катастрофе, все черно, впереди лишь мрак». Столь же ошибочным было бы и противоположное суждение: «Все прекрасно, нам не о чем беспокоиться». Ни одна из этих предпосылок не может быть основой для создания подлинно художественного произведения».

Отвечая на вопрос о своих литературных встречах во время последней поездки в Советский Союз, писательница сказала:

«Больше всего там впечатляет читательское участие в литературном процессе. Мне хотелось бы, чтобы в Англии и США читатели относились к своим писателям с таким же интересом...» По словам Памелы Хэнсфорд Джонсон, на нее в высшей степени благоприятное впечатление произвел расцвет поэзии в Советском Союзе.

«Какова ваша заветная мечта, в чем вы видите смысл вашего творчества?»— спросил в заключение корреспондент.

«Мечта у каждого писателя своя, и вместе с тем, наверно, в ней есть что-то близкое всем,—ответила писательница.— Мне всегда хотелось написать такой роман, чтобы люди сказали: «Мы всегда чувствовали это, но не могли найти таких верных слов». Меня всегда интересовали люди в их общественных взаимоотношениях. Литература самокопания, литература самовлюбленности для меня совершенно неприемлема».

БОЛГАРИЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ 1967 ГОДА

Руководство Союза болгарских писателей присудило очередные литературные премии. Первым среди лауреатов названо имя старейшей болгарской поэтессы, 80-летний юбилей которой недавно отметила литературная общественность страны, Доры Габе; она удостоена этого звания за последнюю книгу ее стихов «Подожди, солнце». Это, по словам обозревателя еженедельника «Литературен фронт», стихи талантливого мастера, имеющего за плечами более полустолетия творческой деятельности; они тесно связаны с современностью и с традициями болгарской классической поэзии. Выступая на Первом съезде болгарских писателей, Георгий Джагаров назвал книгу стихов Доры Габе «одним из лучших сборников современной болгарской поэзии».

Литературными премиями были отмечены также стихотворные сборники—«Зимние воскресенья» Петра Караангова и «Ателье» Владимира Башева, недавно погибшего. На упомянутом писательском съезде критик Атанас Стоянов сказал, что сборник Владимира Башева «дает серьезные основания утверждать, что Болгария Сентябрьской революции, кипучего социалистического строительства, молодежных бригад и всенародного творческого подъема, Болгария, ведомая коммунистами, родила поэта, достойного своего класса, своего народа».

Из писателей-прозаиков премии был удостоен Николай Хайтов за сборник «Дикие рассказы». Герои Хайтова — люди, живущие в селах и небольших городах. Автор рассказывает об изменениях, которые происходят в их взглядах на жизнь под воздействием новых социальных условий современности.

Был удостоен премии и один из ведущих болгарских критиков и литературоведов Ефрем Каранфилов — за сборник «Творцы», являющийся третьим томом его широко задуманных критических работ под общим заголовком «Герои и характеры».

Две премии получили писатели Илия Волен и Атанас Далчев за произведения эссеистического характера «Мысль и слова» и «Фрагменты». Обе книги — плод наблюдений и раздумий не одного десятка лет. Они, по

словам обозревателя еженедельника «Литературен фронт», имеют большое историко-литературное и теоретическое значение.

ФЕСТИВАЛЬ «ИНТЕРВИДЕНИЯ»

В Софии состоялся Первый международный фестиваль телевизионных театров стран — членов «Интервидения». В фестивале приняли участие Центральное телевидение СССР, телевидение Украины, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Финляндии, Чехословакии, Югославии, Румынии.

Первую премию — «Золотую шкатулку» — международное жюри фестиваля присудило телевизионному спектаклю, представленному Центральным телевидением СССР,— «Учитель словесности» (по одноименному рассказу А. П. Чехова).

Болгарский киновед Анна Иванова, анализируя в еженедельнике «Народна култура» итоги фестиваля, дает постановке советского телевидения и актерскому мастерству Грибова и Кторова наивысшую оценку: «Постановка покоряет и мягкостью выразительных средств, и поэтичностью изображения жизни. Даже юмор, даже насмешка по-чеховски смягчены и деликатны. Но как будто именно благодаря этой деликатности мещанство выглядит здесь особенно безобразным и отталкивающим. «Учитель словесности» звучит остросовременно».

«Серебряную шкатулку» жюри присудило польской телевизионной постановке «Молодежь». Анна Иванова считает, что успех пьесе обеспечил не столько драматургический материал (автор Станислав Гроховяк), сколько глубина режиссерской мысли (режиссер Тадеуш Яворский) и зрелое актерское мастерство исполнителей.

«Бронзовую шкатулку» получила постановка Болгарского телевидения «Мир тесен», осуществленная режиссером В. Цанковым по пьесе Ивана Радоева.

Премия за телевизионную драматургию была присуждена постановке Венгерского телевидения «В пути».

Кадр из болгарской телевизионной постановки «Мир тесен».

(Еженедельник «Народна култура»)

Премию за режиссуру получили молодые финские постановщики фильма «Сирку» — Тимо Бергхольм и Осмо Харкимо. Премия за лучшее исполнение женской роли была присуждена актрисе Елене Вейгель, сыгравшей роль мадам Супо в пьесе Бертольта Брехта «Сны Симоны Машар» (телевидение ГДР); премия за лучшее исполнение мужской роли была разделена между актером Филипповым, сыгравшим роль Распутина в постановке «Крах» (Белорусское телевидение), и актером Руди Космачем, сыгравшим главную роль в постановке «Еретик Блаж» (Люблянское телевидение). Особо была отмечена постановка Пражской телевизионной студии «Тяжелое сердечное осложнение» — за поиски новых форм телевизионной драматургии и режиссуры.

Первый международный фестиваль телевизионных театров «Интервидения» прошел, по словам обозревателя еженедельника «Народна култура», как яркая демонстрация творческих достижений искусства социалистических стран.

«ТОЛСТОЙ И БОЛГАРИЯ»

Под таким заголовком в журнале «Читалище» опубликована статья Георгия Константинова, посвященная 140-й годовщине со дня рождения великого русского писателя. В ней рассказывается о том, как произведения Л. Н. Толстого попали в Болгарию, а также о влиянии его творчества на формирование болгарской патриотической литературы.

«Лев Толстой,— пишет автор,— самый известный и наиболее любимый писатель в Болгарии. У него учились все значительные болгарские писатели».

Первые вести о Толстом проникли в болгарскую периодическую печать непосредственно после освобождения из-под турецкого владычества. А в 1884 году в «Болгарской хрестоматии», составленной Иваном Вазовым и Константином Величковым, был помещен отрывок из «Войны и мира» в переводе Вазова. Первый полный перевод этого романа был сделан другом Вазова Михаилом Маджаровым и напечатан в 1892 году.

В 1888—1889 годах в журнале «Библиотека св. Климента» появился рассказ Толстого «Много ли человеку земли нужно» в переводе К. Никифорова.

Позднее Иван Вазов в журнале «Денница» опубликовал свои путевые заметки о России, где сообщал об оживленной полемике, вызванной появлением драмы Толстого «Власть тьмы».

«Вазов,— продолжает автор статьи,— оценивает творчество Толстого в целом как монументальное от-

ражение русской действительности, имеющее огромное познавательное значение, как энергичный призыв к свободе, правде и прогрессу. Вазов называет Толстого могучим гением, чья слава разносится по всему миру».

Георгий Константинов высказывает мнение, что под влиянием русской литературы, и в первую очередь произведений Толстого, Вазов задумал и начал создавать наиболее значительное свое произведение «Под игом», в котором отразил целую эпоху национальной жизни болгар. В этой книге, пишет автор, как и в «Войне и мире» Толстого, «главным положительным героем, носителем прогрессивного начала в истории и ее вершителем является народ».

По мнению Константинова, роман Толстого «Анна Каренина» также повлиял на Вазова. Это влияние он усматривает в «Казаларской царице». Герой этого романа Чакалов, по словам автора статьи, напоминает героя Толстого Левина.

БРАЗИЛИЯ

СТРОИТЬ ДЛЯ НАРОДА

Оскар Нимейер — один из немногих людей, удостоившихся памятника при жизни. Имя его вошло во все учебники по архитектуре. Построенные по его проектам красивые и оригинальные здания, в архитектуре которых использованы как национальные традиции, так и последние достижения мирового зодчества, украшают города не только Бразилии и американского континента, но также Европы и Африки.

Особенно Оскар Нимейер прославился при строительстве новой столицы своей родины — города Бразилиа. Генеральный план города был разработан градостроителем Лусио Костой, а проекты зданий — Оскаром Нимейером.

Человек передовых взглядов, активный общественный деятель, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» — Оскар Нимейер неоднократно заявлял, что считает своим долгом строить для народа. Трагедия его состоит в том, что ему довелось жить и работать в условиях капиталистического общества...

В беседе с одним журналистом Нимейер сказал: «Больше всего меня удручает то, что я всю жизнь вынужден работать на буржуазные правительства, на власть имущих. Наша идея с Лусио Костой сводилась к тому, чтобы строители новой столицы, рабочие, жили в этом городе, построенном их руками. Этого не произошло. Те, кто строил Бразилиа, живут за чертой города...»

В 1964 году, после военного переворота, Оскар Нимейер вместе с другими профессорами Национального университета в знак протеста подал в отставку. Властями был выдан ордер на его арест, однако использовать его не решились.

Всемирно известного архитектора лишили политических прав, но он не сдался. «Никто не имеет права,— заявил он в беседе с корреспондентом журнала «Маншете», — отстраняться от политики, особенно в нашей стране, стране противоречий и бедности. Можно ли забыть о социальных вопросах, если удел большинства наших братьев — голод и отчаяние?»

Оскар Нимейер не прекращает своей творческой деятельности. В настоящее время по его проектам сооружается здание ЦК Французской компартии в Париже, ведется строительство в городе Грассе на юге Франции, строится международная выставка в Ливане.

ВЕНГРИЯ

НОВАЯ ВСТРЕЧА С «МАЛЬЧИШКАМИ С УЛИЦЫ ПАЛА»

Корреспондент журнала «Фильм-синхаз-мюжика» сообщает о выходе на экраны нового художественного фильма «Мальчишки с улицы Пала», поставленного известным режиссером Зол-

Кадр из фильма «Мальчишки с улицы Пала».
(Журнал «Фильм-синхаз-мюжика»)

Режиссер Золтан Фабри.

таном Фабри по одноименному роману классика венгерской литературы Ференца Молнара. Можно без преувеличения сказать, пишет корреспондент, что эту увлекательную книжку знают во всем мире, она издана на английском и болгарском, чешском и русском, эстонском и финском, польском и молдавском, французском и литовском, немецком и армянском, румынском и испанском, сербском и украинском языках. Поэтому экранизация романа — событие большое и радостное не только для Венгрии.

Сердечно и тепло рассказывает фильм о немудреных детских играх, о формировании ребячьих характеров, о том, как складываются отношения подростков к жизни. Экранизация произведения, затрагивающего благородную тему долга перед родиной, по словам корреспондента «Фильм-синхаз-мюжика», сегодня особенно своевременна.

Главные роли в фильме исполняют венгерские школьники.

ВЕРХНЯЯ ВОЛЬТА

ПРАЗДНИК КУЛЬТУРЫ

В столице Республики Верхняя Вольта — Уагадугу — праздновался День независимости. Просторный зал Дома народа был переполнен, там проходил конкурс искусств — первый в республике смотр вольтийской культуры, подготовленный Кружком литературно-художественной деятельности Верхней Вольты (КАЛАХВ). Он объединяет представителей молодой вольтийской интеллигенции. Закон членов Кружка — постоянно работать творчески, развивать традиции африканской культуры. Со всех концов страны на конкурс съехались лучшие коллективы художественной самодеятельности...

Вот на сцену вышли гордые туареги, вышли всем стойбищем. На лицах — повязки до самых глаз, у бедра — мечи в разрисованных кожаных ножнах. Они таким плотным кольцом окружили своих танцоров, исполнявших танец «Удалан», что конферансье, известному вольтийскому журналисту, роману и поэту Роже Никьеме, пришлось обратиться к сынам пустыни с просьбой посторониться, чтобы зрители тоже имели возможность увидеть танец.

Одни за другими поднимались на сцену представители племен. Обнаженные до пояса девушки народа мосси, самого крупного племени Вольты, с удивительным чувством ритма исполнили танец «траблез». Зрители горячо приветствовали джаз из города Бобо-Диуласа, показавший свое великолепное искусство.

Перед зрителями выступило более 150 поэтов, прозаиков, выступали также художники, скульпторы, резчики по дереву и слоновой кости, певцы, театральные труппы из самых разных уголков страны. Победителям конкурса были вручены награды. При вручении наград присутствовал президент Республики Верхняя Вольта Сангуле Ламизана.

Кружок литературно-художественной деятельности Верхней Вольты, созданный в феврале 1967 г., выпускает ежеквартальный журнал «Визаж д' Африк» («Образы Африки»), в котором затрагиваются проблемы развития африканской культуры. В журнале уже были опубликованы стихи Огюстена-Зонде Кулибали, Роже Никьемы, Колла Джима, Ламуссы Ямеого и других поэтов, а также большие критические статьи.

ГДР

Пьесу Юрия Брезана «Зрелые годы», созданную автором по мотивам третьей части его трилогии о Феликсе Хануше, поставил недавно Дрезденский Государственный театр. «Для трилогии о Феликсе Хануше характерны народность, реализм, поэтичность, юмор,— писал рецензент газеты «Берлинер цейтунг»,— «Зрелые годы» Брезана — еще один успех Дрезденского театра в его пропаганде современной драматургии». На снимке: сцена из спектакля.

(Еженедельник «Зоннтаг»)

ЭКРАНИЗАЦИЯ РОМАНА АРНОЛЬДА ЦВЕЙГА

Широкоизвестный роман Арнольда Цвейга «Спор об унтере Грише» недавно экранизирован. Гейнц Каминцер и Гельмут Шимон создали по роману телевизионный фильм в двух сериях.

«Зрители увидят на экране нечто большее, чем судьба одного человека во время первой мировой войны,—пишет рецензент газеты «Берлинер цейтунг».— История тесно переплетается с современностью. Возникающие ассоциации способствуют познанию сегодняшней действительности».

А вот мнение обозревателя газеты «Нейес Дейчланд»: «В этом фильме отражены основные веяния того времени — стремление к миру русских и немецких рабочих, одетых в солдатские шинели. Фильм сделан с большим чувством ответственности. Это позволяет надеяться, что и другие романы Цвейга из серии «Большая война белых людей» найдут свою вторую жизнь на немецком телеэкране».

ГОЛЛАНДИЯ

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПИСЬМА

Более полувека как священную реликвию хранит 80-летний житель города Амстердама Альберт ван-Пердек письмо, полученное от Льва Толстого.

История этого письма такова.

В 1910 году выпускник Амстердамского университета, а затем переводчик пароходной компании «Вапорос» в Аргентине Альберт ван-Пердек увлекся философскими воззрениями Льва Толстого. Он решил написать письмо в Ясную Поляну. В письме Альберт ван-Пердек выражал свое восхищение великим русским гуманистом, сообщал, что и в далекой Южной Америке у него есть последователи. Ван-Пердек, свободно владевший испанским и итальянским языками, интересовался, какие книги Толстого переведены на эти языки.

Многие сослуживцы ван-Пердека сомневались, что Толстой ответит безвестному юноше.

Но из далекой России в Аргентину пришел ответ.

«Мне было чрезвычайно приятно узнать,— писал Толстой,— что есть человек, который понимает жизнь совершенно так же, как я.

Я ничего не знаю об испанских переводах моих сочинений. Относительно же итальянских переводов я запросил Джусто Витали (Рим, Пьяцца ди Петро, 31, Италия), прося его ответить вам непосредственно. Кроме того, я обращаю ваше внимание еще на то, что я ценю очень «На каждый день» и советую вам читать эту книгу. Лев Толстой. Кочеты».

Письмо датировано 25 августа 1910 года. А через три месяца Толстого не стало.

Чтобы уберечь письмо от возможной порчи, Альберт ван-Пердек сдал его на хранение в один из банков, где оно находится в специальном сейфе. Дома же у него есть копия, которую ван-Пердек с гордостью показывает друзьям и знакомым.

ДРВ

«Монтажница»—рисунок художника Зианг Хыонга.
(Журнал «Вьетнам»)

ИЗРАИЛЬ

СВОБОДУ МАХМУДУ ДЕРВИШУ!

Всеобщая федерация писателей Палестины, объединяющая арабских писателей палестинского происхождения. опубликовала заявление, в котором выражается протест против ареста поэта Махмуда Дервиша израильским властям. М. Дервиш — крупнейший представитель поэзии арабского национального меньшинства в Израиле. В своих ярких, своеобразных по форме стихах он рисует подневольное положение арабов в Израиле и зовет их на борьбу. Стихи поэта (им издано несколько сборников) печатаются главным образом не на его родине, а в Ливане и ОАР. Часть стихотворений поэта была опубликована в израильских прогрессивных изданиях как на арабском языке, так и в переводе на иврит. Имя Махмуда Дервиша известно и советскому читателю: несколько его стихотворений было помещено в вышедшей два года тому назад книжке «Поэты Израиля».

Писатели-палестинцы обращаются в своем заявлении к интеллигенции всего мира, призывая ее поднять свой голос против преследования поэта, против подавления свободной мысли в Израиле.

ИРАК

«ЛИТЕРАТУРНАЯ ПОЧТА»

По сообщениям арабской прессы, в Багдаде начала издаваться еженедельная газета «Литературная почта», посвященная вопросам литературы и искусства. Газета выходит на арабском и английском языках.

ИТАЛИЯ

КОММЕРЦИЯ И КУЛЬТУРА

«Культурная индустрия фальсифицирует литературные премии», «Стрега» пре-

дана» — под такими заголовками римская печать обсуждает парадоксальное положение, сложившееся в комитете по присуждению премии «Стрега» после отказа участвовать в ее соискании писателей Пьера Паоло Пазолини и Антонио Борелини и выхода из состава жюри Альберто Моравиа. Вслед за Пазолини и Борелини отказался участвовать в соискании премии и Чезаре Дзаваттини, чья книга «Слова через край» вышла в финал конкурса. Таким образом, из пяти «финалистов» трое заранее отказались от премии, ибо присуждение ее проводится под нажимом издателей, литературных группировок и превратилось в рекламно-коммерческое мероприятие.

В статье, опубликованной в газете «Джорно», Пазолини так объясняет мотивы, которыми он руководствовался: «Нарушая существующий порядок, я снимаю свою кандидатуру на этом этапе в знак протеста против вмешательства промышленника-издателя в вопросы, которые я в силу давней привычки все еще считаю не относящимися к компетенции промышленников. Это вмешательство ведет к созданию ложных ценностей и уничтожению истинных. Именно к уничтожению, ибо неокапитализм не церемонится, как это показывает пример реакционной Америки. В ходу негласные указания и сделки. Об этой книге можно говорить, а ту надо замалчивать, эта книга должна получить премию, а та — нет. Горе тебе, редактор журнала, если ты поместишь благожелательную рецензию на такую-то книгу. А если ты, писатель, не напишешь хвалебную рецензию на такую-то, ты мне за это заплатишь: ни один из моих иллюстрированных журналов больше ни словом не обмолвится о тебе. Ты, литератор, друг такого-то литератора? Что же, предай его, иначе тебе не заключить нового договора с моим издательством. Ты входишь в состав жюри? Голосуй же, за кого я скажу, или я занесу тебя в проскрипционный список. Вот что, возьми эти деньги и голосуй, за кого я велю. С грустью вспоминаешь былые времена, когда делегация читателей — выборщиков премии «Стрега» — отправлялась к писателю (хорошему) и просила его снять свою кандидатуру, потому что дочь другого писателя (тоже хорошего) выходит замуж и миллион лир надо отдать ей. Теперь книжная индустрия стремится сделать книгу таким же товаром, как и всякий другой, и ей не нужны хорошие писатели. А это вполне отвечает запросам новых буржуа, ставших хозяевами положения: они отдают предпочтение чисто развлекательной, эскепистской и мнимоглубокомысленной литературе».

Пазолини не изменил своего решения отказаться от участия в конкурсе, несмотря на заверения членов жюри, что в будущем году будет введен новый порядок присуждения премии «Стрега», обеспечивающий более высокий уровень принимаемых на конкурс произведений.

Со своей стороны Антонио Борелини заявил: «Я первый выразил в письме к моему издателю удивление и протест, которые вызывает у меня укоренившийся у многих читателей — выборщиков премии «Стрега» — обычай голосовать, руководствуясь не велением совести, независимым суждением и качеством произведения, а критериями круговой поруки, дружеских отношений и связей».

В римском выставочном зале «Нуова Пеза» открылась выставка картин итальянского художника-патриота Артуро Натана, убитого нацистами в концентрационном лагере во время второй мировой войны. Со многими работами этого талантливого художника посетители выставки смогли ознакомиться впервые.

На снимке: фрагмент картины «Ссыльный».

(Еженедельник «Ринашита»)

КИТАЙ

В ПОХОД ПРОТИВ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Маоисты дошли до отрицания самого принципа профессионального творчества. Солдат-отличник Ли Цзинь заявляет: «Рабочие, крестьяне и солдаты должны оккупировать арену литературы». Маоисты понимают это буквально: они хотят писать сами.

«У кого больше всего знаний?» — вопрошает Ли Цзинь и тут же поясняет, что больше всего знаний у тех, «чьи мозги вооружены всепобеждающими идеями Мао Цзэ-дуна». Ли Цзинь не согласен с тем, что творческий успех находится во взаимосвязи с культурным уровнем творца. Эту мысль он называет «контрреволюционной», «враждебной диктатуре пролетариата», объявляет ее ревизионистской логикой. Он против интеллигенции, как «духовной аристократии», он за писателей - непрофессионалов, совмещающих физический труд с «пропагандой идей Мао Цзэ-дуна». А что касается художественных достоинств, то тут Ли Цзинь ссылается на слова официального преемника Мао

Цзэ-дуна Линь Бяо, что «мастерство стоит на третьем месте». Властям требуется лишь бесконечное и бессмысленное повторение идей «Председателя Мао».

Но как же быть в таком случае с интеллигентной молодежью? Некая Фань Сюлянь предлагает послать ее в деревню «пропагандировать идеи Мао Цзэ-дуна». В этом у маоистов уже есть достижения. Счетовод из деревни Тяньцунь с гордостью рапортовала в газете, что «в охваченной великой культурной революцией деревне Тяньцунь все, от веселых бесхитростных ребятишек до убеленных сединами стариков, научились петь «Алеет Восток», «В открытом море не обойтись без кормчего» и положенные на музыку цитаты «Председателя Мао».

Вот к чему сведена роль молодой интеллигенции в маоцзэдуновском Китае...

КУБА

АНТОЛОГИЯ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ПОЭЗИИ

В гаванском издательстве «Институт книги» недавно вышла из печати большая антология «Кубинская поэзия 1959—1966». Том, содержащий около девятисот страниц, включает произведения сорока поэтов революционной Кубы Каждое стихотворение приведено на языке оригинала и в поэтическом переводе видного гаитянского поэта Рене Депестра на французский язык.

«Мы выбрали период со дня победы революции и до наших дней,— пишут составители антологии известные поэты Эберто Падилья и Луис Суардиас,— потому, что именно в это время произошел крутой поворот в жизни и творчестве наших поэтов, и можно легко заметить, как поэзия, созданная в течение этих последних лет, резко отличается от той, которая господствовала в значительной части нашей литературы. Нынешняя поэзия открыла новые средства выражения, новую действительность, новую жизнь... Каждый поэт представлен такими произведениями, которые, по нашему мнению, являются наиболее характерными для его творчества... Сорок поэтов, включенных в эту книгу, принадлежат к четырем творческим поколениям, представляющим современную кубинскую поэзию: поколение, сплотившееся в двадцатых годах вокруг журнала «Ревиста де авансе»; поколение, сотрудничавшее в журнале «Орихинес» сороковых годов; так называемое поколение революции, выросшее в ее огне, и второе поколение революции, которое заявило о себе после 1966 года».

Мануэль Наварро Луна и Николас Гильен, Феликс Пита Родригес и Хосе Лесама Лима, Роберто Фернандес Ретамар и Файяд Хамис, и только что вступившие в литературу Виктор Касаус и Нанси Морехон — вот только несколько имен современных поэтов революционной Кубы, включенных в эту антологию.

ЛИВИЯ

СТРОЯТСЯ ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ И УНИВЕРСИТЕТ

В современной Ливии, бывшей одной из самых отсталых стран Африки, много делается для развития культуры и искусства. Особое внимание уделяется театральному искусству. В Ливии сейчас имеется уже несколько национальных театральных трупп, которые ставят как пьесы местных авторов, так и произведения египетских драматургов. Скоро в Ливии будет и своя опера.

По сообщениям арабской прессы, в обоих столичных городах Ливии — Триполи и Бенгази (согласно конституции, в Ливийском королевстве — две столицы) сооружаются здания оперных театров.

Кроме того, в восточной столице Ливии г. Бенгази строится университет. (В г. Триполи университет уже действует.)

МАРОККО

МУЗЫКАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ ИСПАНСКИХ МАВРОВ

Как известно, арабо-берберы, или, как их называли в средневековой Европе, мавры, с VIII по XIII век н. э. владели большей частью Пиренейского полуострова. При них города Кордова, Толедо, Севилья и Малага превратились в крупнейшие центры просвещения, науки и искусства.

Культура Марокко развивалась в тесном взаимодействии с культурой мусульманской Испании. После того как христианские короли Испании отвоевали у мавров их земли на Пиренейском полуострове, многие из них переселились в Северную Африку, принеся с собой высокую культуру земледелия, великолепную архитектуру, рафинированную поэзию и музыку. Музыка испанских изгнанников — мавров до сих пор продолжает жить в Марокко, Алжире и Тунисе. Она известна там под названием «андалусской». Под аккомпанемент древних инструментов певцы — хранители андалусской музыки исполняют мелодичные песни на полузабытом наречии испанских мавров. Но таких певцов становится все меньше и меньше, древним традициям угрожает забвение. С целью предотвратить окончательное их исчезновение в Марокко и Алжире созданы общества любителей андалусской музыки.

Недавно, по сообщениям арабской прессы, в Марокко состоялось специальное совещание работников культуры под председательством министра просвещения, на котором были обсуждены меры по сбору и сохранению произведений андалусской музыки. Было решено оказать помощь марокканскому Обществу любителей андалусской музыки в этой работе.

МЕКСИКА

ПИСЬМО КАРЛОСА ФУЭНТЕСА

Автор известного советским читателям романа «Смерть Артемио Круса», впервые напечатанного в журнале «Иностранная литература» (№№ 7, 8, 1965), мексиканский писатель Карлос Фуэнтес опубликовал в журнале «Сьемпре» открытое письмо, в котором отклоняет полученное им приглашение участвовать в «Форуме латиноамериканских писателей», созываемом в декабре этого года в Нью-Йорке «Ассоциацией современного языка Америки».

«В наши дни невозможно без ущерба для собственного достоинства получить визу на въезд в Соединенные Штаты для участия в указанном форуме,— пишет Карлос Фуэнтес.— В нынешних условиях североамериканский государственный департамент поступил бы правильно, отказав мне во въездной визе. Я не принадлежу и никогда не принадлежал к коммунистической партии, как это утверждает госдепартамент. Но я действительно принадлежу к широким кругам той интеллигенции, которая внутри и вне пределов Соединенных Штатов оппозиционна по отношению к империалистической политике правительства Вашингтона... Пока эта политика существует в самых нетерпимых проявлениях — блокада Кубы и постоянная угроза ее завоеваниям, непрекращающийся геноцид во Вьетнаме,— наиболее приемлемые отношения с революционными писателями и деятелями искусств Соединенных Штатов должны заключаться не в молчаливом посещении их страны под надзором североамериканской генеральной прокуратуры, а в выражении им солидарности извне. И, прежде всего, я считаю своим долгом отвергнуть условия — столь же смешные, сколь и оскорбительные,— выдвигаемые североамериканскими властями при выдаче виз».

ЭАР

ПРЕМИИ ДЕЯТЕЛЯМ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

Как сообщает журнал «Аль-Адиб», Высший совет по делам искусств, литературы и общественных наук в Каире присудил государственную премию за заслуги в области искусств знаменитой египетской певице, исполнительнице патриотических и народных песен Умм-Кульсум Ибрахим.

Кроме того, присуждено девять поощрительных премий по искусству и литературе. Поощрительная премия по литературе (жанр художественной биографии) присуждена египетскому поэту и историку литературы Мухаммеду Абд аль-Гани Хасану за его книгу «Ахмад Фарис аш-Шидьяк». Как писал иорданский критик аль-Бадави аль-Муляссам в журнале «Аль-Адиб», эта книга — наиболее полное исследование, посвященное аш-Шидьяку — талантливому писателю и интереснейшему деятелю арабского Возрождения в XIX веке.

ПОЛЬША

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ

Присуждены Государственные премии в области литературы в честь Дня возрождения Польши. Первой премии за литературную деятельность в целом удостоен известный польский писатель Тадеуш Бреза. Как пишет рецензент газеты «Жице Варшавы», «Тадеуш Бреза — один из тех немногих писателей, которые очень точно определили для себя круг проблем и остаются им верны; каждая новая книга служит подтверждением верности писателя избранной теме». Советскому читателю он известен своим романом «Бронзовые врата».

Вторая премия присуждена профессору Вацлаву Кубацкому за роман «Грустная Венеция» и два тома эссе: «На сцене» и «В воображении». Равноценная премия присуждена Еугениущу Паукште за романы, которые посвящены проблеме освоения Западных Земель. Мариан Пехаль получил вторую премию за поэтическое творчество в целом.

ГОЛОС ПИСАТЕЛЕЙ

В промышленном сердце Польши, в городах Верхней Силезии — Катовицах и Яшовце прошел XI съезд писателей Западных и Северных Земель. В статье писательницы Барбары Навроцкой, опубликованной газетой «Трибуна люду», подчеркивалось особое значение этого съезда в нынешней общественно-политической обстановке в Польше. «Во-первых, съезд писателей состоялся незадолго до V съезда ПОРП, в обстановке предсъездовской дискуссии, которая ведется на многих участках нашей идеологической борьбы, в том числе в литературе,— писала Барбара Навроцкая.— Во-вторых, этот съезд был первой общепольской встречей писателей после чрезвычайного общего собрания варшавских литераторов, созванного по инициативе части этой писательской организации в связи с так называемым «делом «Дзядов».

Барбара Навроцкая далее отметила, что писатели Западных и Северных Земель живут и творят в особых условиях, связанных с тем, что эти Земли служат объектом реваншистских устремлений западногерманских неонацистов. Этим в известной мере определяются творческие задачи писателей Западных и Северных Земель.

На съезде было сделано три основных доклада. Так, Ян Пежхала говорил о теме труда в польской литературе и призвал участников съезда посвятить свой писательский труд созданию высокохудожественных произведений о рабочем классе.

С докладом выступил также Вильгельм Шевчик, который рассказал собрав-

шимся о переводах произведений польской литературы в Федеративной Республике Германии. Переводы польских произведений за рубежом — явление отрадное, сказал Вильгельм Шевчик. Однако в ФРГ многие издатели при отборе книг польских авторов для перевода руководствуются зачастую целями, не имеющими ничего общего с культурным обменом. Они преследуют далеко ведущие политические цели, подчеркнул Шевчик.

В ФРГ не издают книг тех польских авторов, которые недвусмысленно высказываются в пользу Польши социалистической. В то же время литература, которую можно толковать превратно, в которой можно доискаться скрытого смысла, охотно используется западногерманскими идеологами.

С вниманием участники съезда выслушали доклад Анджея Василевского, положивший начало дискуссии о том, какой должна быть современная польская литература. Польские писатели мало пишут о современной жизни польского общества, сказал докладчик. Именно в этом состоит один из основных недостатков современной польской литературы, который предстоит преодолеть.

«В работе съезда писателей Западных и Северных Земель,— писала в заключение Барбара Навроцкая,— принимали участие писатели разных взглядов — и все они выразили единодушное убеждение, что нет патриотизма без социализма, что «вне социализма» нет и не может быть Польши, самостоятельно строящей свою жизнь».

ЧЕГО ЖДУТ ЧИТАТЕЛИ

Литературовед Рене Сливовский выступил в молодежном журнале «Вспулчесность» со статьей об интересе к переводам русской и советской литературы в Польше. По словам автора статьи, в Польше за годы народной власти сделано очень многое для того, чтобы польский читатель смог по достоинству оценить русскую и советскую литературу. «Лучшие переводчики — прозаики и поэты — познакомили нас с великой классикой, начиная с ее первых шедевров, таких как «Слово о полку Игореве» в переводе Юлиана Тувима, вплоть до современной прозы и поэзии»,— писал Сливовский.

Интересуют польских читателей и разного рода популярные очерки, статьи и монографии о литературе народов СССР. Автор отметил, что существует необходимость в издании монографий, посвященных жизни и творчеству Горького и Шолохова, Алексея Толстого и Федина, а также других широко издаваемых в Польше писателей.

В связи с предстоящим в январе 1970 года столетием со дня смерти Александра Герцена, которого Сливовский называет замечательным публицистом, мыслителем, революционным деятелем и испытанным другом Польши, ратовавшим за союз польских и русских революционеров, автор статьи предлагает переиздать «Былое и думы». Было бы неплохо, заметил он, напомнить о деятельности Герцена в защиту Польши и возобновить сборник документов «Герцен и Польша». Несомненно, читателей заинтересовали бы и избранные письма редакторов «Колокола» к деятелям польского национально-освободительного движения.

Писатели из Дании и Швеции на книжной выставке во время писательской встречи в Гданьске.

(Еженедельник «Польское обозрение»)

ВСТРЕЧА В ГДАНЬСКЕ

Встреча писателей, критиков, переводчиков и издательских работников Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции и Польши состоялась в Гданьске. В ней принимали участие президент Датского союза писателей Йорген Вибе и председатель Союза норвежских писателей Карл Ф. Притц.

Польские писатели выступили на встрече с докладами. Так, Войцех Жукровский посвятил свое выступление роли и ответственности писателя в современном мире, а доклад Михала Русинека носил название «Сфера распространения польской литературы с особым учетом взаимных переводов польской и скандинавских литератур».

В ходе дискуссии по этим докладам писатели Польши и Скандинавии обменялись мнениями о месте писателя в современном мире, а также обсудили планы дальнейших польско-скандинавских литературных контактов. Обе стороны высказа-

лись за более тесное сотрудничество — особенно в области переводов и распространения книг — между польскими и скандинавскими писателями.

В дни встречи в Гданьске состоялась выставка «Польская литература в Скандинавии и польские переводы скандинавской литературы».

США

КАК ЗАВОЕВЫВАЛСЯ «ДИКИЙ ЗАПАД»

Осси Дейвис — американский негритянский писатель, актер и общественный деятель. Недавно он снялся в фильме «Охотники за скальпами», в котором сыграл роль беглого раба.

На вопрос корреспондента газеты «Нью-Йорк таймс», что ему понравилось в фильме и почему он согласился играть такую роль, Дейвис ответил: «Главным образом мне понравилось в этом фильме то, что он дает совершенно новую для Америки концепцию того, кто и за чьими скальпами охотился во время завоевания «Дикого Запада». У нас принято думать, что индейцы охотились за скальпами белых. Между тем, в этом фильме охотники за скальпами — это банда белых головорезов под предводительством Тэдди Саваласа, которые с благословения американских властей за 25 долларов в день охотятся за скальпами индейцев. Вот как завоевывался наш Запад: индейцев травили и убивали, как диких животных. И вот почему мне нравится фильм — в нем есть правда, полезная правда».

Выступая в Нью-Йорке на собрании «Конвенции за свободу и мир» Осси Дейвис, обращаясь к белым и черным американцам, сказал: «Братья, все мы — белые и черные — должны быть смелее, должны громче заявлять о наших требованиях, в нас должно быть больше уверенности, мы должны верить в себя и в будущее не только нашей страны, но и всего человечества».

Осси Дейвис выступает на собрании «Конвенции за свободу и мир».

(Газета «Уоркер»)

ТРЕВОГА В ШТАБ-КВАРТИРЕ «ГОЛОСА АМЕРИКИ»

Господин Джон Дели, нынешний директор пресловутого «Голоса Америки» пребывает в прескверном расположении духа. Недавно он, как сообщил еженедельник «Ньюсуик», совершил разведывательную поездку по странам мира, желая выяснить, сколь эффективна работа вверенной ему пропагандистской машины. У господина Джона Дели были все основания надеяться, что 92 передатчика, которыми располагает «Голос Америки» как на территории США, так и в других районах мира, доносят до широкого круга слушателей ту информацию, которую стряпают в штаб-квартире «Голоса» в Вашингтоне.

Что касается технической стороны дела, то, действительно, информация доходит. Однако господину Джону Дели, как пишет об этом еженедельник «Ньюсуик», пришлось убедиться, что назойливое восхваление «американского образа жизни» и тенденциозный подбор и подача информации вызывают протесты у слушателей «Голоса Америки» даже в западных странах.

«Мы далеко не уйдем, извращая новости,— заявил Джон Дели по возвращении в США.— Существует немало других организаций, которые поставляют добротную информацию».

Еженедельник «Ньюсуик» пишет в связи с этим признанием, что один из основных конкурентов «Голоса Америки» — Московское радио. Там же приведено нелестное мнение о передачах «Голоса Америки» группы африканских слушателей.

Миллионы людей во всем мире предпочитают более правдивые и надежные источники информации.

ТУРЦИЯ

СМЕРТЬ НА ДОПРОСЕ

Владелец прогрессивного турецкого издательства «Гюн» Мехмет Али Эрмиш выпустил последнее произведение Назыма Хикмета роман «Жизнь — великолепная штука, браток!» (В русском переводе роман известен под названием «Романтика»).

Стамбульская прокуратура конфисковала тираж книги и возбудила против издателя уголовное дело. Это была пятая книга издательства «Гюн», конфискованная властями.

Во время допроса Мехмет Эрмиш скончался.

Стамбульский журнал «Еди тепе» писал: «То, что произошло с ним, может случиться с любым гражданином нашей страны... Основав издательство, М. А. Эрмиш за короткий срок выпустил много полезных и прекрасных книг. Мы потеряли хорошего товарища и коллегу. Его смерть вызвала возмущение в среде интеллигенции, ибо покойный недавно перенес инфаркт, но даже в больнице его не оставили в покое и заставили давать показания».

В связи с трагической смертью Мехмета Али Эрмиша двадцать семь журналов, книготорговых фирм и издательств опубликовали

совместное заявление, в котором говорится: «Конституция провозглашает права каждого гражданина свободно знакомиться и знакомить других с произведениями науки и искусства, публиковать и распространять их. Несмотря на это, каждый новый день возбуждаются уголовные дела в связи с опубликованием произведений литературы и искусства по докладам одних и тех же хорошо известных «экспертов». Наш товарищ Мехмет Али Эрмиш пал жертвой одного из таких несправедливых, невежественных и незаконных «докладов».

Ольга Жорж-Пико исполнительница главной женской роли в фильме «Люблю, люблю тебя».

(Еженедельник «Леттр франсэз»)

ФРАНЦИЯ

«ЛЮБЛЮ, ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»

Много откликов в печати вызвал новый фильм известного кинорежиссера Алена Рене «Люблю, люблю тебя». Главный герой фильма, роль которого сыграл Клод Риш,— обыкновенный, ничем не примечательный молодой человек, его также зовут Клод. Он пытался застрелиться и долгое время находился между жизнью и смертью. Когда он уже выздоравливал, к нему в больницу пришел таинственный незнакомец и предложил принять участие в опыте по преодолению времени. Ученые изобрели машину времени, возвращающую человека на один год назад, в его прошлое. Клод принял это предложение. Помещенный в камеру машины, он увидел себя во время отпуска на берегу Средиземного моря с женщиной, которую он любил и из-за которой пытался покончить жизнь самоубийством. Однако следующая фаза опыта не удалась. Пациент вышел из-под контроля экспериментаторов. У него снова появилось желание застрелиться. Он выстрелил и попал себе в сердце...

Критик еженедельника «Юманите-диманш» высоко оценивает фильм, он пишет, что главные герои фильма «два существа, друг друга терзающие, болезненно раздраженные внешним миром, в котором они не способны жить и бороться. Они замыкаются в себе, как бы ограждаясь от неуверенности в завтрашнем дне, грубости, страха. Их бегство от реальной действительности уводит их так далеко, что они теряют почву под ногами, и вскоре их «люблю, люблю тебя» начинает больше походить на сигнал бедствия, чем на утверждение счастья...»

«Фильм,— по словам рецензента,— раскрывает трагическую суть эпохи и общества, в которых мы живем».

Видимо, это и имел в виду Ален Рене, когда в интервью, опубликованном в «Леттр франсэз», сказал:

«Это — фильм сентиментальный. Его научно-фантастический аспект — банален. Существует сто, двести рассказов о машине времени. А о двух влюбленных тем более. Но это не имеет значения... Мне хочется сделать фильм, который посмотрел бы миллион зрителей. Хоть раз...»

«ПРЕКРАСЕН, КАК ЧЕЛОВЕК»

В издательстве Галлимара вышел новый роман Андре Стиля «Прекрасен, как человек». Его герой — рабочий-формовщик Робер Дегрэв, который двадцать пять лет проработал на сталелитейном заводе. Но пришел день, когда ему объявили, что его увольняют...

Многие критики пишут о том, что Стиль по-новому подходит к проблеме безработицы.

Так, в рецензии, опубликованной в еженедельнике «Леттр франсэз», сказано: «Речь идет не о нищете, не о горькой участи, выпавшей на долю рабочего... Человек, принимавший участие в чуде созидания, оказывается выброшенным за борт. У него отняли часть его самого, то, что составляло его достоинство. У него отняли самое прекрасное — его труд. Искусству Стиля не чуждо ничто человеческое. Стиль черпает материал в глубинах сознания обездоленных людей. Он поет гимн человеку».

Андре Стиль в беседе с представителями печати рассказал об идее романа и о том, как он понимает труд писателя:

«Только роман позволяет отразить то, что никаким другим способом сделать невозможно. О безработице можно говорить по-всякому:

и приводя статистические данные, и рассказывая о ее влиянии на трудящихся вообще, и описывая, как это делают журналисты, какой-то конкретный жизненный случай. Но только роман дает возможность осветить изнутри, что такое безработица в сознании пострадавшего. Герой романа, потеряв работу, до конца прочувствовал и как прекрасен труд, и как он одинок без него...

Создание романа — это попытка быть хоть немного впереди своего времени, заставить людей задуматься над тем, что не для всех еще ясно».

«СЛОВАРЬ ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

«Весь мир на 4400 страницах» — так оповещает еженедельник «Экспресс» о выходе первого тома «Словаря всемирной литературы» в издательстве «Пресс юниверситер де Франс».

Работа над словарем ведется вот уже в течение десяти лет коллективом из шестидесяти специалистов и эрудитов в двадцати странах мира. Руководит этой работой главный хранитель Национальной библиотеки Пьер Жоссеран.

Работа над словарем в трех томах близка к завершению. В первый том «Словаря» вошли статьи о двадцати тысячах французских и иностранных писателей. В библиографии упомянуты экранизации литературных произведений.

КОБО АБЭ — ЛАУРЕАТ ФРАНЦУЗСКОЙ ПРЕМИИ

Во Франции существует литературная премия за лучшее произведение зарубежного автора, число книг которого в переводе на французский язык не превышает трех.

Цель премии — привлекать внимание читателей к произведениям талантливых зарубежных писателей, которые недостаточно широко известны во Франции. Как сообщает печать, недавно эта премия была присуждена известному японскому писателю Кобо Абэ за роман «Женщина в песках» (опубликован в «Иностранной литературе» № 5, 1966).

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

«ЗАЯВЛЕНИЕ О ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ»

Чешская часть Центрального Комитета Союза чехословацких писателей на своем заседании утвердила текст «Заявления о федерализации», в котором излагается позиция по вопросу о федеративном государственном устройстве Чехословакии, а также высказывается мнение о необходимости создания двух союзов писателей — чешского и словацкого.

По сообщениям печати, в «Заявлении» говорится, что ЦК Союза чехословацких писателей, приняв во внимание дискуссии, которые велись на страницах словацких и чешских журналов по вопросам культуры, и взвесив мнения словацких и чешских писателей, пришел к выводу о необходимости подготовки V съезда писателей Чехословакии в сотрудничестве с Союзом словацких писателей, с тем чтобы на нем могли быть созданы два союза писателей — чешский и словацкий. Эти два союза должны быть независимыми в своей деятельности как во внутренних делах, в том числе в экономических вопросах, так и в области международных связей.

ТРИЛОГИЯ КАРЕЛА ПТАЧНИКА

Чешский писатель Карел Птачник завершил работу над трилогией на современную тему. Три его романа — «Город на границе» (1958), «Ночь уходит утром» (1963) и «Пятьдесят шестой» (1967) — охватывают период с 1945 по 1956 год.

Последний, завершающий трилогию, роман «Пятьдесят шестой», по определению рецензента газеты «Руде право», поднимает многие жизненно важные проблемы современной Чехословакии.

ЯПОНИЯ

ПРЕМИИ ЖУРНАЛА «БУНГАКУКАЙ»

Двадцать шестую премию «Новые имена» журнала «Бунгакукай» получили Сёдзо Сайто за повесть «Арест» и Кадзус Инукаи за повесть «Золотая рыбка».

Всего на рассмотрение жюри было представлено более тысячи произведений. Все члены жюри отметили, что премированные в этом году произведения в художественном отношении значительно выше прошлогодних.

Один из членов жюри, Хироси Нома, заявил, что он активно поддерживал во время обсуждения повесть «Арест» Сайто. «Это произведение,— сказал он,— продолжает тему, уже поднимавшуюся, тему студенческого движения. Автор еще молод, у него недостаточный опыт, и, естественно, повесть его не свободна от просчетов, в первую очередь стилистических».

Второе премированное произведения, повесть «Золотая рыбка», Нома ставит несколько ниже.

Другой член жюри, Дэюнноске Ёсиюки, считает, что все пять произведений, дошедших до последнего тура, достойны того, чтобы быть напечатанными в таком солидном литературном журнале, как «Бунгакукай». Он не соглашается с мнением Нома о «Золотой рыбке» и говорит, что это прекрасное, поэтичное произведение о взаимоотношениях ребенка и взрослого.

«РЕВОЛЮЦИОННАЯ ЛИТЕРАТУРА МИРА»

Издательство «Синнихон сюппанся» начало выпуск серии «Революционная литература мира». В нее включены произведения писателей многих стран. Серия выпускается по частям. В настоящее время вышла третья часть этой серии. В ней представлены, в частности, произведения таких писателей, как Фурманов, Хикмет, Астуриас, Амаду, Ольбрахт, Мештерхази и другие.

Авторы этого номера

ФАИЗ АХМАД ФАИЗ (род. в 1911 г.).

Крупнейший пакистанский поэт, публицист, общественный деятель, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». Автор поэтических сборников «Тоскливый узор» (1943), «Рука ветра» (1952), «Тюремные стихи» (1956), «Пальцы под камнем» (1965) и др. Произведения Фаиза Ахмада Фаиза неоднократно издавались на русском языке.

В этом номере мы предлагаем вниманию читателей новые стихи поэта.

■

БРАНИМИР ШЧЕПАНОВИЧ — BRANIMIR ŠCEPANOVIČ (род. в 1937 г.).

Югославский, черногорский, писатель и журналист. Печататься начал в 50-е годы. Автор сборника рассказов «Перед истиной» («Pre istine», 1961), романа «Позорное лето» («Срамно лето», 1965). Б. Шчепанович пишет также для радио и кино. Известна его радиодрама «Иллюзии» («Iluzije», 1963).

Писатель удостоен на родине нескольких литературных премий.

В этом номере мы знакомим читателей с творчеством Бранимира Шчепановича, впервые публикуя его рассказы в русском переводе.

■

СУАН ЗИЕУ — XUAN DIEU (род. в 1917 г.).

Вьетнамский поэт и литературный критик (ДРВ). Автор поэтических сборников «Звезда» («Ngôi Sao», 1956), «Мое и общее» («Riêng chung», 1960), «Мыс Ка-Мау» («Mui Cá-mau», 1962), «Алая глыба в сердце» («Môt khõi hông», 1964), «Две гряды волн» («Hai dót sóng», 1967) и др.

Суан Зиеу много переводит из русской и советской поэзии на вьетнамский язык. К 50-летию Октябрьской революции им переведена поэма В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин».

Стихотворения Суана Зиеу печатались на страницах советских газет и журналов.

■

РАМОН АМАЙА АМАДОР — RAMON AMAYA AMADOR (1916—1966).

Гондурасский писатель и публицист, один из основателей Коммунистической партии Гондураса. В 1950 году вышел его первый роман «Зеленая тюрьма» («Prisión Verde»), затем появились романы «Строители» («Constructores»), «Рассвет» («Amanecer»), «Красный отряд» («Destacamento Rojo») и др.

Роман «Операция «Горилла» («Operación «Gorila»), начало которого публикуется в этом номере, — последнее произведение писателя, погибшего в 1966 году в авиационной катастрофе. Рукопись романа была получена редакцией от автора незадолго до его гибели.

■

АЛЬБЕР КАМЮ — ALBERT CAMUS (1913—1960).

Известный французский писатель, драматург, эссеист, лауреат Нобелевской премии. Родился и провел детство в Алжире (гор. Мондови). Получил философское образование. В годы второй мировой войны А. Камю был участником французского Сопротивления. Автор романа «Чума» («La peste», 1947), повести «Падение» («La Chute», 1956), сборника рассказов «Изгнание и царство» («L'Exil et le Royaume», 1957), пьес «Калигула» («Caligula», 1944), «Недоразумение» («Le Malentendu», 1944), «Осадное положение» («L'Etat de siège», 1948), «Справедливые» («Les Justes», 1950). Перу А. Камю принадлежит также много новелл и эссе.

В этом номере мы знакомим читателей с творчеством А. Камю, предлагая их вниманию одно из наиболее известных произведений писателя — повесть «Посторонний» («L'Etranger», 1942) и рассказ «Гость» («Le Hôte»).

В статье Б. Рюрикова, публикуемой в разделе «Критика» этого номера, указана литература о творчестве А. Камю и дана характеристика повести «Посторонний».

■

АЗИЗ НЕСИН — AZIZ NESIN (род. в 1915 г.).

Известный турецкий писатель-сатирик, драматург, публицист. В нашей стране в разные годы в переводе на русский язык вышли его сборники рассказов «Собачьи хвосты», «Стопроцентный шедевр», «Если бы я был женщиной», «Приходите развлечься!», сборник сатирических памфлетов «Письма с того света» и др. В нашем журнале опубликована пьеса А. Несина «Пойдите сюда!» (№ 8, 1962) и ряд рассказов.

В этом номере печатаются новые рассказы А. Несина из разных сборников.

■

КАТЕБ ЯСИН — KATEB YACINE (род. в 1929 г.).

Известный алжирский поэт, романист и драматург. С юных лет участвует в национально-освободительной борьбе алжирского народа, посвятив ей свое творчество и талант. Первый сборник его стихов «Солилог» («Монологи, обращенные к самому себе») («Solilogues») вышел в 1946 году. Катеб Ясин — автор романов «Неджма» («Nedjma», 1956), «Звездный полигон» («Le polygone étoilé», 1966) и нескольких пьес, в том числе «Труп в круге» («Le cadavre encerclé»), «Предки удваивают ярость» («Les ancêtres redoublent de férocité»), с успехом идущей на сценах Алжира и Парижа. Творчество Катеба Ясина удостоено международной литературной премии имени Жана Амруша.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Б. С. РЮРИКОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, С. А. ДАНГУЛОВ (первый зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**

Адрес редакции: Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47

А 09016. Сдано в производство 4/VI-68 г. Подписано к печати 23/VIII-68 г.
Бумага 70×108 1/16 = 9 бум. л. = 18 п. л. (25,2) + 1 вкл. Уч.-изд. листов 27,78. Зак. 1740.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394

К сведению читателей

ЖУРНАЛ «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» ПЕЧАТАЕТ РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, ПЬЕСЫ, КИНОСЦЕНАРИИ, РАССКАЗЫ ПИСАТЕЛЕЙ ВСЕХ СТРАН МИРА.

■ ■ ■

В ПЛАНАХ ПУБЛИКАЦИЙ ЖУРНАЛА НА 1969 ГОД СЛЕДУЮЩИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Кобо Абэ (Япония) — СОЖЖЕННАЯ КАРТА (роман)
Мишель Бютор (Франция) — ИЗМЕНЕНИЕ (роман)
Петер Вейс — ГОСПОДИН МАКИНПОД (пьеса)
Эрико Вериссимо (Бразилия) — ПЛЕННИК (роман)
Шерли Энн Грау (США) — ХРАНИТЕЛИ ОЧАГА (роман)
Габриэль Гарсиа Маркес (Колумбия) — СТО ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА (роман)
Анна Зегерс (ГДР) — ДОВЕРИЕ (роман)
Алекс Ла Гума (ЮАР) — КАМЕННАЯ СТРАНА (роман)
Эдвард Олби (США) — ВСЁ — В САДУ (пьеса)
Марио Помилио (Италия) — КОМПРОМИСС (роман)
Исабель Альварес де Толедо (Испания) — ЗАБАСТОВКА (роман)
Николай Хайтов (Болгария) — РАССКАЗЫ
Тамара Хови (США) — СТРЕМЛЕНИЕ МАЛЕНЬКОЙ МОШКИ (роман)
Пауль Шаллюк (ФРГ) — ДОН КИХОТ В КЁЛЬНЕ (роман)

■ ■ ■

РАССМАТРИВАЮТСЯ ТАКЖЕ НОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Мигеля Анхеля Астуриаса, Марио Варгаса Льосы, Вольфганга Кёппена, Хулио Кортасара, Адриано Гонсалеса Леона, Камена Калчева, Джона О'Хара, Азиза Несина, Йордана Радичкова, Андре Стиля, То Хоая, Сембена Усмана, Карлоса Фуэнтеса, Иосиэ Хотта, Агустина Яньеса, Катеба Ясина и др.

В поэтической рубрике стихи Адониса, Денниса Брутуса, Мирослава Валека, Габора Гараи, Доры Габе, Петра Караангова, Эрнесто Карденаля, Карлоса Аугусто Леона, Луиса Суардиаса, Алана Силлитоу, Октавио Паса, Т. С. Элиота и др.

■ ■ ■

В РАЗДЕЛЕ «КРИТИКА» ПУБЛИКУЮТСЯ СТАТЬИ ПО АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ЛИТЕРАТУР, ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ, ТВОРЧЕСКИЕ АНКЕТЫ, ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ.

В КАЖДОМ НОМЕРЕ ПОМЕЩАЮТСЯ РЕЦЕНЗИИ НА КНИЖНЫЕ НОВИНКИ, КАК ОПУБЛИКОВАННЫЕ ЗА РУБЕЖОМ, ТАК И ВЫШЕДШИЕ В РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ.

В РАЗДЕЛЕ «ПУБЛИЦИСТИКА» — СТАТЬИ ПО ВАЖНЫМ ПРОБЛЕМАМ СОВРЕМЕННОСТИ: НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА ВЫСТУПАЮТ ИЗВЕСТНЫЕ ПИСАТЕЛИ, ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ; ПЕЧАТАЮТСЯ ОЧЕРКИ, ДОКУМЕНТЫ, ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ, СТАТЬИ О ЗАРУБЕЖНОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ, КИНО И ТЕАТРЕ.

В РАЗДЕЛЕ «ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ» — РАЗНООБРАЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЛИТЕРАТУРНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ЗА РУБЕЖОМ.

ЖУРНАЛ ИЛЛЮСТРИРОВАН.

■ ■ ■

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ОТДЕЛАМИ «СОЮЗПЕЧАТИ», ОТДЕЛЕНИЯМИ СВЯЗИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ РАСПРОСТРАНИТЕЛЯМИ ПЕЧАТИ.

Подписная цена:

на 12 месяцев — 9 р. 60 к.
на 6 мес. — 4 р. 80 к.
на 3 мес. — 2 р. 40 к.
Цена одного номера — 80 коп.